ИНОСТРАННАЯ литература

1
1961

ИНОСТРАННАЯ литература
1
1961

Мария Кудержикова

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

«На защиту кубинской революции!» — рисунок кубинского художника Адихио для журнала «Иностранная литература».

Содержание

БОРЬБА ЗА МИР — НАШ БЛАГОРОДНЫЙ ДОЛГ (Деятели культуры о Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий и Обращении к народам всего мира)

АНДРЕ СТИЛЬ — Вера в судьбы человечества 3

ТИБОР БАРАБАШ — Знамя мира и социализма 3

РАФАЭЛЬ ЛОПЕС — Призыв к умам и сердцам 4

РОНАЛЬД БЕЛЛАМИ — За мир без войн и колониальной эксплуатации 5

Г. ДИМИТРОВ-ГОШКИН — Коммунистический манифест современности 6

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Девушка и голуби (Маленькая повесть) 7

МИТЧЕЛ УИЛСОН — Встреча на далеком меридиане (Роман) 37

Стихи африканских поэтов

ЛИЛИНЬЮ МИКАЙЯ — Мы не забудем . . 95

ВИРИАТУ ДА КРУШ — Поэма 96

МАРИУ АНТОНИУ ФЕРНАНДИС ДИ ОЛИВЕЙРА — Безработный. Субботний вечер . 97

АГИНАЛДУ ФОНСЕКА — Разделение труда. Таверна в порту. В квартале бедняков 98

ФРАНСИСКУ ЖОЗЕ ТЕНРЕЙРУ — Я родился в этом глухом краю... Песня зеленого леса 101

1

1961

ЯНВАРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

МОРИС ПОНС — Ночной пассажир (Повесть) 102
ИМРЕ ДОБОЗИ — Авария. Ливень (Рассказы) 138
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР — Стихи разных лет . 155

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

ЗАВЕЩАНИЕ ЖИВЫМ (Дневник чешской патриотки МАРИИ КУДЕРЖИКОВОЙ, казненной фашистами. Публикация и вступительная статья МОЙМИРА ГРЫГАРА) 164

КРИТИКА

ФРАНТИШЕК БУРИАНЕК — Перед новыми горизонтами (Заметки о современной чешской литературе) 194
Н. БАЛАШОВ — Гийом Аполлинер и современность 203

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 214

ПУБЛИЦИСТИКА

ЯРОСЛАВ ПУТИК — Совесть (Дело профессора Оппенгеймера) 225

ПОЛЕМИКА

В ПЕРЦОВ — Как изучают Маяковского в Гарвардском университете 245

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

И. Никифорова — Непокорившаяся земля. ◇ И. Лисевич — Рожденная в огне революции. ◇ Вероника Тушнова — Крылатая поэзия. ◇ Л. Зонина — Сатира Ханса Шерфига 253

Издано за рубежом

Р. Белоусов — Молодые рассказчики Китая. ◇ Л. Вершинин — Оправдавшиеся ожидания. ◇ Г. Злобин — В лесах Конго. ◇ Т. Балашова — Рассказывают друзья... 257

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

А. КОКОРИН — В гостях у немецких друзей 262

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 287

Борьба за мир—наш благородный долг

Деятели культуры о Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий и Обращении к народам всего мира

Андре Стиль

(ФРАНЦИЯ)

ВЕРА В СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Трудно преувеличить значение Обращения к народам всего мира московского Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Поднятые им проблемы и перспективы, которые оно открывает, нельзя осветить более ясно. Обращение пронизано верой в судьбы человечества, верой в высшей степени оправданной политическим и техническим прогрессом. Эта вера требует небывалых усилий для освобождения мира от угрозы войны.

Сегодня призыв к всеобщему разоружению и мирному сосуществованию — не отдаленная мечта, воплощающая все лучшее, что есть в человеке, в его сердце, в его разуме. Это реальная, конкретная возможность, которой никто не должен пренебречь. Ни один человек и ни один народ не должен остаться вне этой борьбы, цель которой не знает себе равной в мировой истории и необычайно ясна: избежать неописуемого и невообразимого разрушения, открыть новую эру в мире, навсегда освобожденном от страха атомной войны, от боязни любого вида оружия.

Большая заслуга Советского Союза и особенно Н. С. Хрущева — его поездок, выступлений и предложений в духе ленинского «Декрета о мире» — не только в последовательной борьбе за мир, которая является примером для народов всех стран, но и в открытии новых возможностей для этой борьбы.

Тибор Барабаш

(ВЕНГРИЯ)

ЗНАМЯ МИРА И СОЦИАЛИЗМА

О разных документах уже говорилось, что они имеют историческое значение. Однако не многие из них названы историческими так справедливо, как Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, подписанное в Москве в ноябре 1960 года. В этом Заявлении отражены не только полное единство и воля свыше тридцати шести миллионов борцов из 87 стран, но и чаяния всех тех, кто хотят видеть свою родину процветающей, а народ свой счастливым, кто стремятся к миру во всем мире. В эпоху обнародования «Манифеста Коммунистической партии», 112 лет назад, коммунизм был лишь революционной идеей, призраком. Сегодня он стал действительностью, реальной и победоносной. Во многих странах, и прежде всего в Советском Союзе, он нашел свое воплощение в чудесно расцветшей жизни, в рождении прекрасной отчизны одной трети всего человечества.

Мы счастливы и горды тем, что наша родина — народно-демократическая Венгрия — входит в этот великий лагерь мира и справедливости. К нему же примыкают

и сотни миллионов бойцов из капиталистических и колониальных стран — все, кто хотят спасти своих детей от ужасов новой войны. Монополистические круги Соединенных Штатов Америки и их союзники из других стран не только не проявляют никакого желания сохранить мир, а, наоборот, делают все для подготовки новой войны. Поэтому Заявление представителей коммунистических и рабочих партий, взявших на себя обязательство защиты мира, имеет глубокое историческое значение.

Я как венгерский писатель глубоко чувствую значение Заявления и осознаю в связи с этим свои личные моральные обязательства. Я чувствую, что марксистский анализ, содержащийся в нем, ко многому обязывает нас, писателей. Мы должны бороться против ревизионизма и косности. Наш долг разъяснять принцип мирного сосуществования, вселять в людей веру в то, что война не является неизбежной. Наши произведения должны быть полны веры в жизнь и будущее, веры в социализм. Мы должны упорнее бороться против пессимизма и декаданса, в какой бы форме они ни проявлялись. Наш долг воплотить в романах и стихах поставленную перед нами задачу освобождения человечества не только от эксплуатации и нужды, но и от повторения трагедии Хиросимы.

Чем выше мы поднимем знамя мира и социализма, чем сплоченнее будут наши ряды, тем дружнее примкнут к нам все те, кто не хотят войны, все, кто стремятся к светлому будущему человечества.

Рафаель Лопес

(ГВАТЕМАЛА)

ПРИЗЫВ К УМАМ И СЕРДЦАМ

Как гватемалец, как латиноамериканец и как человек я выражаю полную солидарность с Посланием Мира, с которым представители коммунистических и рабочих партий обратились к народам всех стран. В наши дни голос коммунистов — это подлинный глас народов. Это они — коммунисты — представляют новый гуманизм, новый мир, в котором открываются безграничные возможности для человеческого счастья. Поэтому я уверен в том, что это Слово Мира будет услышано и в самых далеких уголках земного шара. И это Слово, как всепроникающий луч света, не смогут остановить приверженцы гнета и лжи, мрака и войны.

Не боясь исторической правды, без какой-либо сентиментальности и увертюк, коммунисты поднимают кардинальный вопрос: возможно ли обеспечить мир на земле? И они отвечают: да, возможно, безусловно возможно. И в то же время предупреждают: сам по себе мир не наступит. Нужно бороться за него, нужно, чтобы для этой цели все люди объединили свои усилия. Каждый знает, что империалистические державы во главе с Соединенными Штатами, заинтересованные в том, чтобы развязать третью мировую войну, пока еще сильны. Но что представляют собой правительства без народов? Что может сделать горстка милитаристов, если народы воздвигнут перед ними, как стену, свою непоколебимую решимость бороться за мир?

В своем Обращении коммунисты подчеркивают значение существенного фактора нашего времени: реальную, объективную и конкретную возможность предотвратить новую мировую войну. Эта возможность прежде всего основывается на растущей мощи социалистических стран, материальное превосходство которых во многих областях не вызывает ни у кого сомнений.

Сегодня лагерь мира предлагает всем полное и всеобщее разоружение. Никто не думает, что этого легко достичь в одно мгновение. Но также никто не поверит, что это недосягаемо. Разве мало достигнуто целей, которые в свое время считались мечтой? Полное разоружение возможно, но не как дар империалистических кругов, а как завоевание народов.

Всей душой я поддерживаю миролюбивое послание коммунистических и рабочих партий. Благородство их целей и научная объективность их принципов — таковы два

могучих фактора, которые откроют Обращению путь к умам и сердцам всех людей. Но мы не имеем права доверяться иллюзиям. Многие люди еще не участвуют в борьбе за мир, равнодушны к ней или являются жертвами империалистического обмана. Надо идти к этим людям и привлекать их к делу борьбы за мир. Ныне условия на редкость благоприятны, а борьба достигла своего апогея. В Азии, Африке, в Америке слышны раскаты приближающейся освободительной бури! Народы пробуждаются, поднимаются, узнают своих друзей и своих врагов.

В 1954 году — в один из самых тяжелых периодов «холодной войны» — молодая гватемальская демократия была раздавлена американскими империалистами под предлогом подавления «коммунистической агрессии» на континенте. Беснуясь от радости, империалисты провозглашали: славная победа «свободного» мира!

С тех пор прошло не много лет. Но немало произошло событий и существенных перемен в мире. Вчера моя Гватемала была единственной страной Америки, откуда звучал голос протеста против империалистического гнета. Сегодня звучит голос Кубы. Гватемала была побеждена. Кубу не победят. Лагерь мира, ныне играющий неизмеримо более решающую роль, чем прежде, рядом с Кубой и защитит ее до конца. Это очень хорошо понимают народы Гватемалы и Кубы, народы всей Латинской Америки. Гватемала — скорбная память о «холодной войне». Куба — сияющий маяк, указывающий путь к миру. И наши народы, народы Латинской Америки, не сомневаются в наступлении дня освобождения.

Как гватемальский писатель я горячо желаю, чтобы Обращение коммунистов к народам мира было широко распространено, обсуждено, чтобы оно вошло в плоть и кровь всех народов Земли.

Рональд Беллами

(АНГЛИЯ)

ЗА МИР БЕЗ ВОЙН И КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С моей точки зрения, самое важное в Заявлении московского Совещания представителей коммунистических и рабочих партий — это вновь выраженная в нем уверенность, что империалистов можно заставить не нарушать мир.

Для меня — английского экономиста — новый этап международного развития, охарактеризованный в документе Совещания, имеет еще и иной очень важный смысл. В Англии сейчас очень многие рабочие экспортных предприятий автомобильной и машиностроительной промышленности встретили рождество без работы или под угрозой безработицы, в то время как судьба других решается в Детройте.

В то же время вместе с развитием мировой социалистической системы еще быстрее развивается торговля между странами социалистического лагеря, а в последнее время — между ними и государствами, сбросившими ярмо колониализма.

Обе эти формы торговли представляют собой живой пример, которому захотят последовать и многие другие страны, стремясь избавиться от стихийности в своих внешнеторговых операциях и от неравноправных торговых договоров. Растущий удельный вес, разнообразие и высокий технический уровень продукции социалистического лагеря создают условия для того, чтобы эти страны смогли осуществить свои стремления. Я убежден, что недалек день, когда трудящиеся капиталистических стран, борясь за гарантированную работу и обеспеченное будущее, потребуют превращения ООН в более представительную организацию с тем, чтобы она лучше использовала потенциальные ресурсы всех стран для мирного прогресса человечества, не знающего войн и колониальной эксплуатации. К этому, с моей точки зрения, и призывает человечество Обращение к народам всего мира, принятое московским Совещанием.

Экономическое соревнование между двумя системами уже началось. Оно будет развиваться и впредь в результате роста темпов и объема продукции социалистического лагеря и требований всех народов мира.

В борьбе за претворение в жизнь этих экономических идеалов, точно так же как в борьбе за мир, возникли и будут возникать все новые возможности для объединения сил прогрессивного человечества, для изоляции монополистического капитала. Таким образом, будут создаваться все более благоприятные условия для перехода человечества к счастливому социалистическому обществу.

Г. Димитров-Гошкин

(БОЛГАРИЯ)

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ СОВРЕМЕННОСТИ

Тот факт, что представители восьмидесяти одной коммунистических и рабочих партий, обсудив многогранный опыт, приобретенный ими в самых различных условиях, подтвердили свое единство на основе принципов марксизма-ленинизма, является подлинным торжеством человеческого разума.

Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий — это, по существу, новый Коммунистический манифест нашей эпохи. Но сегодня уж не призрак коммунизма, а сам коммунизм реально шествует по свету, объединяя всех, кто борются за свободу и независимость, за мир и демократию, за жизнь без эксплуатации. Заявление Совещания — это исторический манифест современности, подтверждающий, что кровь, пролитая народами в борьбе за свободу и независимость, дала свои результаты. Возрастает мощь социалистического лагеря, крепнет сила освобожденных и освобождающихся от колониализма народов. Заявление московского Совещания — это Коммунистический манифест современности, утверждающий на основании глубокого марксистско-ленинского анализа, что даже при существовании капитализма в части земного шара мировая война не является неизбежной.

Заявление — это Коммунистический манифест нового этапа развития международного рабочего движения, новых грандиозных успехов социализма после XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, авангарда мирового коммунистического движения.

Как подчеркивают Заявление и Обращение к народам всех стран, в мирном сосуществовании и мирном решении спорных вопросов сейчас, больше чем когда-либо, заинтересовано человечество. Борьба за мирное сосуществование — это борьба общечеловеческая. И в то же время она по существу является одной из форм классовой борьбы. Эта борьба имеет свое глубокое идейно-эмоциональное, психологически-этическое и эстетическое содержание, выявление которого — дело в первую очередь литературы и искусства.

Нужно еще больше укреплять оптимистическое начало против пессимистического, развивать здоровое, полнокровное видение жизни против извращенного, упадочнического. В этом направлении могут выступать все деятели искусства, которые ценят человека и человеческую жизнь. Прежде всего нужно раскрывать и утверждать духовную силу людей, способных марксистско-ленински решать теоретические и практические вопросы жизни, не впадая ни в ревизионизм, ни в сектантство. И с этой точки зрения, Заявление безусловно раскрывает огромные возможности перед литературой и искусством социалистического реализма. Сейчас, больше чем когда-либо, социалистический реализм должен заняться художественным исследованием и решением идейно-эмоциональных, психологических проблем, которые ставит перед жизнью наше великое время, еще активнее и конкретнее поддерживать все прогрессивное, гуманистическое, миролюбивое в современной мировой литературе.

Преданные делу социализма и своему народу болгарские писатели, деятели культуры с глубоким удовлетворением восприняли Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий как документ, который утверждает то, что составляет смысл их жизни и творчества и открывает перед ними новые горизонты.

Ярослав Ивашкевич

Девушка и колдуи

Маленькая повесть

Перевод с польского В. Борисова и Г. Языковой

После войны инженер С. поселился в Коморове возле Прушкова, где у него был маленький домик, и, если не считать службы, полностью посвятил себя воспитанию младшего сына. Раньше он мало обращал внимания на Эдварда, но теперь после утраты жены и двух дочерей любовь его к сыну возросла и, можно даже сказать, превратилась в своего рода манию. Правда, у него был еще один, старший, сын Стась, но тот уже давно жил самостоятельно. Война застала его во Львове, на родину он вернулся вместе с Первой Армией — в составе музыкального квартета при Театре Войска Польского. Потом Стась пел в хоре Эриана, стал солистом, эстрадным певцом и жил во Вроцлаве, а в летние месяцы — в Закопане или в Карпаче, если не совершал в это время своих гастрольных поездок по Побережью.

Домик инженера состоял из двух комнат и кухни внизу и большой комнаты наверху, под высокой крышей. Если ехать в Коморов поездом, домик этот видно издалека. В светелке под самой крышей жил Эдек. Невзгоды военных лет и дней Варшавского восстания помешали Эдеку вовремя закончить образование, и теперь, хотя ему уже исполнилось восемнадцать лет, он учился в десятом классе художественной школы на улице Ноаковского в Варшаве. Рисовал он совсем не плохо, но без особого вдохновения, и отец беспокоился, что неправильно определил склонности сына. Впрочем, сам Эдек, казалось, был вполне доволен и даже иногда в шутку грозился, что станет известным театральным художником, но пока что относился к будущей профессии без видимого энтузиазма. Впрочем, по рисованию и черчению у него всегда были пятерки, и постепенно укоры совести мучили инженера все меньше.

Квартира инженера была маленькая, но уютная. В кухне и соседней с ней комнатушке неограниченной властью пользовалась старая Колдуся, прозванная так за отменное приготовление колдунов — любимого блюда инженера.

Другая комната служила инженеру рабочим кабинетом (что освобождало хозяина от обязанности держать жильца), а также спальней и столовой. Здесь отец и сын проводили свои вечера. В доме этом, быть может, и не было счастья, но, во всяком случае, в нем царил покой. Утром отец и сын уезжали из дому, каждый в свое время; встречались они только вечером, и поэтому весь смысл, все содержание их жизни находили свое наиболее полное выражение в проводимых вместе часах после ужина. Они разговаривали, работали, иногда вспоминали мать или вме-

сте читали легкомысленные письма Стася. И только на имена сестер, казалось, был наложен запрет.

Домик в Коморове существовал еще до войны, в нем уцелело немного книг и вещей, напоминавших о прошлом. Но после смерти Кристины и Марии их детские фотографии исчезли со стен кабинета. Эдек не проявлял особой широты умственных интересов, но все же покорно читал вместе с отцом классиков, иногда отчаянно скучая при этом.

Когда инженер, отослав Эдека наверх, оставался один, он долго еще перебирал в уме все, о чем они говорили с сыном. Беседы их, разнообразные по форме, чаще всего сводились к монологам инженера, потому что Эдек вообще отличался молчаливостью. Все его вопросы и высказывания отец повторял про себя далеко за полночь, пытаясь отыскать в них какой-то более глубокий смысл. Но рассуждения эти были самые обыкновенные.

Постепенно, однако, инженер заметил, что Эдек, начиная разговор издалека, невольно и совершенно бессознательно кружит около одной и той же темы, к которой устремлялись все его мысли. Темой этой была женщина.

Конечно, намеки Эдека были весьма туманными. Просто он, сам того не замечая, настойчиво возвращался к разговору о соседках и одноклассницах. Его занимал вопрос, кто из них красивее, у кого какая внешность. У кого красивей волосы — у Марыси или у Хели? А у Ани глаза голубые или синие? Инженер старался незаметно изменить ход мыслей сына. Говорил с ним о живописи, о рисунках, о современной технике, о своей работе по восстановлению Варшавы, о новой системе кладки кирпича. Но, выслушав его, Эдек тут же заводил речь о Басе, которая жила в соседнем домике. Это была нежная, тоненькая девушка, и сам инженер невольно отметил ее ликующую, весеннюю красоту. Но каждый раз он, услышав о Басе, тотчас же менял тему разговора. Тактика эта имела свои основания.

Инженер боялся эротизма. Он считал, что чувственное начало может искалечить человеческую жизнь. Примером тому были его собственные дети. Стась выбрал себе карьеру артиста-гастролера под влиянием какой-то девушки. Но не это составляло главную трагедию в жизни инженера. Кроме сыновей, у него были еще две дочери — моложе Стася, но старше Эдека. Одна из них погибла во время Варшавского восстания. Она вступила в Армию Крайову * не по идейным убеждениям. В эту организацию ее вовлек человек, которого она слепо любила.

Он был глупый, невежественный и к самым серьезным проблемам политики, да и собственной жизни относился с каким-то легкомыслием. Но она ничего этого не замечала. Его поистине шляхетское «как-нибудь обойдется» передалось и ей. Дважды инженер говорил с ней серьезно. В обоих случаях Кристина выслушала отца покорно и внимательно, со всем согласилась, но по первому знаку Кшиштофа пошла за ним — слепо, с застывшим, мертвым лицом, выражавшим тупое упрямство, с глазами, подернутыми пеленой. Такую пелену инженер замечал в глазах возбужденных животных. Дочь и Кшиштоф погибли довольно глупым образом — не обратили внимания на снайпера, стрелявшего с крыши на Театральной площади, а тот подбил их дублетом, как пару диких уток. Вторая дочь инженера — Марыся тоже связала свою судьбу с каким-то ничтожеством. Ее избранник попал в лапы гестапо во время облавы на торговцев бриллиантами, полгода просидел в Гусенской тюрьме, а после

---

* Подпольные воинские формирования в оккупированной Польше, подчиненные Лондонскому эмигрантскому правительству.

прихода американцев подался на Запад. Марыся, получив от него весточку откуда-то из Рейнской области, пробралась туда, тайком перейдя границу. Несколько месяцев спустя инженер С. получил известие, что его дочь погибла в Бонне от несчастного случая — на нее наехал «джип» с подгулявшими американскими солдатами. Незадолго до своего бегства за границу Марыся имела несколько объяснений с отцом и точно так же, как и ее сестра, соглашалась со всеми его доводами. И лицо ее выражало точно такое же тупое упрямство, когда накануне отъезда отец случайно застал ее за сборами — она укладывала узелок с бельем в заранее приготовленный рюкзак. Больше всего на свете инженер боялся теперь увидеть такое выражение на лице своего младшего сына — единственного ребенка, который у него остался.

Разумеется, все эти опасения отца были Эдеку неизвестны. И если в своих неизменно продолжавшихся разговорах о девушках он проявлял какую-то сдержанность, то только потому, что стыдился отца — чувство, столь свойственное детям в их отношениях с родителями. Зато он всегда охотно отводил душу со своим «приятелем» Влодеком, который жил напротив, в том же доме, что и Бася.

Влодек был старше Эдека на несколько лет.

Разница в возрасте была бы даже незаметна, если бы Влодек в присутствии приятеля не говорил о женщинах тоном искушенного знатока. Эдек смотрел на друга с обожанием и каждое его слово принимал как откровение. Бася жила в одном доме с Влодеком, поэтому тот считал возможным рассуждать о ней с циничной самоуверенностью. Эдек относился к Басе с благоговением, и подобные разговоры возмущали его до глубины души, но он не смел возражать старшему и такому самоуверенному товарищу.

— Знаешь, брат, стоило бы мне только мигнуть, она бы давно ко мне пришла,— тянул Влодек,— да только возиться с женщинами неохота!

Эдеку очень не нравился тон Влодека — в каждой его фразе таились неприятные намеки. Что значит «пришла» и как понимать слова «возиться с женщинами»? И каких женщин Влодек имел в виду? Эдека вовсе не отталкивал его цинизм, он просто хотел большей определенности. Такая определенность как бы помогала Эдеку познавать «жизнь». Например, Влодек открыл другу, что лучше всего, когда у женщины широкие бедра. И теперь, встретив на улице женщину даже пожилую, Эдек невольно обращал внимание на ее бедра. В электричке он поглядывал на женские груди.

Разумеется, подобного рода «увлечения» не могли не сказаться на его школьных занятиях. Эдек все меньше интересовался математикой, русским языком и даже рисованием. Инженера это приводило в отчаяние, но на его вопросы сын отвечал что-то невнятное. Все же отец понемногу догадывался, что́ именно отвлекает сына, и всячески старался пробудить в нем прежний интерес к занятиям.

Иногда по вечерам инженер доставал из ящика чертежную бумагу и делал наброски каких-то фантастических проектов, стараясь увлечь ими сына. В те дни много говорили о строительстве киногородка в Коморове. Инженер набросал на бумаге возможный план такого городка, расположенного по обе стороны реки Утраты; было там и искусственное озеро. Наконец Эдек попался на эту удочку. Он стал с интересом следить за работой отца и даже делал кое-какие замечания.

— Ты мог бы мне немного помочь. Вычерти, пожалуйста, фронтон главного павильона на берегу озера. Вот здесь данные...

— Нет, не смогу,— отвечал Эдек,— я не строитель.

— Почему ты никогда не рисуешь дома? Разве вам в школе ничего не задают?

— Задание я уже приготовил.

— Ну, а сосны перед домом? Ведь ты обещал их нарисовать. Я бы сделал рамочку — и картина готова. Вот на стене как раз пустое место...

— Во время каникул нарисую,— неуверенно пообещал Эдек.

— А когда, наконец, будут эти каникулы? — с некоторым беспокойством спросил отец.

— Через две недели.

Как-то вечером инженер подозвал к себе Колдусю. Эдек как раз ушел в кино и долго не возвращался.

— Скажи мне, Колдуся,— начал инженер,— что завтра — среда?

— А как же, среда.

— Значит, ты поедешь на рынок в Гродзиско?

— Да, поеду. Масло купить нужно.

— Ты что-нибудь понимаешь в голубях?

— В голубях? Да где там...

— Видишь ли, я бы хотел купить для Эдека пару голубей.

— Для Эдюши? — недоверчиво спросила Колдуся.— Да разве он будет за ними смотреть?

— Он мог бы их устроить на чердаке, рядом со своей комнатой.

— На чердаке? Да ведь я всегда там выстиранные носки вешаю.

— Ну, так повесишь в другом месте. Разве это так важно?

— А голуби — важно?

— Я хотел бы, чтобы Эдек чем-нибудь занялся. Каникулы на носу.

— А в лагерь он в этом году не поедет?

— Нет, Колдуся. Эдек уже большой, растет.

— Я всегда его в кухне меряю. За последние полгода на пять сантиметров вырос. Уже выше пана инженера.

— Это не так трудно,— усмехнулся инженер. Сам он был небольшого роста, и это его всегда мучило.

— Ему в пору за девушками гоняться, а не голубей гонять,— заметила Колдуся.

— Ну, этого ты могла бы мне и не говорить,— рассердился инженер.

— А как же будет с голубями? Мой Юзя держал их когда-то. Так я, может, и разберу, какой лучше... да только дорогие они. Уж больно любители их ценят. Будто это не голубь, а индюшка какая. Но если хотите — куплю...

— А сколько они могут стоить?

— Да я поторгуюсь. Дайте мне двадцать злотых...

— А хватит?

— Куда там — еще останется. На сдачу редиски куплю. Эдек любит весенний салат.— Она взяла у инженера деньги и добавила: — Будет вам убиваться... У парня своя голова на плечах. Все равно нам его дома не удержать.

Инженер махнул рукой, и Колдуся, неслышно ступая в своих фетровых шлепанцах, исчезла, как привидение. А инженер задумался.

Жизнь его сложилась нелегко. Он был сыном дворника. Теперешние знания и мастерство пришли к нему ценой горького житейского опыта. Он много раз убеждался, что на дареном коне далеко не уедешь, и в конечном счете привык полагаться только на себя. Всю жизнь его преследовало одиночество. И теперь, когда инженер видел, какой опорой была для его товарищей партия, профсоюз, общая работа, его охватывало чувство зависти... В поте лица трудился он в своей проектной ма-

стерской, но с людьми сходился нелегко, к тому же никогда не стремился быть на виду, держался в тени и среди сослуживцев выделялся разве что своей большой работоспособностью. Товарищи его любили, но никто из них не искал его общества. Когда-то до войны инженер работал над своими проектами вместе с Здзисем Карманским, но Здзись — какая светлая была голова! — погиб во время оккупации. Теперь у инженера появились новые товарищи, но с ними у него были чисто деловые, можно даже сказать официальные, отношения.

«Как глупо так любить кого-то,— подумал инженер,— посвятить всего себя одному существу, к тому же столь заурядному. Правда, он мой сын. Кого же мне любить, как не его? Это все, что мне осталось».

Невольно все его мысли были сосредоточены на сыне. Ни о чем ином он просто не мог говорить. На работе он использовал любой предлог, чтобы упомянуть имя Эдека, похвалиться им:

— А вот мой сын говорит... Моему сыну этот проект не нравится... Мой сын сказал, что Мариенштат...

Товарищи уже знали за ним такую слабость. Великие строители Варшавы дерзновенно создавали планы далекого будущего, спорили, стараясь сразить оппонентов все более вескими аргументами. Они определяли будущее величие столицы социалистического государства, подсчитывали ее потребности; дома — воплощение их мысли — росли со сказочной быстротой, порою опережая самую мысль, и, возможно, поэтому иногда не все в них было продумано. Семья для этих людей отходила на второй план. А тут всем этим большим проблемам инженер С. противопоставлял какое-то незначительное существо, своего сорванца. Стоило только инженеру сказать «мой сын», как все в мастерской улыбались и обменивались понимающими взглядами. Инженер С. знал об этом и старался как можно реже произносить имя сына, но не мог удержаться от искушения. Иногда он даже пускался на выдумки. Разворачивая сверток с завтраком, который для него всегда готовила Колдуся, он как бы невзначай говорил: «Мой сын завернул мне на завтрак редиску. Он знает, что я люблю редиску, и решил сделать мне сюрприз!» На его слова никто не обращал внимания. Неприветливый, замкнутый Эдек не очень-то заботился об отце. О том, чтобы он готовил отцу завтрак, вообще не могло быть речи. Но инженеру хотелось, чтобы его товарищи думали, будто он окружен нежной заботой сына. В те дни, когда Эдек уходил в кино или в театр, инженер, склонившись над чертежной доской или над каким-нибудь планом, вдруг говорил: «А сегодня мы с сыном идем в театр», — и в голосе его звучали нотки триумфа. Закончив работу, он торопливо шел на электричку и ехал в Коморов, чтобы весь долгий темный вечер ждать возвращения Эдека.

Товарищи его обычно не ходили с семьей в кино, а если и ходили, то не придавали значения таким посещениям и даже не упоминали о них. Постепенно инженер входил в роль и на другой день пересказывал содержание пьесы или фильма, которые накануне якобы смотрел вместе с сыном. Правда, он мог судить о них только по весьма лаконичным отзывам Эдека, и его легко можно было бы уличить в неточности. Но кого могли интересовать сбивчивые рассказы старого, трудолюбивого, но такого безразличного для всех человека? Товарищи пропускали его слова мимо ушей. А инженеру иногда было даже не на что пойти в кино или в театр, чтобы проверить правильность своих скупых рассказов,— он один содержал дом и к тому же выдавал Эдеку небольшую сумму на мелкие расходы. Впрочем, содержание фильмов и спектаклей не особенно интересовало инженера, и он обходился собственным воображением.

— Нам очень понравился вчера этот фильм,— рассказывал он или вдруг говорил: — Вчерашний спектакль не произвел на нас большого впечатления.

А Эдек обычно ходил повсюду с Влодеком.

На другой день Колдуся и в самом деле привезла из Гродзиска двух белых очень красивых голубей. На первое время она устроила их в кухне, в клетке, где прежде жила канарейка. Канарейку в прошлом году растерзал кот, дотянувшийся до нее сквозь железные прутья. Птицы сидели в своем новом жилище испуганные, нахохлившиеся и как будто немного потемневшие. Они не хотели ничего есть и не клевали даже гороха, который Колдуся скрепя сердце насыпала им на дно клетки.

Эдек в тот вечер вернулся из Варшавы поздно, гораздо позднее инженера, усталый и недовольный. Только в Коморове он обнаружил, что они с Басей возвращались домой одним поездом, но ехали в разных вагонах и поэтому не встретились. И теперь у него было плохое настроение.

К великому удивлению инженера, он очень обрадовался голубям. Все трое собрались в кухне, где Эдек обычно ужинал в те дни, когда возвращался домой поздно. Склонившись над стоявшей на столе клеткой, Эдек с нежностью смотрел на птиц, губы его шевелились. Инженер внимательно наблюдал за сыном. Он видел, как с лица его постепенно сходило выражение хмурой усталости, словно легкий ветерок ласковым прикосновением сдул с него прозрачную дымку грусти. Оно снова стало по-детски нежным, и инженер вспомнил, что именно такое выражение бывало у Эдека в детстве, когда он сидел на коленях у матери. Сердце инженера сжалось от боли воспоминаний. Прежде он не баловал младшего сына излишним вниманием. Его появление на свет было неожиданным и ненужным. Стась, тогда главное лицо в доме, недолюбливал брата, ревновал к нему мать. Инженер был поглощен дочерьми. Его всегда встречали их звонкие голоса. Эдека опекала только мать. Отца он боялся, тот всегда относился к нему критически. Теперь инженеру было жаль этих потерянных лет, ведь он их почти не помнил. Он не помнил Эдека младенцем, маленьким, хрупким существом, очень жалел об этом и упрекал себя за прошлое.

Эдек словно угадал его мысли. Он неожиданно обернулся к отцу и сказал своим угрюмым безучастным голосом:

— Мама так любила голубей.

Потом он отворил клетку, по очереди брал голубей в руки, открывал им клювы и совал туда горошины. Голуби глотали их.

Инженер пошел в свою комнату, чтобы принести сыну хлеб и масло, которые остались там на столе.

— Ешь и ты,— сказал отец.

Но Эдек был занят спором с Колдусей. Оказалось, что неискушенная в этом деле кухарка купила двух самок.

— Ну как же так, Колдуся! — в голосе Эдека звучало искреннее возмущение.— Подумай только, что они будут делать одни?

— А может, к ним самец какой залетит,— возразила Колдуся,— ты его и подкараулишь.

— Ты хочешь, чтобы я крал голубей?

— Поедешь в будущую среду в Гродзиско и сам выберешь голубей,— вмешался в разговор отец,— это будет хорошим началом каникул.

— А они целую неделю должны поститься?

— Ничего, не пропадут...

— Нужно купить двух самцов, потому что голуби должны жить парами,— сказал Эдек, усаживаясь за стол.

Клетку с голубями он накрыл чистой салфеткой и теперь весело, с

аппетитом принялся за еду. Инженер сидел с ним рядом и курил. Он с радостью отметил, что по-детски непринужденное выражение, которое он заметил прежде, так и не сходило с лица сына. После ужина он угостил Эдека папиросой. Инженер знал, что сын курит, но они никогда не говорили об этом, и Эдек не решался достать папиросу при отце. Эдек радостно улыбнулся, показав все зубы, и взял из отцовского портсигара одну «крепкую». Спички были у него в кармане.

Он закурил и затянулся, морща губы, напрягая все мускулы лица,— на черты его снова упала тень грусти, глаза сузились, они глядели куда-то вверх, следя за полетом дыма; потом губы его сжались в горькой усмешке и снова раскрылись в гримасе, придававшей этому полудетскому лицу надменно-нагловатое выражение.

«Я плохо помню его маленьким, когда Хелена давала ему грудь и он засыпал, держа кулачки возле ушей,— подумал инженер,— а теперь гляжу, как он курит первую «официальную» папиросу».

— Напрасно вы даете ребенку папиросу! Ваша покойница жена никогда бы не позволила ему курить, а вы все позволяете. Собьется с пути.

«И что они сегодня все вспоминают Хелену»,— подумал инженер, но промолчал.

А Эдек улыбнулся грустно и даже чуть пренебрежительно. Отсутствующим взглядом он следил за дымком папиросы.

— Колдуся все еще считает меня ребенком,— спокойно сказал он,— а я уже не ребенок.

— Для меня ты всегда будешь ребенком,— сварливо перебила его Колдуся,— я тебя на руках носила, ты мне, случалось, и передник зализал...

«А я не помню, как носил его на руках,— подумал инженер,— Стася носил, помню твердо. Но как-то уронил его, к счастью на кровать... И с тех пор уже не брал детей на руки. И девочек не брал, а младшего и подавно... у него было такое маленькое, хрупкое тельце...»

— Ну вот еще, Колдуся,— говорил между тем Эдек,— как не стыдно вспоминать такие неприличные вещи.

Он неожиданно встал, словно стараясь стряхнуть сон, подтянул брюки, схватил портфель с книгами и пошел к себе наверх. Слышно было, как он бежит, перескакивая через две ступеньки, и вскоре наверху в светелке раздался его веселый, пронзительный свист.

Колдуся подсела к столу и задумалась. Ее сгорбленная спина, опущенные руки, морщинистое лицо выражали усталость.

— Колдуся, что с тобой — устала? — заботливо спросил инженер.

— Ничего,— вздохнула старуха,— вот она, наша жизнь...

В эту минуту, оглушительно стуча каблуками, с лестницы скатился Эдек, он резко отворил дверь в кухню и крикнул:

— Я пошел к Басе, отнесу ей «Молодую гвардию», она просила!

Он захлопнул дверь, снова отворил ее и просунул голову в кухню:

— Расскажу ей о голубях — обрадуется...

И опять хлопнула дверь, сначала в кухне, а потом в парадном. Колдуся улыбнулась.

— Дитя и есть дитя!

Инженер ничего не ответил.

Эдек не столько хотел рассказать Басе о голубях, сколько обсудить с ней план совместной поездки в Гродзиско. Впрочем, он и в самом деле заинтересовался голубями. На следующее утро Эдек встал на час рань-

ше обычного и начал что-то мастерить на чердаке. Из старого ящика он соорудил отличную голубятню, вернее, только принялся ее делать, потому что план «голубиного строительства» Эдек задумал очень широко: нужно было сделать леток, перед ним — небольшую терраску, которая закрывалась бы на ночь, накрыть ее сверху сеткой, достать где-то мисочки для воды и ящик для корма. Словом, работы было по горло. В этот день Эдек вернулся из Варшавы раньше обычного и тут же помчался на чердак, чтобы поместить там одиноких пока что голубок. На другое утро они уже сладко ворковали на своей терраске под сеткой и поглядывали в сторону Басиного дома. Голубятня была так распланирована, что голуби всегда смотрели в ту сторону, а Эдек за работой тоже краем глаза косился на Басины окна. Мастеря голубятню, он мог сквозь отверстие в клетке видеть, как за окнами соседнего домика то тут, то там мелькает знакомый силуэт. Заметив Басю, он начинал свистеть громче и веселее.

В среду они действительно выбрались в Гродзиско. Случилось это на следующий же день после окончания учебного года, в самом конце июня. На душе у Эдека было особенно легко — занятия окончились благополучно, без всяких осложнений. Проснулся он рано, в четыре часа, и спать больше не мог — на рассвете небо было ясным, но потом вдруг стало затягиваться тучами. Из своей комнаты Эдек не видел Басиных окон и не мог определить, встала ли она. Пролежав до пяти, Эдек не выдержал и пошел к голубям. Он откинул доску, и птицы стали прогуливаться по ней взад и вперед, кивая маленькими гладкими головками и надуваясь от важности. Иногда они встречались посередине и равнодушно отскакивали в разные стороны, уступая друг другу дорогу. Из своего наблюдательного пункта Эдек заметил, что у Баси все еще спят — окна были закрыты, белые занавески задернуты. Занавески светились в лучах утреннего солнца. Но, увы, эти лучи вскоре исчезли

Эдек вернулся в свою комнату, он с тоской поглядывал на небо, которое постепенно затягивалось серыми тучами, а вернее, сплошной серой завесой. Напрасно он утешал себя поговоркой Колдуси, утверждавшей, что «утренний дождь — девичьи слезы». Завеса становилась все гуще и гуще, и наконец заморосил частый, мелкий дождик. Под серым сплошным покрывалом появились подвижные зеленоватые тучки, и часам к шести дождь разошелся вовсю.

Несмотря на это, в половине седьмого Эдек, набросив накидку, вышел на улицу. Бася уже поджидала его на пороге своего дома с огромным старым зонтиком в руках. Она громко смеялась.

— Охота пуще неволи! — закричала Бася, еще не успев поздороваться с Эдеком.

— Без труда не вынешь рыбку из пруда,— не совсем к месту ответил Эдек.

Они быстро зашагали к станции. В Варшаву поезда шли переполненные. Те же, которые направлялись в противоположную сторону, были свободнее. Но в Коморове вместе с Басей и Эдеком в вагон вошло много женщин с корзинами и мешками — они ехали за покупками на рынок. В Новой Вси, а особенно в Подкове этих путешественниц стало еще больше. Все они знали друг друга, громко здоровались, разговаривали, шутили с проводниками, толковали о ценах, уговаривались вместе возвращаться домой. За Подковой на каждой станции их шумное сборище все увеличивалось, и постепенно в вагоне стало очень тесно.

Бася и Эдек стояли на передней площадке второго вагона, окруженные плотной стеной веселых кумушек. Они робели и чувствовали, что эта робость и смущение как бы отделяют их от всех остальных.

Впервые они стояли так близко друг к другу, в тесноте вагона их руки, их тела невольно соприкасались. Случайно взглянув на Басю, Эдек прямо перед собой увидел ее темно-зеленые с золотыми крапинками глаза. Вблизи ее сочные, свежие губы казались еще соблазнительнее. Они приоткрылись в несмелой улыбке.

Какой-то старый железнодорожник, стоявший в углу, саркастически заметил:

— И откуда их столько берется, этих баб?

Толстая хозяйка, только что влезшая в вагон с двумя пустыми корзинками, полушутя, полусерьезно обрушилась на железнодорожника.

— Только не бабы, только не бабы!— громко сказала она.— Мы вас дедами не называем.

Потом она оглядела тесно стоявших пассажиров и, заметив Басю, добавила с широкой улыбкой:

— Тут есть даже очень хорошенькие барышни.

Эдек взглянул на толстуху с благодарностью, а Бася покраснела.

— Понимает толк,— шепнул своей спутнице Эдек. Бася хотела сделать пренебрежительный жест, но не могла шевельнуть рукой, для этого в вагоне было слишком тесно. Почувствовав нерешительное движение ее ладони, Эдек взял Басины пальцы в свои. Она спокойно высвободила руку, даже не взглянув на него. Эдек огорчился.

Дождь стучал в окна, оставляя на них следы маленьких круглых капель, вода струилась по грязным стеклам. К концу поездки небо немного прояснилось.

Так они добрались до Гродзиска. Вагоны остановились, и бабы гурьбой высыпали на размокшую улицу. Возле самых путей были продолговатые лужи — приходилось через них перескакивать. Со всех сторон к рынку подъезжали возы, слышались громкие, визгливые голоса. Придерживая упряжки, кого-то громко кляли возчики.

Эдек соскочил первым и подал руку Басе. Они зашагали по тротуару в толпе приехавших баб. На каждом шагу приходилось обходить лужи.

— Ты знаешь, где продают голубей? — спросила Бася.

— Конечно! — кивнул головой Эдек.

Голубиный рынок был расположен в изгибе одной из привокзальных улиц. Рядом торговали кроликами. Из развязанных мешков выглядывали серебристые шиншиллы; животные ежились под дождем, прижимались друг к другу, образуя большой пушистый клубок. Тут же в клетках сидели ангорские кролики, легкие и воздушные.

За продавцами кроликов стояли голубятники. Всех их — несмотря на разнообразие одежды и различие профессий — объединяло общее выражение лица. Казалось, их совсем не занимало то, что они видят перед собой, взгляды их словно хранили еще частицу отраженного неба. И даже неподвижность шеи (профессиональная болезнь голубятников) выражала их извечное стремление взглянуть вверх, желание оторваться от обыденности окружающего.

В тот самый момент, когда наша пара подходила к рынку, один из голубей вдруг вырвался и взмыл вверх. Задрав, как по команде, головы, присутствовавшие следили за полетом птицы. Голубь сел на крышу, и головы опустились.

В тесных клетках пенился белый пух. Иногда среди всей этой белизны можно было встретить какого-нибудь «негра», или вдруг попадался отличный светло-коричневый экземпляр с радужными перьями на горлышке. Птицы вели себя на редкость кротко и спокойно, чего нельзя было сказать о продавцах.

— Что вы, что вы! С луны свалились? Пятнадцать злотых за такого воробья?

— Посмотрите, возьмите его в руки — увидите, какой он легкий!

Бася удивилась.

— Значит, голубь должен быть легким?

— Наверно,— отозвался Эдек, который тоже слышал об этом в первый раз.

— Эй, пани, пани, купите самку для вашего самца! — зазывал высокий человек в потрепанной военной форме.

Дамочка в кружевном шарфике смущенно улыбалась — в руках у нее был сизый голубь.

— Ты что женщине голову морочишь,— вмешался в разговор почтенный пожилой столяр,— не видишь, что ли,— у нее не самец, а самка?

Дамочка с робкой улыбкой поглядывала то на одного, то на другого. Должно быть, она покупала голубей к обеду, но здесь, в кругу любителей, не решалась в этом признаться. Тогда никто из них не продал бы ей птицу.

Эдек и Бася, попав в эту толчею, сразу притихли. Эдек понятия не имел, как приступить к делу. Наконец обратился к пареньку, примерно одного с ним возраста, который внушал доверие:

— Слушай, друг, я бы купил двух самцов, только самых лучших.

— Здесь все самые лучшие,— скаля зубы, сказал паренек,— других не держим!

Но, видимо, юный продавец почувствовал симпатию к Эдеку, а может быть, ему понравилась Бася, только он вдруг изменил тон, толкнул своего покупателя локтем и доверительно прошептал:

— Шагай за мной. Там у меня настоящий товар, для любителей.

Следуя за пареньком, Эдек и Бася вскоре выбрались из шумной базарной сутолоки и вошли во дворик расположенного неподалеку дома. Здесь под охраной какого-то юнца стояли клетки и корзины, накрытые брезентом.

— Олек,— обратился к нему продавец,— дай-ка два ореха для приятеля.

Мальчишка, не говоря ни слова, нагнулся и, просунув руку сквозь прутья клетки, бесцеремонным движением выволок оттуда двух перепуганных белоснежных голубей.

— Вот это товар! — сказал продавец, беря у Олека птиц и передавая их Эдеку.— Держи, держи,— добавил он, видя, как неловко Эдек взял голубей.— Еще упустишь такое сокровище...

Эдек показал голубей Басе, они, вдвоем склонившись над птицами, принялись осторожно разглаживать взъерошенные перышки. Волосы Эдека выбились из-под шапки и коснулись Басиного лица. Она отвела их рукой; глаза молодых людей встретились.

Глядя на Басю, Эдек покраснел.

— Мировые голуби! — сказал он, снова переводя взгляд на птиц.— Самочки теперь обрадуются.

Они вернулись домой, нагруженные голубями, потому что Бася купила еще пару «за свой счет» и отдала их на попечение Эдека.

— Ну и работы у меня теперь,— говорил он на обратном пути,— буду стеречь твоих голубей и моих — твоих детей и моих,— и Эдек рассмеялся, а Бася вдруг стала серьезной.

— Хорошо, что уже начались каникулы,— сказала она.

Вначале Эдек усиленно занимался голубями, кормил их, выхаживал. Влодек дал ему еще двух птиц. Через несколько дней все они освоились, летали вокруг дома, садились на крышу, а в полуденный час слы-

шалось их нежное воркование. Бася уехала на две недели — на первую половину июля — к тетке в Стрыков. Эдек сперва делал вид, что ему это безразлично, и по-прежнему занимался голубями, но потом бросил их на произвол судьбы.

— А как же голуби? — напоминала ему Колдуся.

Эдек только отмахивался.

— Ты не должен их забывать. Голуби не только твои, но и Баси, и Влодека. Подохнут с голоду.

— Не подохнут,— отвечал Эдек и нехотя плелся наверх, неся птицам хлеб и зерно. С тех пор как уехала Бася, у него ни к чему здесь не лежала душа. Все две недели он вел какую-то странную, сонную жизнь. Жизнь эта казалась Эдеку тем более странной, что отец, занятый на строительстве МДМ *, возвращался домой поздно, очень усталый.

Погода между тем стояла солнечная, жаркая. Эдек вместе с Влодеком уходили на целые дни к глиняным карьерам, расположенным между Коморовом и Прушковом. Побултыхавшись в воде, они часами загорали на солнце, иногда лениво перекидываясь словами.

Когда инженер возвращался вечером домой, Колдуся докладывала ему с деланным равнодушием:

— Наш хлопец спит на ходу, как осенняя муха.

— Ну, а голуби, голуби? — спрашивал инженер.

— Какие там голуби! Он на них и не смотрит.

Влодек и Эдек не разговаривали о Басе. Чаще всего они лежали молча, грелись на солнце. Но всякий их разговор неизменно касался женщин. Сам Эдек мало говорил о том, что его больше всего интересовало, но умел немногими словами вызвать Влодека на откровенность. Впрочем, это было не трудно. Все мысли его старшего друга шли по тому же руслу, только в противоположность Эдеку он не отличался ни стыдливостью, ни сдержанностью.

— И зачем ты отпустил ее в Стрыков? — спрашивал Влодек.— Я бы никогда не разрешил ей этого.

— А почему?

— Как почему? Ведь сейчас самое подходящее время — каникулы.

— Опять ты за свое.

— Не понимаю, чего же ты хочешь от женщины?

Эдек не ответил. В отличие от Влодека он не мог бы сказать со всей определенностью, чего именно он хочет от женщины.

— Надо только решить, хочешь ты или нет,— после долгого молчания сказал Влодек,— и тогда действовать.

Они опять замолчали. Солнце жгло так, что их тела пахли горячим потом.

— Я уже давно решил, что возня с бабами ни к чему,— продолжал Влодек.— Зачем мне они? Ну а ты?

Эдек боялся признаться Влодеку, что вовсе не знает, должен ли он решиться или нет, и, в общем, не совсем понимает, что Влодек хочет сказать. Он чувствовал, что все эти дни, не видя Баси, тоскует так, как еще никогда не тосковал. Ничто его не трогало, все стало безразличным, даже голуби — пускай подыхают! У него было только одно желание — снова видеть Басю, ее улыбку, руки или просто знать, что в любую минуту он может ее встретить возле дома или в вагоне электрички.

Эдек сел, вынул из кармана спортивных трусов голубую расческу, всегда бывшую у него под рукой, и принялся расчесывать свои длинные волосы, хотя они и без того были гладкими и блестели, как шелк.

---

* Мурановский жилой район в Варшаве.

Влодек, который лежал на животе, прижавшись щекой к песку, бросил на него сонный взгляд.

— Ну, что ты решил? — снова повторил он.

— Конечно, мне бы хотелось...— пожал плечами Эдек.

— Ну тогда не будь дурачком. Ты меня, брат, слушай, а то все проморгаешь. — В голосе Влодека послышалось оживление.— И знаешь что?

— Ну, что? — равнодушно спросил Эдек, не глядя на товарища и снова не спеша укладываясь на песок.— Опять ты за свое.

— Давай поедем к ней в Стрыков! — неожиданно выпалил Влодек.

— Зачем? Ведь она через неделю вернется.

— Вернется? А может, не вернется? Зачем же она туда поехала?

— Да так, к какой-то тетке. Там у них, как в деревне...

— Знаешь, в такой дыре это всегда проще,— убежденно сказал Влодек,— выпьем водки...

— Не буду я поить Басю водкой,— возмутился Эдек,— ты ни черта не понимаешь!

— Не понимаешь, не понимаешь,— пискливо передразнил Влодек.— Мужчина мужчину всегда поймет.

— А может быть, и правда съездить? Не знаешь, далеко этот Стрыков?

— За день обернемся. А может, на ночь оставят. Ну как, едем?

— Ладно, как хочешь. Давай поедем.

Бася жила в Стрыкове — станции на пути к Доброй и Лодзи. Дом стоял на самой окраине, за мельницей и костелом мариявитов *. Тетка ее была замужем за бывшим подручным мельника. Муж тетки еще до войны купил здесь хату и кусок земли, где посадил большой сад. В хате были две комнаты, разделенные сенями. В одной из них стояла кухонная плита.

Бася скорее смутилась, чем обрадовалась, увидев нежданных гостей. Было еще утро, ребята выехали из дому самым ранним поездом.

Бася как раз разжигала огонь в плите. Зажав в руке лучинки, она пыталась отвести падавшие на глаза пряди волос.

— А вы откуда взялись? — спросила она, не подымаясь от плиты.

— Хорошо же ты встречаешь гостей, нечего сказать,— с чувством произнес Влодек, хотя видно было, что слова Баси его ничуть не обескуражили. У плиты стояла полная женщина.

— Тетя,— обратилась к ней Бася,— это мои товарищи.— Она поднялась и переложила спички и щепки из правой руки в левую.

— Батюшки, какие ранние гости,— озабоченно проговорила тетя Сабина, впрочем голос ее звучал довольно приветливо.— Ну что ж, садитесь кто где может, сейчас будет молоко.

— Мы тоже не с пустыми руками,— сказал Влодек, положив на кухонный стол туго набитый портфель.

— Уж, наверно, Колдуся о своем Эдюше позаботилась,— улыбнулась Бася.

— Не одна Колдуся такая заботливая. Моя мать тоже чего-нибудь да стоит,— возразил Влодек.

Он сел и принялся вынимать из сумки сваренные вкрутую яйца, помидоры, свежие огурцы, булочки.

---

* Католическая секта.

— Смотрите, панна Бася, вот это завтрак!

Тетя Сабина умилилась.

— Ай да гости! Не с пустыми руками пришли! — с уважением сказала она.— Завтрак хороший. А что пить будете, чай или молоко?

— Лучше дайте им молока, оно полезнее,— попросила Бася.

— Ну что за польза от молока с помидорами...— заметила тетя Сабина, но все-таки поставила перед гостями две большие кружки с молоком. Влодек подмигнул приятелю.

Эдек сидел за столом и, не смея поднять глаз на Басю, молча разглядывал свою кружку. Он стыдился теперь своего внезапного приезда. Ему казалось, что Бася и даже ее тетка сразу же догадались, зачем его сюда привез Влодек. А сама Бася в этой домашней обстановке показалась ему такой милой, она держалась так просто, по-товарищески, что все их разговоры с Влодеком представились ему не только дурацкими, но и, честно говоря, подлыми.

Бася тотчас же заметила, что Эдек молчит, будто в рот воды набрал, и даже не глядит в ее сторону. Она только плечами пожала и все свое внимание перенесла на Влодека. Этот обходительный, разговорчивый молодой человек очень понравился тете Сабине, она считала его более важным гостем, кавалером своей племянницы и радушно угощала молоком, хлебом и колбасой, которая хранилась у нее в простом некрашеном буфете.

— Муж пошел на мельницу,— сказала тетя Сабина и добавила неуверенно: — Скоро придет.

Эдеку было немного обидно, что никто не обращает на него внимания. И хотя Влодек время от времени ему подмигивал, он сидел, не поднимая головы, и молча пил ненавистное молоко. Обратив, наконец, внимание на его унылую физиономию, Бася спросила:

— Ну, а как наши голуби?

— Да никак! — ответил Эдек таким басом, что тетя Сабина взглянула на него с удивлением.

Бася ждала, не скажет ли он еще чего-нибудь о голубях. Но Эдек не прибавил ни слова, он только вытянул во всю длину ноги, достал из кармана брюк портсигар и закурил.

— Такой молодой и уже курит,— заметила тетя Сабина.

— А он давно курит,— пояснил за товарища Влодек,— ему отец разрешил.

— Отец его балует,— добавила Бася,— он у него один.

— И совсем я не один,— снова басом отозвался Эдек.— У меня есть старший брат — Стась...— добавил он помолчав.

— Брат? — заинтересовался Влодек.— А я и не знал! Где он?

— В Катовицах, правда? — сказала Бася.

Но Эдек не ответил.

Влодек забеспокоился. Он больше не подмигивал Эдеку, но всячески старался вовлечь его в разговор и, болтая всякий вздор, то и дело обращался к Эдеку, призывая его в свидетели: «Правда, Эдек? Ну, скажи! Ведь верно, брат?» — приговаривал он, но это не помогало. Эдек по-прежнему молчал, но ел очень охотно.

Их беседу прервала Басина подружка, очень забавная, кокетливая провинциалка. Она пришла под каким-то предлогом, но сразу было понятно, что весть о приезде гостей мгновенно сделалась достоянием всех соседей и что приезжие молодые люди — главная причина ее визита. Анеля тоже не обратила на Эдека ни малейшего внимания и целиком занялась «остроумным» и разговорчивым Влодеком. Эдек становился все мрачнее. Наконец Бася предложила пойти на Мощеницу.

— А что это за Мощеница? — спросил Влодек.

— Речка наша,— отозвалась Анелька.— Пойдем, денек сегодня хороший.

— А речка хорошая? — поинтересовался Влодек.

— Да так, ручеек узенький,— пожала плечами Бася.

Гости вышли из дому первыми и на минутку остались наедине. Девушки задержались в комнате.

— Ну и растяпа ты, брат,— Влодек ткнул приятеля кулаком в бок.— Ты зачем сюда приехал?

— Это ты меня сюда притащил,— мрачно отвечал Эдек.— Я и сам не знаю, зачем приехал.

А день и правда был отличный. Дул теплый ветерок, по небу медленно плыли облака.

— Вот жара! Будто в июле,— пошутил Влодек.

Молодые люди были без пиджаков, Эдек в шелковой рубашке в полоску — подарок отцу из-за границы, девушки в светлых платьях. Трава на заливных лугах у Мощеницы, один раз уже скошенная, стелилась, как бархат, и сверкала зеленью. За лугами шли перелески, а дальше, к Скошеву, волнами поднимались холмы с пятнами кустарников и силуэтами диких груш. Еще звенели песни жаворонков. На далеких холмах светлели полосы созревающей ржи, желтел лупин. С полей долетал сладкий аромат, аромат молодости.

Влодек с Анелей ушли вперед. Анеля была в восторге, но, кокетничая с Влодеком, то и дело оглядывалась на Басю — не сердится ли она. Эдек и Бася остались вдвоем. Девушка молча грызла какую-то травинку. Потом они уселись на лугу под сосенкой.

— Зачем ты приехал? — спросила вдруг Бася.— Ведь через неделю я буду дома.

— Да так. Скучно мне было. А Влодек уговорил.

— И что это ему вдруг пришло в голову? Всегда что-нибудь придумает. Ведь мы с ним почти незнакомы.

— А ты сразу в него влюбилась! — басом и совсем не глядя на девушку, выпалил Эдек.

— Я? Да кто тебе сказал? Вот уж, действительно!

— Никто. Сам только что видел!

— Да это тебе приснилось!

— Вон ты как обрадовалась — будто жених к тебе приехал. Угощала его...

— ...из ваших же запасов. А что мне было делать?

— Тетка и колбасы ему не пожалела...

— Я и не знала, что ты такой мелочный. Если ты намерен продолжать в том же духе,— Бася нахмурила брови,— лучше бы совсем не приезжал.

Эдек, не говоря ни слова, встал и пошел обратно. Бася посидела еще минутку, сердито глядя в его сторону. Потом бросилась вдогонку.

— Эдек! Эдек! — звала она.

— Чего тебе? — остановился он.

— Не валяй дурака! Ну что с тобой? Ну?

Бася схватила его за руку и старалась заглянуть в глаза.

— Хватит дуться! — погрозила она пальцем.— Потом будешь жалеть!

Эдек заулыбался.

— Ну идем! — продолжала Бася.— Догоним наших!

И они пошли, беспечно болтая, как в тот день, когда ездили за голубями.

А Влодек тем временем громко разглагольствовал, лежа под деревом на опушке леса:

— Я, панна Анеля, не признаю никаких организаций. Это меня связывает. Предпочитаю быть свободным. Ну, скажем, в отношениях с женщинами... вы меня понимаете? Они в ЗМП * любят вмешиваться буквально во все. А я хочу быть свободным, люблю менять женщин...

— И часто вы это делаете? — заинтересовалась Анелька.

— Что? — не понял Влодек.

— Ну, с этими женщинами... часто вы меняете женщин?

— Все зависит от обстоятельств,— уклончиво ответил Влодек.

— А давно вы ухаживаете за Басей?

— Я? За Басей? Это Эдек, мой товарищ, влюблен в панну Басю...

— Эдек? А не вы? — Анелька воодушевилась, придвинулась к Влодеку чуть ближе.— Ну, а Бася что?

— Откуда я знаю? Я ее не спрашивал!

— И что она в нем находит? Какой-то молокосос!

— Конечно! Он совсем ребенок. Нет еще никакого подхода, то ли дело я...

С этими словами Влодек обнял Анельку, пытаясь ее поцеловать. Но девушка вырвалась.

— Как вам не стыдно, пан Влодек! — сказала она, впрочем без особого возмущения.

В эту минуту подошли Эдек и Бася.

Домой вернулись вчетвером. Время было обеденное. Тетя Сабина с Басей накрыли на стол в соседней комнате, где стояли две высоко застланные кровати. Из буфета достали тарелки, рюмки. Эдек помогал Басе. Вернулся домой и дядюшка: волосы у него на лбу слиплись, по лицу струился пот. Он жаловался на жару.

— Где ж ты пропадал до сих пор? — довольно строго спросила тетя Сабина.

— На мельнице был, Сабинка, на мельнице,— робким голосом отозвался муж.

— А с мельником далеко ходил?

— Да нет, Сабинка, нет, золотце,— мялся дядя.

Влодек с Анелькой сидели на скамеечке под окном и флиртовали. Тетя Сабина принесла из кухни большой кусок ветчины, налила вишневки в разноцветные рюмки.

— Прошу к столу,— пригласила она, усаживаясь первая.— Садись и ты, Анелька, с нами. Погуляли — аппетит должен быть. Молодым все в охотку.

— Смотря что, смотря что, старая,— улыбнулся дядюшка, опрокинул рюмку и вытер рот.

После обеда Эдек и Бася погуляли немного возле дома.

— И зачем ты здесь сидишь? — спрашивал Эдек.— Ведь тут так скучно.

Бася посмотрела на него с удивлением.

— Неправда. Дядя с тетей меня любят. Здесь очень хорошо. И красиво...

— В Коморове лучше,— лаконично возразил Эдек.

— О нет, Стрыков — деревня, настоящая деревня,— не соглашалась Бася.

Так время и шло. Целый день они слонялись возле хаты, пили, ели,

---

* Союз польской молодежи, существовавший в 1948—1956 гг.

а в пыльные сумерки пошли на станцию. Девушки провожали молодых людей.

— Приезжайте к нам почаще,— говорила им Анелька на прощание уже на станции, когда они ожидали поезда из Лодзи.— У нас такая глушь, такая скука! Все-таки вы — столичные гости!

— Тоже мне столица — Коморов! — буркнул Эдек. Бася ничего не говорила. Она только уверяла, что через неделю вернется.

— Передайте, пожалуйста, маме, что я на будущей неделе приеду!

— А вы приедете? — обратился Влодек к Анельке.

— Я приеду 22 июля * на слет передовиков труда.

— Я и не знал, что вы такая передовая! — рассмеялся Влодек.— И в чем это вы так преуспели?

Подошел поезд, началась давка. Толпа пассажиров разделила молодых людей, и они оказались в разных вагонах. Вечер был теплый, пыльный.

Когда они приехали в Варшаву и переходили на другой путь к электричке, Влодек взял приятеля под локоть:

— Знаешь, с этой Анелькой можно попробовать...

Эдек по своему обыкновению молчал.

— А ты что? К чему столько сентиментов? Это было модно сто лет назад. Сам не знаешь, чего хочешь.

— Вот именно,— после долгого молчания отозвался Эдек.— Я и сам не знаю, чего хочу!

— Разиня ты, братец,— безапелляционно заявил Влодек.

Эдек наморщил лоб, словно решая для себя что-то очень важное.

— А ты свинья,— ответил он наконец, когда они уже вошли в вагон электрички.

Влодек, казалось, вовсе не обиделся на эти слова, принял их за дружескую шутку... Но смеялся он долго и зло. Приятели расстались холодно.

Всю неделю после возвращения из Стрыкова, до самого приезда Баси, Эдек провел очень глупо. Он и сам бы не смог сказать, что делал,— спал, валялся на кровати одетый, делая вид, что читает. К обеду он не спускался, хоть Колдуся и звала его, а один раз даже сама кряхтя поднялась наверх. Тяжело дыша, она присела на краешек кровати.

— Ты что, никак заболел? — спросила она.

Эдек пробормотал что-то невнятное.

— Мало тебя отец порол...— философски заметила Колдуся.

Эдек молча лягнул ногой стену, у которой лежал.

— Не злись, не злись,— с трудом поднимаясь, сказала кухарка,— злость красоту портит.

В дверях Колдуся остановилась и сокрушенно покачала головой. Эдек, чтобы не видеть ее жалостливых взглядов, отвернулся к стене.

— Обедать будешь? — спросила она чуть ласковей.

Эдек не отзывался.

— Как хочешь,— сказала старуха прежним суровым тоном,— дело хозяйское. Не хочешь есть — подыхай с голоду. Мне-то что. Только вот пана инженера жалко...

И вышла, громко хлопнув дверью.

Вечером Колдуся вошла в комнату к инженеру, занятому какими-то

---

* День национального праздника Возрождения Польши.

важными расчетами, он поднял на нее усталый взгляд. Приход Колдуси оторвал его от дела.

— Сил моих больше нет,— сказала кухарка, подсаживаясь к письменному столу, который одновременно служил обеденным.— Уж так любит, так любит... Не знаю, что и делать. Сегодня и обедать не стал.

— Будет тебе, Колдуся, сочинять,— нетерпеливо перебил ее инженер.— Какая там любовь — просто детская выдумка. Ведь он совсем еще мальчик...

— Вот вы мне не верите, а я правду говорю. А вы сами никого не любили в его годы?

— Ты же знаешь, что не любил.

— Ага, не любил. Любил да забыл.

— Может, и правда забыл.

— А я вот любила одного... Бывало, как увижу его, так меня и затрясет. Будто электричеством дернет.

— А где сейчас Эдек?

— Почем я знаю. Пропадает где-то целыми вечерами. А ходит, будто ноги у него ватные. Это от слабости.

— Что же он делает целый день?

— А ничего. Встанет — ляжет, ляжет — встанет. Весь день молчит, а если ответит, то так, будто я собака какая... Никогда он таким не был.

— Когда же эта Бася приедет?

— Кажется, в воскресенье. Ихняя дворничиха говорила.

— И ты думаешь, он переменится?

— Да кто его знает. Несмелый он больно. Влодек говорил Магдалене — дворничихе-то ихней,— как приехали тогда в Стрыков, ни словечка от него не услышали. Молчал, как бирюк, так что Влодек чуть не умер со смеху.

— Ничего смешного не вижу.

— Вот и я говорю. Не умеет он к женщине подойти. Как дитя малое. Сказать ничего не может, а душа у него горит. Ох, пан инженер, горе мне с ним, да и только!

— Мне тоже не сладко.

— Влюбчивые у вас дети, просто беда.

Инженер поморщился.

— Хватит, Колдуся, мне нужно закончить к завтрашнему дню важный расчет. А ты тут всякой ерундой голову морочишь.

Колдуся поднялась со стула:

— Может, вы чаю хотите?

— Поставь, пожалуйста, чашку на стол. Ночью выпью.

Колдуся зашлепала в кухню и вскоре вернулась с чашкой чаю.

Пока она ходила, инженер так и не взялся за работу. Он сидел в кресле, задумавшись, прижав к губам карандаш. Брови его сошлись в горестной складке. Он бросил взгляд на стены, где снова висели фотографии дочерей.

— А как голуби? — спросил он Колдусю.

— И не глядит на них. Третий день сама кормлю.

Тут в комнату вошел Эдек. Ботинки его были покрыты пылью, в руках он держал измятую кепку.

— Добрый вечер,— сказал он едва слышно и сел в кресло. Не глядя на него, Колдуся демонстративно удалилась в кухню.

Инженер помолчал минутку. Делая вид, что снова вернулся к своим расчетам, он машинально передвигал бегунок логарифмической линейки. Потом поднял голову и взглянул на Эдека.

— Почему ты не обедаешь?

— Так, неохота, нет аппетита... А вообще-то я ем...

— Колдуся говорит, что нет.

— Вечно она чем-нибудь недовольна!

— Видишь ли, для нее это личное оскорбление. Будь добр, не создавай в доме беспорядка.

— Какой же это беспорядок?

— Но ведь ты регулярно не обедаешь...

— У тебя буржуазные предрассудки,— сказал Эдек и поднялся с кресла. Стоя у открытого настежь окна, он смотрел в темноту ночи.

— Разве привычка обедать в одно и то же время — буржуазный предрассудок?

— Смотря что за этим кроется! — иронически сказал Эдек и ударил кепкой по ладони.

— Зачем ты поднимаешь пыль? Где ты был?

— Да так... прошелся немного. Ходил к кирпичному заводу.

— Один?

— Один. А с кем мне ходить?

— Ну, скажем, с Влодеком...

— Влодек — пошляк.

— С каких это пор мой сын стал таким разборчивым?

— Оставь меня в покое, отец,— неожиданно дрогнувшим голосом сказал Эдек.

Инженер удивился.

— Ты что-нибудь ел вечером? — спросил он.

— Нет.

— Может, выпьешь чаю? Вот Колдуся только что налила...

— Хорошо,— сказал Эдек, беря в руки чашку.

— Может, съешь что-нибудь?

— Колдуся всегда приносит мне ужин наверх...

— Вот видишь, а ты ее огорчаешь. Поверь мне, в этом нет смысла.

— Я знаю,— Эдек стоял теперь по другую сторону стола и выразительно глядел на отца,— я знаю, что это не имеет смысла. А разве жизнь вообще имеет какой-то смысл?

Инженер пожал плечами.

— Конечно, такая жизнь, как твоя, едва ли имеет смысл. Ты полностью подчинил ее эгоистическому чувству. У тебя нет никаких общественных интересов.

— Любое чувство можно назвать эгоистическим,— заметил Эдек и поставил нетронутую чашку на окно. Потом спокойно, словно думая о чем-то постороннем, добавил:— Конечно, если это чувство настоящее.

Инженер вздохнул.

— Я тебе надоел, правда? — снова с каким-то вызовом спросил Эдек.

— Нет, но у меня еще много работы к завтрашнему дню...

— Ну, тогда я удаляюсь,— уже веселее сказал Эдек.— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! А когда ты наконец нарисуешь обещанные сосны?

Эдек задержался в дверях.

— Дня через два,— не задумываясь, ответил он.

Слышно было, как он вышел в кухню, затопал по лестнице, наконец шаги его раздались наверху, над самой головой отца. Оторвавшись от расчетов, инженер долго прислушивался. Вот Эдек снял один

ботинок, громко стукнув им, потом другой, тихо в носках подошел к столу, который стоял у окна, и отодвинул стул.

— Ест,— сам себе сказал инженер и мягко улыбнулся.

Потом, отрешившись от всего постороннего, он снова взял в руки карандаш и линейку.

В воскресенье Бася не приехала. Эдек допоздна слонялся возле станции. Инженер и Колдуся давно спали, когда он вернулся к себе — двери в таких случаях оставляли открытыми. Эдек, не раздеваясь, бросился на постель и долго лежал без сна.

— Совсем спятил,— сказал он себе.— Дальше так продолжаться не может. Надо с этим покончить.

И в самом деле, новый день Эдек начал совсем в другом настроении. Вместе с Колдусей он спокойно позавтракал в кухне. Потом принялся чинить перегоревшие пробки. Он только что вставил новые проволочки, когда за окном раздалось:

— Угу! Угу!

— Что за черт? — спросил Эдек, не отходя от счетчика.

— Черт не черт, а барышня приехала,— ответила старуха, глядя на Эдека с какой-то особой улыбкой.

Эдек побагровел, но не двинулся с места.

— Барышня идет! — крикнула Колдуся в окно.— А наш Эдек пробки чинит. Не может выйти.

В кухне появилась Бася.

— Почему ты вчера не приехала? — спросил Эдек, продолжая работу и даже не поздоровавшись.

— Дядя с тетей меня задержали. Вчера в лесу под Добешковом было гулянье.

— В лесу?

— Ну да, такое гулянье! С ума сойти!

— И кавалеры были?

— Конечно. Студенты приехали из Лодзи.

— Студенты? Взрослые?

— Ясное дело, не школьники.

— А Влодека ты уже видела?

— Видела. Он к карьерам пошел. Может, и мы пойдем?

— Иди, если тебе охота!

— Боже, какой ты несносный!

Наконец пробки были в порядке. Эдек соскочил с тумбочки.

— Ну, как дела? — спросил он Басю, а потом предложил: — Пойдем ко мне!

— Туда, наверх? — заколебалась Бася.

— Ну конечно! Не хочешь?

— Я еще совсем не знаю вашей квартиры. Покажи мне, что у вас здесь, внизу.

— Тоже мне квартира! Внизу кухня, передняя, кабинет отца... Пойдем, я покажу тебе его проекты.

Они вошли в большую комнату.

— Вот видишь, это папины проекты,— оживившись, показывал Эдек развешанные на стенах в рамках и под стеклом рисунки.— Вот театр. Огромный, на три тысячи зрителей.

Бася рассмеялась:

— Театр? Очень похож на коробку для шляп, правда?

— Ты ничего в этом не понимаешь!

— Конечно! А где построили такой театр? В Варшаве?

— Нет, это просто проект. Папина фантазия. Сейчас таких театров не строят.

Бася остановилась возле окна.

— А какой вид отсюда! Здорово придумано — сделать здесь окно. Я и не знала, что у нас, в Коморове, может быть так красиво. Эти сосны очень живописны...

— Я должен их нарисовать,— припоминая свое обещание, кивнул Эдек,— нужно будет как-нибудь собраться.

— А наш дом от вас не виден?

— Только из моей комнаты и из ванной. Хочешь посмотреть?

— Нет.

Эдек подошел к Басе. Она по-прежнему стояла у окна и разглядывала сосны, но, конечно, тотчас же почувствовала его приближение. Эдек знал об этом. Сердце его стучало, словно молот.

— Эдек, не будь таким,— тихо попросила Бася.

— Каким? — произнес он сдавленным голосом. .

— Ну, таким, как в Стрыкове. Каким был только что в кухне.

— Не понимаю, каким?

— Сам знаешь. Холодным, чужим. И все время молчишь. Если бы ты знал, до чего ты мне таким не нравишься.

— А если бы ты знала, как ты мне нравишься...— еще глуше сказал Эдек и, склонившись к Басе, поцеловал ее в шею.

— Что ты делаешь? — воскликнула Бася и повернулась к Эдеку. Он протянул к ней руки, привлек к себе.

— Любишь?

— Ну конечно!

Эдек еще крепче обнял Басю и поцеловал ее в сжатые губы.

Все остальное время до 22 июля прошло быстро. Только Эдек заметил, что Бася избегает оставаться с ним наедине. На все прогулки она непременно тащила Влодека, а потом и Анельку, приехавшую в Коморов, перед тем как отправиться в Варшаву на слет.

К Эдеку Бася с тех пор не зашла ни разу и вызывала его на улицу условным кличем «Угу! Угу!».

В день торжественного открытия МДМ Бася и Эдек с самого утра были в Варшаве. День выдался жаркий, солнечный, голубой. Эдек и Бася не пошли на демонстрацию со своими школами. Когда инженер выразил свое удивление по этому поводу, Эдек только пожал плечами. Но теперь после демонстрации им с Басей вдруг стало досадно.

Их взволновал этот марш молодости — шумной, веселой, смелой.

— Смотри, у всех светлые волосы.

— Только слишком длинные,— баском спокойно заметил Эдек.

И в самом деле, ветер взъерошил длинные волосы юношей, и они топорщились, как солома на сельских крышах.

— Но ведь в наших деревнях скоро не будет ни одной соломенной крыши,— сказал Эдек Басе, когда ей на ум пришло такое сравнение.

Волны молодежи залили широкую белую площадь Конституции, зазвучали слова присяги. Эдек сразу сделался серьезным.

— Вот здорово, Баська! — сказал он, взяв ее под руку.— И мы с ними, правда?

— Прежде всего ты должен вступить в организацию. Нельзя оставаться в стороне,

— Зато я очень солидный,— пошутил Эдек.

Схлынули потоки молодежи, в ритме танца шли по площади художественные коллективы, с лесом знамен прошли спортсмены, прекрасные, как изваяния.

Наконец шествие закончилось — Бася и Эдек остались вдвоем. Они стояли посреди огромной площади и держались за руки. Было уже очень поздно. Они внезапно почувствовали, что проголодались.

Молодые люди хотели было двинуться домой, но вдруг на пустой площади заметили маленького трехлетнего мальчугана. Он шел, ни на кого не глядя, и ревел во все горло. Щечки его покрылись ярким румянцем, уши стали пурпурными, из глаз катились большие светлые капли; малыш отчаянно всхлипывал, то широко раскрывая рот, то снова плотно сжимая губы.

Бася тотчас же подскочила к мальчику и, присев на корточки, остановила его, а вернее, он сам налетел на нее и тотчас же крепко обнял за шею.

— Хочу к маме, к маме,— всхлипывал мальчуган.

Эдек подошел к Басе и тоже присел на корточки возле малыша. Он пытался разжать его пальцы, вцепившиеся в Басино платье возле самого выреза.

— Что случилось? — спросил он мальчугана.— Что с тобой?

Малыш продолжал громко плакать.

— А где твоя мама? — спросила Бася.

— Не знаю...— отвечал он, делая паузу и снова всхлипывая,— не знаю...

— Вот так история,— засмеялся Эдек,— что нам с ним теперь делать?

Но Бася не растерялась.

— А как тебя зовут? — спросила она.

Малыш неожиданно умолк, посмотрел на Басю своими ясными глазами, на лице его отразилось усилие мысли.

— Дарек,— важно сказал он низким голосом. «Р» он выговаривал очень старательно, и все же оно было похоже на «л».

Потом Дарек громко всхлипнул и снова собрался было зареветь, но передумал. Прозрачные капли слез остановились на своем пути от уголков глаз к покрасневшим щекам.

Дарек внимательно посмотрел Басе в глаза, взглянул на сидящего на корточках Эдека, и лицо его осветилось едва заметной победоносной улыбкой.

— Дарек,— повторил он, и снова «р» прозвучало у него как «л»,— Дариуш Криска.

Бася обняла мальчугана.

— Смотрите, какой молодец,— громко сказала она и схватила малыша на руки.— Ну, раз ты знаешь свое имя, то это уже полбеды.

Кто-то посоветовал дать объявление по радио.

— Давайте назначим встречу у фонаря,— крикнул Эдек и побежал в аппаратную. Договорившись с диктором, он поспешил обратно к Басе. Он видел, как она шла через площадь, ведя малыша за руку,— гибкая, высокая, горделивая. Дарек сосал леденец, который дал ему кто-то из прохожих.

— Дарек Криска ждет свою маму,— манерно выговаривал диктор.

Эдек молча подошел к мальчугану и взял его за другую руку. Так они шли к фонарю, стоявшему в самом центре площади,— там было назначено свидание.

Бася весело взглянула на Эдека.

— Ты хотел бы такого?

Эдек покраснел, потом улыбнулся и молча кивнул головой. Он нагнулся к Дареку, сжимая его крохотный кулачок в своей большой руке, и спросил дрогнувшим голосом:

— Что это за дрянь у тебя во рту?

— Конфетка,— ответил Дарек, высунул изо рта красную карамельку и показал ее Эдеку.

Но к ним уже летела нарядно одетая женщина. Лицо у нее было испуганное, на щеках выступили пятна. Она почти вырвала Дарека из рук молодых людей. За ней бежал представительный мужчина в сером костюме.

— Я же говорил... ты никогда меня не слушаешь...— твердил мужчина.

Мать тем временем спешила переложить вину на Дарека.

— Как ты смел? Как ты смел? — повторяла она.

Бася и Эдек поспешили уйти, не дожидаясь благодарности счастливых родителей.

Никогда еще Эдек не был так весел, как в тот вечер, когда они вместе с Басей возвращались домой из Варшавы. Его трудно было узнать — он смеялся, шутил, глаза у него сверкали.

Когда они вышли из электрички, было уже довольно поздно. Эдек взял Басю под руку.

— Знаешь, Баська,— сказал он,— скажу тебе откровенно: сегодня я очень счастлив.

Бася тихо засмеялась.

— Почему именно сегодня?

— Да так, и демонстрация мне понравилась на площади, и как-то весело стало... и этот Дарек такой симпатичный... и ты...

— Что я?

— Я люблю тебя,— очень тихо сказал Эдек.

— Ну и что? — неопределенно спросила Бася.

— Пойдем к нам чай пить. Отец нас ждет и Колдуся.

Дома их действительно ждали, но, кроме отца и Колдуси, в комнате был еще кто-то.

— О боже! — удивился Эдек.— Стась!

Высокий, красивый молодой человек поднялся из-за стола. Его гладко причесанные напомаженные волосы блестели. Большие голубые глаза эффектно оттенялись темными ресницами. Только двигался он как-то тяжело и вместе с тем манерно.

— Как живешь, брат? — спросил он.

Все подсели к столу.

— Вы так не похожи друг на друга,— сказала Бася, переводя взгляд с одного брата на другого.

— Нижняя половина лица у них почти одинаковая,— откликнулся инженер,— улыбка, зубы. А в общем они, конечно, совсем разные.

— А кто красивей? — спросил Стась, поворачиваясь к Басе в профиль и косясь в ее сторону.

Только отец улыбнулся его словам.

В эту минуту в комнату вошла Колдуся. Она несла разогретый обед для Баси и Эдека. Колдуся услышала вопрос Стася.

— Всегда говорят, что Стась, Стась — красавец,— заметила она.— А для меня лучше Эдека нет.

И она мимоходом поцеловала своего любимца в голову.

— Я только Колдусе нравлюсь,— засмеялся Эдек,— придется мне на ней жениться...

— Э, нет,— взмахнула фартуком Колдуся,— тебе еще жениться рано. А вот пан Стась — другое дело... Старый уже...— она засмеялась и вышла в кухню.

Бася ела с аппетитом и оживленно рассказывала о недавних торжествах. Она так мило выглядела при этом, что и Стась, и инженер смотрели на нее с удовольствием. Эдек ел молча. Стоило ему вернуться домой, как шутливый тон и хорошее настроение сразу исчезли. Он недружелюбно поглядывал на Стася, но тот, казалось, не обращал на брата никакого внимания. Его светлые, обрамленные темными ресницами глаза хищно поблескивали. Говорил он хорошо поставленным голосом и чрезвычайно отчетливо. Кстати сказать, на этой необыкновенной дикции была построена и вся его артистическая карьера. Голосок у него был небольшой, и его нельзя было назвать задушевным.

— Вы так красочно все описали,— говорил Стась.— В вас столько энтузиазма. Как бы я хотел увидеть все это еще раз... вашими глазами...

— А разве вам демонстрация не понравилась? — спросила Бася.

— Отчего же? Очень понравилась. Но я завидую вашему юному энтузиазму!

— Но ведь у вас его должно быть больше! Вы артист.

— Какой там артист! — мило улыбаясь, возразил Стась.

— Во всяком случае, это твой хлеб,— серьезно сказал инженер.

Эдек окинул брата незаметным, но внимательным взглядом: на нем был отлично сшитый темно-коричневый костюм, кремовая рубашка, желтый шелковый галстук в нежную голубую полоску. Пахло от Стася заграничным мылом для бритья.

Стась, хотя и не подавал виду, очевидно, тоже наблюдал за братом, и сразу перехватил взгляд, брошенный на галстук.

— Слушай, брат мой,— сказал он,— и слово «брат» прозвучало в его устах насмешливо,— у меня для тебя подарок. Держи!

Он повернулся к окну и вытащил из-за занавески маленький сверток.

— Настоящие, парижские вещи,— сказал он,— моему коллеге прислали.

— Эдек, покажи скорей,— захлопала в ладоши Бася.

— Большое спасибо,— равнодушно сказал Эдек, разворачивая сверток.

В свертке оказался зеленый галстук в белую полоску и точно такой же носовой платок.

— Ах, как красиво,— сказала Бася.

Когда все по очереди оглядели галстук и платок, Эдек небрежно положил их на маленький столик. Подарок ему не понравился.

— Ну что же, выпьем,— сказал Стась, поднимая рюмку. Но выпил с ним только инженер.

— Теперь расскажи нам что-нибудь о себе, Стась,— попросил отец, ставя рюмку на стол,— ты так редко пишешь... Жениться не собираешься?

Стась, улыбаясь, взглянул на золотой перстень с сапфиром, который носил на безымянном пальце правой руки.

— А зачем? С женой столько хлопот...

— Ты предпочитаешь жить без хлопот,— усмехнулся инженер.

Эдек, намазывая хлеб маслом, с презрением посматривал на брата.

— Отчего ты на меня так смотришь? — спросил Стась, снова перехватив его взгляд.

— Я думаю, какой ты легкомысленный...— без улыбки сказал Эдек.— А ведь ты старший брат...

— Эдек,— взмолилась Бася,— перестань!

— Спой нам что-нибудь,— попросил Стася инженер.

— Не хочется. Кроме того, нет аккомпанемента. А патефон у вас есть?

— Есть проигрыватель,— буркнул Эдек.

— Тогда можно проиграть мои пластинки.

— А ты их привез?

— Да, мне хотелось, чтобы ты, папа, послушал, как я пою.

— Иногда я слушаю тебя по радио.

— Ну, мои пластинки так редко передают...

Стась встал. Он был стройный, ловкий, высокий, гораздо выше Эдека. Мимоходом, как бы играючи, он налил себе рюмку вишневки и выпил. Его манера пить вино была, пожалуй, несколько грубоватой.

Потом он поставил пластинку. Эдек с невозмутимым видом продолжал есть. Бася подскочила к проигрывателю.

Зашипела, зашуршала пластинка — и зазвучала нежная мелодия. Повел ее кларнет, ему вторил саксофон.

— Потанцуем? — предложил Стась.

Бася молча протянула руки.

Раздались слова песенки — пел ее Стась.

Когда мелодия моя
У ног твоих — ля-ля-ля,—
Пожатье нежное твое
На песню отвечает...

Слова рассыпались, словно жемчужинки. Инженер слушал с улыбкой. В комнату вновь заглянула Колдуся. Стась и Бася танцевали на крохотном квадрате пола, который еще оставался свободным в заставленной мебелью комнате. Танцуя, Стась слишком уж изгибался, но движения его были красивы. У Баси был очень довольный вид.

Пластинка умолкла, Стась остановился и сказал с улыбкой:

— Забавно танцевать танго под собственное пение.

— И тебе не стыдно петь такую чушь? — неожиданно пробасил Эдек, в голосе его слышалось раздражение.

— Эдек, замолчи сейчас же! — всплеснула руками Бася.— Такое красивое танго, а ты...

— Ну, а теперь нечто в ином стиле,— сказал Стась, меняя пластинку.

Зазвучала лихорадочная, быстрая мелодия.

Она спросила:
«Ты знал Людвисю?..» —

снова посыпались дурацкие жемчужинки слов.

Стась подхватил девушку, на этот раз не спрашивая ее согласия, и закружился с ней на одном месте.

— Ах, пан Стась,— протестовала она,— у меня кружится голова!

Они остановились, и пластинка тоже.

Инженер и Колдуся веселились вместе с ними. Однако инженер только делал вид, что ничего не замечает. Эдек жевал хлеб, отправляя в рот кусок за куском. Потом, заметив на лице старой кухарки излишний, как ему казалось, восторг, сказал:

— Колдуся, принеси мне, пожалуйста, еще чаю.

— Может, и ты потанцуешь? — обратился к Эдеку отец.

— Разве что с Колдусей,— пожал плечами Эдек.

Бася через стол протянула к Эдеку руки.

— Давай потанцуем, Эдек,— попросила она.— И, пожалуйста, не будь опять таким. Мне сегодня так весело, такой день ..

Стась тем временем поставил новую пластинку.

— Потанцуем, Эдек,— снова попросила Бася.

— Ты же видишь, что я ем,— буркнул Эдек, не вставая с места.

И снова Стась танцевал с Басей.

Напрасно инженер подмигивал Эдеку, словно говоря: «Не хмурься, сынок, не стоит». Эдек не обращал на его знаки никакого внимания.

Танец закончился. Стась, не выпуская рук девушки, сказал:

— Нет, здесь слишком скучно — одна-единственная пара... А вот на площади Конституции сейчас танцуют тысячи людей... Панна Бася! — вдруг воскликнул он: — Едем туда!

Бася только рассмеялась, а Эдек посмотрел на брата, как на сумасшедшего.

— Куда вам ехать? Уже вечер, поздно,— принялся отговаривать инженер, бросив мимолетный взгляд на Эдека,— ты и так к нам ненадолго...

— Папа, завтра я буду здесь целый день, клянусь... А сегодня дай нам потанцевать. Смотри, сейчас половина восьмого, через сорок пять минут мы будем в Варшаве. Два часа танцуем, а в одиннадцать уже дома. Где моя шляпа?

Он схватил свою светлую, пушистую шляпу, лихим жестом надел ее — на его темноволосой голове шляпа эта выглядела особенно эффектно — и легко, словно танцуя мазурку, пронесся через всю комнату.

— Едем, панна Бася, едем! — крикнул он уже откуда-то из сада. Бася смеясь побежала за ним. На пороге она остановилась.

— Подожди меня, Эдек,— сказала она.— Я скоро вернусь.

— Только ее и видели,— пожал плечами инженер.

Эдек ничего не ответил. С упрямым видом он продолжал кромсать хлеб.

Некоторое время отец и сын сидели молча. Потом инженер встал и погасил верхний свет. Комнату освещала теперь только большая настольная лампа с абажуром.

Инженер налил себе бокал фруктового вина и начал пить его маленькими глотками. Украдкой он поглядывал на сына. Эдек кончил есть, вытер рот и привычным движением, не вставая, вытянул ногу, доставая из кармана брюк портсигар.

Инженер с улыбкой наблюдал, как он закуривает. Эдек заметил это.

— Тебе, конечно, смешно,— сказал он.

— Не могу привыкнуть к тому, что ты куришь,— пытаясь сдержать улыбку, сощурился инженер.

— Тебе еще ко многому придется привыкнуть,— угрюмо заметил Эдек.

— Пожалуйста, не говори мне о худшем заранее. Придет время — узнаю,— снова улыбнулся инженер.

— Ты уверен, что обо всем узнаешь? — Эдек следил глазами за дымком папиросы.

— Ты знаешь, я не люблю, когда ты так говоришь. Не строй, пожалуйста, из себя демоническую личность...— пожал плечами отец.

— Не демоническую, а разочарованную,— равнодушно поправил его Эдек.

— Ну, пускай разочарованную. Я знаю, что ты неглупый, добрый мальчик. К чему эта напускная грубость?

— Откуда ты знаешь, что кроется за этой грубостью?

— Не так уж трудно догадаться,— снова стал серьезным инженер.— Ты и сам знаешь, я прекрасно понимаю, о чем ты сейчас думаешь.

— Ну о чем? — довольно грубо спросил Эдек, вызывающе глядя на отца.

— Только, пожалуйста, Эдвард, не говори со мной таким тоном,— холодно заметил инженер,— я вовсе не заставляю тебя откровенничать.

— Ну да, тебе, конечно, кажется, что я злюсь на Станислава за то, что он увез Басю в Варшаву. А мне все это безразлично...

— Наверно, не совсем, потому что ты никогда еще не называл Стася Станиславом...

— А как мне его еще называть? Стасиком? Пусть Колдуся так зовет своего любимчика.

— И это тоже неправда,— спокойно продолжал инженер,— тебе отлично известно, что с самого рождения ты был любимцем Колдуси. А сейчас сердишься, и потому несправедлив. Больше всего на свете следует избегать необъективности в своих суждениях.

— Ну что же, спасибо за науку,— сказал Эдек тоном, какого отец никогда у него не слышал.— Постараюсь следовать твоему совету и не думать, что Стась самый заурядный пошляк и что люди только по глупости платят огромные деньги за его дурацкие песенки. А то, чего доброго, я окажусь необъективным. Постараюсь также не думать, что выпускать такие пластинки в Народной Польше — значит выбрасывать деньги на ветер. Да это просто вредительство. Не скажу и того, что со стороны Стася покупать английские отрезы, носить французские галстуки и ни копейки не посылать тебе — свинство. Хотя ты работаешь и на себя и на меня,— у Эдека задрожал голос...— И никому не скажу, что Стась и сейчас поступил по-свински: приехал в гости к брату, увез у него из-под носа девушку, а его самого не пригласил, хотя бы для приличия... Я боюсь оказаться необъективным.

Инженер, приоткрыв рот, с величайшим изумлением выслушал весь этот монолог.

Наконец Эдек умолк и с силой ткнул окурок в пепельницу. Жест этот, полный раздражения и горечи, показался инженеру необыкновенно «взрослым».

— Видишь, сынок,— сказал отец,— ты слишком сильно все это переживаешь.

— Конечно, переживаю.

— Ревнуешь Басю?

Эдек ничего не ответил. Лицо его, недавно такое взволнованное, исполненное жизни, становилось все холоднее и спокойнее. Маска притворного равнодушия делала это лицо непроницаемым.

— Поверь мне, сынок,— продолжал инженер С.,— она не стоит твоей ревности. Ни одна женщина в мире не заслуживает того, чтобы ее ревновали, если она дает к этому повод... И знаешь, дорогой, мне кажется, с некоторых пор ты слишком большое значение придаешь эротическим чувствам. Понимаешь, Эдек, ведь мир держится не на одной голько любви к женщинам...

Щурясь на лампу, Эдек внимательно слушал отца.

— Мир держится не на одной только любви к женщинам. И это, наконец, не самое главное... В жизни есть еще многое другое. Ну вот, скажем, наше проектное бюро... Если бы все мы, подобно тебе, занимались только своими личными переживаниями, если бы все только и делали, что влюблялись, женились, разводились, ревновали... Да нам даже и думать об этом некогда. Почему? Да потому, что на свете есть дела поважнее любви, именно они-то и составляют основу нашей жизни, ими мы и живем.

— И ты никогда никого не любил?

— Нет, отчего же,— смутился инженер,— когда-то я очень любил твою мать.

— Ну это не то,— разочарованно протянул Эдек.

— Ничего не поделаешь, такой уж у меня характер.

— Мне кажется, что любовь самое важное в жизни...

— Ошибаешься, сынок. Нужно думать и об интересах народа, общества. Тебя ждут настоящие дела. В жизни родины тебе, молодому поляку, предстоит сыграть свою роль. Как можно так отгораживаться от всех своими личными эгоистическими переживаниями?

Инженер умолк, почувствовав, что слова его звучат недостаточно убедительно.

Эдек снова закурил.

— Может, на сегодня хватит, сынок? — пробовал остановить его инженер.

— Ничего, ради такого важного разговора можно,— улыбнулся Эдек, и лицо его снова прояснилось,— ведь мы с тобой никогда так откровенно не говорили.

— Мне бы очень хотелось, чтобы ты меня правильно понял...

— Нет, нет, я понимаю,— отозвался Эдек, вставая и расхаживая по комнате.— Я и сам не раз задавал себе вопрос, что такое любовь. Может быть, это одно из проявлений индивидуализма, чисто эгоистическое чувство? Любовь отгораживает нас от общества. Я помню, как уезжала Марыся... Она забыла все: нас, тебя, дом, семью,— потому что любила. Вот видишь, и я тогда понял...

Он еще немного походил по комнате, потом сел в полутемный угол.

— Ну, ну? — нетерпеливо спросил отец.

— Я понял, что мне придется отказаться от этого... Я не хочу быть отщепенцем. Сегодняшнее происшествие — хороший предлог, чтобы порвать с Басей... Эта любовь мне страшно мешала... Любовь вообще страшно мешает в жизни, правда?

— Ну, не всегда,— улыбнулся инженер,— иногда она очень помогает. Не нужно быть доктринером, не нужно отказываться от своего счастья.

— Но ведь для меня эта любовь — несчастье, она обрушилась так неожиданно...

— Да, любовь иногда бывает несчастьем,— инженер задумчиво посмотрел в окно.

— Вот, к примеру, Марыся, Крися,— сказал Эдек, с трудом выговаривая имена сестер; впервые за долгие годы он произносил их при отце.— Каким несчастьем была для них любовь!

— Да, это правда, — подтвердил инженер, опустив голову.

Но тут же снова посмотрел на сына — в полутьме были отчетливо видны лишь очертания юношеских плеч.

— Да, ты должен от этого отказаться,— тихо сказал отец.

— Я и так уже отказался,— вздохнул Эдек,— только тяжело мне.

Они помолчали. Слышно было, как шуршат, ударяясь о голубой абажур, ночные бабочки. Эдек подошел к отцу.

— Ну, спокойной ночи, старик,— сказал он, касаясь губами отцовского лба,— спасибо тебе.

Инженер ничего не ответил, он только молча обнял сына за плечи. А потом еще долго неподвижно сидел за столом, уставившись в одну точку. Вот он услышал шаги сына наверху, в светелке. Он ждал, что сейчас раздастся стук сброшенных ботинок. Но нет, прямо от двери Эдек прошел к кровати. Все это инженер слышал очень отчетливо. И снова наступила тишина. Инженер несколько мгновений еще напрягал

слух, а потом и сам стал готовиться ко сну. Он открыл диван и вынул оттуда свою постель, вынес в кухню грязную посуду. Колдуси здесь уже не было — она спала в своей комнате.

Инженер вернулся в кабинет и снова начал прислушиваться. Наверху царила полная тишина. Инженер забеспокоился.

Он опять вышел в кухню и тихонько прокрался по лестнице наверх, подошел к комнате сына и остановился у дверей. Он никогда сюда не заходил.

Потом без стука распахнул дверь. Комната слабо освещалась горевшим у кровати ночником. Окна мансарды отсвечивали синевой летней ночи, комната сильно нагрелась за день. На кровати, одетый, уткнувшись головой в подушку, лежал Эдек.

Инженер быстро подошел к сыну.

— Что с тобой? — спросил он с тревогой в голосе.

— Папа, иди к себе,— донесся из подушки голос, в котором слышались слезы,— иди к себе, а то мне стыдно!

Инженер сел на кровать и положил ладонь на вздрагивающие от рыданий плечи сына.

— Успокойся, стоит ли? — сказал он тихо.

И тут же почувствовал боль в сердце, безмерную жалость, ревность и любовь — любовь, которая уже ничем не возместится.

«Из-за меня он никогда не прольет таких слез,— подумал инженер,— а я?»

Он склонился над сыном, как когда-то в давние годы, прижался к нему плечом. Большое мускулистое тело сына казалось ему совершенно чужим. Он почувствовал легкий неприятный запах мужского пота. Инженеру вдруг показалось странным, что это и есть его собственный ребенок, тот самый маленький Эдек, которого он так мало замечал в те годы, когда Стась был всеобщим любимцем в доме, а Кристина и Марыся хорошели с каждым днем. Этот взрослый плакавший навзрыд мужчина вызывал в нем легкое раздражение, которое он пытался преодолеть. Он испытывал острую жалость к сыну, но точно так же сочувствовал бы любому юноше, охваченному отчаянием. Гораздо больше в эту минуту он жалел самого себя, внезапно осознав свое полное одиночество. Болезненная пустота была здесь дома, в Коморове, в Варшаве.

«Нет, нет,— успокаивал он себя,— у меня в Варшаве коллеги. Вместе работаем...» Но тут он вспомнил их иронические взгляды и тряхнул головой.

Эдек решил, что шепот отца относится к нему.

— Я знаю, знаю,— всхлипывал он, уткнувшись в подушку. Инженер отогнал от себя тяжелые мысли. Он провел ладонью по спине сына и сказал:

— Будет! Она не стоит твоих слез!

Эдвард поднял голову с подушки. Лицо у него было красное — узор наволочки отпечатался на щеке, словно татуировка. Он вытер нос платком, который держал в руке.

— Знаю, что не стоит, а я думал — стоит,— и он снова несколько раз всхлипнул, точь-в-точь как маленький Дарек, словно и ему было три года.

Инженер пожал плечами.

— Ну а теперь спи. Раздеть тебя?

— Ты с ума сошел!

— Ревешь, как маленький, вот я и решил...

— Вот еще,— снова всхлипнул Эдек.

Но все же дал снять с себя туфли.

— Испачкаешь чистую простыню, Колдуся огорчится.

Запах пота усилился. Инженер поднялся и подошел к двери.

— Раздевайся и спи,— сказал он,— спокойной ночи.

И спустился к себе вниз, погасив по пути свет. Диван был уже застлан, инженер разделся и быстро лег. Он чувствовал, что долго не уснет. Никогда еще собственные дети не казались ему такими чужими. «Ну что ж, у них своя жизнь, своя судьба, они сами делают свой выбор и имеют на это право, а я для них уже ничего не значу. Ничего...»

Он вспомнил Стася — его наглый взгляд из-под светлой шляпы, его танец с Басей. Чужой неприятный человек. А Эдек?

Инженер взглянул на синий квадрат раскрытого окна. Неожиданно зашелестели птичьи крылья. На подоконник сел белый голубь.

«Он даже не закрыл голубей на ночь»,— подумал инженер. Часы пробили одиннадцать.

Вдруг раздался шорох чьих-то шагов по гравию. Скрипнула калитка — кто-то быстро обошел дом. Инженер замер.

Шаги затихли под окном мансарды.

— Угу! Угу! — раздался тихий, едва слышный призыв.

Минута тишины и едва слышный удар: кто-то бросил камушек Эдеку в окно.

— Угу! Угу! — раздалось снова.

Над головой инженера послышались тихие шаги — Эдек подошел к окну.

— Бася, это ты? — шепотом спросил он.

— Я.

Голоса умолкли. Инженер лежал, притаившись, словно мышь. Он слышал, как открылась наверху дверь, как по лестнице тихо ступали босые ноги. Скрипнула дверь в кухне, и снова послышались шаги. Но на этот раз Эдек был не один.

Дверь наверху открылась и захлопнулась, потом все затихло. И вдруг опять топот ног от кровати к двери, тихий скрип два раза повернутого ключа и быстрые шаги обратно — к кровати.

И вновь тишина.

Инженер очень долго не мог уснуть. А потом пришел сон, черный и тяжелый, словно камень.

Чтобы не опоздать на работу, утром нужно было встать в шесть. День снова выдался ясный, небо голубело. Инженер оделся с трудом.

Солнце всходило теперь позднее, и в этот ранний час в ванной было еще темновато. Чтобы побриться, пришлось поставить зеркало на подоконник. Окно ванной выходило на соседнюю дачу. Когда инженер, бреясь, бросил взгляд в ту сторону, он увидел в окне напротив голову Баси. Солнце ярким светом озаряло стену дома, окно и лицо девушки. Она тоже заметила инженера и глядела на него без улыбки. Минуту или две они стояли друг против друга. Сомнений не было: Бася смотрела на него серьезно, но с триумфом. В ее больших глазах было даже нечто вроде легкого презрения.

Эта минута показалась инженеру вечностью. Он чувствовал себя глубоко униженным, разбитым, но не смел отвести взгляд. Вдруг из-за дома напротив вынырнула стая голубей. Они взлетели над красной крышей, словно горсть белых клочков бумаги, подброшенных в небо чьей-то невидимой рукой. Лицо Баси на фоне светлой стены дома в белом облаке пролетавшей стаи птиц вдруг показалось инженеру фрагментом картины. Он через силу улыбнулся и отвел взгляд. Бася ответила улыбкой и отошла от окна.

Немного погодя, когда инженер уже сидел за столом, а хмурая Колдуся подавала ему завтрак, он с удивлением услышал шаги сына, сбегавшего по лестнице.

— Как дела, отец? — спросил весело Эдек.

Инженер с болью глядел на легкие тени под глазами сына. Раньше он не замечал их у Эдека. Иногда тот вставал с глубокими кругами под глазами. Инженер знал, что́ они означают. Но эти голубоватые, едва заметные тени он видел в первый раз. Из-за них лицо сына сразу же приобрело новое выражение.

— Отчего ты так рано вскочил? — спросил инженер.— Я думал, что после вчерашнего ты будешь спать как убитый.

— Нужно использовать каникулы,— отвечал Эдек и, не спросив разрешения, налил себе чаю из отцовского чайника.— Знаешь, папа,— добавил он, принимаясь за еду,— эта свинья Стась встретил на МДМ каких-то своих приятелей, посадил Басю в электричку, сказал ей «До свидания!», а сам отправился в ресторан.

— Отличился, ничего не скажешь,— пожал плечами инженер.— А ты уже виделся с Басей?

Эдек покраснел.

— Еще вчера вечером. Она пришла попросить у меня прощения.

Инженер не стал больше ни о чем допытываться.

— Ты не закрыл голубей на ночь,— заметил он.— Летают с самого утра.

— Ну да. Понимаешь, леток никуда не годится. Сейчас я все исправлю. Если голуби разлетятся, вся моя работа пойдет прахом.

Инженер слегка удивился, но нужно было торопиться на поезд.

— Послушай, папа,— сказал вдруг Эдек,— дай мне, пожалуйста, лист бумаги для рисования. Или лучше оставь ключ от шкафа, сам достану. Я должен наконец нарисовать сосны перед домом!

— Ты уже столько раз собирался это сделать,— в голосе инженера звучало сомнение.

— Да. Но теперь я должен: дал слово Басе.

Инженер потянулся за портфелем. Эдек подал портфель отцу и посмотрел ему в глаза.

— Отчего ты сегодня такой? — спросил он.

— А каким мне еще быть? — пожал плечами инженер.

Эдек обнял его за плечи.

— Не думай о вчерашнем. Я вел себя как дурак. Сегодня снова займусь голубями,— добавил Эдек, как бы желая утешить отца,— и поработаю над рисунками. А вообще, жизнь прекрасна, правда, папа?

Инженер вдруг почувствовал слева в груди колющую боль.

— Правда, сынок! — неуверенно ответил он.

Митчел Уилсон

Встреча на далеком меридиане

РОМАН

Перевод с английского И. Гуровой, Н. Дехтеревой, Н. Треневой

Человек должен быть причастен к деяниям и страстям своей эпохи, иначе могут счесть, что он никогда не жил.

Оливер Уэндел Холмс

Глава первая

1

В давние довоенные дни человеку со специальностью Реннета обычно отводилась лишь маленькая комнатушка в глухих закоулках университета — в ней только-только умещался простой письменный стол, заваленный наспех нацарапанными расчетами и графиками эксперимента, который мог когда-нибудь принести ему славу. Там обязательно валялись три-четыре письма от других физиков из Калифорнии, Лондона или Рима, подолгу остававшиеся без ответа, потому что он почти все время проводил в своей лаборатории — чаще всего голой, похожей на погреб комнате, где имелось несколько рабочих столов, раковина из мыльного камня и невероятно сложный прибор, с которым он работал в это время,— победа страсти и изобретательности над слишком скудным бюджетом,— прибор столь внушительный, что ни у одного непосвященного не хватило бы духу спросить: «Где тут передняя сторона, а где задняя?»

Впрочем, в те дни, когда многонациональное население мира физиков исчислялось лишь несколькими тысячами человек, которые почти все знали друг друга хотя бы по имени, Реннету шел всего двадцать второй год и он не сознавал, что начало его научной деятельности совпадает с

В этом номере мы начинаем печатать новый, только что законченный роман Митчела Уилсона «Встреча на далеком меридиане». При написании этой книги автор использовал личные наблюдения и впечатления, накопленные им во время трехкратного пребывания в Советском Союзе.

Роман Митчела Уилсона утверждает идеи взаимопонимания и мирного сосуществования государств, несмотря на различие социального строя. Автор и его герой стоят за развитие международного научного сотрудничества во имя укрепления мира, во имя подлинного прогресса человечества.

Однако нашим читателям нетрудно будет убедиться в том, что в новом произведении Митчела Уилсона, несомненно проникнутом добрыми чувствами к нашей стране и нашему народу, содержатся некоторые сюжетные ситуации и отдельные высказывания, которые все же свидетельствуют о недостаточном знакомстве автора с советской действительностью, а иной раз и о недостаточном ее понимании.

Одновременно с окончанием романа редакция намерена поместить статью об этом произведении.

концом целой эры— эры, когда наука оставалась наукой и не стала еще политикой, дипломатией или войной. В этом отношении он походил на молодого наследника престола, чье первое любовное приключение завершилось в ночь последнего бала перед революцией.

Он и тогда был очень высокого роста — на голову выше всех окружающих,— но несмотря на мальчишескую угловатость, особенно заметную, когда он стоял неподвижно, его походка была целеустремленной, и в ней уже начинало проскальзывать своеобразное изящество. Его темные глаза были посажены так глубоко, что, когда он, сдвигая брови, отрывал взгляд от своего прибора, казалось, что он испытывает невыносимые душевные муки. Как раз в это время он начал коротко подстригать свои поразительно светлые волосы, потому что они были мягкими и тонкими, точно у ребенка, и никакой щеткой их не удавалось пригладить. И уже тогда, несмотря на его молодость, тонкий горбатый нос и длинный подбородок придавали ему сходство с белокурым Мефистофелем.

И по щекам его уже пролегли трагические борозды, словно след когтей после схватки с орлом. Когда он отрывался от своих расчетов и откидывался на спинку стула, его худое изможденное лицо дышало такой серьезностью, было полно такой печали и боли, что казалось, будто он не умеет улыбаться, однако стоило ему улыбнуться, как в сиянии этой чуть удивленной улыбки исчезали все следы грусти и он становился похожим на озорного мальчишку.

Его лицо таило в себе пророчество уготованной ему жизни. Оно уже было таким, когда он, белоголовый мальчуган, играл в футбол в Центральном парке, прикладывая руку в перчатке козырьком над глазами; оно было таким, когда он часами сидел в библиотеке МТИ * — по-прежнему самый высокий и худой из своих однокурсников, но к тому же и самый молодой из них — и, покачиваясь на стуле, расстегнув ворот рубашки, закинув руки за голову, изучал новейшие теории Полинга, Слетера и Франка. И так же он выглядел в 1940 году, когда получил приглашение на исследовательскую работу в Калифорнию и когда никто, глядя на его быструю, решительную походку, не догадался бы, как он боялся, что, если в первый же день не докажет своей талантливости, его с презрением вышвырнут из лаборатории.

Революция воплотилась в величайший, самый испепеляющий взрыв, какой когда-либо видела Земля, и одним из ее причудливых результатов было то, что Реннет из принца крохотной страны, почти неизвестной внешнему миру, превратился в гранда международной державы, ставшей в сто раз больше прежнего и в десять тысяч раз значительнее.

И все же самый миг этой революции остался в нем не только как вновь и вновь возвращающееся воспоминание, но и как шрам, уродующий душу. Одно мгновение все было как всегда, как много месяцев до этого — обычная работа с самыми будничными на вид металлическими предметами и давно привычными кусками сероватого металла,— а в следующее мгновение комбинация их, которую так давно искали, уже пожирала землю, небеса и все лежавшее за ними пространство бело-желто-лиловым пламенем.

Подчиняясь инерции годами выработанного профессионального взгляда на вещи, он ощутил яростное удовлетворение от того, что все расчеты и предсказания его науки так блистательно подтвердились. Но одновременно это видение гибели мира поразило его таким ужасом, что казалось, до самой смерти под маской его лица будут скрыты остановившиеся глаза и разинутый от изумления рот. Перед этим видением по-

* Массачусетский технологический институт.

бледнели и сошли на нет все фантастические образы Апокалипсиса. И уже в ту минуту, когда жгучий свет в небе стал медленно гаснуть, он знал: если, вновь увидев это, он не будет потрясен, то не потому, что успеет привыкнуть к космическим масштабам того, что сам помог сотворить, но лишь потому, что какие-то человеческие чувства в нем притупятся до вялого безразличия.

К тому времени, когда секундой позже до него донесся звук взрыва, что-то в нем умерло, выгорело дотла — так молния уничтожает вершину дерева, хотя остальные ветви остаются живыми и зелеными. Он принял участие в последовавшем затем обмене поздравлениями, он принял участие в совещании тех, кто присутствовали при взрыве, написал свой отчет о действии силы, которую помогал создать,— все это время лишь смутно сознавая, что́, собственно, с ним произошло. Названия для этого не было, но потом медленно, очень медленно парализующий яд стал пропитывать всю его жизнь, хотя и тогда он не знал, как это назвать.

Даже теперь, когда он давно порвал с физикой разрушения мира и вернулся к физике созидания, в испуганных глазах своей эпохи он по-прежнему был окружен ореолом, не отделимым от проявленной им способности разрушать. Внешне карьера его была на редкость удачна. Он занимал то же положение, что и какой-нибудь капитан промышленности или модный певец.

Взамен тесного кабинета и скверно оборудованной лаборатории архитекторы, не понимавшие сути работы, которой он теперь занимался, соорудили для него здание, больше всего похожее на фешенебельный загородный клуб, художники-декораторы, понимавшие эту суть еще меньше, так обставили комнаты и подобрали такие сочетания цветов, что безупречная и изысканно безличная приемная Реннета подготавливала посетителей только к тому, как выглядит его кабинет. Вот почему сам он теперь, когда наконец осуществилось пророчество, всегда таившееся в его лице, производил по контрасту с окружающей его обстановкой такое странное и неожиданное впечатление.

В приемной скрытые лампы превращали белый потолок в море света. Встроенная в голубые стены картотека была почти невидима. Электрическая пишущая машинка и диктофон были самыми современными, самыми обтекаемыми. И даже женщина с такой незаурядной внешностью, как его секретарша Мэрион, казалось, была специально отобрана, отделана и одета в тон всему интерьеру.

В эту минуту она перестала печатать, чтобы прослушать несколько фраз с диктофона. Знакомый баритон, звучавший в наушниках очень тихо и мягко, произнес: «...но если энергия элементарных частиц превысит верхний предел...» — и умолк, потому что зазвонил телефон. Телефонистка междугородной станции вызывала доктора Никласа Реннета, даже не подозревая, что она кладет начало цепи событий, которые приведут ко второму взрыву в его жизни.

— Одну минутку,— сказала Мэрион и нажала на кнопку. Сквозь закрытую дверь она услышала, как в кабинете зазвенел звонок.

Никакого отклика не последовало, но она ждала. Она знала, что он там: она видела, что он прошел туда широким, пластичным и уверенным шагом человека, которому следовало бы быть красивым. Однако она знала, что он там, не только потому, что помнила, как он прошел туда с бумагами в руках, она знала это потому, что помнила охватившее ее ощущение. Каждый раз, когда он проходил мимо ее стола к себе в кабинет, к ней возвращалось спокойствие, теплое и покровительственное чувство: он вернулся, она снова может встать между ним и внешним миром. Нет, она вовсе не была в него влюблена. И возмутилась бы, если

бы кто-нибудь сказал ей это, потому что смотрела на себя — в тех случаях, когда удосуживалась мельком бросить взгляд на свою личную жизнь,— как на счастливую жену, чье сердце слишком занято для подобных мыслей.

Она позвонила еще раз со снисходительным нетерпением. Иногда он страшно раздражал ее манерой уходить в свои мысли и забывать все окружающее, но и это раздражение не могло хоть раз испортить ощущение счастья, с которым она утром приходила на работу. Это было одно из тех удовольствий, над которыми она не задумывалась, так же как она никогда не признавалась себе, что ей приятно быть моложе и красивее, чем миссис Реннет; так же как она никогда не анализировала свою радость — неужели это была радость? — смешанную, естественно, с жалостью, к его молчаливому сдержанному страданию, когда Руфь Реннет без лишнего шума уехала, чтобы развестись с ним. Но это чувство оказалось недолговечным: слишком скоро его сменило раздражение, потому что неожиданно чуть ли не половина кливлендских дам начала звонить ему весь день напролет даже сюда, в институт, словно каждая из них только и ждала возможности подцепить его на крючок; и наконец еще одно приятное чувство — может быть, глубокое облегчение,— когда после нескольких экспериментов выяснилось, что ни одна из них его нисколько не интересует.

Разумеется, она не влюблена в него, сказала бы она негодующе, но теперь, когда его не оказалось в кабинете и, значит, теплое чувство, что он находится под ее охраной, обмануло ее, она внезапно испытала такую тревогу, словно обнаружила, что ее сумочка разрезана и все сбережения украдены. Она позвонила в третий раз, и в третий раз из кабинета не донеслось никакого отклика. Но как она могла не заметить, что он ушел?

Она поспешно позвонила в Южную лабораторию. Его там нет, ответили ей. Он вернулся к себе в кабинет просмотреть расчеты мезонного телескопа. Вероятно, он сейчас у себя. И будьте любезны, напомните ему, что работа приостановлена в ожидании его оценки.

— Непременно напомню,— сказала она с иронией и позвонила в Аналитическую лабораторию, куда он мог пойти, чтобы посмотреть фотографии следов, снятых в камере Вильсона, или как там она называется; проработав два года в институте, она еще не знала, что такое, в сущности, космические лучи, не знала, если уж на то пошло, ни чем, собственно, занимаются физики, ни даже о чем думает он: о нем она знала только, что это блестящий ученый и что, едва его увидев, она сразу почувствовала — вот человек, у которого она хочет работать.

А ведь он не был красив, он казался красивым только на первый взгляд: черты его лица были слишком неправильными, даже резкими. И дело не в его глазах, темных, задумчивых и удивительно внимательных. Скорее всего, дело в том, как он смотрит — с симпатией и живым интересом, словно пытается увидеть и понять глубины вашего сердца.

Когда она в первый раз поймала на себе этот серьезный, внимательный взгляд, она внутренне затрепетала и медленно отвернулась, покорно наклонив голову, ощущая каждую проносящуюся секунду как удар тока. Вот сейчас он подойдет к ней сзади, его руки лягут на ее талию, затем медленно скользнут выше (как хорошо, что талия у нее тонкая, а грудь упругая), и он притянет ее к себе, целуя волосы, и, если он будет молчать, ей останется только повернуться к нему, не размыкая его объятий, и поцеловать его. Она знала, что поступит именно так. Но если он скажет что-нибудь, ей тоже придется что-нибудь сказать — и сказать ей придется: «Пожалуйста, не надо!»

Секунды ожидания проходили одна за другой, и Мэрион почувствовала легкую дурноту. Она медленно повернулась к нему боком, словно что-то отыскивая в ящиках картотеки. И мгновение спустя вдруг поняла, что ничего не произошло и не произойдет. Его взгляд с тем же выражением был устремлен на место, где она стояла вначале. Спустя секунду он начал тихо, с явным удовольствием насвистывать какой-то простенький мотив. Потом по телефону позвонил в механическую мастерскую.

— Я нашел конструкцию для синхронизатора. Идея зародилась у меня всего минуту назад. Идите сюда, я вам набросаю эскиз.

Так, значит, этот взгляд не имел к ней никакого отношения! Она не чувствовала ни обиды, ни разочарования и была просто глубоко благодарна ему за то, что он не разбил ее жизнь: ведь она очень, очень хорошо знала, что случится, если он когда-нибудь властно или даже вопросительно обнимет ее. Ее брак, ее будущие дети, семейный очаг, ради которого она трудилась,— все это исчезнет, рассеется, как струйка дыма. Она просто ничего не сможет с собой поделать. Но при этом она по-прежнему была готова клясться, что не влюблена в него. Однако где же он? Она позвонила в механическую мастерскую, затем в библиотеку. Ни тут, ни там его не было.

Она снова поглядела на закрытую дверь его кабинета и вдруг решила позвонить еще — в последний раз. Опять никакого отклика. И тогда, не задумываясь, что и почему она делает, быстро подошла к двери и распахнула ее.

Сине-серая комната была пуста. Синие кресла вокруг стола для совещаний были пусты, серое кожаное вращающееся кресло у его письменного стола было пусто и повернуто так, словно он встал и ушел, ни к чему не прикоснувшись, даже не взглянув на то, что оставил. За большим окном в дальнем конце кабинета видны были только зеленеющие весенние газоны института и чистое голубое небо.

При виде этой пустоты ее сердце забилось от ужаса. Она быстро и испуганно шагнула в комнату, чтобы заглянуть за дверь, и вздрогнула — он смотрел на нее, сидя на низком подоконнике. В одной руке он держал пачку бумаг — это были, как она знала, чертежи мезонного телескопа,— а другой машинально подбрасывал и ловил кусочек мела, даже не смотря на него. Его взгляд был лишен глубины, но сперва она не заметила в его глазах застывшего ужаса, ей показалось, что она видит в них только удивление, словно он недоумевает, с какой стати она ворвалась к нему.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего,— его губы едва шевелились, он продолжал не отрываясь смотреть ей в лицо.

— Но разве вы не слышали, как я звонила? Я звонила три раза,— сказала она, чувствуя такое огромное облегчение, что ее слова прозвучали сердито.— Я думала, что вы умерли. Я совсем голову потеряла от страха. Если вы еще раз меня так напугаете, я вас убью! — Она подошла к столу и взяла трубку телефона.— Доктор Реннет здесь. Будьте так добры включить своего абонента.— Она посмотрела на него через стол, все еще не замечая его состояния.— Я в самом деле вас убью, хоть вы и мой шеф, хоть вы и великий физик!.. Да, да, слушаю,— тон ее из выжидательного стал раздраженным,— конечно, мы можем подождать, но это Кембридж вызывал нас, а не мы Кембридж.

— Кембридж! — Размеренные взлеты мелка прекратились. Доктор Реннет с трудом заставил себя сосредоточить внимание на ее словах. Его приглушенный голос зазвучал сильнее, а глаза оживились.— Значит, это о Горчакове и остальных русских. Я буду говорить.

— Да? — сказала она сухо.— Придется немного подождать.

— Телефон звонил всего в четырех футах от меня,— продолжал он с нарастающим изумлением,— а я сидел и смотрел на него. Я хотел взять трубку, я собирался взять трубку, но я просто не мог пошевелиться.— Он повернулся к ней, словно прося ее почувствовать, как это невероятно.— Я просто не мог пошевелиться...

— Что-что?..

— Я просто не мог пошевелиться,— с тем же ужасом повторил он еще раз.— У меня перед глазами...— Он оборвал фразу.— Словно звонок доносился через тысячу миль или я слышал его сквозь сон. Почему-то казалось, что все это не имеет никакого значения.

Доктор Реннет умолк, вскочил с подоконника и, по-прежнему хмурясь, подошел к письменному столу. Он снова стал самим собой.

— Ну, что там? — спросил он.

— Телефонистка попросила подождать.

— Значит, будем ждать.

Он опустился в кресло, залитое солнечным светом, и опять уставился на сколотые скрепкой документы, которые ему предстояло одобрить или отвергнуть; он медленно двигал подбородком из стороны в сторону в ложбинке стиснутого кулака, и при этом движении над его красиво очерченным затылком вспыхивали золотые огоньки. Через секунду он уже, казалось, забыл о ее присутствии. Она знала, что осенью ему исполнится тридцать восемь лет. Она знала, где он родился, как звали его родителей (Фредерик и Сесиль), где он учился,— все, что было о нем написано,— и мучилась из-за этого порабощающего интереса, который владел только ею, но не им. Он мог разбить ее сердце, и она ненавидела его за то, что он этого не знает. Четыре года назад она пришла проинтервьюировать его для радиостудии и осталась работать у него секретаршей, а он до сих пор не понял почему.

Она со злостью и удивлением подумала: «И надо же, чтобы такой безобразный сукин сын иногда выглядел таким красивым!» Затем ужаснулась грубости своих выражений, но тут же убийственно ровным голосом произнесла вслух:

— И надо же, чтобы такой безобразный сукин сын, как вы, иногда выглядел таким красивым!

Он удивленно поднял на нее глаза и от неожиданности рассмеялся.

— Извините меня, Мэрион,— сказал он, но вдруг его улыбка угасла и в глазах снова появился испуг. Он прижал ладони к вискам.— Боже мой,— негромко сказал он и крепко придавил пальцами глаза.— Боже мой...— вздохнул он.

У него не хватило сил кончить. И теперь, когда она наконец поняла, что его молчание родилось в глубинах, каких она никогда не измерит, ей захотелось бросить телефонную трубку, обхватить руками его голову и прижать ее к своей груди только для того, чтобы дать ему хоть как-то отдохнуть и успокоиться. Было невыносимо думать, что он так страдает. Впервые, если не считать того времени, когда от него ушла жена, ей довелось увидеть мрак, таящийся в его душе, внешне он всегда был точно таким же, каким показался ей в первый раз, когда ее покорили кипучая энергия его ума, легкость и свобода его движений и глубочайшая внутренняя убежденность.

Этот внезапный испуг заставил ее по-новому, глубже заглянуть за написанные о нем строчки, и только теперь она смутно осознала всю сложность прошлого, крывшегося в кратких сведениях о годах столь давних, что даже он сам их забыл, если не считать туманных полувоспоминаний о том, как жилось маленькому ребенку, единственному ребенку

в доме, где весь день едва слышно жужжала тишина, а из кухни, в дальнем конце большой старомодной квартиры, доносился приглушенный звон посуды и кастрюль — там кухарка занималась своим делом, словно была совсем одна, и лишь изредка прислушивалась, не раздается ли шум, не случилось ли с мальчиком беды; но шума никогда не бывало. Мальчик примирился с тем, что его мать каждое утро уходила из дому почти сразу после отца — он отправлялся в школу, директором которой был, а она — в нижний Ист-сайд, где работала врачом-акушером.

В документах, которые читала Мэрион, значилось: «Мать — Сесиль, врач»; но разве можно было по ним представить себе пухленькую небрежно одетую женщину с выбивающимися из прически белокурыми прядями, неглупую, хотя и лишенную воображения, с рассеянными голубыми глазами за сверкающими стеклами пенсне? В документах не говорилось также, что для маленького мальчика она в своей несказанности уже не обладала никакими индивидуальными чертами и ее можно было только обожать и глядеть на нее широко раскрытыми глазами, в которых таилась тоска и покорное приятие ее ежедневных исчезновений, ибо это — ее долг, как она часто ему говорила. Многим-многим людям нужно, чтобы она уходила, и ему следует учиться самостоятельности. Ее отец был часовщиком, рассказывала она, а ее мать умерла от родов, когда они много лет назад плыли в Америку из Копенгагена. Ей тогда только исполнилось десять, и, хотя с тех пор прошло больше двадцати пяти лет, она помнила это совершенно ясно. И будет это помнить всю свою жизнь, говорила она строго, а стекла ее пенсне блестели в тусклом свете длинной сумрачной прихожей, и мальчику начинало казаться, что она на него сердится, и он только молча кивал головой — да, он понимает, ему не следует задерживать ее, больные ее ждут.

Однако, хотя ее мысли всегда были заняты другими, ему до боли хотелось быть с ней, и все долгие тихие дни он пытался заглушить эту боль, придумывая какие-нибудь увлекательные игры: распутывал сложные узоры на турецком ковре в гостиной или воображал, что он один из кавалеров с репродукции картины «Общество в парке» Ватто, которые так весело проводили время над декоративным камином. Он вспоминал о матери, только когда игра переставала его занимать. Тогда он начинал лихорадочно придумывать себе новое развлечение.

Когда ему открылась тайна телефона и он убедился, что неведомая «станция» действительно соединит его с номером, который он называет, он принялся запоем изобретать поводы, чтобы днем звонить матери — ему просто хотелось услышать ее голос. Но она бывала с ним либо резка и нетерпелива, либо, что было еще хуже, выслушивала его до конца с терпеливой скукой, и он яснее, чем когда-либо, чувствовал, как мало он ее интересует. «Ты должен понимать, что мне надо заботиться об этих бедных людях. У них нет никого, кроме меня, это мой долг. Они больны».— «Да, я все понимаю. Я понимаю. Только...»

Некоторое время он томился желанием заболеть, потому что на больных людей обращали внимание, о них заботились. Но он был здоровым ребенком, и любая боль, как бы глубоко он на ней ни сосредоточивался, проходила через несколько минут. А в придуманную им боль он сам так мало верил, что, начиная перечислять по телефону симптомы, чаще всего неуверенно умолкал, не докончив. Однажды, когда он говорил особенно убедительно и мать вернулась домой днем, она страшно рассердилась на него, и он испугался, что теперь она никогда больше не придет домой, и по-настоящему удивился, когда вечером она вошла в квартиру и принялась весело рассказывать мужу, как трудно, но интересно прошел у нее этот день. Тогда он научился не выдавать своих

чувств и стоически переносил ноющую боль в сердце, не сознавая, что, хотя он и не умел описать ее, она была по-своему сильнее и страшнее любой боли, какую он изобретал. Он решил, что это ощущение и есть жизнь, и принял его без малейших протестов.

Его отец также был поглощен своими обязанностями — из года в год он нес ответственность за тысячу с лишним мальчиков. Родители Ника были хорошие люди, увлеченные своей работой, и они гордились собой и друг другом, потому что посвятили себя служению человечеству в стране, где все остальные гонялись за Всемогущим Долларом. Но с тупостью полуинтеллигентных людей и с бесчувствием людей безлично добрых они не замечали, что алчность — не единственный грех против любви, а обсуждая за обедом свои служебные дела, считали само собой разумеющимся, что заботы о чужих людях каким-то образом освобождают их от обязанности окружать таким же вниманием ту единственную жизнь, которая непосредственно и больше всего зависит от них.

Маленький мальчик молча сидел за столом между ними, слушал их разговоры, не понимая и половины, недоумевал, как ему удастся, когда он вырастет, стать достойным их возвышенных принципов, и с тоской думал, что никогда не сумеет совершить ничего, что заставило бы их наконец обратить на него взор, исполненный удивления и любви. Время от времени его мать вспоминала, что пренебрегает своими родительскими обязанностями, и пыталась за двадцать эмоциональных минут возместить то, чего не делала много лет, волнуя мальчика и сбивая его с толку этими неожиданными взрывами нежности; точно так же изредка выпадало воскресное утро, когда его отец входил в комнату, ласково улыбаясь, и говорил с неловкой веселостью — он был по натуре человеком сдержанным и серьезным: «Ну-ка, сынок, скорее, надевай пальто и пойдем с тобой в зоопарк. На этот раз только мы, мужчины».

Документы, которые Мэрион читала так часто, что знала их почти наизусть, сообщили ей совершенно точно, где он провел следующие годы своей жизни: начальная школа — 93-я Манхэттенская; средняя школа имени Таунсенд-Гарриса; Массачусетский технологический институт; бакалавр наук, доктор наук; стипендия Эмерсона и место в лаборатории Калифорнийского института. Однако документы не рассказали ей о том, как за этот срок мальчик, подавленный своей болезненной чувствительностью, медленно и сознательно превращался в юношу, весь вид которого надменно заявлял о том, что он ни в ком и ни в чем не нуждается, и как мгновенно сменялась эта надменность сияющим безмолвным удивлением и благодарностью за все, что ему давали без его просьбы.

С тех пор ураган лет сдул обрывки и лохмотья всего, что не было самой сутью его личности, оставив ее жесткой и цельной, и вот таким увидела его Мэрион во время их первой встречи. Когда она пришла взять у него интервью, он был в подземной лаборатории, где руководил экспериментом на массивной высоковакуумной установке — огромном, до потолка, куске семислойного пирога из железа и бронзы. В самой середине пирога находилась крепко затянутая болтами герметическая железная камера со стеклянным окном. Каждые несколько минут окошко в вакуум стремительно вспыхивало, становилось ослепительно ярким и раздавался громовой удар, точно в тысячах окон гигантского дворца ветер одновременно хлопнул всеми шторами; однако, хотя ей свет и грохот казались невыносимыми, он почти не поворачивал головы к установке и всего несколько раз прервал интервью, чтобы дать какие-то указания ассистентам у пульта управления. Он вел себя так, словно эта невероятно сложная машина, предназначенная для изучения физики космоса, машина, которую он сам придумал, сконструировал и построил,

проще обыкновенных ножниц. Невозможно было вообразить, что у него тоже бывают сомнения или колебания, или что ему тоже иной раз нужна чья-то ласка и поддержка, или что придет день, когда она сама вдруг не сумеет понять этого человека, которым так восхищается, начнет его упрекать за то, что он не ведет себя с надежной рассудительностью бухгалтера или управляющего делами.

Ей даже извиняться было стыдно. Она стояла, словно маленькая девочка, не знающая, как загладить обиду, о которой она будет сожалеть всю свою жизнь. Он, однако, снова не заметил ее состояния и продолжал, недоуменно хмурясь, покачивать головой.

— Столько лет я хотел повидать этого Горчакова,— сказал он с тихим недоумением, к которому теперь примешивались злость на себя и страх.— И как раз на этот телефонный звонок я не мог ответить, потому что был не в силах пошевелить пальцем. Что со мной будет дальше?

Затем его лицо стало напряженным, и она поняла, что на эту тему он больше говорить не будет. Он снова повернулся к лежавшим перед ним чертежам мезонного телескопа. Они уже измялись — так долго он сжимал их в руке.

— В мастерской ждут, чтобы вы одобрили эти чертежи или дали какие-нибудь указания,— сказала она мягко.— Может быть, вы что-нибудь продиктуете мне, пока не дают соединения?

Он несколько секунд недоуменно глядел на нее, а потом, осознав наконец, что она сказала, ответил:

— Я их еще не смотрел.

Она знала, что он уже целый час смотрит на эти чертежи, но она поняла также, что он хочет остаться один, и молча вышла из кабинета.

2

Он сидел за своим столом, сцепив длинные пальцы, но под его неподвижностью крылась буря, зажатая в жесткие тиски. Потом ценой невероятного усилия он заставил себя выкинуть из головы страшное воспоминание об этом непонятном духовном параличе. Он аккуратно снял скрепку с бумаг, как проделал это уже час назад, и снова начал вглядываться в слова и графики. Через секунду он в отчаянии закрыл глаза, так как его сознание опять отказывалось что-либо воспринимать. «Что со мной происходит?»— кричало все его существо.

Было время, когда такая проверка очередного эксперимента вызвала бы большой душевный подъем. Идеи нахлынули бы на него горячей творческой волной. И хотя его прозрения были теперь бесконечно более точными и острыми, чем прежде, их со спокойным совершенством порождала лишь какая-то внешняя часть его сознания.

В те далекие дни волнующая увлекательность его работы казалась ему настолько само собой разумеющейся, что он ее почти не замечал. Он занялся физикой космических лучей после того, как проблема электронных ливней была полностью исчерпана, однако открытие ядерных ливней в атмосфере было еще более заманчивым, и сперва он вложил в исследование их природы всю свою изобретательность и силу воображения — так прежде он занимался физикой атомной бомбы. Освободившись от спостылевшей работы, он едва успевал справляться с решениями новых проблем — так быстро они у него возникали.

Идея эксперимента с пи- и мю-мезонами пришла ему в голову солнечным утром, когда он подводил свой автомобиль к институтской стоянке. Вся картина процесса распада возникла перед его глазами так

ясно, что казалось, он мог ее коснуться, а когда он вынул ключ из зажигания, в его мозгу уже полностью сложилась схема прибора для этого эксперимента. От волнения и восторга у него перехватило дыхание. Шесть месяцев спустя у него почти так же возникла идея его уравнений диффузии, словно, выйдя из-под душа, он внезапно открыл то, что знал всегда, хотя и не сознавал этого.

Благодаря подобным внезапным открытиям в собственном сознании он был всегда необычайно интересен самому себе, потому что, казалось, не было конца фантастическому разнообразию сокровищ, еще скрытых, но вот-вот готовых засверкать перед ним без всякого усилия с его стороны, когда он этого совсем не ждет. Каждое прозрение требовало напряженной и сосредоточенной работы, нужно было успеть исследовать и проверить его, прежде чем перед ним вдруг вспыхнет новое открытие.

В те дни жизнь была захватывающе интересна. Он работал потому, что страсть к работе не отпуская гнала его вперед. Он никогда не задумывался, почему выбрал эту работу и занимается именно ею. Просто все остальное казалось по сравнению с ней пресным и скучным, каждый день, даже неудачный, был волнующим приключением, потому что и разочарования, и восторг он ощущал с одинаковой силой. Что бы ни было сейчас, завтра дела обязательно пойдут лучше. Люди, не имевшие отношения к его науке, не знавшие, как все это бывает на самом деле, учено, напыщенно, а иногда с почтительным трепетом писали, что он слуга человечества, принадлежит к авангарду современного общества, а то еще даже — что он первосвященник чего то там такого; но ни он сам, ни его коллеги никогда не прибегали к таким выражениям. Ощущение творчества было совсем другим — очень личным, совершенно непередаваемым, и он никогда не отделял это ощущение от самой работы, пока где-то в глубине его сердца они не разделились сами собой, когда яд, медленно распространявшийся с момента шока, вызвал духовный паралич. Кошмарная картина снова встала перед навеки испуганными, остановившимися глазами и открытым в изумлении ртом, картина, никогда не исчезавшая из его памяти,— пораженное молнией дерево, половина которого по-прежнему зеленеет, а другая в одно жгучее мгновение превратилась в ничто. Творческие мысли стали приходить все медленнее, все реже, и теперь в них уже не было радости — наоборот, они приносили с собой грусть.

Теперь он был похож на человека, который больше не чувствует жара любви, но совершает ее акт так умело, что каждую секунду женщина переживает и удовлетворение и томление, пока наконец искусно вызванная мука не перейдет в экстаз, а сам он все это время, несмотря на свою мастерскую технику, не испытывает ничего, кроме последнего холодного взрыва ощущений, не лучше и не хуже тысячи изведанных прежде.

Вот это отсутствие страсти и было самое худшее — хуже, чем пустота в сердце: онемение само по себе становилось болью. Он тосковал по новым идеям и палящему биению жизни. Он в пятый раз отложил чертежи, оттягивая решение с часу на час, со дня на день — до того времени, когда в нем вновь пробудится прежняя страстная заинтересованность. Как страшно было думать, что этот холод останется в нем до конца жизни. И он вел свирепую внутреннюю борьбу против удушающего равнодушия, за возвращение прежнего великолепия чувства.

Он вел эту борьбу совершенно безжалостно, потому что нельзя было терять ни минуты: эта оледенелость пугала его даже не сама по себе, хотя она тоже была страшна; больше всего он боялся, что она — только прелюдия к полному мраку, к тому времени, когда в его мозгу не будут

пробуждаться и самые банальные идеи, а тогда бороться уже будет поздно. Тогда он станет живым мертвецом.

Нет, он не хотел сдаваться. Он заставлял себя продолжать работу — сохранять внешнюю форму своей творческой жизни. Он никогда не жаловался и ни разу — если не считать единственного срыва, свидетельницей которого оказалась Мэрион,— даже намеком не обмолвился о том, как иногда застывает его сердце. Но прячась за этим фасадом, он брел наугад по дням своей жизни, словно блуждая в незнакомом лесу, и тщетно ждал какого-нибудь знака — пусть самого незаметного, какого-нибудь звука — пусть самого слабого, который вывел бы его назад, к ясности. Вновь и вновь его постигало разочарование, но твердое решение не уступать поддерживало его, как стальная опора. Сейчас все его сознание, все его нервы были настроены на приезд Горчакова, словно этот человек, которого он никогда не видел, чьего голоса ни разу не слышал, чья жизнь, вкусы, темперамент и характер были ему совершенно неизвестны, уверенно шел к нему через густую чащу,— и этой встрече было суждено его воскресить.

В каком-то отношении этот незнакомец стал для него самым близким человеком, потому что, поставив свой важнейший эксперимент, Ник узнал, что почти в ту же самую минуту почти на противоположной стороне земного шара к этому человеку пришло точно такое же озарение. Ника поразило своеобразие мышления этого человека: сам он отбросил сотни возможных вариантов своего прибора, прежде чем выбрал тот, который мог лучше всего проверить его теорию, но этому человеку пришел в голову еще один вариант, такой же новый, такой же точный и в то же время основанный на принципах, о которых Ник даже не подумал. И когда Ник после двух лет напряженной работы получил один результат, Горчаков опубликовал чуть-чуть иной. И все же, как бы ни были различны миры, в которых жили эти два человека, как бы ни были различны оттенки истины, которую они открыли, между ними оставалось то общее, что позволит им, когда бы и где бы они ни встретились, без всяких предисловий приступить к подробному обсуждению того, что обоим было важнее всего на свете; Ник не представлял себе, как может эта встреча вызвать столь необходимое ему чудо. Но все это время ветры интуиции свистели в его ушах, твердя, что именно так и будет.

Неожиданный телефонный звонок из Кембриджа мог означать что угодно — и то, что встреча произойдет строго в намеченный срок, и то, что приезд русской делегации вообще отменяется.

Он вскочил и отошел от стола, так как слишком долго пробыл наедине со своими мыслями. В присутствии других людей его внешнее «я» все еще было решительным, энергичным, бодрым. Но прежде чем он успел выйти из кабинета, дверь приоткрылась, в ней появилось мужское лицо, и по кабинету скользнул слегка насмешливый взгляд.

— Что будет, если я рискну войти без доклада?

— Леонард! — воскликнул Ник, искренне обрадованный, потому что Леонард Хэншел воскрешал все то лучезарное волнение, которое испытывал Ник, когда перед войной приехал в Калифорнию из МТИ. Хэншелу стоило только остановиться на пороге кабинета, чтобы показать, какой стала теперь его жизнь.— Входите, конечно входите!

Он выглядел моложе, бодрее и увереннее. Прекрасный темно-синий костюм, изящный носовой платок дышали строгой элегантностью, не имевшей ничего общего с тем неотглаженным видом, какой был у него в дни, когда его имя сияло настолько ярче имен всех остальных американских физиков, что попасть в число его ассистентов уже значило оказаться среди избранных. За двенадцать лет, минувших со дня окончания

войны, Хэншел ушел из мира лабораторий, университетов и научно-исследовательских институтов. От длинных растрепанных волос не осталось и помина — теперь лишь седая аккуратно подстриженная бахромка окружала его сияющую лысину, которая придавала ему еще более лощеный вид. Он даже по комнате прошел, как человек, который теперь знаком с президентами и премьер-министрами, как человек, который теперь то и дело совершает полеты в Европу и которого в аэропортах всего мира встречают черные лимузины с маленьким посольским флажком, трепещущим над радиатором.

— И мне это ужасно нравится,— сказал он, изящно опустившись в кресло наискосок от Ника и покончив с приветствиями.— Ей-богу, я гляжу в зеркало и вижу, что я был создан, чтобы быть лысым и шестидесятипятилетним и заниматься дипломатической физикой. Целых пятьдесят лет я оставался подростком. Слава богу, теперь это кончилось!

— Вы, кажется, довольны жизнью,— заметил Ник.— А как Эдит?

— Эдит? — переспросил после паузы Хэншел излишне веселым голосом, словно в эту минуту, когда ему было так хорошо, напоминание о вечно всем недовольной женщине, от которой он каждое утро после завтрака бежал с покорным поцелуем, было запрещенным ударом и ему оставалось только принять его с гордой невозмутимостью. Он произнес добродушнейшим голосом: — Чудесно, ей тоже все это очень приятно.

— Я в этом не сомневался,— сказал Ник, и только в таких словах он и мог выразить, как ненавидит эту даму, ее жеманство, ее мелочность, ее невыносимое самодовольство и то, как она гордилась остатками былой красоты — своими холодными синими глазами и орлиным профилем,— и как презирала работу мужа и его коллег и ассистентов — все, как на подбор, жалкие неудачники по сравнению с людьми, за которых она могла бы выйти замуж, не будь она в 1923 году так глупа. Для группы, работавшей под руководством Хэншела, строение атомного ядра и то не представлялось такой тайной, как вопрос, почему подобный человек терпит ее болтливое чванство, почему он не выгонит ее, дав ей хорошего пинка в ее надменный зад; но из лояльности к шефу они старались находить для него оправдания, хотя женатым сотрудникам бывало нелегко умиротворять своих жен, восстававших против ее мелочной тирании.

— Ваш новый образ жизни, должно быть, ей очень нравится.

— Он больше соответствует ее характеру,— ответил Хэншел доверительно.— Правда, Эдит по большей части остается в Вашингтоне и редко ездит со мной. Все же эта новая обстановка подходит для нее гораздо больше. Вы ведь знаете, Эдит так и не удалось приспособиться к унылому однообразию университетской жизни. Она всегда стремилась к чему-то более...

Она всегда была дурой, чуть было не сказал Ник, но вместо этого помолчал минуту, а затем спросил:

— И вы не скучаете по исследовательской работе? По лаборатории?

— Скучаю? — Хэншел посмотрел на него и медленно улыбнулся.— Я испытываю невыразимое облегчение, точно у меня жернов с шеи сняли. Раньше, когда физик старел и терял то, что делало его хорошим физиком, он полностью выходил в тираж. Вы ведь сами знаете, что такое состарившийся исследователь — лабораторные приборы, из года в год покрывающиеся пылью, потому что новых опытов больше не ставится, это выражение его лица, когда он входит в комнату, где идет чей-то чужой семинар или коллоквиум, или забредает в чужую лабораторию; ну, вы знаете — страшная грусть, стыд, смущение. Такие люди похожи на призраков и чувствуют себя призраками. Даже жены считают их стариками. Ну, а мне не приходится испытывать ничего подобного.

Я тружусь. У меня увлекательная работа. Только теперь я по-настоящему почувствовал вкус к жизни. Мир для физиков изменился.

— Это мы во многом его изменили.

— Вы правы, черт побери! — воскликнул Хэншел.— Мы его всегда меняли. Но прежде эти перемены замечались только через пятьдесят лет. А теперь мы так его изменили, что человечество сразу поняло, чего мы добились. Впервые в истории эти сукины дети отвечают за то, что делают, под угрозой собственной гибели. И надо сказать, давно пора.

Ник слегка улыбнулся.

— Вы говорите так, словно мир распался на два воюющих лагеря — физики против всех остальных.

— В душе я, может быть, именно так и считаю, хотя и отошел от научной работы,— признался Хэншел. Потом он покачал головой.— Исследовательская работа — это ваш удел, удел молодых, а я для нее больше не гожусь. В свое время я выдвинул несколько счастливых догадок, а когда сумел доказать, что я прав, то приобрел репутацию талантливого ученого. Только и всего. Теперь, оглядываясь назад, я убеждаюсь, что у меня, пожалуй, никогда не было того подлинного огня, той одержимости, какой обладают первоклассные исследователи.

Ник поглядел на него, стараясь не показать, как сильно его резнуло ироническое самоуничижение старика. Скромность — это одно, объективность — другое, но такие слова, как бы мило они ни были сказаны,— это сознательное оплевывание блестящей работы, и не только своей собственной, но и всех, кто работали вместе с ним. Неужели ему так необходимо оправдать свой брак, что в конце концов он стал смотреть на себя глазами своей жены? Нет, этого не может быть. Как бы Хэншел ни изуродовал свою жизнь союзом с избалованной мещанкой, он все же оставался человеком, который умел постигать и людей, а не только мир мертвой материи.

— Вы принадлежите к немногим счастливчикам, Ник,— говорил он любезно.— А вы сами это понимаете? Едва вы в первый раз испуганно переступили порог моей лаборатории, я сразу понял, что в вас есть это. Ваш талант проживет столько же, сколько вы сами. И вот почему я без всяких угрызений совести собираюсь попросить вас года на два расстаться с лабораторией и поехать со мной в Женеву. Для большинства два года — слишком долгий срок, они уже не могли бы вернуться к прежнему. Но такой человек, как вы, может позволить себе такой перерыв и все же вернуться к исследовательской работе.

— В Женеву? — переспросил Ник. Он внимательно посмотрел на своего изысканно любезного собеседника, прикидывая, что кроется за этими умными серыми глазами: прозрение или слепота. На мгновение его охватила тревога, словно предстояло разоблачение какой-то тайны.— Почему вы приглашаете именно меня? — спросил он осторожно.

— Потому что мне нужен человек, интересующийся проблемами космоса, и потому, что именно сейчас вдруг наступило время для переговоров в этой области. Ник, просто голова кружится,— сказал он возбужденно.— Двадцать лет назад даже мы считали, что ядерная энергия и исследования межпланетного пространства встанут на повестку дня только через несколько столетий, когда человечество каким-то образом окажется достаточно мудрым и зрелым, чтобы разрешать такого рода проблемы. И вдруг в мгновение ока эта эра уже наступила. И оказалось, что ответственность ложится на наше поколение. Именно нам приходится сидеть за столом совещаний и творить историю!

На одну безумную секунду Ник почувствовал неодолимое желание согласиться. Это разрешило бы все, положив всему конец. И тут же это чувство ужаснуло его: слишком сильным оно было.

— Я сыт по горло такого рода историей,— сказал он медленно,— и больше не хочу иметь к ней никакого отношения. Моя область — физика, и только физика. Сейчас я как раз жду звонка из Кембриджа — о русской делегации.

— А какая здесь связь? — пожал плечами Хэншел.

— Вы упомянули об истории. Меня сейчас заботит моя личная история.

— Вы-то на что жалуетесь? Уж про вас никто не может сказать, что вы творчески бесплодны!

— Но что я, собственно, делаю? — с досадой перебил Ник.— Последнее время я — словно граммофонная игла, которая снова и снова бежит по одной и той же бороздке.— Он внезапно умолк, не решаясь даже самому себе признаться в бо́льшем из страха, что предатель внутри него станет сильнее от этих признаний.— Вероятно, всему причиной проклятое расхождение с Горчаковым. Если бы только нам удалось выяснить в чем дело, я снова смог бы непрерывно двигаться вперед, предоставив тем, кто помоложе, уточнять детали.

Он заметил, что Хэншел смотрит на него каким-то странно-отвлеченным оценивающим взглядом, затем в его глазах неожиданно вспыхнули интерес, понимание, облегчение. На губах заиграла легкая улыбка. Напряжение исчезло с его лица, и он оперся подбородком на кончики пальцев. Глаза его удовлетворенно полузакрылись. Весь его вид свидетельствовал об иронической радости и уверенности в себе.

— Я убежден, что все дело в этом,— неожиданно для себя начал настаивать Ник, словно сейчас важнее всего было убедить Хэншела и своего внутреннего противника.— Только в этом.

— Разумеется,— сказал Хэншел мягко, но его улыбка осталась прежней.— Тем не менее, если дело не в этом, возможно, помогут два года работы со мной.

— Нет,—сказал Ник грубо.— Вы же сами признали, что тот, кто расстается с лабораторией, назад не возвращается.

— Ну, а предположим, я представлю вам это как вопрос вашей личной ответственности? — все еще улыбаясь, спросил Хэншел.

— Не тратьте зря слов,— ответил Ник, вставая из-за стола.— Я уже думал об этом. Я обязан делать то, что делаю, как можно лучше, я обязан использовать свои способности наилучшим образом,— продолжал он.— Но моя личная ответственность вовсе не требует, чтобы я позволял использовать себя в качестве ширмы для решений всевозможных политических деятелей, чьи побуждения вовсе не совпадают с моими. Нет, раз уж вы заговорили об истории, политика — это не история. Это — либо честолюбивые люди, добивающиеся власти, либо честолюбивые державы, рвущиеся к господству.

— У вас столько доводов,— сказал Хэншел с легким смешком, по-прежнему глядя на него так пристально, что Ника пробрал озноб,— столько доводов...

— Может быть.

— Гораздо больше, чем вам нужно. Не знай я вас так хорошо, то сказал бы, что вы возражаете слишком горячо.

Ник опять бросил на него быстрый взгляд, пытаясь уловить скрытый смысл этих слов. Но в умных серых глазах по-прежнему светилась только снисходительная усмешка. Однако Хэншел был слишком проницателен, обмануть его было нелегко. Он несомненно что-то почувство-

вал, но почему-то не пожелал докапываться до причины, и это тоже беспокоило Ника.

— Я подожду вашего решения,— закончил Хэншел, вставая.

— Вы его уже слышали, Леонард.

— О нет, это была только первая реакция,— кротко поправил Хэншел.— Не торопитесь. Повидайтесь с вашим Горчаковым. Дело терпит. Я еще некоторое время пробуду здесь.— Он задержался на пороге и снова улыбнулся.— Нам, пожалуй, стоит поговорить после отъезда Горчакова, и тогда мы посмотрим, так ли все это просто, как вам кажется.

— А вам это не кажется? — спросил Ник, помолчав.

Хэншел пожал плечами.

— О, если бы! Это было бы так мило,— вздохнул он.

Ник продолжал смотреть на закрывшуюся за Хэншелом дверь, по-прежнему охваченный гневом, которого не мог бы выразить словами. Даже причина этого гнева была ему неясна. Он только чувствовал, что совсем опустошен и не может сейчас оставаться один. Свернув чертежи мезонного телескопа и сунув их в карман, он вышел из кабинета.

— Мэрион, когда позвонят из Кембриджа, соедините их с Южной лабораторией — я буду там. А насчет того...— продолжал он уже не таким безразличным голосом.— Простите, что я вас напугал. Я просто не подумал, какое впечатление все это может произвести.

— Извиняться следует мне,— возразила она.— С тех пор как я вышла из кабинета, я все время злюсь на себя. Что вы могли подумать!

— Какие пустяки.

— Нет,— сказала она сердито.— У меня такое ощущение, что я веду себя с вами безнадежно глупо. То и дело выкидываю что-нибудь подобное и понимаю, что натворила, только когда уже поздно, но мои прежние ошибки почему-то не мешают мне делать все новые и новые.

— Вот что,— сказал он твердо.— Вы самая лучшая секретарша в мире, и кто из нас неправ, не имеет ни малейшего значения. Давайте просто забудем об этом.

Он стремительно вышел в коридор своим обычным широким шагом, потому что, когда он работал — а он любил работать,— все его тело обретало целеустремленность и сохраняло ее, несмотря ни на что. Он прошел мимо наполненной жужжанием механической мастерской. Ему было достаточно одного взгляда в открытую дверь, чтобы осмотреть полдесятка приборов, изготовлявшихся для различных исследований, и получить точное представление о том, насколько продвинулась работа над каждым из них.

Когда шестнадцать лет назад он начал свою карьеру физика, он знал только узенький островок внутри этой науки. Все остальное было подернуто сверкающей дымкой приблизительности. В те годы он жаждал, чтобы настал день, когда придет полная ясность. Впрочем, он даже и не мечтал о той широте знаний и о той уверенности, какими обладал сейчас, но зато ему и в голову не приходило, что они дадут ему так мало радости, словно он стал всего только экспертом в определенной области и каждый новый день мог принести ему лишь повторение того, что он уже сделал. А ведь он знал, что это — не все, далеко не все, и уж во всяком случае не должен был исчезнуть жгучий интерес к неведомому, захватывающее волнение открытий и поток новых прозрений.

Здесь, в Южной лаборатории, этим был пропитан самый воздух, им дышали молодые ассистенты Ника. Они поглядели на него, когда он

вошел, они, конечно, даже не подозревали о той войне за самого себя, которую он вел в тайне от всех. Но он боролся и за них тоже, потому что чувствовал себя экраном, который обязан защищать их от заражающего отчаяния, способного убить. Это покровительственное чувство и жалость, а кроме того, любовь к работе, которую он делил с ними, заставляли его всемерно остерегаться, чтобы не заразить их прежде, чем он с боем вернет себе былое ощущение торжества и гордости — всю ту радость, на которую имеет право участник величайших достижений человеческого разума. Поэтому он был необыкновенно чуток к их внутреннему миру, и то, что для другого было бы только еще одним уязвимым местом, еще одной возможностью выместить на ком-нибудь горечь своего разочарования, делало Ника лишь добрее.

Они оставили работу и собрались вокруг него, чтобы выслушать, что он скажет о мезонном телескопе. Идея и общая схема принадлежали ему, но он поручил им разработать отдельные детали.

— Прежде чем мы займемся мезонным телескопом, нам нужно покончить с некоторыми другими делами. Сперва об эксперименте Гаррисона,— сказал он; Гаррисон, самый младший сотрудник лаборатории, побелел от волнения. Ему было двадцать пять лет, он совсем недавно получил докторскую степень, и все же у него хватило смелости предложить план своего собственного эксперимента в области, которой до сих пор никто еще в институте не занимался.— Я разрешаю эксперимент,— сказал Ник.— Лондон отведет вам отдельную лабораторию и откроет личный счет на оборудование.— Он повернулся к своему заместителю, который явно был всем этим не доволен.— Найдется у нас комната?

— Подыщем,— ответил Лондон.

По его тону нетрудно было догадаться, какой разговор он начнет, когда они останутся наедине: «Что вы делаете, Ник? Эксперимент Гаррисона даже в самом лучшем случае не потрясет мир. Кое-что в этом есть, но стоит ли все дело хлопот?» И ему придется объяснять Лондону то, чего Лондон, вероятнее всего, никогда не поймет: что цель этого эксперимента — не те данные, которые, может быть, сумеет получить Гаррисон, а возможность дать Гаррисону испытать упоение самостоятельной работой, чтобы он был захвачен и загорелся новыми идеями, и что, если и Гаррисону и науке повезет, какая-нибудь из этих идей может оказаться действительно ценной. Бледность Гаррисона сменилась румянцем счастья, в глазах появился новый блеск, на губах заиграла улыбка. И Ник, словно сквозь какую-то завесу, почувствовал его состояние — так порой узнаешь забытый любимый мотив, когда невидимый прохожий под твоим окном насвистит его начало.

Зазвонил телефон. Лондон взял трубку, а потом передал ее Нику.

— Вас вызывает Кембридж.

— Это, наверно, насчет русских,— сказал Ник, и все они сразу оживились. Никому из них, кроме Ника, в этом визите не слышался волшебный обертон судьбы. Для них приезд советской делегации просто означал интересную встречу с мифическими созданиями, которые, хотя и были похожи на людей и двигались, как люди, обладали, судя по всему, какой-то своей внутренней сущностью, делавшей их обособленной расой, непостижимой, таинственной, далекой.

— Может быть, им велено возвращаться домой,— сказал Лондон,— довольно с них Америки.

Ник взял трубку и сердито поглядел на Лондона. Его «Алло!» прозвучало резко, почти требовательно — он наотрез отказывался даже допустить мысль о том, что его встреча с Горчаковым не состоится.

Телефонистка в Бостоне сказала: «Говорите!», и раздался хриплый голос Морриса, ничуть не изменившийся после мгновенного перелета через треть американского континента. Этот голос, как всегда, был окрашен бруклинской интонацией, которая не исчезала, даже когда Моррис объяснял сложности релятивистской квантовой механики перед международной ученой аудиторией.

— Ник? Говорит Джек Моррис. Как дела, малыш?

— Ничего нового, кроме работы,— сказал Ник, небрежным тоном маскируя снедавшее его нетерпение.— Ну, как твои гости?

— Я об этом и звоню. Наша конференция кончилась раньше, чем мы предполагали. Русские осмотрели все приборы, какие только у нас имеются. Им каждый день устраивали приемы или вечера с коктейлями, и мы возили их по Бостону, как всегда возим гостей, накормили их у Лохобера в Дэрган-парке и помогали делать покупки в подвале у Файлина, а теперь они изъявили желание отбыть на... погоди минутку...— послышалось шуршание бумаги,— «ТВА-142», который доставит их к вам сегодня вечером, в шесть тридцать.

— Они хотят уехать из Кембриджа сегодня?— Нахмурившись, Ник взял со стола отпечатанный на машинке лист бумаги с типографским штампом «Государственный департамент» и заголовком: «Делегация советских физиков. Программа поездки».— Но это на два дня раньше, чем мы планировали.

— Я знаю,— обеспокоенно сказал Моррис,— но они спросили, возможно ли это, а я не мог ответить им прямо ни да, ни нет. Ну, знаешь, что я делаю в таких случаях: снимаю очки, начинаю их протирать, словно, когда я ничего не вижу, я и слышу хуже. Дело в том, что у них только три недели на знакомство со всей страной...

— Посылай их сюда,— сказал Ник спокойно.— И конечно, сделай вид, будто задержка вышла только из-за того, что ты старался достать пять билетов на один самолет.

— Само собой,— с явным облегчением ответил Моррис.— Позвонить мне в Вашингтон?

— Нет,— ответил Ник.— Я беру ответственность на себя. Просто посади их на самолет и проследи, чтобы все сошло гладко. Главное, чтоб у них не возникло ощущения, будто служба безопасности следует за ними по пятам. А мы здесь изменим расписание и постараемся организовать для них что-нибудь на сегодняшний вечер. Кстати,— прибавил он, не в силах удержаться,— какие они?

— Самые обыкновенные,— ответил Моррис так, словно его самого до сих пор изумляло это открытие.— Ни за что не догадаешься, что они русские, если не считать... я хотел было сказать «прически», но потом вспомнил, как иногда выглядят наши красавцы, ну, и, конечно, они время от времени вставляют свои русские «хорошо» и «пожалуйста». Они имели у нас бешеный успех. Все пятеро говорят по-английски вполне прилично, только слишком правильно, как все иностранцы. И вообще, люди как люди: ни широких штанин, ни стиснутых кулаков, ни размахивания красным флагом. Они любят смеяться и шутить. Двое из них, Меньшиков с ускорителя и Любимов из группы физики твердого тела, оказались большими специалистами по целованию ручек и совсем покорили кое-кого из наших кембриджских дам... Логинов — теоретик, любит джаз, охоту на уток и Пушкина. А твой личный приятель, тот, который приехал, специально чтоб повидаться с тобой,— Горчаков...

— Три минуты...— пробубнила бостонская телефонистка.

— Хорошо, хорошо,— сказал Моррис.— Так, значит, мне официально разрешено сказать им, что они могут ехать?

— Расскажи мне о Горчакове,— потребовал Ник.— Какой он?

Моррис засмеялся.

— Он все время спрашивает то же самое о тебе,— сказал он.— Сам увидишь вечером, а мне от тебя требуется только официальное разрешение отправить их к вам.

— Ты его получил. Я позабочусь, чтобы их здесь встретили, и договорюсь с Вашингтоном.

Ник повесил трубку и тут же позвонил Мэрион.

— Свяжите меня с Чарльзом Энсоном в Вашингтоне... Государственный департамент. Я буду ждать здесь,— он говорил быстро и решительно и с удовольствием заметил, что опять стал таким, каким был прежде и каким, конечно, останется навсегда. Звонок из Кембриджа наполнил его радостным возбуждением: он встретится с Горчаковым даже раньше, чем предполагал, это доброе предзнаменование, знак, что все будет хорошо. Лондону он сказал: — Надо что-нибудь придумать на сегодняшний вечер. Во-первых, мне нужна будет хозяйка. Позвоните домой...

Снова затрещал телефон, и Мэрион сказала, что он может говорить с Вашингтоном.

Ник никогда не видел Чарльза Энсона. Это был просто утомленный, хорошо поставленный голос, который с расстояния в тысячу миль был готов в любую минуту ответить на любой вопрос, касающийся приезжающих в Америку советских делегаций. Телефонные разговоры о подробностях приема и проводов русских коллег велись американскими физиками по всей стране, и из всех участников этих чуть ли не ежедневных трансконтинентальных обсуждений только с Энсоном никто не был знаком лично. Американские ученые знали друг друга, они даже знали русских, потому что для них ознакомиться с работой собрата-физика означало близко узнать его самого; но хотя Энсон был чужим среди них, именно энсоны современного мира терпеливо объясняют наивным ученым те тонкие политические правила, которыми обязаны руководствоваться люди, обладающие определенными знаниями, когда они встречаются с иностранными коллегами, обладающими теми же знаниями. Сами энсоны такими знаниями не обладают. Однако им принадлежит решающий голос — иногда резкий, иногда скучающий, но всегда готовый обсудить любую деталь.

— В программу советских физиков приходится внести изменения,— сказал Ник.— Они уезжают из Кембриджа на два дня раньше, чем предполагалось. Я хочу уточнить: какая часть Кливленда открыта для них?

— Весь город,— продекламировал голос из-за тысячи миль.— Кливленд — открытый город в районе, закрытом для советских граждан.

— Да, я знаю.— Теперь настала очередь Ника проявить терпеливую любезность.— Но что это, собственно, значит, мистер Энсон? Аэропорт находится за чертой города, институт находится за чертой города...

— Послушайте, доктор Реннет,— сказал голос, сразу уловив скрытую критику установленных правил, хотя все без слов признавали, что правила эти были нежеланным наследием периода истерической реакции.— Вы не хуже меня знаете, что эти закрытые районы выбирались совершенно произвольно в ответ на закрытие отдельных советских районов для нас. А ваш институт находится внутри городской черты. Иначе не может быть. Этот визит... сроки и маршрут... был результатом переговоров между нашими представителями и их министерством культуры, а наши работники, несомненно, знают, какие районы закрыты, а какие нет. Если кливлендский аэропорт действительно находится за

городской чертой, это значит только, что какой-нибудь представитель института должен их встретить и проводить через закрытый район, да, впрочем, их же все равно кто-нибудь должен встретить — просто в знак вежливости и уважения. Русские встречают наши делегации, куда бы и когда бы они ни прибывали, и мы должны быть с ними по крайней мере столь же любезны, как они с нами. Все это вопросы личной инициативы, и вы должны решать их на свою ответственность.

— Понимаю.

— Очень хорошо. Просто сообщите мне, какой срок вас устроит, и я посмотрю, что можно будет сделать.

Но Ник начал заниматься наукой задолго до появления энсонов, поэтому он поглядел на свои часы и засмеялся.

— На мою ответственность и по моей инициативе все это произошло минут десять назад. Я позвонил вам не затем, чтобы просить разрешения, а чтобы сообщить о том, как обстоит дело. Вот и все.

Он повесил трубку и достал из кармана чертежи мезонного телескопа. Он твердо знал, что именно собирается сказать. Решение сложилось с полной ясностью, пока он говорил по телефону, и теперь, словно не было этих часов и дней бесконечных терзаний, он указал недостатки конструкции и объяснил, как их можно исправить, быстро набрасывая эскиз и говоря лишь о самой сути дела. Все это заняло только несколько минут. Он не испытывал ни волнения, ни радости, в конце концов сама работа была гораздо важнее тех чувств, которые она в нем вызывала.

— А теперь позвоните домой,— сказал он Лондону,— надо выяснить, что мы можем устроить сегодня вечером. Скажите, что мне нужна очаровательная хозяйка.

Но прежде чем Лондон успел передать просьбу Ника своей жене, она сама засыпала его поручениями, и он говорил только:

— Конечно, детка... Да, детка... Хорошо, детка... И две коробки чего?..

Ник отвернулся, немного смущенный этим соприкосновением с семейной жизнью: теперь, когда Руфи не было, он остро чувствовал, что ему-то некому звонить каждый день, некого ждать, не о ком думать и незачем торопиться домой. Руфь прожила там вместе с ним слишком долго, и теперь в доме образовалась пустота, которую не удавалось заполнить; как бы часто он ни пытался уничтожить воспоминания с помощью духов, жестов и смеха другой женщины, дом по-прежнему принадлежал Руфи и по-прежнему он, входя в гостиную, удивлялся, что она не в спальне, не расчесывает там свои золотые волосы, а просыпаясь по утрам, ждал, что сейчас увидит ее в кухне — длинные прямые волосы, подхваченные черной бархатной лентой, туго накрахмаленный белый передник поверх узких испанских брюк из черного бархата, а на покатых плечах — одна из его старых белых рубашек, с обтрепавшимся воротничком, но белоснежно-чистая — ее любимый домашний туалет. Она поднимала воротничок и по-байроновски расстегивала верхние пуговицы, а шею повязывала шарфиком, узел которого вечно сбивался на один бок. Он помнил малейшие детали, хотя давно уже запретил себе думать о ней, но за крепко запертой дверью она по-прежнему была с ним, а дверь, хотя и крепко запертая, оказалась прозрачной, как стекло. Руфь всегда была полна жизни. Она была вся в заботах настоящего. Ее планы уходили далеко в будущее. Так она жила, думала, говорила, и это было его щитом, и, пока она была тут, она стояла между ним и апокалиптическим видением, после которого в глубинах его пораженного сознания навеки остались широко открытые, остано-

вившиеся глаза и отвисшая челюсть. Под ее защитой он был способен работать.

— Вам придется поискать себе очаровательную хозяйку где-нибудь еще,— сказал Лондон, кладя трубку.— Оказывается, сегодняшнего вечера мы ждали уже шесть недель. Мы идем на симфонический концерт, а билеты нам достались чуть ли не ценой убийства, и она пойдет туда, кто бы и что бы ей ни говорил.

Ник слегка улыбнулся.

— Хорошо, я подыщу кого-нибудь другого, но скажите ей, что она еще за это поплатится.

Возвращаясь к себе, он обдумывал различные варианты на вечер. Он прошел мимо стола Мэрион, не заметив ее, но перед дверью своего кабинета остановился в нерешительности. Тишина, ждавшая его там, таила страшное воспоминание о мгновении духовного столбняка. И о том, как он чуть было не кинулся в пропасть, приняв предложение Хэншела. Он боялся себя, и ему вдруг страшно захотелось поскорей увидеть Горчакова, словно этот русский вел с собою свежие эскадроны — пики, знамена и кирасы уже заблестели в лучах солнца, обещая конец невыносимой осады.

Он нахмурился и взялся за ручку двери, как вдруг заметил, что Мэрион, оторвавшись от диктофона, смотрит на него вопрошающим взглядом.

— Мэрион,— сказал он внезапно,— не могли бы вы поработать сегодня вечером?

— Но я успею кончить перепечатку еще до пяти.

— Я не об этом. Мне, возможно, придется пригласить сегодня к себе русских, а я могу разыгрывать роль хозяина, только если рядом будет хозяйка, которая все для меня организует. Объясните своему мужу, что это служебное дело.

По выражению ее лица он заподозрил, что сказал что-то не то.

— Вы, конечно, не обязаны соглашаться,— продолжал он,— но я просто не знаю, как быть, если только институт не решит изменить программу и сдвинуть все на два дня. Проще было бы ничего не менять и придумать, чем занять вечер. Только и всего.

— Я буду очень рада,— медленно сказала она, не отводя глаз от его лица, и впервые за то время, что она у него работала, он вдруг осознал все значение ее взгляда. Словно его чувства вдруг очнулись от глухой тишины, и теперь он слышал ее дыхание, шорох малейшего ее движения, запах ее духов. Стоит ему протянуть руку — и он коснется ее, ее щеки, ее волос. Он растерянно глядел на нее, представляя, как она в темном вечернем платье, которого он никогда прежде не видел, хлопочет в его кухне, как она улыбается ему, наклоняясь над его обеденным столом, помогая угощать его гостей, как она уютно усаживается рядом с ним на длинном диване в его гостиной во время послеобеденной беседы. Она была ему отчаянно нужна, чтобы отогнать ждавшие его дома воспоминания, чтобы доказать, что они не имеют для него никакого значения; и, входя в свой кабинет, он продолжал испытывать к ней благодарность за то, что она оказалась рядом с ним именно тогда, когда была нужна ему,— благодарность, которая с каждой секундой все росла, усиливалась и становилась чем-то иным.

Он давно уже не испытывал такого сильного чувства — ни к своей работе, ни к идее, ни к женщине, а снова испытать волнение, снова ощутить подъем, снова ощутить жизнь — это было все равно что вздохнуть полной грудью, вырвавшись из рук душителя; и единственное, чего ему хотелось,— еще и еще воздуха, столько, сколько могли вместить

его легкие, ради блаженства самого ощущения. Сегодня вечером его расколдует Горчаков. И вдруг ему захотелось, чтобы в эту минуту именно она была рядом с ним и увидела его обновление.

3

Когда Ник и Руфь только приехали в институт, он предполагал, что они и в Кливленде, так же как в Пасадене, будут снимать квартиру, но однажды утром Руфь выскользнула из-под одеяла, уселась по-турецки в ногах постели, расположив вокруг себя пышные оборки своей ночной рубашки, и объявила, что она хочет жить в доме.

— В большом доме,— сказала она,— пусть даже старом, пусть совсем ветхом.

— Но целые дома очень редко сдаются в наем.

— Я не об этом.

— Купить? — спросил он растерянно.

Руфь была очень миниатюрна. Она не доставала ему даже до плеча, и люди, видя их вместе, всегда улыбались. У нее были огромные синие глаза и длинные черные ресницы. Когда эти глаза становились грустными, он чувствовал себя безмерно виноватым, даже если она бывала явно неправа. Она была пушистой золотистой птичкой. Верхняя губа у нее была как у маленькой девочки. Когда она говорила, он, словно зачарованный, следил за ее лицом — казалось, с некоторыми словами и звуками ее детской губке ни за что не справиться,— и ее нелепые попытки притворяться взрослой вызывали в нем желание оберегать ее от всех трудностей; однако слушая только слова, видя, какой уверенностью дышит ее крохотная прямая фигурка, какими решительными движениями ее руки, руки скульптора, мнут глину и обтесывают камень, приходилось признать, что эта молодая женщина обладает стальной волей и энергией. Пользуясь своей миниатюрностью, словно щитом, она постоянно — вот как сейчас — раздражала его и так же постоянно смешила. Она была такой маленькой, что могла с ребячьим восторгом ходить и прыгать по кровати, а секунду спустя с той же выгодной позиции принималась отчитывать его и доводила до такого бешенства, что он был готов задушить ее.

— Да, купить,— сказала она, складывая руки так, что ее груди под прозрачной материей выделились словно в рамке, и даже не сознавая, что она с ним делает. Но, несмотря на свое негодование, он с трудом удерживался от смеха, не переставая удивляться, что у взрослой женщины могут быть такие крошечные ручки.— Не понимаю я вас, ньюйоркцев,— сказала она.— Или один ты такой? Ты думаешь, что жить можно только в квартирах. Тебе никогда не хочется почувствовать себя дома. А я до двадцати трех лет ни разу не жила в квартирах. И вдруг — одна комната и кухня. И больше ничего! Я там и работала, и ела, и спала. Я чуть не умерла. Я задыхалась. Нет, Ники, мне нужен дом, который был бы моим, как у моего отца был его дом, а у моего деда — его дом. Мне не нужно бассейнов, слуг, больших автомобилей, а просто дом, но чтобы было много лишних комнат и я знала бы, что мне на всю жизнь хватит комнат и для детей, и для внуков, и для друзей...

Он открыл было рот, чтобы объяснить, почему его охватил такой ужас.

— Руфи, послушай,— начал он и умолк, потому что замкнулся в себе и превратился в человека с остановившимися глазами и перекошенным от ужаса ртом, в человека, парализованного видом вселенной,

сжигающей себя в ослепительно-белом пламени. Однажды, очень давно, в ночной темноте он задыхающимся шепотом попытался объяснить ей, что́ его мучит, и она с тревожным сочувствием и любовью обняла его и шепнула: «Я понимаю, но увидишь, это пройдет. Это пройдет». И отчасти она оказалась права, потому что это действительно прошло, но ее слова были только предсказанием, она не разделила с ним его муку, не исцелила ее. Он ни разу не почувствовал, что она слилась с ним, она просто стояла снаружи и ждала. Но большего от нее нельзя было требовать, ведь она не была там, не видела этого собственными глазами и не могла понять, что́ это означает.

Она жила в ясном счастливом мире нынешнего дня, и, так как он не мог ввести ее в свой мир, он вынуждал себя жить в ее мире, употреблять ее слова и принимать ее взгляды — всегда, кроме таких вот минут, когда все это начинало его душить. Тем не менее слова, к которым он прибег, оставались словами ее мира и причины, на которые он сослался, хотя и приближались к ужасной истине, скрытой в его душе, были ей понятны, даже если и казались глупыми, а такими они, наверно, и казались.

— Я не могу,— продолжал он беспомощно,— не могу. У меня никогда не было собственности, если не считать автомобиля, одежды и книг. Я не умею владеть вещами.— Настоящая правда была слишком велика и бесформенна, чтобы ее облечь в слова, и поэтому он уцепился за наиболее сходный с ней предлог.— Мне нравится чувствовать, что в любую минуту я могу собраться и уехать...— «Ты должна знать, что я чувствую на самом деле,— хотелось ему крикнуть,— помоги же мне сказать это!» Но большие синие глаза стали еще больше, пухлые детские губы раскрылись от обиды, а потом крепко сжались.

— Куда? — спросила она.— Ты все время говоришь об этом, а ведешь себя так, словно завтрашнего дня не будет. Ты много лет мечтал именно о такой работе. И говорил, что готов заниматься ею до конца своей жизни.

— Это правда,— сказал он беспомощно, чувствуя, что слова ее мира опять поймали его в ловушку, и поспешил бежать, выдвинув еще один предлог, который не имел никакого отношения к тому, что он действительно чувствовал, но внешне казался очень здравым.— Купить! А где взять деньги?

— Ну, милый, мы сделаем то же, что делают все,— сказала она, словно уговаривая ребенка.— Мы пойдем в банк и скажем управляющему, что хотим купить такой-то и такой-то дом и что нам для этого нужны деньги, и он одолжит нам эти деньги, и каждый месяц мы будем выплачивать ему часть долга, а через некоторое время мы уже ничего не будем ему должны, и дом станет нашим. Это то же самое, что вносить квартирную плату.

— О, черт! — не сдержался он.— Даже мысль об этом приводит меня в ужас! Мы сперва снимем квартиру, а в город переедем со временем.

— Когда ты говоришь «со временем», это значит «никогда». Ники, ну что с тобой? Почему мысль о чем-то постоянном приводит тебя в такой ужас? Когда у нас будут дети, я хочу, чтобы они рождались в нашем доме. Я хочу быть беременной в нашем доме. Мне нужно чувствовать, что все там с самого начала будет прочным, постоянным, навсегда. Ты такой странный человек, Ники, я тебя не понимаю. Большинству людей в нашей стране невыносима мысль, что они не будут жить в доме, который им принадлежит, который всегда будет им принадлежать. В Пасадене я этого не принимала так близко к сердцу — я знала,

что мы там долго не останемся. Но каждую минуту я мечтала о том времени, когда у нас будет свой дом.

— Мне очень нравится, что ты умеешь жить будущим,— сказал он,— а для меня нет будущего, кроме ближайших пяти минут.

— Я знаю,— ответила она спокойно, ибо голос оракула это не глухой отзвук рока, а до боли честное, но всегда случайное прозрение.— В этом наша главная трудность, потому что этого я боюсь в тебе, Ники. Только этого. Я бы задохнулась, если бы чувствовала то же, что чувствуешь ты. Я не понимаю, как ты можешь так жить. Я бы не могла работать.

Дом, который они все-таки купили, предварительно осмотрев двадцать два других дома, был меньше и новее, чем хотелось Руфи, и все же настолько большой, что связывал его. Однако цена была невысока, ему нечего было возразить, и он только молча злился. Но так или иначе дом был куплен, и он скоро привык к подстриженному газону и к цветнику, на который Руфь тратила столько времени, чтобы отдохнуть от своей работы и все-таки чем-то занять жаждущие творчества руки. Этих рук он не забудет — ее рук, никогда не знавших покоя, в мастерской ли, среди цветов или когда она, встав на цыпочки, срезала ветку цветущей вишни или сирени, раскрасневшаяся, а порой измазанная землей, потому что одна непокорная прядь то и дело выбивалась из-под ленты и падала на щеку, а она небрежно отбрасывала ее ребром ладони. В конце концов Руфь его покинула — из-за всего того, что она всегда интуитивно ощущала, но так и не сумела понять. Она хотела детей и не могла постичь, почему человек, такой нежный и веселый с чужими детьми, не хочет иметь собственных. Для нее это было глубоко оскорбительно, настолько, что она не могла выразить это в словах, и ранена была не ее гордость, а основа основ ее существа.

— Ты для меня тяжкая ноша,— сказала она наконец,— страшная ноша, Ники, и больше я не могу нести ее. Просто не могу, и ты не имеешь права просить меня об этом.

И она ушла. И несмотря на непонимание, мешавшее им все годы совместной жизни, только теперь, когда она ушла, он осознал, как много она ему давала, как вопреки всему она защищала его от него самого — недаром эти годы оказались для него такими плодотворными. Он тосковал по ней, страстно хотел, чтобы она вернулась, и лишь постепенно понял, что ее возвращение ничего не решит, что он только черпал у нее силы, которые рано или поздно должен будет обрести в самом себе, если хочет быть полноценным человеком. Но он остался в доме, где жил вместе с ней, и вокруг были вещи, сделанные ее руками.

Он ехал домой в весенних сумерках, густых, прозрачных и тяжелых, как мед; он несся сквозь неподвижно висевшие в воздухе облака ароматов травы, свежих цветов и земли. И пока он ехал, его не покидало ощущение близящихся магических перемен, и от этого он особенно остро воспринимал лучи заходящего солнца и яркую синеву дня, сохранившуюся только в зените, и стелющиеся по земле тени от платанов и белых домов, уже ставшие длинными, темными и прохладными.

Он вел машину с веселой энергией, слившись с ней воедино и наслаждаясь своим умением. Он поставил автомобиль в гараж, и тупой стук боковой двери, через которую он вышел, был единственным тугим комком звука, упавшим в сонную тишину окаймленной деревьями улицы.

Но когда он вошел в дом, там тишины не было: Мэрион приехала раньше него и теперь хлопотала в кухне. Он слышал, как она открывала и закрывала дверцы буфета, исследуя запасы, и слышал тяжелое металлическое постукивание полных банок, которые она передвигала, чтобы

прочесть этикетки. Он открыл дверь и несколько секунд молча наблюдал, как она шарит по полкам. На ней было черное платье с узким лифом, очень глубоким вырезом и высоким воротничком. Ее волосы, более светлые, чем волосы Руфи, были зачесаны со лба и уложены высоко на голове, открывая белую шею. Он был крайне возбужден и никак не мог представить себе ее в рабочем кабинете, рядом с пишущими машинками и диктофонами. Казалось, она принадлежит к более изысканному, более официальному, более богатому миру, чем он думал прежде. Он попытался увидеть ее такой, какой она была всегда,— в свитере, суконной юбке, с деловитыми часиками на запястье, но джин ее женственности уже вырвался из бутылки, и загнать его назад было невозможно. Она была там, где он так отчаянно нуждался в ней, и именно тогда, когда он в ней нуждался.

— Добрый вечер,— сказал он.— Я не заметил вашего автомобиля.

Его неожиданное появление так испугало Мэрион, что жестянка, которую она держала, вырвалась из ее ослабевшей руки и упала с глухим стуком. Бледность разлилась по ее лицу, шея и грудь пошли розовыми пятнами. Ее волнение, бездонность ее прозрачных молящих глаз, неотрывно устремленных на него, заставили его остро почувствовать, что они совсем одни, что безмолвие дома и густое спокойствие еле слышного тиканья часов окружает их, как стена тайны окружает остров свободы. Он безотчетно сознавал, что может подойти к ней, не сказав ни слова, и она, не сопротивляясь, окажется в его объятиях, но спросил только:

— Как вы добрались сюда?

— Меня привез муж,— ответила она так же тихо.

— А почему он уехал? Я думал, что он останется.

Она на секунду отвела глаза.

— Я говорила, чтобы он остался,— ответила она, и он понял, что ее слова означают: «Я знала, что так случится, и хотела, чтобы он был здесь и помешал нам!» — Я сказала ему, что вы будете рады,— продолжала она, и ее голос вдруг утратил всякое выражение.— А он сказал, что мне, конечно, можно встречаться с русскими, поскольку этого требует моя работа, а ему незачем совать свою голову в петлю.

— Совать *свою* голову в петлю? — неожиданно резко спросил Ник.

— Совать свою голову в петлю,— повторила она тем же нарочито бесцветным голосом, словно желая скрыть свое отношение к этому.— Во времена расследований на его факультете уволили несколько человек, и он до сих пор боится.

Губы Ника сжались, и он спросил только:

— Он заедет за вами?

Она снова опустила глаза и тем же бесцветным голосом повторила все то, что сказал ее муж, бесстыдно признаваясь в своей слабости:

— Он решил, что будет лучше, если домой меня отвезете вы. Таким образом, если этим когда-нибудь заинтересуются, он сможет ответить, что никогда их не видел.

— Если этим заинтересуются,— повторил за нею Ник, не в силах скрыть ледяное презрение и гнев, которые вызывали в нем люди, живущие под гнетом страха, и люди, заставляющие бояться других.— Значит, он собирается до конца своей жизни прятаться по углам, ожидая, что *это* время снова вернется? Оно прошло, и мы можем только стыдиться, что допустили такое. Но вот что, Мэрион,— добавил он резко,— если вам почему-либо неприятно встречаться с этими людьми, я обойдусь без вас. Я хочу, чтобы это было совершенно ясно. Вы вовсе не обязаны здесь оставаться.

Она поглядела на него с удивлением и тревогой.

— Но разве я здесь не потому, что это нужно институту?

— Неважно. Где ваше пальто и шляпа? Я сейчас же отвезу вас домой. Я не выношу, когда люди боятся, а уж если я сам тому причиной — это еще хуже. Идемте.

— Но я не хочу уходить. Я не боюсь. С какой стати мне бояться?

— Ваш муж боится.

— Ну и пусть,— сказала она с силой.— Миллионы людей боятся. Может быть, дни расследований и истерии действительно прошли, но никто особенно не рвется встречаться с русскими или приглашать их к себе, если на то нет какой-нибудь веской причины. Люди запуганы. Такие времена, только и всего. И чем эти люди отличаются от русских, все еще настороженно встречающихся с нами, когда мы бываем там? Притворяться, что это не так, значит убаюкивать себя сказками. Я хочу остаться,— повторила она.— Я хочу сегодня вечером быть с вами, помогать вам, быть у вас хозяйкой — кем угодно! Боюсь? Я настолько не боюсь, что просто нет слов, чтобы это выразить! Я так долго ждала возможности побывать здесь! И кроме того, я уже накрыла на стол, а вы даже не выразили желания посмотреть!

Он взглянул в ее умоляющие глаза. Нет, в них не было подлого страха. Она просила только возможности доказать, что она не трусит. Его гнев исчез, и он понял, что восхищается ею. Он засмеялся.

— Хорошо,— сказал он,— идемте в столовую и покажите мне, что вы там устроили, а потом выпьем, пока будем ждать...

Ее лицо сразу просветлело.

— Послушайте, что я купила,— сказала она, неожиданно напомнив ему, что он уже очень давно не слышал, как женщина с энтузиазмом говорит о блюдах, которые она приготовила.— Я зашла на славянский факультет в университете и спросила, что русские едят за ужином. И зажавши список в потный кулачок, бросилась по магазинам.

Говоря это, она прошла мимо него в столовую, и в этот миг ощущение близости между ними было таким теплым и живым, что он понял — оно сохранится независимо от того, что они уже сказали до сих пор или еще скажут.

Она где-то отыскала белую скатерть и постелила ее на стол, а на скатерть поставила невысокую вазочку с цветами и тарелки с копченой лососиной, осетриной, ветчиной, селедкой, красной икрой и свежей клубникой.

— В молочниках сметана. А к селедке уже варится картофель,— сказала она гордо.— Я хотела купить водки, но мне сказали, что русские непременно начнут потешаться над американской водкой и предпочтут виски или коньяк. Вон они в графинах.

— Вы волшебница,— сказал он.— Просто волшебница.— Он посмотрел на часы.— Они должны быть здесь минут через двадцать.

— Но вы же не успеете добраться до аэропорта!

— Я туда не поеду. Их самолет должен был приземлиться десять минут назад. Я заезжал в отель проверить, заказаны ли для них номера и вообще — все ли в порядке. С аэродрома их привезут прямо сюда.

Они прошли в гостиную, она села на диван и, пока он смешивал мартини, следила за ним с тем откровенным любопытством, с каким могла бы рассматривать его лицо после того, как он заснул в ее объятиях. Она взяла бокал у него из рук и стала поверх тонкого края оглядывать стулья, столы, картины на стене, портьеры, и он понял, что она чокается и с ними. Он хотел было сесть рядом с ней, и она вдруг замерла. Хотя она не сделала ни малейшего приглашающего движения, он чувствовал, что она ждет, но в глазах ее мелькнул ужас, словно она молила его отой-

ти. И он послушался. Надо было подготовить и обдумать слишком много других, более важных вещей.

Они принялись обсуждать, что им осталось сделать, но лишь для того, чтобы не заговорить о том другом, что вовсе не требовало обсуждения. Оно уже было тут, уже возникло и дожидалось их с терпением, превышающим все, что они могли ему противопоставить. Зазвонил телефон, и Ник сказал:

— Снимите, пожалуйста, трубку. Телефон позади вас.

— Может быть, звонят вам...

— Конечно.

— Вы же знаете, что я не о том,— упрямо возразила она, но взяла трубку, избегая его взгляда, и заговорила более официальным тоном, чем когда говорила из института, и так быстро, что никакая женщина не успела бы сказать: «Здравствуй, милый!»

— Квартира Реннета... Говорит секретарь доктора Реннета... Да... Да...— Несколько секунд она слушала, утвердительно кивая головой.— Я сейчас ему скажу.— Она закрыла трубку рукой.— Русские приехали, но они очень устали. Они предпочли бы поехать прямо в отель, поужинать у себя в номере, написать письма и лечь спать. Если вы согласны, то программу можно будет начать завтра с утра.

Он нахмурился, не в силах скрыть разочарование, пожал плечами.

— Конечно, если они так хотят.

Она повторила в трубку его слова и, когда разговор окончился, продолжала стоять, не отнимая руки от телефона.

— Я очень на это рассчитывал,— сказал он медленно.— Только сейчас я понял, как сильно я на это рассчитывал.

— И я тоже,— вздохнула она, не подозревая, что он имеет в виду.— Но что же делать? — Ее лицо стало задумчивым и даже огорченным, а потом она повернулась к нему.— Я допью свой коктейль и поеду.

Ее голос, ее тон, взгляд, поза звали его забыть острое разочарование, и он со смутным удивлением внезапно понял, что теперь весь вечер принадлежит им двоим, что уединение тихого дома принадлежит им двоим — время и место в безмолвии ожидали, чтобы ими воспользовались. Но в следующее мгновение ему стало ясно, что все это ни к чему. Он не влюблен в нее, она не влюблена в него, а между тем оба они не из тех людей, которые при таких обстоятельствах могли бы обойтись без всякой духовной близости — возникнет такая нежность, такое доверие и такая потребность друг в друге, все сильнее укрепляемые привычкой, что, даже не будучи любовью, это чувство станет почти равным ей и окажется почти таким же сладостным в своей полноте, почти таким же болезненным в минуту разрыва. Но все это ни к чему, потому что для этого нет будущего. А она ему слишком нравится, и он не может обречь ее на душевную боль или сделать ее центром все шире расходящихся кругов страдания, которые, возможно, захватят других людей, а через них — и еще других.

— Ну, конечно, допейте коктейль,— сказал он и умолк, потому что слишком о многом ему не хотелось говорить: ни о ее муже, ни о Руфи,— а он знал, что сейчас, с любопытством оглядываясь по сторонам, она пытается представить себе женщину, которая обставляла эту комнату и сделала эти статуэтки,— ни о работе, ни о чем-либо другом, что могло бы заслонить ощущение того, что они остались наедине, а этого было опасно касаться даже мимоходом.

— Так может продолжаться всю ночь,— вдруг сказала она отрывисто и, поставив недопитый бокал, встала.— Я лучше пойду.

Она поправила платье на бедрах, не заметив сначала, что это движение привлекло его взгляд к ее рукам и фигуре, а потом удивленно стала смотреть, как он смотрит на нее. Впрочем, он почти сразу отвел глаза и тоже встал.

— Я пойду выводить машину,— сказал он, и подумал: «Если мне только удастся благополучно отвезти ее домой, все обойдется».

— Погасить свет? — спросила она.

— Нет, не надо,— ответил он и шагнул к двери. Но она не пошевелилась, и он знал это, хотя и не видел ее. Властное тепло ее зовущего присутствия заставило его оглянуться, и в следующее мгновение он уже шел к ней, а она к нему. Несколько секунд они просто стояли обнявшись, испытывая блаженное облегчение, потому что исчезла необходимость сопротивляться, которая так долго томила их. Ее тело, ее тонкая талия, узкие плечи, упругая грудь — все это было новым, но в то же время щемяще знакомым, словно исполнилось все, что обещало ему его воображение.

Затем он резко отстранил ее.

— Ну, ладно,— сказал он отрывисто,— я отвезу вас домой.

Она не шевельнулась.

— Вы не знаете, что делаете,— сказал он.— Вы не знаете, на что обрекаете себя. Ничего веселого из этого не выйдет.

— Мне все равно,— сказала она.

— Вы слишком мало знаете, чтобы судить, все равно вам или нет. А я знаю. Я старше вас на пятнадцать лет.

— Неправда. Мне двадцать четыре года.

— Как будто это так много! Вы давно замужем?

— Пять лет. И я не хочу говорить об этом.

— Вы меня совсем не знаете.

— Я работаю с вами два года — каждый день.

— И все-таки вы меня совсем не знаете. Совсем. Поверьте мне, Мэрион. Все будет совсем не так, как вы думаете. Начать очень легко. Ад наступает позднее.

— Мне все равно.

— Вам все равно,— сказал он насмешливо.— Вам все равно. А что вы знаете? Вы же не хотите знать!

— Вот именно,— сказала она страстно,— я не хочу знать.

Однако его упорство победило — ее руки соскользнули с его плеч и безвольно повисли. Она отступила на полшага. Но и этого движения оказалось достаточно, чтобы его захлестнула страшная тоска — предвестник неотвратимой потери. Он невольно обнял ее и снова привлек к себе.

Их поцелуй длился долго, словно она не могла оторваться от его губ. Потом она резко отстранилась. Лицо ее залила краска, глаза были закрыты, она прижала руки к вискам. Прерывающимся шепотом она сказала, покачав головой:

— Вы правы, мы не должны...

Но он опять притянул ее к себе, и на этот раз она, перестав сдерживаться, сама искала его губ. Затем, медленно и неохотно, она снова чуть-чуть отодвинула лицо, чтобы заглянуть ему в глаза, и взгляд ее молил и обещал все, что ему было так нужно. Обняв ее одной рукой за талию, он повел ее, покорно прильнувшую к нему, в спальню, и, хотя дом был пуст, а вечер тих и спокоен, он закрыл за собой дверь.

Глава вторая

1

Утром Ник вскочил с постели, полный радостного сознания, что наконец-то в его жизни произошел решительный перелом. Вчера вечером с Мэрион он снова обрел способность чувствовать, а сегодня утром, после встречи с Горчаковым, он вновь обретет страсть к работе.

Это обещал ему каждый звук, который он слышал: журчание душа, позвякивание тарелок и кастрюль, когда он торопливо готовил себе завтрак, мощный рокот мотора, когда он включил стартер. Это обещали ему прохлада солнечного утра и роса, еще блестевшая на бесконечных тщательно подстриженных газонах, мимо которых он мчался в институт. Каждый раз, когда он поднимал глаза к небу, оно становилось все шире, голубее, выше, чище. Он мельком вспомнил, как в приливе отчаяния чуть было не принял накануне предложение Хэншела, и ему захотелось смеяться над собой.

Его чувство к Мэрион было не любовью, а скорее внезапным взрывом удивления и нежности, рождающихся, когда близость срывает все маски, когда тщательно выглаженная одежда, спокойное лицо, отработанные интонации, вежливые фразы — все, что предназначается только для внешнего мира, спадает или сбрасывается, открывая честную наготу, и приходит завершающее ощущение тихого и благодарного счастья, ибо из всех миллионов чужих, поглощенных собою людей, населяющих землю, еще один прибавился к крохотному числу тех, с которыми на протяжении жизни ты можешь разделить звук биения своего сердца, зная, что хотя бы в это мгновение его слушает и действительно слышит кто-то другой.

Он стремительно вошел в приемную, думая, что вот сейчас поговорит с ней, но это ему не удалось. У ее стола, очевидно дожидаясь его, стоял улыбающийся человек почти в шесть футов ростом и смотрел на него с бесцеремонным любопытством в веселых серых глазах. У него был несколько педантичный, старомодный вид, присущий семейным портретам, потому что его каштановые волосы были разделены косым пробором. Однако в маленьком курносом носе и широкой застенчивой улыбке было что-то мальчишески озорное и симпатичное. Он слегка наклонил голову.

— Доктор Реннет? — спросил он, и американский слух поразило раскатистое русское «р».— Горчаков... Дмитрий Петрович,— добавил он не то по привычке, не то из вежливости, а может быть, подумал Ник, чтобы как-то отличить себя от всех остальных Горчаковых Америки.

Их руки соединились в крепком пожатии, лица улыбались, и на мгновение они застыли в солнечных лучах, словно в эту первую минуту встречи стремились заглянуть друг в друга глубже, проверить друг друга полнее, чем это вообще в человеческих силах. Как смешно, что они встречаются, словно незнакомые, когда в той области, которая для них обоих важнее всего, они давно и близко знакомы, несмотря даже на то, неожиданно подумал Ник, что он ничего не знает об этом человеке с любопытными серыми глазами и гладко выбритым лицом — добр он или зол, честен или коварен и чего он больше всего хочет в жизни.

— Ну вот,— повторял Горчаков, пока они продолжали пожимать друг другу руки.— Ну вот, ну вот...

А Ник, охваченный той же радостью, твердил:

— Наконец-то...

Затем, обняв русского за плечи, он повел его к себе в кабинет.

— Входите, входите и садитесь. Дайте хорошенько вас рассмотреть!

Скрестив руки на груди, он прислонился к столу и сверху вниз смотрел на своего гостя, который, тоже скрестив руки, глядел на него снизу вверх с таким же удовольствием и такой же веселой улыбкой, словно все происходящее было чрезвычайно забавным.

Синий костюм Горчакова, судя по покрою, мог быть куплен в любом недорогом американском магазине, только в форме карманов было что-то иностранное. Его галстук со сложным узором и полосатая рубашка сильно отдавали американским Средним Западом. Самым примечательным в его наружности было отсутствие всякой примечательности, и Ник неожиданно сообразил, что он, в сущности, сам не знал, чего ждал, так как русских ему приходилось видеть только на плохих фотографиях, изображавших рабочих в кепках и либо в сапогах, либо в широких брюках из недорогого материала.

— Как мы будем говорить? — спросил неожиданно Ник.— Вы знаете английский?

— Хорошо ли я знаю английский? — Горчаков обезоруживающе пожал плечами.— Поговорите со мной — и увидим,— добавил он добродушно.— Я знаю его не слишком хорошо, но не так уж и плохо. Он не доставлял мне особых хлопот — пока.

— Ну, а я говорю по-русски плохо,— медленно произнес Ник по-русски.

В глазах Горчакова вспыхнуло удовольствие.

— Значит, вы говорите по-русски?

Ник засмеялся.

— Только про физику,— он заколебался.— Я научился читать... чтобы...— произнес он, подыскивая нужное слово.

— Чтобы...— подтвердил Горчаков со снисходительной улыбкой терпеливого учителя.

— Чтобы я мог знакомиться с вашими статьями.— Ник закрыл глаза и мысленно еще раз повторил всю русскую фразу, проверяя, не напутал ли он в падежных окончаниях. Творительный падеж, множественное число. Правильно. Он продолжал:— Мой акцент, я знаю, с...— он снова запнулся и опять докончил уже вопросительно: — страшный?..

Горчаков снова кивнул.

— Только это неправда,— сказал он вежливо.

Ник откинул голову и громко рассмеялся.

— Ну, это было бы чудом,— сказал он по-английски.— Я произносил русские слова впервые в жизни. Специально откладывал это до встречи с вами. Но дальше нам придется разговаривать «па-английски»,— последнее слово он произнес по-русски.

Некоторое время они говорили о пустяках, потому что Горчаков все еще чувствовал себя не вполне уверенно, хотя и неплохо маскировал это вежливой сдержанностью жестов и любезной улыбкой, которая была чуть более официальной, чем того требовала необходимость; но вскоре он расположился в кресле поудобнее, стал отвечать на вопросы более вдумчиво и непосредственно и позволил себе с откровенным любопытством оглядеть кабинет.

Но пока они прощупывали друг друга, болтая о погоде, о самолетах, отелях и первых мимолетных впечатлениях, Ник понял, что едва сдерживает снедающее его желание поскорее узнать своего собеседника как можно лучше и что для этого ему важнее всего выяснить, приходилось ли и тому работать над тем, над чем Ник работал во время войны, и видел ли он собственными глазами ослепительно-белую гибель мира,

скрывается ли и в нем человек, все еще потрясенный высвобождением сил, настолько превосходящих воображение, что лишь те, кто сами способствовали этому высвобождению, а потом наблюдали результаты своей работы, могли принадлежать к маленькому братству людей, по-настоящему постигших суть своей эпохи?

Только узнав это, мог он действительно узнать Горчакова, но он помнил, что именно этого вопроса не может задать. Об этом они — узники своей эпохи — обязаны хранить молчание: так узникам, томившимся в тайных темницах, запрещалось говорить между собой. Ник хотя бы имел право упоминать о том, что он сделал, так как его участие в этой работе было официально известно всем. Но расспрашивать Горчакова — это другое дело. То, что на самом деле было лишь жадным любопытством к его личному прошлому, могло показаться чем-то гораздо более зловещим, но рано или поздно он должен будет это выяснить.

— Знаете,— сказал Ник,— я никак не могу отождествить вас с тем представлением, которое у меня о вас было: я ждал увидеть человека пониже, поплотнее, помоложе.

— А я ожидал увидеть человека постарше,— рассмеялся Горчаков.

— Постарше?

— Да, конечно. Ваши работы стали появляться уже пятнадцать— двадцать лет назад.

— Я начал печататься, когда мне только исполнился двадцать один год.

— Только двадцать один? — спросил Горчаков с добродушной иронией, и Ник почувствовал, что скованность его собеседника наконец совершенно исчезла.— А я начал печататься, когда мне было уже почти тридцать. Когда мне исполнился двадцать один... Господи, это же было в сорок пятом году! Я, наверно...— он, сосредоточенно хмурясь, посмотрел на Ника, проверяя, правильно ли произносит английские слова,— наверно, въезжал на танке в Лейпциг.— Его лицо внезапно омрачилось, и он на мгновение стал гораздо старше.— Какой это был год! — вздохнул он.— Война была очень тяжелой, но тогда она уже кончалась, и дальше все представлялось таким безоблачным! Не хотелось думать о прошлом, и я только снова и снова твердил себе, что все это кончилось навсегда...— В его голосе послышалось сдержанное волнение.— Кончилось и никогда не вернется; если бы я в это не верил, я не мог бы жить дальше. И я верил. Но потом...— Он помолчал, и снова его тон внезапно изменился.— Вы знаете, здесь у вас я иногда задумываюсь, может ли иностранец понять, чем были эти наши сорок лет... Как мы их понимали, какими мы их видели, что они означали для нас... Почему мы сделали то, что мы сделали...— Он растерянно покачал головой.— Как объяснить людям, которые не пережили этого? Как? — Затем его настроение снова изменилось. Руки легли на колени, лицо прояснилось, на губах вновь заиграла улыбка.— Вот было бы странно, если бы мы с вами встретились тогда в Германии. Я бы ничего не знал о вас, ни кто вы такой, ни кем будете — так же, как и вы обо мне,— просто два человека в военной форме. Мы могли бы кивнуть друг другу или обменялись бы сувенирами, даже не узнав имен друг друга.

— Во время войны я не служил в армии,— сказал Ник и, внимательно глядя на Горчакова, многозначительно произнес: — Я занимался физикой.

— Ах так,— негромко сказал Горчаков, когда понял, что кроется за словами Ника. Он вдруг заколебался, что сказать дальше, и снова лицо его изменилось, став на момент непроницаемой маской; он настороженно выжидал, чтобы Ник задал тон, но сам ему не помогал.

— И у нас это время тоже было странное,— медленно продолжал Ник.— Там, где мы находились, мы были одинаково далеко и от любого врага, и от собственного народа. Никто вне самого центра не знал, где мы и чем занимаемся. А мы находились там только потому, что немцы, как мы твердо верили, намного обогнали нас во всех отношениях, поскольку они начали работу гораздо раньше. В 1944 году, когда ваша война уже подходила к концу, мы только-только узнали, что немецкие физики — группа Гейзенберга — не сделали и половины того, что сделали мы. Нас это потрясло. Нам и в голову не приходило, что мы будем первыми. Словно Колумб отправился в Америку не потому, что решил открыть новый континент, а только для того, чтобы догнать какого-то другого капитана, который, по слухам, отплыл на несколько дней раньше. И поэтому, когда во время путешествия Колумбу приходилось решать какие-то совершенно новые задачи, блестящие решения, которые он находил, были в его глазах лишь доказательством гениальности, проявленной его соперником за несколько дней до него. Если бы нам сказали, что у немцев ничего не получилось, мы бы тоже прекратили работу задолго до того, как она начала давать результаты.— Он помолчал, снова почувствовав непреодолимое желание задать столь важный для него вопрос, но вместо этого сказал: — Интересно, как все сложилось бы, если бы мы действительно прекратили работу.

Горчаков молчал. Любезное выражение его лица не изменилось, но во взгляде умных глаз появилось что-то новое. Наконец он сказал:

— Рано или поздно эти результаты были бы достигнуты. Ведь физика уже была к этому готова.

— Но для меня это имело бы большое значение,— заметил Ник.— Мне даже трудно вообразить, насколько по-иному сложилась бы тогда моя жизнь. Вам знакомо это ощущение?

Снова Горчаков ничего не сказал. Ни выражение его лица, ни поза не изменились, и однако он весь насторожился. Легкая дружеская улыбка не была насмешливой. Он просто забыл убрать ее с лица. Он ждал. Потом медленно поднял руку и протянул к Нику раскрытую ладонь вежливым жестом, говорившим: «Слово по-прежнему за вами, продолжайте». Однако его нежелание отвечать само по себе было ответом.

— Трудно объяснить, в чем, собственно, состоит это ощущение,— продолжал Ник.— И, разумеется, эту работу надо было сделать. Это было неизбежно. Но я, собственно, хотел спросить вот что: а если бы ее закончили при других условиях, ради других целей или хотя бы после того, как другие проделали то же и взяли на себя всю ответственность за то, что принесли эту силу в мир? Необходимость в таком случае сняла бы всякое чувство вины, как это было с нами, пока мы думали, что немцы нас обогнали. Каким было бы это ощущение — знать, что ты не первый?

Горчаков стал очень серьезным. Он нахмурился и наклонился вперед, словно собираясь встать и уйти, не говоря ни слова. Ему, казалось, было очень жаль, что разговор принял такой оборот. Ник сказал:

— Сознание, что ты первый, иногда оказывается большей нагрузкой на человеческий рассудок, чем само решение задачи.— Ему стало ясно, что политическая обстановка сводит на нет его личное любопытство, каким бы напряженным оно ни было, и до боли бесполезно надеяться, что Горчаков поймет его истинные побуждения. Ник грустно улыбнулся и, стараясь окончательно прикрыть свое отступление, добавил: — Возможно, наука развивалась бы гораздо быстрее, если бы мы думали, что просто заново открываем утерянные истины, которые чело-

вещество когда-то знало, а потом забыло — ведь забыли же на целую тысячу лет, что земля кругла.

— Возможно,— согласился Горчаков. Его напряжение исчезло, он, очевидно, решил, что подозрения его неосновательны. Он слегка улыбнулся.— Но как же тогда быть с захватывающим чувством познания неведомого? В таком случае на долю ученого осталось бы лишь удовлетворение умного сыщика, который, сопоставив мелкие данные, воспроизводит действия другого человека. А на самом деле это настолько значительнее, настолько...— У него не хватило слов, его пальцы нетерпеливо сжимались и разжимались, пока он тщетно искал выражения своей мысли.— Да кому же это и знать, как не вам?

Ник угрюмо посмотрел на него и опустил глаза, чтобы спрятать иронический вопрос «Вы так думаете?»

— Послушайте,— сказал Горчаков,— вот мы сидим с вами здесь, два человека, измерившие высочайшие энергии элементарных частиц, которые движутся в том, что считается пустым пространством. А мы с вами знаем, что оно не пустое. Мы знаем, что оно наполнено потоками, а может быть, огромными облаками электрически заряженных частиц, которые движутся из одного конца галактики в другой. Если правильно одно из наших измерений, то, значит, вселенная обладает одной формой и одного рода строением. Если же правильно другое измерение, то, значит, природа подчиняется совсем иным законам. Вот мы сидим в это солнечное утро, два человека, которых недавно разделяли тысячи миль, но которые последние годы оба мучились, пытаясь постичь строение тел, находящихся от нас на расстоянии тысяч световых лет. Световых лет! — повторил он мечтательно.— Ну, так какой же вариант более привлекателен? Что мы просто стараемся восстановить истины, которые были известны, ну, скажем, жителям Атлантиды и погибли вместе с ними, или что мы вторгаемся в неисследованные области и нашему разуму впервые за всю историю Земли предстоит определить строение космоса на основании известных нам данных?

— Но, собственно говоря, что нам известно? — спросил Ник.— Получили вы какие-нибудь новые результаты, которые позволили бы как-нибудь согласовать наши измерения?

Горчаков покачал головой.

— В Москве мы все время получаем один и тот же ответ. А вы?

— Тоже. Это абсолютно нелогично, если только дело не в ошибке приборов.

— Но какой из них неточен — ваш или наш? Если бы меня попросили выбрать между экспериментальными результатами, полученными вами, и иными результатами, полученными путем такого же опыта кем-нибудь другим, я, конечно, поверил бы вам. Но в данном случае кто-то другой — это я, а я уверен в каждой детали моего эксперимента.

Ник пожал плечами. Он отошел от стола и остановился у доски.

— Я могу только ознакомить вас со всем ходом моих рассуждений, а затем — с моим прибором. Быть может, вам удастся найти ошибку.

Он рассказал о своей идее с первой минуты ее возникновения, показав не только что он думал, но и как думал. Один исследователь кидается на идею, как фокстерьер, бешено носится вокруг своей добычи, делает ложные выпады и наконец в минуту озарения бросается вперед и схватывает истину; другой обрушивается на нее с неуклюжей силой медведя, ломясь напролом через пробелы и несоответствия. Но ум Ника действовал с изящной гибкостью фехтовальщика — каждое движение было экономно и грациозно, ни одно из них не было лишним, а последнее предвосхищалось самым первым и оказывалось неизбежным.

2

За пределами земной атмосферы в вечном мраке бесконечного пространства невидимые газовые облака длиною в миллиарды миль бесшумно проносятся одно мимо другого или одно сквозь другое почти со скоростью света. Эти скользящие облака наэлектризованных частиц настолько огромны, что звезды рядом с ними — всего лишь раскаленные комочки, но при этом они настолько разрежены, что их можно считать материей лишь по сравнению с черным ничто, сквозь которое они просачиваются с фантастической скоростью. В пределах галактики они вечно движутся, изгибаясь и закручиваясь в спирали, непрерывно меняя форму и плотность, так как более быстрые частицы внутри облака догоняют более медленные. Они невидимы человеку при дневном свете, скрыты мраком земной ночи, само их существование можно только предположить, законы, которым они подчиняются, можно вывести только в приближенной форме, опираясь на максимальную скорость наиболее быстрых частиц.

Математические выкладки Ника, казалось, не стоили ему никакого труда, и Горчаков перебил его лишь несколько раз, когда ему показалось, что Ник исходит из неточных предпосылок. Работая, Горчаков становился необыкновенно въедливым человеком и был почти невыносимо упрям, пока не чувствовал себя убежденным, но зато умел мгновенно уступать, едва ход рассуждений становился ему понятным. Когда он увлекался, то начинал говорить очень быстро и настойчиво, словно специально обучался искусству прямого и безжалостного спора. В первый момент казалось, что у него негибкий, дидактический ум, но это была лишь манера держаться, и в конце концов он совсем перестал перебивать Ника, который говорил с необыкновенным жаром. Ведь он объяснял свою теорию человеку, для которого она имела самое большое значение и который лучше кого бы то ни было мог оценить ход его мысли; поэтому он весь был полон горячего возбуждения, так ему не хватавшего, когда он впервые проводил свой эксперимент. Захваченный этим ощущением, он был готов закрыть глаза и вознести благодарственную молитву, как человек, начинающий выздоравливать от паралича.

Горчаков был слишком поглощен формулами, чтобы обращать внимание на что-нибудь кроме доски; он сидел молча, постукивая по зубам ногтем большого пальца.

— Замечательно,— сказал он наконец, словно констатируя факт.— Как интересно, что совершенно различными логическими путями мы пришли к одинаковому выводу. Что же это означает? Ваша теория гораздо более проста по сравнению с моей. Более проста и более интуитивна. Но моя мне кажется более строгой. А теперь покажите мне, как вы воплотили все это в приборе.

Однако, прежде чем они успели уйти в лабораторию, вошла Мэрион и сказала, что в главном обеденном зале их обоих ждут к завтраку остальные советские гости, директор и сотрудники института. Она сообщила об этом как идеальная секретарша: вежливо, официально и безлично. Но для Ника ее теперь озарял мягкий отблеск незабываемой близости. Под глазами у нее легли голубые тени бессонницы, а слегка осунувшееся лицо казалось особенно нежным. Он пытался угадать, что случилось после того, как они расстались, но, когда ему наконец удалось спросить ее об этом, она ответила только:

— Ничего, что касалось бы вас. Ничего не случилось.

В тот день они с Горчаковым так и не попали в лабораторию, потому что этим завтраком началась официальная программа: коллективный

осмотр циклотрона и лабораторий других отделов института, экскурсии по городу, приемы с коктейлями и наконец концерт, на который, к удивлению Ника, Мэрион достала лишний билет, чтобы, как она сказала, пойти туда с ним.

— А можно? — спросил он. После той первой ночи им еще ни разу не удавалось остаться наедине.— Не будет это неудобно?

— Мне так хочется, вот и все,— ответила она твердо.

В своем темном вечернем платье она выглядела безмятежно спокойной и весь вечер оставалась рядом с ним, не проявляя ни малейших признаков смущения. Никто, очевидно, не сомневался, что она присутствует здесь по долгу службы,— никто, кроме Хэншела, который в антракте, остановившись выкурить с ними сигарету, поглядывал на них с легкой усмешкой. Почти все время он смотрел на Мэрион — смотрел со скрытым восхищением и тоскливой завистью человека, который слишком долго жил с нелюбимой женой, сохраняя мертвую оболочку супружеской верности только из страха, только потому, что у него не хватало мужества ни порвать с той, которую он возненавидел, ни найти ту, которую он мог бы полюбить. Будь у него не такая лощеная внешность, можно было бы сказать, что его жаркий жаждущий взгляд полон отчаяния. Но он был для этого слишком умен и корректен, и лишь его манера держаться казалась немножко чересчур отеческой, немножко чересчур иронической и снисходительной. Там, где другие видели только внешнюю холодную вежливость Ника и Мэрион, взгляд Хэншела проникал в самую суть с проницательностью, порожденной страданием. Он ни словом не выдал своих мыслей, но эта его проницательность заставила Ника встревожиться за Мэрион. Он не знал, заметила ли Мэрион что-нибудь, но, когда они вернулись в зал, она прошептала, притворяясь, что смотрит в программу:

— Он знает о нас, правда?

Она скрывала свое беспокойство, стараясь держаться невозмутимо.

— По-моему, он догадывается,— ответил Ник тихо.

— И как он поступит?

— Никак.— Он смотрел, как она небрежно перевернула страничку, на которую были устремлены ее невидящие глаза.

— Ты боишься?

— Нет,— ответила она.— Мне это безразлично, но только он мне не нравится. И не внушает доверия,— добавила она.— А тебе?

Но тут люстры начали меркнуть, и зазвучавшая музыка дала ему возможность уклониться от ответа, потому что на самом деле этот новый Хэншел пугал его. После концерта, когда гостей отвезли в отель, она сказала:

— Я хочу поехать к тебе.— Это было сказано с такой же твердостью, с какой перед этим она заявила, что хочет быть с ним на концерте.

Только в последний день перед отъездом русской делегации Нику и Горчакову удалось еще раз поговорить о своей работе. Однако все эти дни Ник испытывал тихую радость наступившего возрождения. Он снова научился смеяться. Краски казались ярче, запахи сильнее, дни более солнечными, звуки более музыкальными, и даже пища словно приобрела новый вкус. Во время разговора мысли и прозрения возникали быстрее, чем он успевал облекать их в слова, и он совсем не уставал. В этот последний день, когда Горчаков пришел в лабораторию, погода изменилась. Косой ливень из клубящихся черных туч так хлестал по зданиям, что казалось, стены шипят. Временами бешеный ветер внезапно стихал, словно буря набирала дыхание для новой яростной атаки.

— Это из-за погоды сегодня пришло так мало сотрудников? — спросил Горчаков. Ему пришлось повысить голос, чтобы заглушить рев грозы.

— Но ведь все мои сотрудники на местах,— ответил Ник.

Горчаков, казалось, удивился, а потом задумался. Прошло несколько минут, прежде чем он сказал:

— Судя по объему проделанной вами работы, я думал, что ваш штат по крайней мере вдвое больше.

Горчакова удивило также различие между его методикой и методикой Ника. Ник больше не пользовался счетчиками Гейгера, а перешел на фотоумножители и сцинтилляционные счетчики. Однако, когда Горчаков описал свою лабораторию, Ник понял, что русские придерживаются прежней техники потому, что у них разработаны более новые и остроумные электронные устройства.

— И значит, опять одно и то же достигается с помощью различных средств,— сказал Горчаков.— Сколько единиц вы получаете в пустыне?

Там, в пустыне, жаркий сухой ветер проносился над землей, погруженной в полное безмолвие, лишь еле слышно шипел песок, ударяясь о сухую броню кактусов. Только весной ее на несколько дней заливал океан красок. Всю остальную часть года пустыня сохраняла цвет высушенной кости с пыльно-зелеными пятнами кактусов, которые торчали из земли, словно сведенные судорогой пальцы заживо погребенных великанов. Пустыня была неподвижна, и только шары перекати-поля мчались по ней, вертясь, словно обезумевшие борцы, сплетенные в яростном объятии и катящиеся кувырком от одного мертвого горизонта к другому. А надо всем ярко-синее небо зияло дырой в бесконечное пространство, где огромные волны наэлектризованных частиц проплывали одна мимо другой со скоростью света.

Для этих частиц наша планета была островком в пространстве, окруженном тоненькой оболочкой газа. Налетающие частицы вспарывали газ, разбивая молекулы на осколки вещества и энергии, и каждый осколок в свою очередь становился разрушителем, пока этот невидимый ливень не достигал поверхности Земли, насчитывая уже миллионы невидимых обломков. Они бомбардировали Землю точно так же, как песок пустыни долбил кактусы, и проходили микроскопическими полосками света сквозь плоские листы люминесцентных сцинтилляторов, заключенных в алюминиевые контейнеры, расставленные на площади в пять квадратных миль. Под сцинтилляторами сверхчувствительные фотоэлементы улавливали световые полосы и подавали синхронный сигнал по кабелю в центральную станцию — небольшой домик, где скоростная камера фотографировала экраны ста осциллографов, только когда они все срабатывали одновременно. Так достигалась уверенность, что ливень вызван первичной частицей, обладающей чрезвычайно высокой энергией.

Эта автоматическая установка тоже была частью безмолвия пустыни, которое нарушалось только раз в три дня, когда «джип», словно темный наконечник стрелы из пыли, стремительно приближался к домику. Из «джипа» вылезал человек, входил в домик, вынимал из камеры пленку и вкладывал новую кассету. Потом дверь домика захлопывалась, засов, лязгнув, входил в гнездо, взвизгивали передачи, колеса брызгали песком, «джип» разворачивался, и пылевая стрела уносилась за пределы пустоты. Вновь наступала тишина, и только ветер гнал волны пыли и жара по поверхности Земли, а сверху сквозь движущийся воздух несравненно более мелкая пыль внешнего пространства непрерывно опаляла своим крохотным жаром поверхность планеты.

3

Горчаков осматривал приборы с огромным интересом. Сам он проводил наблюдения на одной из вершин Кавказа, на такой высоте, что его станцию окружали вечные снега. Разница в подходе привела к тому, что его прибор строился на совершенно иных принципах. Но все, показанное Ником, произвело на него сильное впечатление. Шум грозы за окном не мешал их беседе. Это было просто неприятное явление в нижних слоях атмосферы, которое не могло продолжаться долго. И даже когда особенно яростный раскат грома вынуждал их замолчать, разговор продолжался с того самого слова, на котором был прерван.

В пять часов в лабораторию позвонила Мэрион.

— Все хотят знать, когда вы закончите и каковы ваши планы на вечер,— сказала она.— Я ответила, что не знаю: я подумала, что вы, вероятно, захотите продолжать разговор.

— Мы еще не кончили,— сказал он.

— Я так и думала. И я решила, что вам захочется пригласить его к себе пообедать.

— Я бы очень хотел, но ведь...

— Все уже готово,— ответила она.— Я сегодня днем купила все, что нужно, и забежала к вам. Стол накрыт. Конечно, одни холодные закуски. Так что вам придется только сварить кофе.

— Замечательно,— сказал он.— А сами вы придете?

— Не могу,— ответила она и не стала больше ничего объяснять, как и в тот раз, когда объявила, что пойдет с ним на концерт.

Была уже полночь, когда Ник наконец вспомнил о времени. Они давно уже кончили есть и перешли в гостиную, но разговор между ними не прерывался ни на минуту. Они обсуждали не только собственную работу, но и смежные исследования других физиков, а это привело к воспоминаниям об их предыдущих экспериментах.

Горчаков проявлял ненасытное любопытство ко всем подробностям жизни американского ученого — он жадно слушал рассказы и о важном, и о пустяках, живо на все реагируя, и Ник не мог удержаться от улыбки, когда Горчаков с полной серьезностью заявил, что русские считают себя очень сдержанными людьми, не склонными демонстрировать свои чувства, пожалуй, даже замкнутыми и невозмутимыми, и — это он произнес, для убедительности размахивая руками,— доказательством того служит, что русский при разговоре никогда не жестикулирует. Затем глаза его заискрились веселым смехом.

— Извините меня, пожалуйста, но я должен задать вам один вопрос. Это мучит меня с самого начала нашей поездки. Скажите, почему американцы всегда моют руки в грязной воде? Я никак не могу этого понять.

— Я тоже,— сказал Ник медленно.— Ведь мы не моем руки в грязной воде.

— Простите меня, моете! Для нас чистота означает умывание проточной водой. Раковины наших умывальников никогда не затыкаются. У вас же все раковины снабжены затычками, и как только начинаешь мыться, вода делается все грязнее и грязнее. А поскольку у вас отдельные краны для холодной и горячей воды, никак не удается добиться приятной температуры, и, если хочешь мыться чистой водой, приходится непрерывно перескакивать от кипятка ко льду. Или в Америке всегда было мало воды? Нет, мне просто не верится, что в такой развитой, такой культурной стране вдруг не хватает воды.

Ник засмеялся. Многие другие впечатления Горчакова были столь же неожиданны, и разговор еще дальше отошел от основной темы — и все же после каждого такого экскурса в область музыки, литературы или театра они вновь возвращались к своей работе, но так и не смогли прийти ни к каким окончательным выводам.

И весь вечер Горчаков говорил о своей работе так, словно за всю свою научную карьеру он ни разу не пожалел о том, что сделал. Если он и принимал участие в создании бомбы, это либо никак не подействовало на него, либо у него были иные критерии — настолько иные, что Нику очень хотелось бы узнать о них побольше.

Но даже теперь, после долгого дружеского разговора, он так же, как и в первую минуту их встречи, не мог задать свой вопрос, касавшийся государственной тайны. Весь мир знал имена американцев, работавших над бомбой. Никто не знал имен людей, работавших над ней в Советском Союзе. Для внешнего мира они все были засекречены, и никакие вопросы не могли приподнять завесу тайны, по каким бы причинам и как бы импульсивно они ни задавались.

— Вы должны приехать в Москву,— сказал Горчаков с характерным для него неожиданным переходом от горячего спора к дружеской беседе.— И непременно посетить лабораторию, а может быть, и нашу станцию, чтобы ознакомиться с тем, что я делаю. И когда каждый из нас посмотрит работу другого своими глазами, мы сможем обсудить все дело более толково.

— Поехать в Москву? — Горчаков говорил об этом так просто, словно речь шла о поездке в Чикаго.— Почему бы и нет? — И Ник весело засмеялся.

Он отвез Горчакова в гостиницу. После грозы ночь была удивительно ясная, и он опустил верх машины, чтобы полностью насладиться влажной мягкостью воздуха. В сердце его царила радость: он вновь обрел себя.

У входа в отель они обменялись дружеским рукопожатием и улыбнулись, внезапно смущенные чувством, которое их так крепко связывало.

— Как странно,— произнес Горчаков, не выпуская руки Ника.— Мы столько с вами говорили и ничего не сказали о себе.

— Это правда, а ведь с первой минуты нашей встречи у меня на языке вертелось множество вопросов. Но я не знаю, как вам их задать, чтобы вы поняли, что они диктуются самым дружеским чувством.

Горчаков бросил на Ника настороженный, проницательный взгляд, и снова Ник ощутил за его улыбкой напряжение.

— Ну, мои-то вопросы были бы очень просты. Я не знаю, где вы родились, кто были ваши родители, и все же у меня такое ощущение, что я очень хорошо с вами знаком. Если вам захочется задать мне какие-нибудь вопросы, уверяю вас, я пойму, каким чувством они продиктованы, но если лучше их не задавать,— он сложил руки, словно умоляя о благоразумии,— то этих вопросов ни вам, ни мне лучше не задавать, только и всего. Мне хотелось бы когда-нибудь рассказать вам, как много значила для меня эта встреча.

— Для вас? — удивился Ник.— Мне хотелось бы когда-нибудь рассказать вам, как много она значила для меня.

— Вы расскажете мне, когда приедете в Москву.

Ник снова улыбнулся.

— Хорошо. Так, значит, увидимся в Москве.— Ник, собираясь проститься, пожал руку, сжимавшую его пальцы, а затем рассмеялся.— И кстати, я родился в Нью-Йорке, у меня нет ни братьев, ни сестер, и я учился в государственной школе.

— В Нью-Йорке? — сказал Горчаков, по-прежнему не выпуская руки Ника. В его голосе слышалась мечтательная грусть.— Теперь, когда я наконец увидел этот город, мне трудно вспомнить, как было, когда я его еще не видел. Всю жизнь мне так хотелось его увидеть, что когда мы сошли с парохода в Нью-Йорке, казалось, будто мы высаживаемся на Луну! И все мы чувствовали то же самое, хотя читали много американских романов, видели кое-какие американские фильмы и даже знакомы с некоторыми из ваших журналов, такими, как «Лайф» и «Лук», ну и, разумеется, мой любимый журнал — лучший, который у вас издается,— «Нэшнл джиогрэфик»...

— Он вам нравится? — спросил Ник.

— О, я на него подписываюсь. «Нэшнл джиогрэфик» и «Физикл ревю» — вот два американских журнала, которые я регулярно читаю. Я люблю читать о чужих странах, а когда читаешь «Джиогрэфик» — будто сам путешествуешь! Если не считать Соединенных Штатов, мне больше всего хотелось бы побывать в Бразилии. Это моя давнишняя мечта — отправиться с какой-нибудь экспедицией в бразильские джунгли и там вдруг услышать голос поющей женщины.— Он произнес это тихо и проникновенно, в то же время улыбаясь своей романтической фантазии.— Голос все приближается, и вот выходит она, самая красивая женщина Америки, Дина Дурбин.— В ночном мраке прозвучал его тихий смешок.— Всю жизнь мне хотелось посмотреть Америку. Она оказалась такой, как мы ожидали, и в то же время совсем другой. Такая... такая смесь красивого и безобразного, хорошего и дурного... это было...— он взмахнул свободной рукой и закрыл глаза, не находя слов.— Но если нам показалось, что мы приехали на Луну, то нью-йоркцы, едва узнав, что мы — советские граждане, стали относиться к нам так, словно это мы приехали с Луны! Официантки, шоферы такси, служащие отеля — все были удивительно любезны! До чего нелепо, что мы с вами так долго были разъединены и теперь глазеем друг на друга, как на диковинку,— вдруг рассердился он.— Нелепо! Просто нелепо! Глупо! Ну, довольно негодовать на историю,— закончил он, вновь улыбнувшись своей лукавой улыбкой.— Обещайте мне, что вы приедете в Москву.

— Обещаю,— сказал Ник.

Они в последний раз горячо пожали друг другу руки и расстались.

Ник вел машину сквозь темноту, что-то тихонько напевая. Он жалел, что рядом с ним нет Мэрион, чтобы он мог рассказать ей о своем обновлении и скоротать часы до утра, когда он снова возьмется за работу с прежней страстью. Он был уверен, что не уснет, такое волнение им владело. Однако он заснул, а на следующее утро всю дорогу до института испытывал ту же светлую радость. Он чувствовал ее, пока не взялся за работу, а тогда вдруг понял, что ничего не изменилось — он заразился страстью у другого, взял ее взаймы, а внутри по-прежнему оставалась пустота.

Два дня спустя, когда Хэншел снова зашел к нему в кабинет, Ник стоял у окна. Солнечные лучи зажигали золотые цехины в его волосах цвета слоновой кости, озаряли худое измученное лицо, но гасли в сумрачных глазах.

— Ну? — весело спросил Хэншел, опускаясь в кресло.— Как прошел визит русских?

— Было очень интересно,— сказал Ник.

Хэншел засмеялся.

— Ай-ай-ай! Что за ответ, да еще таким замогильным голосом? Вы разобрались в ваших расхождениях с Горчаковым?

Ник медленно покачал головой. Приговор был произнесен не только над ним, но и над всеми, кто жили, страстно любя жизнь.

— Нет,— сказал он,— мы говорили о них, но и только.

— Я не могу понять одного: почему сам факт расхождения результатов сковывает вас по рукам и ногам? — продолжал Хэншел все с той же легкой улыбочкой, которая словно говорила, что он понимает куда больше, чем Ник ему рассказал.— В конце концов любой эксперимент всегда дает результаты, которые хоть немного да отличаются от результатов, полученных другими. Вы показали только, что существует реальная возможность неправильности всей теории в целом. Исходите из этого, а уточнением деталей пусть занимается кто-нибудь другой.

— Вы ведь знаете, я не могу так, Леонард. Я вам уже говорил.

— Да, вы говорили, но ссылались на нелепую причину. Настоящая причина лежит гораздо глубже. И мы оба знаем это. Видите ли, я убежден, что мы с вами в одном положении.

— Не говорите так! — потребовал Ник.— Не смейте так говорить!

— Раз кончилось, то кончилось навсегда,— сказал Хэншел.— Я прошел через это, Ник, я знаю.

— Прервалось на время, но не кончилось. Я не выдержал бы, если бы поверил этому.

— Послушайте,— сказал Хэншел устало,— вы говорите с человеком, который прошел через все это. Вы думаете, меня не охватил ужас, когда я впервые понял, что со мной происходит? — Он спросил это с такой силой, что Ник вдруг догадался, какая жгучая трагедия крылась под ироническим спокойствием Хэншела.— Но я не стал строить несбыточных планов, как вы. Я выскочил из лаборатории, захлопнул за собой дверь, запер ее и больше не возвращался — ни разу даже не позволил себе подумать о том, чтобы вернуться. О господи! — продолжал он зло.— Что уж такого особенного в исследовательской работе? Что за радость быть творчески мыслящим человеком? Сочиняя книги, создавая картины, занимаясь ли наукой — да чем угодно! Эдит права. Она была права с самого начала. Девяносто девять целых девятьсот девяносто девять тысячных процента всех людей, живших от начала времен, не имели ни малейшего представления о том, что такое новая мысль, что такое прозрение, как это бывает, когда вдруг видишь истину, которой до тебя вот так не постигал никто! И все же они живут, они преуспевают, они смеются и, вероятно, счастливы. Так какого же дьявола мы убиваем себя? Кто доказал, что это так уж важно?

— Вы же и доказываете вот сейчас,— ответил Ник.— Послушайте себя. Стали бы вы так горячиться из-за чего-нибудь бессмысленного и ненужного?

— Обойдемся без софистики, Ник. Я старше вас и стараюсь вам помочь. Я рассказал вам об этом только потому, что вижу, как вы мучаетесь, а мой опыт мог бы пойти вам на пользу. То, что случилось с вами, рано или поздно случается со всеми. Просто что-то ломается, только и всего, так и черт с ним! Это еще не конец света.

— Да?

— Да. И если хотите знать правду, будь это хоть конец света, мне все равно плевать. Завтра или послезавтра — какая разница? — сказал Хэншел устало.— Мне надоело жить. Иногда у меня такое ощущение, что я не живу, а просто жду смерти. И вы чувствуете то же, Ник, или почувствуете...

— Я скажу вам, что я чувствую,— ответил Ник.— Словно надо мной произнесен какой-то ужасный приговор, а я отказываюсь его принять.

— И вы думаете, что добьетесь его отмены?

— Меня словно придавило обвалом, и я знаю, что извне помощь прийти не может. Это ясно. Мне придется выкарабкиваться наружу самому и найти для этого силы в самом себе.

— Ну что ж,— сказал Хэншел, помолчав.— У меня к вам есть еще одно предложение. Не обязательно подписывать контракт на два года. Ближайшая конференция назначена на эту осень, и она продлится месяца два-три, не считая месяца подготовки. Почему бы вам не принять в ней участие вместе со мной? Попробуйте, только и всего.

Ник ничего не ответил.

— Я не знаю, будет ли она в Женеве или в Вене,— невозмутимо продолжал Хэншел.— Во всяком случае, у вас будет время побывать в Лондоне и Париже. Вы сможете поговорить со всеми, кто занимаются космическими лучами: Пауэллом, Джелли и Яноши. Может быть, это вам поможет.

— Поможет мне? — Ник скептически улыбнулся.— Так, значит, вы готовы поверить, что я могу преодолеть это состояние?

— Какая разница, во что я верю? Разве не достаточно, что я перестал с вами спорить?

Ник покачал головой.

— Я повторю вам еще раз: у меня такое ощущение, что в вашем кресле сидит сам сатана, улыбается мне вашим ртом, говорит со мной вашими словами.

Хэншел усмехнулся.

— Это очень похоже на признание, не правда ли?

— Признание чего?

— Всего, что я говорил. Ведь считается, что сатана бродит по свету, предлагая купить душу за исполнение самой невероятной мечты. Неужели возможность покинуть лабораторию, избавиться от необходимости творить — это и есть ваше заветное желание?

— Вы читаете собственные мысли, а не мои,— возразил Ник.— Я не понимаю даже, как с таким отношением к будущему вы можете принимать участие в международных конференциях, которые призваны в конечном счете обеспечить возможность хоть какого-то будущего.

— Когда я участвую в таких конференциях, то участвую в них умом, а не сердцем. Какая разница, что я чувствую? Необходимо выдвинуть определенные пункты, только и всего. И я выступаю в их поддержку.

— Но что это, в конце концов, за пункты? — спросил Ник, весь кипя от раздражения.— Послушайте, Леонард, всю свою жизнь я думал только о физике. Все остальное, включая даже условия, необходимые для существования человека, я считал само собой разумеющимся. Мне было не до них. Если возникали вопросы, связанные с моралью, философией или этикой, я просто полагался на общее мнение.

— А как, по-вашему, поступают все остальные?

— Но этого недостаточно. Так живут амебы. Они передвигаются с места на место, не следуя какому-нибудь определенному направлению, не стремясь к определенной цели, если не считать стремления выжить. Человек отличается от низших животных тем, что думает не только о настоящем моменте, но и о будущем, когда по-прежнему будет продолжаться жизнь, по-прежнему будут сбываться надежды. Но строить планы можно, только имея какую-то точку зрения. Мне все равно, какую именно,— но должен быть руководящий принцип. Без этого ощущения будущего человек перестает быть человеком.

— Хватит! — резко сказал Хэншел. Его невозмутимость снова не

выдержала мучительной бури, еще бушевавшей в нем.— Не выношу этого студенческого философствования. Вы уже достаточно пожили, чтобы узнать, каков на самом деле мир, иначе говоря, чтобы заметить истинную животную натуру людей, скрытую за любезной улыбкой, хорошими манерами, притворным сочувствием! Человеческой злобе нет предела. Вспомните крохотные жестокости, заполняющие каждую минуту каждого дня: подленькие предательства друзей, мелкие гадости мужа по отношению к жене, брата по отношению к брату. Они настолько обычны, что проходят незамеченными. Вы думаете, кто-нибудь посчитается с вашей тоской по утраченной способности творить или хотя бы поймет ее? Да какое до этого дело простому землекопу, продавцу в бакалейном магазине, счетоводу, который думает только о том, как не пропустить очередной взнос за купленные в рассрочку товары? Они посмотрят на вас, широко открыв глупые глаза, потому что им неизвестно даже значение таких слов, и поинтересуются только, будут ли вам меньше платить. И если услышат «нет», то просто пожмут плечами и порекомендуют вам не валять дурака. Они же не знают, Ник,— сказал он, возбужденно подавшись вперед,— говорю вам, они не знают, что это такое, они не знают, что это бесконечно преображает жизнь и обычные будничные дела представляются серой скукой, оглупляющей своей пустотой. В лучшем случае этим людям доступно только смутное ощущение, что они как будто что-то упустили в жизни, хотя даже не знают, как это называется; но и услышав название, они не поймут. А вы говорите мне об этих людях и об их будущем! Да разве они его заслуживают?

— Но если нет будущего для них, то его нет и для меня,— сказал Ник.— Правда, я знаю только то, что чувствую сам, но мои чувства не могут так уж отличаться — разве что интенсивностью — от того, что чувствуют другие люди. Мы неразрывно связаны не только с нашим биологическим видом, но и с нашим временем. Мы так же не можем выйти из состава человечества, как не можем покинуть наше столетие. И поэтому все ваши возражения кажутся мне бессмысленными и не объясняют, о чем вы думаете, когда сидите за этим вашим столом в Женеве, или Вене, или где-нибудь еще и спорите по вопросам приоритета и процедуры. Считается, что вы лепите будущее мира, но лично для вас это будущее не имеет смысла. Люди, которым придется жить в этом будущем, вызывают у вас отвращение. Так где же эта доблестная волнующая новая жизнь, которую вы обрели? Чем, собственно, вы отличаетесь от землекопа, продавца из бакалеи и счетовода, которые так вам противны? В конце концов все сводится к тому, что вы отрабатываете свое жалованье — и ничего больше. Вы не можете предложить мне ничего лучше того, что я имею. По крайней мере здесь у меня есть реальный шанс вернуть себе то, что мне необходимо.

— Это не возвращается, Ник,— медленно сказал Хэншел.— Не возвращается, и все. Однако, если вы так относитесь к тому, что я делаю — а как бы то ни было, в мире сейчас нет ничего важнее,— тем больше у вас оснований отдать свою кипучую энергию в распоряжение нашей делегации.

Ник посмотрел ему в глаза.

— Послушайте, Леонард, чего вы, собственно, хотите? Взять меня в помощники или обратить в свою веру? Неужели для вас будет победой, если я брошу научную работу? Вы меня так уговариваете, что мне кажется, вам просто не терпится услышать, как я скажу: «Я тоже сдаюсь».

Хэншел мучительно покраснел, но улыбнулся.

— Это уже зло сказано,— заметил он ровным голосом.

— Что бы я ни говорил, к каким бы доводам ни прибегал,— сказал Ник,— вы неизменно соглашаетесь и добавляете, что это еще одна причина, чтобы я поехал с вами,— даже если все эти причины противоречат одна другой.

— Совершенно справедливо,— признал Хэншел.

— И получается полная бессмыслица — разве что слова, которыми вы пользуетесь, для вас ничего не значат...

— Ничего,— согласился Хэншел,— абсолютно ничего.

— ...и вы хотите только заставить меня отказаться от научной работы.

Глаза Хэншела блеснули, и он покраснел еще больше, но все-таки улыбнулся и обезоруживающе развел руками.

— Я назову вам еще одну причину: хотя бы используйте меня для того, чтобы на несколько месяцев уехать отсюда, ведь здесь вам приходится не слишком сладко и у вас возникают всяческие осложнения. Я, знаете ли, не слепой, и вижу, что происходит.

Ник покачал головой.

— Я скажу вам правду, Леонард,— признался он, наконец.— Я боюсь ехать.

Хэншел негромко и сочувственно вздохнул.

— Потому что это может вам понравиться? — спросил он вкрадчиво. К нему вернулась его невозмутимость, на губах снова заиграла легкая добродушная улыбка.— Потому что окажется, что именно это вам и нужно? Вот теперь мы добираемся до правды! Я знал это с самого начала! Но бояться не надо — если это то, что вам нужно, зачем сопротивляться? Поразмыслите еще немного, Ник, и помните: только дураки живут, не имея запасного выхода.

Глава третья

1

Весна становилась все прекраснее, но он был так занят, что замечал ее урывками, словно мчался по длинным темным туннелям, лишь изредка оказываясь на свету. Он оглушал себя деятельностью: трижды в неделю семинар в университете по физике высоких энергий, в понедельник днем коллоквиум для младших сотрудников, в пятницу утром совещания с руководителями групп для анализа результатов за неделю — и все это помимо его основной работы, которой он упрямо продолжал заниматься, хотя и не мог на ней внутренне сосредоточиться. На самом же деле он ждал — словно раз и навсегда затаив дыхание.

И все это время любовь стучалась в двери его жизни, моля, чтобы ее впустили. Но он не мог искренне сказать, что отвечает на эту любовь, и потому не произносил этого слова, хотя Мэрион его мучительно ждала. Она мужественно пыталась обходиться теми заменителями, которые он предлагал ей — нежностью и привязанностью,— но ей не удавалось скрыть, до чего ей тяжело.

— Этого мало,— сказала она как-то ночью у него дома.— Я больше не хочу себя обманывать. Ты ко мне равнодушен, только и всего.

— Без тебя я сошел бы с ума,— сказал он, беря ее за руку.— Ты нужна мне.

— Я нужна тебе, но ты меня не любишь, а я тебя люблю.— Ее голос звучал сердито, но на самом деле это была только боль и беспомощность.— Так оно и идет. Я только и думаю о том, как нам встретиться.

Ради этого я готова на что угодно, а для тебя, если я могу прийти — прекрасно, а если нет — тоже ничего. Я тебя не упрекаю,— сказала она с отчаянием.— Ты можешь чувствовать только то, что чувствуешь, но я устала, устала, устала биться головой об стену и притворяться, что в этом счастье. Мне этого просто мало.

В полумраке его лицо белело, как будто озаренное лунным светом, который смягчил, почти стер все его черты, и только в глазах таилась глубокая жалость. Он обнял ее, стараясь утешить, но она оттолкнула его — теперь, когда ее страдание вырвалось наружу, ей все казалось невыносимым.

— Не надо меня гладить, точно я ребенок! — крикнула она.— Мне нужно гораздо больше, чем такая ласка.

— Мэрион...— начал он, но она снова его перебила.

— Каким тоном ты говоришь,— сказала она, прижимая руки к щекам.— Так спокойно, так невозмутимо!

— Ты просто не понимаешь,— сказал он мягко,— это совсем другое. Ты не знаешь, что это такое.

— Нет, знаю. Я знаю, что ты от меня за миллион миль. Мне ли не знать, как ты поглощен своей работой?!

— Поглощен? — спросил он и улыбнулся.— Поглощен? Работой?.. Я мучаюсь именно потому, что работа меня не поглощает. Да, я работаю. Но я просто занимаюсь ею — и только, а этого недостаточно.

Она поглядела на него, не понимая, но он нежно взял ее за руки.

— Ну как я могу объяснить тебе,— тихо продолжал он, искренне желая облечь все это для нее в слова, потому что был ей стольким обязан. Пусть она будет единственным человеком, с которым он может говорить откровенно.— Ну как будто ты идешь и вдруг в тебе что-то сломалось. Никакой боли, только ужас сжимает сердце, и ты чувствуешь, что в тебе умерло самое важное. Но ты идешь дальше и малопомалу убеждаешь себя, что все пустяки. А на следующий день обнаруживаешь, что не можешь сделать каких-то самых простых, обыкновенных вещей, потом оказывается, что тебе не по силам еще что-то. И вот через некоторое время приходится признать, что твоя первая реакция была правильна: сломалась основа. Это и случилось со мной. Я могу работать, но ужас в сердце говорит мне, что пройдет немного времени — и я сумею сохранять только внешнее подобие жизни, а потом не буду способен даже на это.

Она глядела на него широко открытыми глазами, ожидая, что он скажет дальше.

— Это пройдет,— шептала она, когда поняла, что он кончил. То же когда-то сказала Руфь, и ему стало ясно, что и Мэрион не понимает, о чем он говорит.— Через несколько дней или через несколько недель...

— Нет,— он решительно покачал головой,— так не будет. Я знаю. Сам собой этот процесс не остановится. Он будет продолжаться до тех пор, пока я либо не отыщу средство, чтобы его остановить, либо не увижу, что ничего сделать нельзя.

— Я люблю тебя,— сказала она.

Он вскочил и отошел в другой конец комнаты.

— Я буду любить тебя всю свою жизнь,— сказала она ему вслед.— Я поняла это с самого начала. Когда мы встретились в первый раз, я пробыла с тобой не больше пятнадцати минут, и в присутствии еще пяти человек, и все-таки я тут же отказалась от своего места и перешла работать в институт только для того, чтобы быть около тебя. Но даже сейчас между нами все та же стена, и ты не пускаешь меня к себе.

— Но ведь я только что пытался объяснить тебе,— сказал он тоскливо,— почему я не способен на такое прямое и непосредственное чувство, какого ты от меня ждешь. О черт, к чему все это? Мы так усердно описываем наши собственные переживания, что даже не слышим друг друга. Ради бога, прекрати эти разговоры. Мы получаем друг от друга что-то важное, так будем довольны и этим.

— Не могу,— сказала она.— Слишком больно. И мне надо решать, как быть с моей жизнью. Если бы нам хоть было легко вместе. Но и этого нет. Я не приношу тебе счастья. Ты редко смеешься. Ты почти не улыбаешься. Печальнее тебя я никого не встречала.

— Правда? — засмеялся он, внезапно почувствовав, как верен этот портрет.— Неужели я так плох?

— Да,— сказала она без обиняков,— ты ужасен!

2

Не прошло и месяца, как они снова оказались в тупике. Они поехали за сорок миль в ресторан, где некому было их узнать: им хотелось создать иллюзию, что они имеют законное право быть вместе. Они танцевали, и она с удовольствием слушала музыку, но вдруг ее лицо побелело. Она стала похожа на испуганную одиннадцатилетнюю девочку.

— Не делай поворота,— сказала она, почти не шевеля губами,— веди меня в конец зала, так, чтобы мы могли сесть.

— Что случилось? — спросил он, прекрасно понимая, что их узнали.

— Сослуживец моего мужа,— сказала она, притворяясь, что читает меню, но на лице ее были стыд и презрение к себе.— Ник,— вдруг добавила она,— как насчет этого приглашения в Женеву?

— Ты же знаешь, что я отказался.

— Еще не поздно переменить решение.

— Я не знаю, взяли ли они кого-нибудь другого. Кажется, нет, если ты это имеешь в виду.

— Ник, это место еще не занято. Так согласись же, милый! Пожалуйста! — Она по-прежнему не отводила глаз от меню, но в голосе ее слышалась страстная мольба.— Если ты поедешь в Женеву, я поеду с тобой. Я разведусь с мужем. Но тебе не надо будет жениться на мне,— добавила она.— Только, пожалуйста, поедем куда-нибудь, где мы сможем быть вместе без этой отвратительной комедии. Я ненавижу притворство, я ненавижу ложь. Мне тяжело жить с человеком, которого я больше не люблю, чье сердце я должна разбить, хотя не хочу причинять ему боль. Я хочу быть с тобой, Ник, все время, всегда. Пожалуйста, позволь мне.

Он долго ничего не отвечал, рассматривая свои руки.

— Давай уйдем отсюда, Мэрион. Здесь не место для таких разговоров.

Его тон был ответом на ее просьбу, и она побледнела, словно ее ударили.

— Это значит «нет»,— сказала она, продолжая сидеть.

— Ты не знаешь, что означает для меня эта поездка в Женеву,— сказал он.

— Она означает два года за границей вместе. Мы могли бы съездить в Париж, в Рим, в Лондон так же просто, как ездим в Чикаго и Сент-Луис. Это значит — два года, чтобы все разговоры здесь утихли, и, когда мы вернемся, все уже будет забыто.

— Вернемся? Для чего? — спросил он.— Нельзя на два года бросить научную работу, а потом вернуться к ней. Стоит выбиться из колеи — и все кончено. В наши дни развитие науки идет слишком быстро — во всяком случае, для меня. Я только-только не отстаю. Я устал и еле держусь на воде, а ты просишь меня оттолкнуть бревно, которое не дает мне утонуть. Единственное, что ты пропустила, описывая нашу будущую жизнь,— это моя работа.

— Неужели ты не можешь думать ни о чем другом?

— Моя работа — это я,— сказал он медленно.— Я не мучился бы так только из-за каких-то частных неудач. Я сказал бы: «Ну и черт с ними, уедем отсюда и немножко отдохнем». Это у меня не каприз, а просто я не могу иначе.

Но говоря это, он все время убеждал себя, что только из-за глупого упрямства не хочет принять легкий выход и уехать за границу с красивой женщиной, которая его любит. Какая разница, что сам он ее не любит? В мире нет женщины, которую бы он любил, и он вообще не позволит себе полюбить до тех пор, пока будет помнить, во что обошлась ему любовь к Руфи. Но годы и опыт подсказывали ему, что это самообман. Если он будет заниматься работой, которую не любит, он начнет презирать себя; если он будет жить с женщиной, которую не любит, он перестанет чувствовать себя свободным, а Мэрион будет оскорблена и в конце концов возненавидит его, так как в глубине души никогда ему этого не простит.

— Откуда ты знаешь, что они до сих пор никого не пригласили? — спросил он.

— Я так поняла из слов Хэншела.

— Хэншела? — Ник бросил на нее внимательный взгляд, но голос его остался спокойным.

— Да, он позвонил мне вчера. Он сказал, что подбирает штат для следующей поездки и ему нужны технические сотрудники. И он спросил, поеду ли я с тобой, если ты все-таки решишь ехать,— она попыталась улыбнуться.— Когда я сказала ему, что никогда не бывала за границей, он пришел в такой восторг, словно сделал мне приятный подарок. Он был очарователен. Мне начинает казаться, что мое первое впечатление было ошибочным.

— Оно не было ошибочным,— сказал Ник.— Он пытался использовать тебя в своих интересах.

— Пожалуй, нам пора идти,— произнесла она тихо, не глядя на него.— Все уже сказано.

Они ехали назад в молчании, пронизанном тоской и болью, и каждый так остро воспринимал состояние другого, словно нервы их обнажились: все недосказанное стало понятным, и они с горестным недоумением читали мысли друг друга.

Их прощальный поцелуй был легким прикосновением холодных губ, но губы эти были так хорошо знакомы, что стоило пожелать — и они сразу стали бы нежными и теплыми; однако и Ник и Мэрион словно оцепенели под тяжким грузом сознания, что если конец не наступит теперь, то он наступит в следующий раз или в крайнем случае — через раз.

Утром она пришла в институт и собрала свои вещи, пока он был еще в городе на университетском семинаре. Когда он приехал, ее уже не было. На его столе лежал конверт с запиской:

«Ник, милый!

Другого выхода нет, и ты сам это знаешь. Я хотела бы сказать тебе бесконечное множество вещей, но их ты тоже знаешь. И не знаешь

ты, может быть, только одного — того, что я чувствую сейчас, но я хочу, чтобы ты знал об этом и поверил этому. И это просто вот что — спасибо тебе, Ник, любимый!

Я люблю тебя.

Мэрион».

3

Он опять и опять тупо перечитывал это письмо, пряча его в письменный стол, но на следующий день вынимал снова, а на следующий снова — и так много дней. Это бывает в жизни каждого человека, пытался он убедить себя, обычная плата за право жить; но он потерял уже слишком много такого, что начинал ценить, лишь когда становилось поздно, и все доводы логики тонули в ощущении, что стены, полы и потолок его жизни зияют широкими щелями и непонятно, как они вообще еще держатся. Легкое дуновение, самый слабый звук — и все рухнет.

Он продолжал напряженно работать, и снова его энергичная деятельность, его серьезное лицо с крепко сжатыми губами скрывали паническое бегство от самого себя, и снова он был слеп и к прошлому и к будущему — ко всему, кроме настоящей минуты. В начале мая телеграмма из Москвы сразу заставила его очнуться.

«Академия наук СССР посылает вам официальное приглашение сентябрьскую московскую конференцию физике космических лучей непременно примите

Горчаков»

Потом пришло письмо, гораздо более ясное и подробное. Оно было напечатано на плотной белой бумаге, с типографским штампом славянскими буквами, который он перевел так:

«Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. Москва, Большая Калужская, 14».

Письмо было адресовано по-русски доктору Никласу Реннету, Институт ядерной физики, Кливленд, Огайо, и он сам перевел начало: «Академия наук СССР с 18 по 25 сентября проводит в Москве конференцию по физике частиц высокой энергии. Конференция будет в основном посвящена...» Но тут его охватило нетерпение, и он взял приложенный английский перевод: «...посвящена экспериментам по взаимодействию элементарных частиц высокой энергии, которые с помощью ускорителей проводятся в Советском Союзе. Кроме того, предполагается обсудить теоретическую сторону вопроса, а также различные проблемы, связанные с космическими лучами.

Академия наук СССР приглашает Вас принять участие в конференции и оплатит все ваши расходы по двухнедельному пребыванию в Советском Союзе. После конференции гости смогут посетить различные научно-исследовательские институты.

Если Вы намереваетесь принять участие в конференции, не откажите в любезности как можно скорее сообщить об этом Академии наук СССР, указав названия докладов, с которыми Вы хотели бы выступить, и перечислив иностранные языки, которыми Вы могли бы пользоваться как рабочими.

С искренним уважением

А. Н. Несмеянов, академик,
президент Академии наук».

Он прошел с письмом по нагретым солнцем газонам в административный корпус.

Летний зной припекал его золотистую голову, а когда он морщился от яркого света, на его лице проступали все борозды, оставленные страданием.

Коллингвуд прочел письмо, а затем внимательно посмотрел на Ника.

— Ну? — спросил он.

— Я еду?

— Едете ли? А разве вы не хотите поехать?

— Два месяца назад я был бы в восторге, а сейчас, право, не знаю. Я хотел бы повидаться с Горчаковым, и все же...

— Что с вами происходит, Ник? Последние месяцы у вас такой вид, словно вас оглушили. Я очень беспокоюсь о вас, да и все остальные тоже.

— Ну, пусть все остальные беспокоятся о ком-нибудь еще,— сказал Ник,— а я чувствую себя прекрасно.

— Как бы не так! Все беспокоятся о вас, потому что все вас любят. Вы знаете, сколько людей хотят работать у нас только потому, что это значит работать с вами? Вы поедете в Москву. А до того, как поехать в Москву, вы съездите в Нью-Йорк, в Лондон и, если хватит времени, в Париж — или можете побывать в Париже на обратном пути. Вы уже три года не брали отпуска.

— Он мне не был нужен. Здесь я чувствую себя менее одиноким.

— Так, значит, вам пора познать радости одиночества. Ну, пусть Руфь вас оставила. Я не знаю, почему она так поступила, и это меня не касается. Она прекрасная женщина и всегда мне нравилась. Но на земле живет несколько миллиардов людей, причем половина из них — женщины. Если любви достойна только одна десятая процента, все равно человеку этого хватит на двадцать пять жизней.

— Дело не в женщинах. А в чем — и не знаю; пожалуй, во мне самом. Я попал куда-то, где не такой воздух, где небо не того цвета...— он внезапно оборвал фразу.— Хорошо, так что же я должен делать?

— Телеграфируйте Несмеянову, что вы согласны, затем подайте заявление о паспорте и визе, а я улажу все со службой безопасности.

Ник бросил на него унылый взгляд.

— Неужели мне и сейчас нужно пройти через это?

— Боюсь, что да. Пусть вы давно уже не занимаетесь такой работой, но слишком много лет вы были засекречены, чтобы разгуливать по свету как вам заблагорассудится. С их точки зрения, вы все еще под запретом. Поймите, Ник, вы же не гражданин Джо, который может получить заграничный паспорт хоть завтра. Вы физик,— прибавил он с легкой иронией.— В мире, созданном физиками, мы — плененные волшебники. Нам больше нигде полностью не доверяют. Такова действительность, и надо с этим мириться. Во всяком случае, вы едете в Москву. Это официальный приказ. Погодите... телеграмма, паспорт, виза... Что еще осталось?

Ник весело улыбнулся. Его охватило то же ощущение, какое он испытывал перед приездом Горчакова, но только на этот раз оно было значительно сильней. Он миновал поворот в длинном темном туннеле, и впереди снова забрезжил свет.

— Очевидно, подучиться русскому языку,— сказал он.

Глава четвертая

1

Через два дня после заключительного семинара в университете, в душный вечер Нику позвонил Хэншел и, сказав, что был у знакомого где-то рядом, попросил разрешения зайти выпить чего-нибудь.

— Я в двух кварталах от вас,— пояснил он, и Нику было неудобно отказаться от встречи с ним, хотя меньше всего на свете ему хотелось провести вечер с Хэншелом. Тот последнее время действовал на него угнетающе.

Пять минут спустя в жарком мраке хлопнула автомобильная дверца, и в кругу света появился Хэншел, улыбающийся, в безупречном летнем костюме из великолепной материи — нигде ни единой морщинки; казалось, он, как ящерица, не только гладок, быстр и скользок, но так же не чувствителен ни к жаре, ни к холоду. Ник в белой рубашке, серых шортах и сандалиях вышел на темную террасу.

— Давайте останемся здесь,— предложил он. На самом деле он просто не хотел, чтобы этот человек входил в его дом.— Здесь прохладнее. Лед и виски вон там, на столике в углу. Вам видно?

— Я забежал попрощаться,— сказал Хэншел, удобно устраиваясь на стуле и наливая себе виски.— Дня через два я еду в Нью-Йорк, чтобы закончить подготовку к отъезду. Я хочу оставить вам свой адрес, на случай если вам понадобится связаться со мной.

Ник пожал плечами. Падавший из гостиной свет исчертил тенями его худое лицо, и от легкого движения светлые волосы тускло блеснули.

— Я уезжаю за границу,— сказал Ник.

— Да, в Москву,— подтвердил Хэншел,— я слышал. Интересная поездка. Но как у вас здесь мило,— заметил он, оглядываясь.— Одинокие мужчины обычно превращают свое жилище в благоустроенный хлев.

— Ну, меня хвалить не за что. Руфь в свое время все наладила, и мне остается только следовать заведенному порядку.

— Разумеется,— сказал Хэншел мягким извиняющимся тоном человека, который вдруг понял, что ненароком напомнил о смерти близкого родственника.— Ваша жизнь, кажется, полна подобных перемен, Ник. Я как-то позвонил к вам в институт, когда вас не было, и узнал, что у вас новая секретарша. А та очаровательная девушка в отпуске?

— Она больше у меня не работает,— отрезал Ник. Он встал, чтобы кончить этот разговор.— Чего вам налить?

— О, я прекрасно устроился. Садитесь, не беспокойтесь обо мне — бутылка рядом, я сам за собой поухаживаю. Она действительно была очаровательна. Как жаль, что она от вас ушла!

— Да. Так куда вы сейчас едете?

— Я дам вам адрес перед уходом,— благодушно сказал Хэншел. Он вздохнул.— Она мне очень понравилась. Наверно, в моем возрасте человеку свойственно мечтать о любви подобной девушки. Когда я был моложе, я смеялся над романами стариков с молоденькими, словно такой старик был комическим персонажем. Но теперь я вижу, что смеяться надо было не над ним. Вы, Ник, еще молоды, вам этого не понять.

— Она была прекрасной секретаршей,— сказал Ник. Он так хорошо держал себя в руках, что голос его звучал почти небрежно.— Но эта работа ее не удовлетворяла. На телевидении она может добиться гораздо большего. Дело в том, что она по образованию журналистка. Работа в институте была для нее просто некоторой передышкой, без всякого будущего.

Хэншел покосился на него, а потом медленно повернулся и поглядел ему прямо в глаза. В темноте его лицо казалось бледным пятном.

— Мне кажется, «будущее» — это ваше любимое слово,— заметил он.— О чем бы ни шел разговор, вы в конце концов всегда его произносите. Я тоже иначе относился бы к будущему, если бы со мной была девушка вроде этой. Я буду говорить с вами прямо, Ник, хотя, конечно, это не мое дело: некоторые люди обладают роковой способностью проходить мимо того, что им больше всего нужно, когда оно само идет к ним в руки. Вместо того чтобы покрепче сжать пальцы, они отдергивают их, словно обжегшись. Она последовала бы за вами куда угодно и сделала бы все, чтобы вы были счастливы, я это понял просто по тому, как она на вас глядела.

Ник посмотрел на рюмку, которую сжимал в своих длинных пальцах. Нет, его не спровоцируют на откровенность. Бесцеремонная настойчивость Хэншела все больше приводила его в ярость.

— Это не было ошибкой,— сказал он, сдерживаясь.— Мне пока еще совсем не хочется стать пожилым государственным деятелем от науки. Мне пока еще совсем не хочется связывать свою жизнь с молодой женщиной только потому, что она красива и влюблена в меня, или, вернее, в человека, за которого меня принимает,— я-то хорошо знаю, что совсем на него не похож. Она меня не понимала. И никогда не поняла бы. Бросим эту тему, Леонард. Не заставляйте меня говорить о том, о чем я говорить не хочу.

— Да, конечно, но ведь вы уже начали и, здесь я или нет, вы уже не остановитесь, так и будете себя терзать. Я вас давно знаю, Ник, и даю вам честное слово, что я вовсе не враг вам, как вы думаете.

— Я не думаю, что вы мне враг, Леонард. Мне трудно объяснить.

— И к тому же вы из тех, кто слишком горд, чтобы снизойти до объяснений. Бьюсь об заклад, что вы и не пытались ничего объяснить этой девушке.

— Я пытался, но ничего не вышло. Если бы мы не расстались, я бы продолжал эти бесполезные объяснения, а потом через какое-то время бросил бы их, и то проклятое одиночество, которое так убийственно в браке, засасывало бы меня все глубже и глубже,— он прямо и безжалостно поглядел на Хэншела,— пока в конце концов мною полностью не овладела бы злоба и ненависть. Но к тому времени уже появились бы дети, о которых она так страстно мечтает. У нас уже был бы дом вроде этого, где каждая комната, каждый предмет были бы частью нашей совместной жизни, и общие друзья — и все вместе образовало бы такую толстую стену, что единственным выходом было бы проломить ее, искалечив всех, кого это коснется. Или — что еще хуже — вовсе не пытаться вырваться, и копить, копить ненависть. Вы говорите, я слишком молод, чтобы понять, почему старики ищут молоденьких? А я вам скажу, я уже слишком стар, чтобы поддаваться романтическим порывам, но слишком молод — да, еще слишком молод, чтобы хвататься за что попало, лишь бы кое-как скрасить несколько оставшихся лет. Я сейчас на перевале, и то, что я с собой сделаю, определит всю мою дальнейшую жизнь.

Хэншел вздохнул.

— Ну что ж, на это сказать нечего. У вас свой взгляд, и кто возьмет на себя смелость сказать, что вы ошибаетесь?

— Прав-то я прав. Но сознавать свою правоту — еще не значит ничего не чувствовать, и мне мои чувства приносят страдание. Вот почему я намерен убраться отсюда как можно скорее, а в Москву ехать

кружным путем. Я хочу уехать от самого себя и, если все пойдет, как надо, думаю, что там, с Горчаковым, я вновь обрету себя.

— А может быть, и меня,— заметил Хэншел с легким смешком и встал. Слова Ника не произвели на него никакого впечатления.— Не исключено, что я могу оказаться там примерно к началу вашей конференции, чтобы прощупать почву перед главным разговором в Вене. Ничего еще не решено, но как будет забавно, если мы вдруг встретимся на улице Горького.

Ник глубоко вздохнул, глядя на Хэншела с высоты своего роста. Он содрогнулся при мысли, что Хэншел будет преследовать его, куда бы он ни поехал. Присутствие Хэншела давило его, как удушье. Чересчур сильна была уверенность этого человека, что рано или поздно он победит.

— Я думаю, мы оба будем слишком заняты,— ответил Ник,— и кроме того, вы говорите, что это маловероятно.

— Да, разумеется,— без запинки согласился Хэншел, словно стараясь его успокоить.— Но что бы вы ни думали теперь, там вам приятно будет увидеть знакомое лицо.— Он протянул руку.— А если мы не встретимся в Москве, может быть, вы заедете в Вену на обратном пути. Обещаю, у меня вы будете чувствовать себя как дома.

— Спасибо,— сказал Ник, провожая его по темной дорожке к автомобилю,— но ни вы, ни я еще не знаем расписания своей поездки.

— Совсем как дома,— повторил Хэншел. Он открыл дверцу своей машины и улыбнулся.— Вас охватит блаженное спокойствие от того, что вы наконец попали туда, где ваше настоящее место. Знаете, Ник, сказав, что вы один из тех людей, которые отдергивают руку, когда могут получить то, что им действительно нужно, я меньше всего имел в виду женщин. Меньше всего!

2

К середине июля почти все сотрудники института разъехались в отпуск. Лаборатории опустели, даже механическая мастерская работала с минимальным штатом. Двери были распахнуты настежь, и теплый сквозняк, пропитанный запахом нагретой солнцем травы и пыльных деревьев, разносил по коридорам отголоски звуков. Ник усиленно занимался русским языком и в начале августа уехал в Нью-Йорк. Советская виза еще не была получена, но разрешение на заграничный паспорт ему уже выдали вместе с письмом, содержащим просьбу явиться за ним к работнику службы безопасности.

Он приехал в Нью-Йорк, намереваясь осмотреть новую установку в Брукхейвене и посетить некоторые лаборатории Колумбийского университета, но в каком-то уголке его сознания все время трепетала мысль, что Руфь со своим новым мужем живет в Нью-Йорке, и он не мог решить, хочется ли ему случайно встретить ее на улице.

В первое утро после приезда он сидел на кровати, держа на коленях телефонную книгу. За закрытым окном грохотала раскаленная Мэдисон-авеню. Хотя кондиционная установка была пущена на полную мощность, в комнате все же было жарко. Он позвонил Япхэнку и договорился о поездке в Брукхейвен. Он позвонил в Колумбийский университет. И все это время его пальцы листали телефонную книгу, отыскивая фамилию женщины, которая когда-то была его женой. Нет, он не собирался звонить ей. Ему просто хотелось увидеть имя Джастин Крейн и убедиться, что миссис Джастин Крейн, хлопочущая в квартире на 57-ой Восточной ули-

це в брюках и старой мужской белой рубашке, подхватив волосы черной лентой, на самом деле какая-то другая женщина. Он нашел то, что искал, но тут же позвонил в советское посольство в Вашингтон и спросил, когда будет готова его виза. После некоторого молчания женский голос на другом конце провода попросил его пока не вешать трубку. Одна за другой шли дорогостоящие минуты, но наконец голос снова заговорил.

— Доктор Реннет, ваше заявление у нас, но в нем сказано, что вам надо быть в Москве только в конце следующего месяца.

— Совершенно верно,— ответил он, а затем объяснил, что собирается немедленно отбыть в Лондон и хотел бы получить визу до отъезда.— Может быть, мне надо приехать в Вашингтон?

— Пожалуйста, погодите минуточку,— еще раз сказала сотрудница посольства, и опять наступила пауза. Затем она вернулась с окончательным решением: визу он получит в Лондоне, где ему надо будет просто обратиться в консульство.

Телефонная книга была по-прежнему открыта на странице с номером Крейнов, и опять он, преодолев соблазн, позвонил в службу безопасности и договорился зайти за своим паспортом в одиннадцать тридцать. Ему еще надо было принять душ, побриться, поесть и одеться, так что на разговор с Руфью времени не осталось, но, продолжая хвалить себя за выдержку, он уже набирал номер Крейнов, словно его руки действовали независимо от него. В квартире Руфи раздавались звонки телефона, а он ругал себя идиотом, который гоняется за женщиной, совершенно ясно показавшей, что он ей совсем не нужен. У него вспотели ладони, пока он мысленно наблюдал за тем, как она быстро кладет то, что держит в руках. За его окном по горячему подоконнику расхаживали голуби и покачивали головками, возмущаясь его поведением, но он все ждал, пока в трубке не раздалось знакомое торопливое «Алло!» Руфи, которое словно обещало, что она восторженно вскрикнет, услышав, кто звонит.

— Здравствуй, Ру,— сказал он тихо и умолк. Но он совсем не был готов к долгому и растерянному молчанию, за которым последовало недоверчивое, приглушенное и почти испуганное «Алло?», звучавшее как просьба, чтобы на этот раз ответ был иным.— Ру, это Ник,— сказал он.— Я на несколько дней в Нью-Йорке.

— Ник,— воскликнула она,— Ник,— и он ясно увидел, как сложились ее губы, произнося его имя.

— Как поживаешь, Ру? — спросил он, против воли говоря с ней прежним голосом.

— Ах,— это был не то вздох, не то стон. Руфь неуверенно засмеялась.— Дай мне перевести дух. О господи! Погоди минуту, я сяду.— Она все еще смеялась, но голос ее дрожал.— Откуда ты звонишь? — спросила она через некоторое время. Она действительно отходила от телефона, чтобы взять стул. Он назвал свой отель.— Но ведь до тебя только три улицы, Ник, только три улицы!

— Я уезжаю за границу и, оказавшись в Нью-Йорке, не мог не позвонить тебе, просто чтобы узнать, как ты живешь. Если я поступил неправильно, бестактно или некорректно, то прошу прощения.

— Ник, пожалуйста, не надо! То есть я хочу сказать, если бы ты не позвонил, а я узнала бы, что ты приезжал, я, наверно, поняла бы, но мне было бы очень больно... Куда ты едешь? — перебила она себя.

— В Лондон и, может быть, в Париж, но главным образом я еду в Москву. На конференцию.

— В Москву? Ах, Ник,— засмеялась она, радуясь за него.— Как замечательно! Когда ты едешь?

— Не знаю. На этой неделе. А может быть, на той. Это зависит от разных обстоятельств. Руфь, скажи мне, у тебя все хорошо? Ты работаешь?

— Этой зимой у меня наконец-то была выставка.

— Да, я читал. А как ты сама?

— Прекрасно,— помолчав, ответила она другим, немного растерянным голосом, тоже вдруг почувствовав, что их разделяют три года.— А как ты?

— Прекрасно, Ру...— Он помолчал.— Скажи, как полагается по правилам, можно мне тебя повидать? Допустим, пригласить тебя позавтракать? Если это неудобно, то так прямо и скажи.

— Мне бы очень хотелось, Ник, очень, но...

— Разумеется,— быстро перебил он.— Как чудесно было снова услышать твой голос! Желаю тебе всего самого лучшего.

— Ник, подожди!

— Нет, нет, Ру. Я все понимаю. Я позвоню тебе на обратном пути. Через несколько месяцев. До свидания!

— До свидания, Ник,— произнесла она еле слышно.

Он брился и хмурился, стараясь держать свои чувства в узде. Когда он пил кофе, зазвонил телефон. Это была Руфь.

— Ник, еще раз пригласи меня позавтракать вместе.

«Пригласи меня»,— сказала она, а когда она говорила таким голосом, он чувствовал, что ее миниатюрность — только иллюзия. Она всегда держалась очень прямо, но не потому, что пыталась казаться повыше ростом, а потому, что характер у нее был стальной.

— Пригласи меня, Ник, потому что я хочу сказать — «хорошо».

Он улыбнулся.

— Допустим, в час?

— Хорошо,— сказала она, и он знал, что ее глаза чуть-чуть сузились вызывающе и властно, как бывало прежде, когда его либо смешила такая сила воли в такой крохотной женщине, либо он в нестерпимом и беспомощном раздражении чувствовал, что готов убить не то ее, не то себя. Она была единственной женщиной, которая могла вызвать в нем такую бурю чувств, а когда она плакала, не опуская головы,— ощущение совершенно невыносимой вины.

Она назвала ему ресторан на 54-ой улице и сказала, что от его имени закажет там столик.

— Ты меня, наверно, не узнаешь,— закончила она счастливым голосом,— я стала совсем-совсем другой.

— Ну, меня ты узнаешь,— сказал он сухо.— Я — высокий мужчина в синем костюме.

3

Когда Ник вышел на улицу измученного зноем города, ему показалось, что он, задыхаясь, плывет под водой. Жгучий, пронизанный солнечным блеском город был неподвижным, жарким, влажным морем, покоящимся над каменным дном мостовой, усеянным островами высоких зданий из стекла и гранита; а он, существо, попавшее в чужие воды, двигался с косяками местных обитателей в залитой ярким светом, давящей глубине. Дышать можно было только в искусственно охлажденных сотах учреждений, где в воздухе была разлита весенняя горная прохлада. На двадцать пятом этаже в безличном, казенно удобном кабинете он встретился с ожидавшим его работником службы безопасности. Уоррен Хьятт оказался худощавым, седым, неприметным человеком в об-

легающем сером костюме, который делал его почти невидимым. Но вопреки всем штатским атрибутам, это, несомненно, был полицейский в кабинете полицейского управления. Как он ни старался любезным тоном замаскировать этот факт — лицо, глаза, движения выдавали его. Подобно энсонам из государственных департаментов всего мира, хьятты всего мира являли собой еще один послевоенный тип людей, которые занимаются физикой, ничего в ней не понимая и совсем ею не интересуясь, это были дальние родственники, которые после насильственного брака вторгаются в прежде дружную семью и без лишнего шума дают почувствовать свои права.

Он пододвинул зеленый с золотом паспорт к Нику и жестом пригласил его сесть.

— Уже все чемоданы уложили, доктор? — спросил он шутливо.

— Почти,— ответил Ник.

Хьятт откинулся на спинку стула и улыбнулся.

— Я и сам был бы не прочь когда-нибудь получить туда приглашение,— сказал он.— Ну, как их врачи приглашают наших врачей, а их писатели — наших писателей. Мы обмениваемся делегациями фермеров, артистов, спортсменов, и, может быть, в один прекрасный день наши тамошние коллеги тоже пригласят нас, чтобы и мы могли посидеть за одним столом, поговорить о нашей специальности и обменяться опытом.— Он негромко засмеялся.— Только когда этот день настанет, мы все уже будем не у дел — и мы, и они. Нам придется организовать свой международный союз безработных сотрудников службы безопасности! Нет, вы подумайте — дожить до такого дня!

— Я был бы очень рад,— сказал Ник.

Хьятт пожал плечами.

— Мечтать мы все умеем. Однако я обязан только предостеречь вас: будьте осторожны, общайтесь с русскими исключительно в присутствии других американцев и, разумеется, представьте отчет, когда вернетесь. На обратном пути опять загляните ко мне.

— И это все?

— Это все.

— Хорошо,— сказал Ник, вставая.— Но только это ко мне не относится. Все, что я когда-то знал, теперь не только известно всему миру, но уже успело устареть на десять с лишним лет. Ну а что касается того, чтобы не оставаться наедине с русскими, то я собираюсь оставаться с ними наедине ровно столько, сколько мне заблагорассудится. Меня никто не будет похищать.

— К чему столько слов,— сказал Хьятт,— это же просто обычная мера предосторожности. Ведь вы не зубной врач, не балерина, не футболист, не бизнесмен, даже не обыкновенный преподаватель физики. Такие люди могут поступать как им угодно, когда и где угодно, и нас это совершенно не интересует. Но вы были засекречены и обязаны с этим считаться.

Ник покачал головой.

— Я же вам сказал: работа, которой я теперь занимаюсь, не составляет никакой тайны и никогда не составляла. Я занимаюсь только космическими лучами. Они еще никому вреда не причиняли.

— Может быть, и так, но поручитесь ли вы, что не наступит день, когда кто-нибудь научится использовать их во вред другим?

— Вы легко узнаете, когда настанет такой день,— ответил Ник, направляясь к двери,— потому что в этот день я начну заниматься чем-нибудь другим. Нет, Хьятт, извините меня, но я свой срок отслужил. Я вернулся к тому, ради чего в свое время занялся физикой. И больше

мне ничего не надо, хотя, если уж на то пошло, может быть, мне надо очень много.

— Как угодно,— сказал Хьятт.— Моей обязанностью было предупредить вас, что я и исполнил. Остальное — ваше дело.

— Разумеется, мое,— так же любезно согласился Ник.— Беда только в том, что я понял это слишком поздно, и теперь нужно как-то приспосабливаться.

Он снова погрузился в жаркое море города. Ручка дверцы такси буквально обожгла его руку, а кожаные сиденья были теплыми, как живая плоть. Такси унесло его в район дорогих магазинов и пестро одетых людей, чьи лица упитанны, жесты изящны, а неутомленные ноги элегантно обуты, их разговоры проносились мимо него кусочками, обрывками, хлопьями и не имели никакого отношения к подлинной жизни планеты с огненно-жидким сердцем, ощетиненной горами, прорезанной реками, обожженной пустынями, которая безостановочно кружится во мраке пространства, увлекая за собой атмосферу все более ядовитых газов, голода, подозрительности, ненависти и страха. И там, в тихой синей с золотом круглой комнате — баре ресторана, который ему назвала Руфь,— он почувствовал себя еще на одном острове в море города, где все, что давит и коверкает человеческую жизнь, было смягчено и сглажено и где оставалось только думать о тончайших оттенках чувства, об игрушечных страданиях, составляющих привилегию тех, кто считает себя надежно огражденным от смерчей физического насилия.

— Ник,— раздался позади него знакомый женский голос,— я вижу в зеркале, что ты, как всегда, мыслишь.— Он обернулся и увидел смеющееся лицо Руфи.— Ты совсем не изменился.

Прежде чем встать, он секунду помедлил — ему хотелось посмотреть на нее. Он был настолько выше ее, что, когда она не глядела ему прямо в лицо, он не видел ее глаз, а только кончики длинных ресниц, торчащие из-под бровей, не видел линий ее точеного носика, изгиба ее красивой шеи, очертаний ее высокого лба — все это искажалось и укорачивалось. А пока он сидел, его голова была как раз на уровне ее лица.

— Я так рад снова увидеть тебя,— сказал он. Он заметил по ее глазам, что радость, написанная на его лице, ей приятна. Если страсть в них и умерла, они по-прежнему любили друг друга какой-то особой любовью.

Тут он заметил, что она беременна, и кровь медленно отлила от его лица. Он почувствовал, что задыхается, и густой комок слез стал у него в горле, обжег глаза: он вдруг ощутил себя уничтоженным, не способным сказать миру, кто он такой, больше того — что он вообще существует. Это вовсе не было ревностью, потому что лишь на краткое мгновение он увидел ее в объятиях какого-то неизвестного, безликого, обнаженного мужчины. Но она обрела то, в чем он отказывал ей по причинам настолько сложным, что он сам их не понимал. Она прошла мимо него, гонимая неутолимой жаждой жизни. Там, где он видел лишь черный хаос, она обнаружила простой и ясный смысл. Она верила в прочное будущее и видела его, а он остался человеком с неподвижными, полными муки глазами и отвисшей челюстью, его ослепили вздымающиеся волны раскаленной добела гибели. Руфь нашла себя, а он стал невидимым и несуществующим.

Но она видела только его пристальный взгляд и не поняла, что за ним кроется. Она чуть-чуть улыбнулась счастливой и гордой улыбкой.

— Как видишь,— сказала она с шутливой небрежностью, прячущей безграничную радость.— Это будет в январе. Тогда уж я, наверно, и в дверь не пролезу.— Тут она наконец заметила его напряженное лицо, и

в ее глазах мелькнула тень прежней нежности.— Неужели это так на тебя подействовало, Ник? Может быть, мне следовало предупредить тебя, когда мы говорили по телефону. Но я хотела тебя удивить.

Он медленно и все еще ошеломленно покачал головой.

— Ты выглядишь чудесно,— сказал он, и вымученные слова прозвучали ласково.— У тебя такой счастливый вид!

— А я счастлива,— сказала она,— по-настоящему!

— Кажется, я впервые понял, что тебе было нужно и как сильно это было тебе нужно.

— Не надо, Ник,— сказала она умоляюще.

— Нет,— ответил он,— я не хочу сказать ничего плохого. Ты поступила правильно. Теперь я могу это признать.

Ее глаза были полны сострадания.

— Ну, что я могу на это сказать?

— Ничего не надо говорить,— ответил он тихо.

— Может быть, тебе расхотелось завтракать со мной? — спросила она.— Может, мне просто уйти?

Он хотел именно этого, но отрицательно покачал головой.

— Это было бы слишком глупо. Мне же хочется с тобой поговорить. И я рад, что твое желание сбылось. Я всегда хотел, чтобы ты была счастлива. Я ведь просто не знал, что для этого надо сделать, а если и знал, то не мог, потому что я — это я. Ради бога, Руфи, не уходи.

— Расскажи мне, что ты поделываешь,— попросила она, когда они сели.— Каждый раз, когда я читаю о каком-нибудь съезде ученых, я всегда думаю, не там ли ты и как ты оцениваешь то, что газеты называют «самым сенсационным успехом за много лет» — ведь прежде ты всегда над ними смеялся.

— Я работаю,— сказал он,— иногда хорошо, иногда — нет.

— У тебя такой усталый голос!

— Я не устал,— улыбнулся он.— Я не переутомлен.

— Но прежде ты всегда был так увлечен своей работой! Когда ты о ней говорил, казалось, что в мире нет ничего интереснее. Все начинали завидовать, что не работают вместе с тобой. Тебе надоело?

— Надоела работа? Конечно нет! Я тебе уже сказал, что все в порядке. Дела идут очень хорошо.— Он снова улыбнулся ей.— А как ты?

— Очень хорошо,— сказала она, помолчав.

— Ты хотела бы сказать — так хорошо, как ты и не мечтала, и теперь ты счастливее, чем могла надеяться. Но ты не говоришь этого, потому что боишься сделать мне больно,— мягко заметил он.

Она кивнула, как провинившаяся маленькая девочка.

— Ники, ты всегда знал меня гораздо лучше, чем я тебя. Я всегда надеялась — половиной сердца, во всяком случае,— что ты еще встретишь какую-нибудь чудесную женщину, гораздо более умную и чуткую, чем я, которая сможет дать тебе то, что тебе нужно. Правда, только половиной.

— А другой половиной?

Она чуть-чуть пожала плечами и улыбнулась.

— Не будем говорить об этом. Ведь я все-таки женщина, и это мне будет ужасно больно... Наверно, я дурочка, что признаюсь в этом. Ах, Ники, если бы ты только знал, как я сожалею о том, что делала с тобой, или, вернее, о том, чего не сделала для тебя. Иногда по ночам ты говорил со мной, и я знала, что ты взываешь о спасении, как утопающий, и ничем не могла тебе помочь. Я не знала, что можно сделать. Вспоминая эти ночи, я чувствую себя безмерно виноватой, но не знаю, в чем я виновата. Это и есть самое страшное. Женщина так беспомощна рядом

с тобой! Ники, сообщить тебе, когда родится мой ребенок? — спросила она тихо.

На глазах у него снова навернулись слезы.

— Конечно. И о том, как ты себя чувствуешь. Попроси...— он не мог заставить себя сказать «своего мужа»,— того, кто будет рассылать извещения, послать мне телеграмму.

— Хорошо,— сказала она и добавила со вздохом: — как глупо, что мы с тобой так разговариваем.

— Хуже, чем глупо: мы все время очень мило друг друга мучаем. А зачем? Зачем?.. Давай зажжем свет. Я позвонил тебе, потому что хотел увидеться с тобой, побыть с тобой немножко и немножко поговорить. Ни о чем особенном. Просто посидеть с тобой, посмеяться, в чем-то согласиться, о чем-то поспорить. Не хочется думать, что для нас это больше невозможно. Черт побери, ты же мне нравишься! И всегда будешь нравиться!

Она негромко засмеялась.

— И я чувствую то же самое. Смотри, я тебе купила подарок.

Она протянула ему маленький белый пакетик. Он развернул его и увидел коробочку, похожую на футляр для драгоценностей. Внутри лежал мозаичный шарик меньше дюйма в диаметре, прикрепленный к золотой цепочке. Это был старинный глобус.

— Какая прелесть!— сказал он.— Для кругосветного путешествия?

— О нет,— ответила она.— А для чего, собственно, я не знаю. Я увидела его по дороге сюда и купила. Может быть, он предназначается для человека, у которого есть все, но который этого не знает. Или для человека, настолько одержимого гибелью мира, что если он будет носить в кармане собственный мир, то перестанет об этом тревожиться. А может быть, я так сильно хочу, чтобы ты был счастлив, что подарила бы тебе целый мир, если бы это могло помочь. Я знаю только, что когда я его увидела, то сразу почувствовала, что должна купить его для тебя. Придай ему любое значение, какое хочешь.

— А цепочка? Что она значит?

— Ну, это нетрудно,— рассмеялась она.— Пусть у тебя будет что-то настоящее, что можно потерять.

— Вам нечего терять, кроме своих цепей?

— Да. А у тебя даже цепи не было.

Он улыбнулся и ничего не ответил: если бы он сказал «я уже потерял все, что для меня было самым главным», она решила бы, что он говорит о ней, хотя он имел бы в виду совсем другое — он имел бы в виду самого себя; поэтому он просто положил безделушку в карман.

— Я хочу предложить тебе уговор,— сказал он.— В тот день, когда я получу то, чего мне больше всего хочется, я выброшу эту цепочку и тогда то, что я получу, будет подарком от тебя. Ну, что ты будешь есть?

Она долго не отвечала, и он решил было, что она поглощена выбором блюд, однако, хотя она и внимательно смотрела на свое меню, она не читала его — когда Ник поглядел в ее великолепные глаза, он увидел, что в них блестят слезы.

«Пусть придет и такой день,— безмолвно и горячо молился он,— когда я заставлю женщину улыбнуться!»

4

Чемоданы его были уложены, и он уже позвонил, вызывая носильщика, когда вошел посыльный с телеграммой.

«Пожалуйста телеграфируйте свой московский адрес Поездка состоится неделю после вашего прибытия Леонард»

Ник прочел телеграмму и смял ее в кулаке. Посыльный ждал.

— Больше ничего,— сказал Ник.— Ответа не будет.

— Но он оплачен, сэр.

— Неважно,— ответил Ник.— Я не получал этой телеграммы. Если кто-нибудь станет наводить справки — я уехал до ее получения.

В день отъезда Ника из Нью-Йорка жара спала и позади него, за дальним концом моста Триборо четко рисовались стройные здания города, высокие, белые и сверкающие, у их подножия тянулась синяя полоса Ист-Ривер, а над ними синело небо. Находясь в городе, он ощущал его каменную тяжесть, его родство с гранитом земли, но теперь, когда он оглядывался из такси по пути в аэропорт, город казался частью неба, так же как и он сам и тысячи автомобилистов, мчавшихся по этому шоссе, были частью неба, потому что широкая белая бетонная автострада высоко поднималась над землей, и на протяжении многих миль машины неслись по ней выше и быстрее первых аэропланов.

Он родился в Нью-Йорке. В полузабытых комнатах этого города он карабкался на колени родителей; в каменных школах этого города, на его бетонных спортивных площадках он учился читать и играть — их он видел, когда вспоминал мокрую прозрачную синеву, которую его первое перо оставляло на белой бумаге; школьные доски этого города вспоминал он, когда сам читал лекции и, брызгая мелом, быстро писал на семинарах свои уравнения; в тихих библиотеках этого города странствовал он в обществе короля Артура, Джона Поля Джонса и Робина Гуда, и там же он в двенадцать лет самостоятельно тайком изучил тригонометрию, а потом интегральное исчисление, решая задачи и примеры с восторгом и страстью, словно обретая упругую силу стальной пружины. В парках этого города он впервые узнал, как пахнет мокрая трава и молодые весенние листья, там он играл в футбол и катался в лодке по озеру и познакомился с веснушчатой девочкой, при виде которой его сердце билось так сильно, что он едва мог дышать, когда ее рука отвечала на его крепкое пожатие. Это был его город, хотя теперь он стал в нем чужим; и все же это был единственный город, который заставлял его думать не о прошлом, а о прогрессе науки и техники. Этот город был построен из материалов, извлеченных прямо из пробирок, реторт и вакуумных камер; он возникал не на кальке, а прямо на университетских досках, где в первый раз писались новейшие формулы деформации и сопротивления материалов. Его стиль успевал устареть в его собственных глазах еще до того, как в журналах появлялись описания, знакомившие с ним весь остальной мир. Нью-Йорк не был Америкой лишь потому, что Америка всегда только становилась тем, чем он уже переставал быть. Это был город Ника, единственное место в мире, где он чувствовал себя по-настоящему дома, и все же вот он едет в аэропорт, и никто его не провожает, никто ему не скажет «Не забудь сообщить о приезде», и никто даже не позвонил ему, чтобы проститься в последнюю минуту.

Он достиг уже той поры жизни, когда у человека не бывает друзей, если только ему не удалось сохранить друзей прежних лет, но в его одиночестве виноват был не Нью-Йорк, а он сам. Давным-давно он избрал жизнь человека, который ни в ком не нуждается, но тогда в нем самом было нечто, сулившее больше увлечения, больше страсти, больше удовлетворения и больше радости, чем все, что могли ему предложить другие. Теперь же, когда это нечто исчезло — может быть, на время, а может быть, навсегда,— он понял наконец, что́ такое настоящее одиночество. Человек, брошенный женщиной, может обругать непостоянство и

найти себе другую женщину; человек, покинутый другом, может проклясть коварство и поискать себе другого друга; но тому, кто утратил часть самого себя, остается только молча, без слез, сжать губы и ехать из большого города в большой аэропорт, чтобы войти в большой самолет, сесть, застегнуть ремни и ждать, когда моторы, взревев, унесут его по воздуху в другой большой город, где его никто не встретит, где ему некого будет извещать о своем прибытии, где он сразу отправится в еще один безликий отель и будет молиться, чтобы где-нибудь, когда-нибудь ему была дана безмерная радость — вновь воссоединиться с собой.

Он сидел один у окна. Самолет пробежал по серой бетонной дорожке и взмыл в воздух. Ник смотрел вниз, на извилистую белую нитку прибоя, где валы Атлантического океана разбивались о стомильный пляж Лонг-Айленда. Клочки тумана, слишком прозрачные, чтобы отбрасывать тень, проплывали между ним и залитой солнцем землей, но постепенно они становились все гуще и больше и в конце концов слились в серую равнину — бугристую, лишенную далей пустыню в небе, которая полностью скрыла море, катившее внизу свои волны.

Затем последовали недели отупляющей деятельности, подменявшей собою жизнь, и вот через месяц после отъезда из Нью-Йорка он снова летел на восток, и белый луг, который прежде скрывал от него гладь океана, теперь скрывал всю Европу. Вокруг него звучала уже не английская, а русская речь, сновавшая по проходу стюардесса в синей форме была ниже ростом и полнее, чем стюардесса в американском самолете, зеленые диваны Аэрофлота были проще и практичнее, но белая гуща за окном оставалась столь же непроницаемой.

Проходили часы, и наконец в узких разрывах мелькнула бесконечная зеленая равнина, сверкающие водоемы и бархат лесов. Не было видно ни дорог, ни тропинок. Затем белизна снова сомкнулась, а когда она опять разошлась, под самым самолетом проплыла освещенная солнцем деревня из полудюймовых домиков и прямая черная лента шоссе, по которой на большом расстоянии друг от друга, но с одинаковой скоростью двигались легковые автомобили и грузовики. И снова Россия исчезла, а через некоторое время белизна поднялась и сомкнулась над самолетом, становясь все более серой по мере того, как он терял высоту. Самолет сделал разворот, и на одном крыле вдруг заиграло солнце, а потом, нырнув в сырой сумрак, он пошел на посадку.

Над серой посадочной дорожкой, сплошь в лужах после недавнего дождя, туман рассеялся, и по мере того как самолет терял скорость, глаз начинал различать мелькающий узор дорожки.

Из своего окна Ник видел только редкие деревья на плоской зеленой равнине, которая, казалось, могла уныло тянуться на тысячу миль. Затем самолет повернул, и даль снова заслонили невысокие деревья. Еще один поворот, и они исчезли, а вместо них, словно стадо пасущихся металлических чудовищ, появились гигантские самолеты международных авиалиний — САС, Эр-Франс, Аэрофлот, Сабена, Люфтганза,— повернутые в разные стороны, но все тяготеющие к длинному белому зданию с огромной надписью «МОСКВА» и красными флагами на длинных флагштоках. Самолет Ника приближался, все замедляя свое движение, и наконец остановился.

(Продолжение следует)

СТИХИ АФРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Мозамбик

Лилинью Микайя

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ

Давно-давно,
Когда вонзались дни
В далекие, как вечность, времена,
Народ мой
Жил,
Народ мой
Пел,
И властвовал
Народ!
Я
    птицей был открытой земли,
Земля не ведала зла,
И грудью нагой африканской женщины
В то время луна была...
Далекие, как вечность, времена
Окончились злодейством рук твоих,
И стерли память о далеких временах
Твои предательские руки.
    Когда ты появился,
    голос твой
            звучал почтительно,
И протянул ты руку
Нам, говоря о дружбе и любви...
Но глубоко вонзил ты свой кинжал,
И каждый шаг
Был шагом преступленья.
Ты предал мой народ,
И в девственную почву
Ты влил отраву своего безумья...
Унизив мой народ,
Ты поднялся над ним,
Как поднимаются стервятники над жертвой...
Добился ты всего,
    чего хотел:
Предательство и воровство —
Родили голод и болезни...
Предательство и воровство —
Родили проституцию и голод...
Предательство и воровство —
Родили смерть и голод...

И потом
ты смел еще
желать моей любви!
Как мог ты думать,
Что твоя рука
Меня заставит позабыть о прошлом...
О да!
Ты можешь расширять
Круг ненависти и злодейства...
Но разве сможешь ты
Остановить наш взлет?
Нет!
Нет! Мы не перестанем петь,
Наш голос не умолкнет!
И я скажу:
ты дикарями нас считаешь —
но люди мы,
хозяева своей земли!

Ангола

Вириату да Круш

ПОЭМА

Кто сильнее холода?
Кто сильнее голода?

Человек!
Коллективный труд людей!

Кто сильней пространства?
Кто сильнее времени?

Человек!
Воля множества людей!

Некогда
Над половиною Земли
Солнца свет
Единственным был светом!
Некогда
За целый год
Люди,
Горсть семян единственную
В землю бросив,
Собирали горсть единственную!
Некогда
Всю зиму долгую
Грело нас тепло единственной жаровни...

За двадцать четыре часа вчерашнего дня
Мы строили только один завод
И сажали тысячу гектаров пшеницы...

Сегодня за двенадцать часов
Мы научили реки наши
Высекать электрический свет,
Мы удвоили по всей земле
Полотнища наших полей,
Мы вырвать сумели железо
Из жадно зажатой руки гор,
Мы научили хлопковые поля
уважать наш труд,
И на почве цветущей жизни
Мы собрали сам-миллион
Урожай колосьев радости нашей!

Завтра
Мы свяжем Землю с Луной
Дорогой длиной
Всего в шесть часов.
Мы заставим
Свет Сириуса передавать
По всему миру
Праздники наши в садах Марса!

Сильнее всего Человек!
Труд и воля людей
Сильнее пространства
И времени!

Перевод с португальского ***Лидии Некрасовой***

Мариу Антониу Фернандис ди Оливейра

БЕЗРАБОТНЫЙ

Всегда на одном углу,
глядя вперед и будто не видя,
спиной к витрине, к блєстящим кольцам и бусам,
он стоит неподвижно.

Он целый день на углу стоит,
а люди проходят мимо,
верно, спеша на работу,
люди проходят...

И в памяти скорбной
(ведь дни каждый день все больше похожи)
только холодные рукопожатья,
холодные взгляды
за каждой конторкой:
«Сегодня нет ничего. Нет ничего
сегодня...»

А потом на углу,
спиною к витрине блестящей,
одно и то же воспоминанье:
закушенная улыбка,
застрявшее между зубов «Спасибо»
и рука,
махнувшая на прощанье...
Его рука и его улыбка...
Всегда на одном углу...

Нет!
Умереть — это плохой исход.
Стучаться в каждую дверь — тоже.
Для его тоски осталось одно:
так и стоять без слез,
спиной к витрине, к кольцам и бусам,
на этом углу,
где люди проходят, спеша на работу утром...

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

В этот вечер море мёртво, море немо, море сине,
и сидят нахохлясь птицы на уключине весла.
Кто сказал, что эта тягость может жизнью называться?
Кто сказал, что это море — тоже родина моя?

Вечер. Завтра воскресенье. Грузчики сидят без дела.
Грузчики глазеют с мола на валов голубизну.
Кто сказал им, что прекрасно это зарево заката?
Кто сказал им, что назавтра можно будет отдохнуть?

На лице моем и вечер и закатный свет пылает,
и тебя, товарищ, тоже свет заката золотит.
И тебя, товарищ, тоже. Ты сидишь спокойно рядом,
прост, как этот жаркий вечер, и, как море, молчалив.

Кто сказал тебе, что вечер так прекрасен? Одиноко
смотришь вслед своим мечтаньям... Одиноко мы сидим,
опустив бессильно руки!

Кто сказал нам эти строки из поэмы этой ночи,
здесь у моря, здесь у моря?.. Кто он был?

Острова Зеленого Мыса

Агиналду Фонсека

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Я и ты задумали
Выстроить наш мир.

Ты носил камни, воду, размешивал известь,
Я стоял поодаль, наблюдая твою работу:
— Красивое будет зданье!..

Я вошел,
Я все осмотрел внимательно
С благодушной улыбкой:
— Хорошее будет зданье!..

Ты орудовал ломом и лопатой...
Ты дороги прокладывал,
И сажал деревья по обочинам этих дорог,
И поранил руки, и до крови стер ноги
На этой тяжелой работе...
А я тем временем сел в машину,
И проехал по этим дорогам,
И сорвал плоды с деревьев, что ты посадил.
— Как все хорошо, как все красиво!

Ты копал землю, и бросал в нее семена,
И окропил эту землю своим потом.
Я восхитился твоим урожаем и вскрикнул:
— Сытость!
Ты опустил заступ
Всего на одну минуту,
И вытер пот со лба,
И сосчитал скудную плату,
И закричал:
— Голод!

Ты и я задумали выстроить наш мир...
Но когда труд был закончен,
Я вошел, захлопнул двери...
И оставил тебя за порогом.

ТАВЕРНА В ПОРТУ

Мерцает огонь вдалеке.
Фонарь, качаясь, плюется
Светом в лицо ночи.

Соль и тоска вокруг.

Ветер носит черные волны.
Таверна скрипит и рвется
С якоря у причала.

Любовь здесь тяжка и груба:
Сверкают ножи,
И привычно, тупо
Стонет женщина в чьих-то руках.

И плывут по воздуху стоны
В густом табачном дыму.

Бутылки, стаканы, бутылки...
— О, моряк не устанет пить...

Татуировка на коже
Кричит про страданья, отвагу
И приключенья в чужом порту.

Люди разных цветов кожи,
Люд без роду, без племени —
Просто морской люд,
С голосом, охрипшим от соли и ветра,
Со взглядом, зыбким, как морская волна.

Вот Грусть и Тоска по чему-то неведомому
Входят, покусывая старые трубки...
Пьют горькую и выходят, шатаясь,
Вместе с другими пьяными.

Грязные карты, столы, скамьи,
Бутылки, стаканы, бутылки,
Хмурое лицо хозяина
И глухой протест, застывший во всем...

И все полно страстью,
И все полно сном,
И все полно морем!

В КВАРТАЛЕ БЕДНЯКОВ

(Ноктюрн)

Раскрылся цветок тишины:
Опали по улицам листья тени...

Ночь, густая и черная, словно чернила,
Струится на сонные крыши домов,
И, скорчившись, падают люди
В долгий, глухой сон,
Как деревья, разбитые бурей на темной дороге.

Плавают в волнах души застарелые боли,
Как тяжелые шлюпы, ныряющие в туманы...

Вот явилась луна
По дорогам неведомых дальних миров
(Гибкими тенями пальм забросала уснувшую память).

Стоны глухие на каждом слышны перекрестке.
Часы и минуты, разорваны в клочья ветром,
Катятся, падают в сумрак, чтоб больше уже не вернуться.

А море жизни, зеленое, мутное море,
Что целый день билось,
Словно бешеный бык,
О скалы раздумий и обрывы надежды,
Вскипая, взмывая, вздымая спину,
Взметая пену,
Как будто уже устало быть морем,
И набегает на землю, потягиваясь лениво,
Тяжко дыша, как поезд,
Перед тем как остановиться.

Остров Сан-Томе

Франсиску Жозе Тенрейру

Я РОДИЛСЯ В ЭТОМ ГЛУХОМ КРАЮ...

Я родился в этом глухом краю
в день, когда плясали батуке.

Оттого тороплюсь жить!

Плечи дрожали,
губы, пенясь кровью, дрожали...
Они плясали,
плясали...

Оттого про боль не забыть!

Потом тишина наступила.
Взгляды искали чего-то вдали, далеко вдали...

Оттого я так хочу жить!

ПЕСНЯ ЗЕЛЕНОГО ЛЕСА

Солнце вонзается негру в спину,
реки пота не стынут, не стынут.

Жарко!

Нож вонзается в ствол глубоко,
падают, падают реки сока.

Жарко!

Глаза у белого —
словно хлысты
ломают стонущие кусты...

И только вода, спокойна всегда,
к морю бежит не спеша,

словно земли душа!

Перевод с португальского Инны Тыняновой

Морис Понс

НОЧНОЙ ПАССАЖИР

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Л. Галинской и О. Граевской

Глава первая

Вечерело. Мы ехали молча. Светло-желтые пунктирные линии на поворотах широкого ровного шоссе стремительным морзе слали мне свою весть. По небесной глади, расстилавшейся над открытой машиной, подобно водорослям на большой реке, скользили верхушки деревьев.

Я внимательно вслушивался в успокоительный гул мотора. Мне нравилось мысленно следить за равномерным ходом поршней в цилиндрах, за четкой работой клапанов и за привычным вращением коленчатого вала. Иногда мне казалось даже, что я слышу, как один из карбюраторов роняет крохотную капельку бензина и она резко шипит, испаряясь на головке блока. Агостини предупреждал меня, что следовало бы проверить поплавковую камеру. Ну да не беда! Белая стрелка спидометра, слегка отклонившись вправо от вертикали, неподвижно замерла; аккумулятор заряжается; температура воды нормальная; давление масла тоже. Словом, все предвещало хорошую дорогу.

На нем была белая рубашка с открытым воротом и серые фланелевые брюки. Довольно высокого роста, он поджал ноги, усаживаясь в мою машину. На колени он положил свернутый плащ, а поверх него небольшую сумку — обычно авиакомпании выдают такие своим пассажирам. На голубой сумке, которую он крепко придерживал руками, были выведены инициалы скандинавской авиалинии.

— Вам часто приходится летать? — Я задал вопрос, чтобы как-то завязать беседу.

— Случается иногда,— последовал краткий ответ.

Это были единственные слова, которыми мы обменялись, с тех пор как покинули Париж. От самого Парижа он сидел, неподвижно скрестив руки на сумке. Руки у него были бледные, холеные, с длинными пальцами, ногти продолговато-острые.

Впереди нас мчался черный «пежо-403», кренясь на поворотах. На подъеме Гран-Венёр я почти нагнал его и дал два сигнала. Я увидел, что у него замигал указатель поворота и он резко взял влево, чтобы обойти небольшой грузовик. Я тоже оставил грузовик позади и пошел на обгон «пежо». Он увеличил скорость, но на спуске у Фонтенбло я

все-таки вырвался вперед. Перед самым перекрестком я вихрем промчался мимо белого «ситроэна», отжав его к обочине.

— Вы ведете машину на большой скорости,— заметил мой пассажир.

По тону, каким это было сказано, нельзя было понять, нравится ли ему быстрая езда или не нравится.

— А вам что, страшно? — спросил я и, приблизившись к повороту, немного сбавил скорость. Он ничего не ответил, и мы молча продолжали путь среди лесов.

На перекрестке у Обелиска, прежде чем свернуть на нужное шоссе, я часто делаю несколько кругов по площади. Я называю это «поиграть в почтового голубя» и, шурша шинами, по-своему выражаю признательность удачному расположению дорог. Сколько игривых воспоминаний связано у меня с Обелиском, куда я не раз подъезжал в воскресные дни в приятной компании! Сколько раз я бывал здесь по вечерам с Франсуазой, намереваясь подышать свежим весенним воздухом! Мы, бывало, кружим по площади, а она прижимается ко мне, целует и все твердит: «Как мне нравится твоя машина!»

Но на этот раз у меня не было уверенности, что такого рода игра придется по душе моему мрачному пассажиру. Итак, отогнав прочь воспоминания, я сразу свернул на шоссе номер пять.

Первые вечерние часы в пути восхитительны. Ветер покачивает высокие деревья, они выделяются на фоне темно-синего неба, отбрасывая на асфальт трепещущие тени. Изгибы дороги теряются в светлеющей дали полей. И в эти часы топливо сгорает лучше всего: вечерний воздух свеж, жиклеры жадно пьют бензин, мотор безмятежно мурлычет, чутко отзываясь на малейшее прикосновение к педали.

Захлебываясь от ветра, мы стремительно неслись по левой стороне шоссе. Левым коленом я все время нажимал сигнал, и солидные машины почтенных буржуа шарахались к обочине. Не без злорадства думал я о том, какими милыми эпитетами должны награждать меня их пассажиры, и то и дело поглядывал на белую стрелку спидометра, которая все ползла и ползла вправо. Мой пассажир сидел совершенно неподвижно.

Мы очень быстро добрались до Морэ. Не удостоив его своим посещением, проехали мимо, сделав, правда, небольшой крюк. Еще недавно этот городок с его двумя воротами и мостами XIV века просто губил шоссе номер пять. Сколько раз я оказывался зажатым здесь между жалкими колымагами и был вынужден еле-еле ползти то за огромным грузовиком, то за какой-нибудь подводой, трещавшей под тяжестью мешков с мукой! Средневековье, да и только! Правда, в те давние времена дороги способствовали поддержанию связи между городами, а сейчас они всячески ухищряются обойти их и кружат по полям в самых различных направлениях. В Морэ можно было сделать остановку и, купив у местного кондитера знаменитые конфеты пралине, грызть их потом вплоть до Монтелимара. Ну что ж, не повезло конфетам пралине! Новое шоссе в обход Морэ обошлось, должно быть, в миллиарды франков, и я считал делом чести выиграть еще хоть несколько минут. Вовсе не потому, что я действительно торопился. В фильме, который снимал Роже,

я сейчас почти не был занят и мог бы спокойно приехать в Шампаньоль после полудня или даже вовсе там не появляться. Но моя машина не переносит медленной езды. Это вызывает у нее икоту. И нервирует ее.

И вот, когда мы стремительно огибали город, мой спутник, даже не взглянув в мою сторону и словно продолжая прерванный у Фонтенбло разговор, неожиданно произнес:

— Если что-нибудь случится, запомните на всякий случай: вы меня не знаете, я подсел к вам в пути.

Меня еще раньше поразила его чуть гортанная речь, согласные у него звучали особенно четко, гласные же он почти глотал. Но тогда я не обратил внимания на то, как медленно и старательно выговаривает он каждое слово. Наш школьный учитель в Шатору так же отчетливо произносил текст во время диктовки.

Я невольно почувствовал себя задетым и сухо возразил:

— Ничего не случится.

Слева вдалеке виднелся старый мост через Луэн. Река струилась среди лугов, а по реке струились отблески летнего заката. Чудесный пейзаж — для пешехода. Я же видел перед собой только стрелку спидометра да белые цементные столбы, чинно выстроившиеся вдоль дороги на поворотах. Я хмелел от быстрой езды и ветра. Но спутник, не обращая внимания на мой заносчивый тон, так же медленно продолжал:

— Условимся все-таки насчет места, где я к вам подсел: у Обелиска в Фонтенбло, если не возражаете.

Я не ответил. Он ничего не добавил. У меня было неприятное ощущение, что я непонятным образом вовлечен в какую-то сеть лжи, не зная даже, что за всем этим кроется.

Почти сразу же после Морэ шоссе поворачивает, идет в гору, и на нем появляется проклятая желтая осевая линия. Впереди нас шел маленький «ситроэн», в свою очередь следовавший за огромным желтым грузовиком торгового дома «Кальберсон».

Я нажал коленом на сигнал и, послав к черту все правила, обогнал маленький «ситроэн», грузовик и еще две кряхтевшие на подъеме машины, которых раньше не заметил. Мчавшаяся с горы автоцистерна заставила меня вернуться в правый ряд, но затем я снова вышел на левую сторону и с ходу обошел целую вереницу машин, послушно тащившихся за грузовиком. На вершину холма я выскочил первым. Ни одного жандарма. Я быстро свернул на правую сторону шоссе.

До чего же меня раздражал этот тип с его таинственной молчаливостью! Я был зол на самого себя за то, что связался со столь неприятным пассажиром: он, чего доброго, еще испортит мне всю поездку. Злился я и на Бернадетту. Это она позвонила мне днем в редакцию газеты: «Ты, кажется, собираешься сегодня вечером в Шампаньоль?.. Не мог бы ты захватить с собою одного приятеля?..» В услугах такого рода обычно не отказывают, и мы условились встретиться в половине шестого на террасе кафе «Пти Пари».

Встреча Людовика XV и прибывшей из Польши Марии Лещинской была в свое время отмечена сооружением обелиска на месте столь счастливого происшествия. Очаровательная аристократическая манера отме-

чать выдающиеся события белым камнем! Обелиск по-прежнему стоит здесь, нелепо возвышаясь на краю дороги. Я приветствовал его на ходу торжественно долгим гудком. Так я обычно приношу дань уважения истории и любви. Но если уж говорить начистоту, то я просто обожаю давать гудки. И готов воспользоваться для этой цели любым предлогом.

Я охотно побеседовал бы обо всем этом с моим спутником, если бы он соизволил проявить хоть малейший интерес ко мне. Но нет! Он по-прежнему сидел невозмутимо, крепко обхватив руками сумку и пристально глядя на убегающую вдаль линию дороги, постепенно погружавшуюся во мрак.

Когда Бернадетта мне позвонила, я решил, что она действительно имеет в виду кого-то из своих, одного из тех ребят, какие работают в киностудиях. Если этим парням поручают доставить три катушки пленки, они обычно требуют, чтобы им оплатили проезд по железной дороге до Шампаньоля, да еще в первом классе, и вдобавок чтобы за ними прислали на вокзал машину. Поэтому я был немного удивлен, застав ее в обществе этого молчаливого человека в белой рубашке.

Они ждали меня в кафе, но не на террасе, как мы условились с Бернадеттой, а в самом дальнем углу зала, между стойкой и дверью, ведущей в туалет. Она сидела на диванчике лицом к входной двери, а он на табуретке спиной к посетителям.

На прямом отрезке дороги я увидел в зеркале небольшую низкую машину, шедшую далеко позади нас на большой скорости. Она, очевидно, выехала на шоссе из Монтеро у Пти-Фруассар, ибо, насколько мне помнилось, я ее не обгонял. Я замедлил ход и дал ей приблизиться.

Это была спортивная «симка» зеленого цвета; за рулем сидел какой-то молодой болван, вообразивший себя гонщиком. Что ж, можно будет позабавиться. Я сбавил газ и прижался к правой обочине.

Он приблизился, непрерывно сигналя. Он был в кожаном шлеме и куртке. Рядом с ним сидела молоденькая девица с повязанной вокруг головы косынкой. Они делали километров 120—130 в час. Я постепенно увеличивал скорость, а когда они оказались рядом, до отказа нажал на педаль газа. Моя машина рванулась вперед, и мы бок о бок помчались по прямому шоссе.

Впереди нас, примерно в пятистах метрах, шел огромный грузовик: столкновение с ним означало верную гибель. Хозяин «симки» отчаянно гудел, но все-таки не уступал.

Пока я включал четвертую передачу, он успел обогнать меня на несколько метров и торжествовал победу. Но он выжал из своей машины все, что можно: с каждой секундой я выдвигался вперед и наконец выскочил прямо перед ним, как раз вовремя, чтобы обойти грузовик.

Мы счастливо отделались, потому что шедший навстречу небольшой «рено» тут же заставил меня свернуть в сторону под самым носом у огромной машины. Ее водитель бросил мне вслед яркий сноп света, отразившийся в зеркале моей машины и на мгновение вполне заслуженно ослепивший меня; и вот уже далеко позади раздался резкий скрип тормозов маленькой «симки». От такого торможения можно слететь в кювет! Юнец, надо полагать, побелел от страха и ярости. Я снова перешел на нормальную скорость.

Не успел я войти в «Пти Пари», как Бернадетта поднялась с места.

— А вот и Жорж,— громко произнесла она и, насколько я помню, даже не сочла нужным представить нас друг другу.

Он тоже встал, и нам пришлось обменяться рукопожатием. Да, мы пожали друг другу руку, это я хорошо помню.

Он был молод, выше меня ростом. Смуглая кожа, большие черные глаза, маленькие усики, подстриженные треугольником. Но мое внимание сразу же привлек глубокий лиловый шрам, пересекавший его лоб над правым глазом. К чему скрывать? С первого взгляда он произвел на меня самое мрачное впечатление.

— Это вас мне предстоит захватить с собой? — спросил я без всяких церемоний.— Ну что ж, поторапливайтесь. Машина осталась далеко отсюда.

И, чтобы выразить свое недовольство, добавил, обращаясь к Бернадетте:

— Я ведь ясно сказал тебе, чтоб вы ждали меня на террасе.

Мы пересекли Ионну и ехали вдоль ее правого берега по чудесной широкой долине. Великолепные итальянские тополя выстроились почетным эскортом вдоль французской реки. Последние лучи заката еще золотили верхушки исполинских деревьев, но прибрежные луга уже тонули во мраке. Серая линия шоссе, точно следовавшая пологому изгибу долины, с каждой минутой, казалось, все больше светлела. На некоторых машинах уже горели задние фонари.

— Скоро будем в Сансе,— крикнул я, стараясь перекрыть шум ветра.

— Это далеко от Парижа?

— Сто двенадцать километров. Неплохая скорость. Выпьем там по стаканчику.

Я старался быть любезным. За столиком в кафе, думал я, мой пассажир станет наконец разговорчивее. Кроме того, мне все еще было неловко из-за резкости, которую я допустил в «Пти Пари». Там я отказался от его предложения выпить что-нибудь, и он, видя, как я тороплюсь, поспешно сунул деньги под стоявшую на столе пепельницу. Плащ он перебросил через руку, в которой держал дорожную сумку.

— Это все ваши вещи? Великолепно! — одобрительно заметил я, и мы, следуя друг за другом, прошли через зал и террасу кафе.

Бернадетта проводила нас до самой машины. Она сама открыла и потом закрыла дверцу с той стороны, где уселся ее приятель; помню, когда он уже сидел в машине, а я запускал мотор, она несколько раз повторила, по-мужски положив руку ему на плечо:

— Итак, счастливого пути! Счастливого пути!

Когда я вспоминаю об этом теперь, мне все кажется, что уже в тот момент я почувствовал в их словах, жестах и взглядах какую-то тайну, объединяющую этих двух людей.

Мотор заработал, машина медленно тронулась с места, и я помахал на прощание Бернадетте рукой. Мне не терпелось поскорее выбраться из Парижа, чтобы избежать большого скопления машин, образующегося к шести часам вечера на внешнем кольце бульваров.

Возле собора Сент-Этьен в Сансе имеется превосходная стоянка. Обширная площадь с фонтаном в центре, симметрично расположенные места для машин, разгороженные барьерчиками, широкие проходы

между рядами — словом, все оборудовано так, что поневоле привлекает проезжего автомобилиста. Я лично никогда не упускаю случая там остановиться, причем делаю это тем более охотно, что расположенные по краям площади многочисленные кафе дают путешественнику возможность, сидя за столиком, не терять из виду свою машину.

В воздухе посвежело, нам стало холодно. Когда мчишься навстречу ветру, начинает казаться, что холод проникает куда-то внутрь, глаза слезятся, волосы взъерошены, пальцы закоченели и словно примерзли к рулю.

— Вот и Санс! Остановка с закуской! — крикнул я весело и выключил мотор.

Я выпрыгнул из машины и с удовольствием разминал ноги; он вышел не спеша, оставив на сиденье плащ, но захватил с собой сумку. Потом настороженно огляделся вокруг.

— Выпьем чего-нибудь, чтобы согреться, нам это не помешает,— предложил я приветливо, и мы вместе направились в кафе.

В зале почти никого не было. Гремела дурацкая музыка из стоявшего тут же радиоприемника. На стойке лежала стопка газет — свежий номер «Франс-Суар», только что доставленный из Парижа. Стоявший неподалеку молодой человек что-то говорил, оживленно жестикулируя. Позади стойки официантка, молодая деревенская девушка в кухонном фартуке, перетирала блюдца. Когда мы вошли, она недружелюбно глянула в нашу сторону, а ее собеседник умолк.

Официантка не спешила. Выждав некоторое время, она наконец подошла к нашему столику. Я заказал чашку кофе и ром.

— А мне дайте кофе с молоком,— попросил мой спутник.

— Молока нет,— сухо сказала официантка, не глядя на него.

— Тогда чашку черного кофе.

Она медленно подошла к стойке и стала готовить заказ. Я не знал, как загладить неприятное впечатление от ее недружелюбного тона. Я подыскивал слова, чтобы нарушить тягостное молчание:

— Вам и в самом деле не хочется выпить рюмку рома?.. Надо ведь согреться...

Нам все еще ничего не подали, и мое смущение стало настолько очевидным, что он сам счел нужным заговорить.

— Знаете, нас не очень-то любят,— произнес он почти шепотом. И, так как я продолжал молчать, добавил: — Да это и не удивительно.

Мы сидели друг против друга, я — лицом, а он — спиной к буфетной стойке. Разделявшая нас темно-красная пластмассовая поверхность пустого столика как-то особенно подчеркивала всю неловкость ситуации. Я вытащил трубку и кисет с табаком. Пусть хоть руки будут заняты!

У меня была только трубка, и мне стало досадно, что я не могу предложить ему покурить. Но он, словно выждав, чтоб я подал пример, тотчас же вынул из кармана довольно измятую и наполовину пустую пачку сигарет.

— Не хотите ли сигарету? — обратился он ко мне.

— Нет, спасибо. Привык к трубке.

Я курил превосходный виргинский табак, который Франсуаза привезла мне из Америки в увесистой круглой коробке. Последние вечера, которые я провел с Франсуазой, были напоены его ароматом. Это все, что у меня осталось от Франсуазы. И потому я особенно дорожил этим табаком.

Когда он вынул сигареты, мне показалось сначала, что у него в руках синяя пачка «Голуаз». Но он положил ее на стол, и я, посмотрев

внимательнее, увидел, что это алжирские сигареты «Бастос». Лично я их недолюбливаю, хоть и пробовал не раз, их привозил к нам в редакцию Ален после каждой поездки в Алжир. По его мнению, они лучше, чем «Голуаз», и он всегда сетовал, что в Париже этих сигарет не найти.

Музыку, доносившуюся из радиоприемника, неожиданно сменил голос диктора, на все лады расхваливавшего чудотворное действие какого-то средства для выведения пятен. В это время молодой человек, стоявший у стойки, медленно развернул газету. Мне бросились в глаза жирные заголовки: «Покушение на Си Шаруфа в центре Парижа...» «Заградительные посты на вокзалах и у выездов из столицы...»

Больше ничего прочесть я не успел, но тут же невольно взглянул с беспокойством на странного пассажира, которого усадили ко мне в машину и о котором я буквально ничего не знал. Вспомнилось, как он спросил меня, когда мы подъезжали к Сансу: «Это далеко от Парижа?» — вот единственный вопрос, с которым он обратился ко мне с тех пор, как мы выехали из Парижа.

В зале снова послышалась какая-то пошлая музыка. Официантка вышла из-за стойки, взяла поднос и подошла к нам.

— С вас сто сорок франков,— сообщила она, поставив на столик две чашки кофе и рюмку рома. На каждом блюдце лежало по два кусочка сахару. Кофе она пролила, и сахар изрядно намок.

Он полез было в карман, но я предупредил его жест.

— Оставьте, пожалуйста,— сказал я и, протянув официантке деньги, с неожиданной для самого себя злостью потребовал: — Пепельницу!

Кофе был холодный, ром неважный. Я хотел поскорее уйти, так как чувствовал, что здесь почему-то смотрят на меня подозрительно; мне не терпелось поскорее вновь испытать пьянящую прелесть быстрой езды. Когда мы выходили из кафе, я заметил, что на маленьком столике позади стойки среди вымытых стаканов и пустых бутылок стоит телефонный аппарат. Меня не покидала невольная тревога, вызванная кричащими заголовками «Франс-Суар». Любопытно, что при виде телефона в моей памяти почему-то всплыло название Сент-Мену *.

Стемнело. Площадь у собора уже была окутана мраком. Стоянка обрела ночной вид. И моя открытая машина выглядела здесь сейчас как-то странно.

— Пожалуй, стоит поднять верх,— заметил я.

— Да, я тоже так думаю,— ответил он.

Когда я езжу один, то становлюсь обычно коленями на сиденье и тяну на себя поперечную планку крыши. Затем поворачиваюсь и закрепляю ее. Но если едешь вдвоем, то удобнее, чтобы каждый брался снаружи за одну из боковых ручек и подтягивал таким образом верх к ветровому стеклу. После этого остается только закрепить его изнутри.

Я сотни раз проделывал все это вместе с Франсуазой. Теперь я объяснил моему спутнику, как надо действовать, и он охотно взялся помочь мне, правда одной рукой, потому что в другой все время держал сумку.

Когда верх поднят, моя машина выглядит совсем иначе. Она делается как бы ниже и сзади напоминает огромную жабу. Но внутри бывает уютно, как в круглой палатке, и в плохую погоду очень приятно, находясь в укрытии, прислушиваться, как у тебя над головой барабанит дождь. Кроме того, с поднятым верхом можно развить большую скорость.

---

* В Сент-Мену был в 1791 году опознан во время своего бегства Людовик XVI

Я уже уселся за руль, закрепил верх и включил мотор. Мой спутник попросил подождать минутку:

— Только надену свитер.

Он стоял у открытой дверцы машины. Сидя на своем месте за рулем, я мог видеть лишь верхнюю часть его брюк и полосу рубашки. Он положил сумку на сиденье и нагнулся над ней. Теперь мне были видны только его руки: он расстегнул молнию на сумке, вынул из нее серый шерстяной свитер и мгновенно снова закрыл ее.

Сумка оставалась открытой несколько секунд, и я не мог удержаться от искушения заглянуть в нее: под свитером видна была газетная бумага. Он тут же выпрямился, оставив закрытую сумку на сиденье, и натянул поверх белой рубашки серый свитер.

Как я уже упоминал, он был довольно высок ростом. В машину с поднятым верхом ему пришлось забираться не без некоторого труда; наконец он уселся и снова принял позу, в которой пребывал неизменно от самого Парижа: ноги согнуты под приборным щитком, на коленях свернутый плащ и поверх него сумка.

Убедившись, что он устроился как следует, я зажег фары и тронулся в путь, снова взяв влево по дороге, пересекающей Санс. Поездка в самом деле начинала меня увлекать.

Глава вторая

Выехав за пределы города, я обнаружил, что мы едем в неверном направлении. Это произошло потому, что у моей машины вошло в привычку двигаться на юг. Выработавшийся инстинкт и, как я полагаю, свойственный ей в известной мере снобизм заставили ее пересечь весь Санс и помчаться прямо по шоссе номер шесть в сторону Оксера и Аваллона.

Будь я один, я немедленно вынудил бы ее повернуть обратно, хоть она, прямо скажем, этого терпеть не может. Но унижать ее при постороннем человеке мне не хотелось. В конце концов не беда, если мы свернем в Жуаньи и выедем на шоссе номер пять через Сен-Флорантэн.

Подключив второй карбюратор, я помчался вперед, держась правого края дороги. Мощно ревел мотор. Шоссе было пустынно, фары разгоняли мрак. По очертаниям деревьев, растущих вдоль берегов Йонны, можно было следить за течением реки меж полей и лугов.

Я уже было собрался вихрем промчаться через Розуа, как вдруг увидел по обеим сторонам дороги вплоть до самой деревни вереницы машин с ярко светившими в темноте фарами. Резко сбавив скорость, я медленно приблизился к ним и тогда только разглядел двух жандармов, стоявших с фонарем и отводивших машины на обочины. В памяти сразу всплыли слова, вычитанные в «Франс-Суар»: «Заградительные посты на дорогах».

«Так и есть! Теперь мы попались»,— подумал я про себя.

При выезде из Парижа нас никто не останавливал, и я не заметил ничего необычного. Правда, стремясь сэкономить время и избежать заторов, мы выехали из города через Калитку Тополей по маршруту, известному одному мне. На шоссе мы выбрались только близ Рис-Оранжиса. Да, но зачем, черт возьми, я полез на это злосчастное шоссе, наводненное полицией? Теперь нечего и помышлять о том, чтобы прорваться через заградительный пост, а поворачивать обратно уже поздно.

Сердце мое бешено колотилось, в горле пересохло. Нет, право, я не создан для героических дел. Но на лице у моего пассажира не было никаких признаков волнения. Через ветровое стекло он разглядывал это скопище машин и полиции с невозмутимостью зеваки, наблюдающего дорожную аварию. Может быть, у него и в самом деле нет никаких оснований тревожиться? Может быть, все мои страхи не что иное, как игра воображения? Однако, когда нас остановили в нескольких метрах от мощного «фрегата», мой пассажир быстро повернулся и поставил сумку позади своего сиденья. Затем снова неподвижно замер и стал молча ждать дальнейших событий.

А я невольно поймал себя на том, что совершенно подсознательно, под влиянием преследовавшей меня мысли, твержу урок, который он раньше мне преподал: «...Вы меня не знаете... Перекресток у Обелиска, если не возражаете...» Против своей воли я цеплялся за эти слова, испытывая одновременно чувство большого облегчения и вместе с тем еще более сильное ощущение собственной трусости.

Один из стоявших на шоссе жандармов подошел к моей машине. В руке у него был карманный фонарик. Я быстро опустил стекло и сразу же увидел его пояс с прикрепленной к нему кобурой револьвера. Положив руку на брезентовый верх машины, он наклонился ко мне.

— Мсье,— это было сказано вместо приветствия,— квитанция об уплате налога на машину при вас?

— Как вы сказали? — Его вопрос меня ошеломил.

— Предъявите налоговую квитанцию,— повторил он и выпрямился, очевидно ему было неудобно стоять согнувшись.

При мне она или я ее не захватил с собой? Зачем она ему понадобилась? Помнится, я получил эту злополучную квитанцию еще в начале года, внеся деньги в табачной лавке на улице Ля Боэти. В тот день выпал снежок. Франсуаза была со мной. Как я любил ее тогда! Невзирая на холод и сырость, мы долго бродили по улицам, нежно прижавшись друг к другу... Но куда я потом девал квитанцию? Куда сунул ее? С поразительной четкостью я мысленно представил себе левый ящик моего письменного стола, а в нем эту самую квитанцию вместе с паспортом и корешками старых чековых книжек. Какая нелепость!

Мой бумажник лежал в заднем кармане брюк. Я извлек его оттуда; от волнения пальцы дрожали. В бумажнике я нашел паспорт на машину, а в нем оказалась квитанция. И то и другое я протянул жандарму.

Он зажег карманный фонарик и внимательно просмотрел мои бумаги. Затем обошел машину кругом, очевидно для того, чтобы проверить номерной знак. Наконец снова подошел к дверце и вернул мне документы.

— Радиоприемник есть?— спросил он и, вновь наклонившись, осветил фонариком приборный щит.

— Нет.

Отступив назад на три шага, он повелительным взмахом руки разрешил мне следовать дальше по шоссе.

Мотор не был выключен, я поставил первую передачу и плавно отпустил педаль сцепления. Затем обогнул «фрегат», все еще неподвижно стоявший на дороге, пока его водитель вел переговоры со вторым жандармом. «Деревенщина, не найти ему своей квитанции»,— весело подумал я и затем на большой скорости пронесся мимо Розуа.

Напряжение схлынуло только тогда, когда я опять вышел в правый ряд; я громко смеялся, постукивая ладонями по рулю и приговаривая:

— Ну и дурачье эти жандармы! Ну и дурачье! — На душе было радостно, словно я совершил подвиг.

Мой пассажир с интересом наблюдал за мной. Может быть, ему приятно было видеть, как во мне зарождается чувство соучастия или по меньшей мере товарищества, которое иногда сплачивает самых различных людей, когда они оказываются перед лицом одной и той же угрозы. Но свойственная ему осторожность все же его не покидала.

— Сельские жандармы,— глубокомысленно заметил он.— Эти люди делают то, что им приказывают.

Итак, он наконец заговорил. Темной ночью нам предстояло провести несколько часов вдвоем, бок о бок, в крохотном укрытии на колесах. Бледные пятна света на щитке, белевшие в полумраке стрелки приборов открывали перед нами какой-то необычный и странный мир. За стеклами машины, словно обезумевшая планета, вихрем деревьев и ферм бешено неслась Франция. Да, разговор между нами возможен.

Для начала я решил заговорить о странном предположении, мелькнувшем у меня в Сансе. Происшедшая только что встреча с жандармами была удобным для этого предлогом.

— В Сент-Мену Людовика XVI опознали в свое время тоже сельские жандармы,— заметил я.— Друэ, сын форейтора, бывший драгун, вскочил в седло и, обогнав короля, промчался в Варенн, чтобы поднять тревогу и забить в набат. В наше время, когда есть телефон...

— Но почему?— прервал меня мой спутник.— Что, собственно, заставило вас вспомнить о бегстве Людовика XVI?

Это было сказано с явной иронией, и я сразу осекся. Держись он попроще, он наверняка прямо спросил бы: «Уж не принимаете ли вы меня, чего доброго, за Людовика XVI?» Я почувствовал, что, идя окольными путями, неизбежно запутаюсь в дебрях истории. Здесь, очевидно, следовало применить лобовую атаку.

Мы проехали Вильнев-сюр-Ионн. Изгибы дороги повторяли извилистое течение реки. Ночь была чудесная. Слева вдали темнел массив Отского леса, словно подымающегося на штурм небес. Фары редких машин, как метеоры, прорезали ночную мглу.

Я был полон решимости добиться своего и размышлял о том, как лучше это сделать. Но пока, увлеченный — должен в этом признаться — своей ролью детектива, я мысленно подыскивал нужные слова, он меня опередил. Желая, очевидно, направить по другому руслу разговор, в котором он уже учуял опасность, мой пассажир неожиданно спросил:

— Вы, как мне говорили, занимаетесь кино?

Ясно, что наплела Бернадетта. И я оказался вынужденным рассказывать что-то о себе в то время, как сам жаждал разузнать кое-что о нем. Поневоле пришлось долго и весьма путано объяснять, что я не «занимаюсь кино», но работаю в газете и потому иной раз сочиняю рассказы; что один из рассказов привлек внимание моего приятеля Роже Лемери; что мы совместно сделали сценарий, по которому сейчас и снимается фильм.

— Как он называется?

— «Мадемуазель Эрмелин». Вы сможете скоро его увидеть, я надеюсь.

Он не оставлял меня в покое; ему хотелось узнать во всех подробностях, и каков сюжет рассказа, и какие актеры снимаются в фильме, и сколько продлятся съемки; но больше всего его занимал вопрос о том, почему именно в Шампаньоле, в горах Юры, снимается фильм по про-

изведению, действие которого, по моему первоначальному замыслу, происходит в Шатору, в департаменте Эндр.

— Всему виною елки,— объяснил я.— В окрестностях Шампаньоля находится лес Жу. Там лучшие ели во Франции. Гигантские деревья вышиной в тридцать-сорок метров. Они великолепны.

— А в вашем рассказе тоже упоминаются ели?

— Ни разу. В Эндре растут главным образом дубы и буки. Но для Роже мой рассказ — только предлог, чтобы заснять ели. Всюду, где я пишу о лесах или перелесках, ему мерещатся елки. Он в них влюблен.

В Жуаньи ведет прекрасная дорога, проложенная вдоль берега Ионны. Автозаправочная станция компании Шелл была еще открыта; бензоколонки, расположенные на обочине шоссе, светились в темноте, как церковные алтари. Разговор о кино мне успел порядком надоесть; резко свернув влево, я остановил машину у одной из колонок.

Я выключил зажигание и, не увидев никого, дал два коротких гудка. Из застекленной будки вышел наконец паренек в ярко-синем комбинезоне и не спеша направился к нам. Право же, я не нарочно остановился именно у этой колонки: перед нами стоял молоденький алжирец с ярко выраженной внешностью кабила. Вид у него был болезненный, а лоб усеян прыщами.

— Налейте доверху,— сказал я, когда он подошел, и протянул ему через дверцу ключ от бака.— Высшего качества.

— Слушаю, мсье. Сию минуту, мсье.

Он исчез позади машины, и вскоре сквозь равномерное гудение электрического насоса до нас донеслось веселое журчание бензина в баке. Я включил зажигание и стал смотреть на указатель уровня бензина.

Паренек снова подошел к дверце машины, чтобы получить деньги («Спасибо, мсье, большое спасибо»), и затем во что бы то ни стало захотел промыть ветровое стекло.

Тут он увидел моего пассажира. Выражение его лица мгновенно изменилось: мелькнувшее на нем удивление сразу же исчезло, уступив место ненависти — ошибиться было невозможно, это была ненависть, смертельная ненависть.

Мальчишка промыл губкой левую часть ветрового стекла, вытер его насухо тряпкой, надо было перейти на правую сторону. Это явно стоило ему огромного внутреннего усилия. Он обошел машину спереди. Я не мог понять, почему он охвачен таким возбуждением. Но видел, что он не отрываясь смотрит в упор на моего невозмутимого спутника и яростно трет стекло. Одним своим взглядом он накалил атмосферу. Казалось, мы находимся не у безвестной и затерявшейся где-то заправочной станции, а неожиданно окунулись в реальный мир человеческих отношений и братоубийственных войн.

Я снова включил мотор, паренек отошел в сторону. Медленно трогая с места по направлению к шоссе, я видел в зеркале, что он все еще стоит на дорожке и, швырнув губку на землю, в порыве слепой ярости угрожающе жестикулирует нам вслед.

Некоторое время мы ехали молча. Мотор снова ровно гудел, ветер опять шуршал по крыше.

Поведение молодого алжирца поразило меня. Не в силах сдержаться, я вскоре рискнул затронуть щекотливый вопрос.

— Как враждебно отнесся к нам этот парнишка,— бесстрастно ска-

зал я, умышленно приняв тем самым и на свой счет проявленную молодым алжирцем неприязнь.

Он с минуту подумал и осторожно ответил:

— Видите ли, у нас война.

Итак, несмотря на всю его осторожность, я все же заставил его высказаться; самое главное, мне удалось перевести разговор на интересовавшую меня тему. Я немедленно подхватил:

— Вот именно. Вы все должны были бы чувствовать себя заодно, все...

— Это не так просто,— прервал он.— Война прежде всего порождает недоверие.

Мы проехали не останавливаясь Ларош и Мижрен. С этими двумя названиями у меня связано воспоминание об одной отвратительной ночи военной поры: вскоре после высадки союзников я как-то застрял между этими городишками, и мне пришлось просидеть всю ночь до рассвета на вокзале, разрушенном бомбардировкой. Мне надо было во что бы то ни стало добраться до Парижа раньше союзников. В Нанси оставалась любимая женщина, которую я так никогда больше и не увидел. Поезда все не было, стоял леденящий холод. Это было ужасно.

Он заговорил после долгого молчания, пока я перебирал в памяти мрачные видения прошлого.

— Постарайтесь понять,— продолжал он начатый раньше разговор.— Мальчишка работает в ночной смене, он еженедельно вносит деньги в фонд сражающегося Алжира. Его братья, возможно, воюют, а возможно, в тюрьме. И вдруг он видит меня в роскошной машине вместе с молодым французом. Что, по-вашему, он вправе обо мне подумать?

— Что вы предатель?

— Да, нечто в этом роде.

— Если он принял вас за предателя,— возразил я,— то легко мог уложить вас на месте. И меня заодно.

— Да нет же, успокойтесь.— На его лице появилась холодная улыбка.— Так людей не убивают — губкой.

Узкая дорога шла вдоль небольшого канала, окаймленного молодыми березками. Спокойно струилась темневшая в сумраке вода. Внешний вид этого погруженного в сон уголка Франции создавал впечатление глубокого покоя. Точь-в-точь нарисованная тушью картинка в учебнике географии. Мы пронизали ее белыми пучками света наших фар. Я почувствовал голод и слегка прибавил скорость.

На разбитом шоссе то и дело попадались рытвины и ухабы. Металлическая птичка на капоте то взмывала во мраке вверх, то снова возникала передо мной, чтобы тут же нырнуть вниз. Я крепко держался за руль. Но моему пассажиру не за что было ухватиться, и его все время подбрасывало на сиденье.

— Вам, пожалуй, лучше привязаться,— посоветовал я,— мы пойдем на большой скорости.

Я чрезвычайно горжусь широкими и толстыми кожаными ремнями, опоясывающими сиденья в моей машине совсем как в самолете. Мои

друзья знают, что эти ремни да еще шесть цилиндров и двойной карбюратор заставили меня прошлой осенью остановить свой выбор именно на этой машине в гараже Агостини. Обычно я предлагаю моим спутницам привязаться, чтобы произвести на них впечатление; Франсуазе, правда, я предлагал это из нежности. Что касается спутников, то они, как правило, с пренебрежением отказываются. Но этот не возражал и послушно привязал себя к сиденью. Я расценил его послушание как свидетельство простодушия и, в конечном счете, ума.

Но раз так, то надо доказать правильность моего совета. Быстрая езда по плохим дорогам доставляет мне особое удовольствие. И через несколько мгновений мы уже неслись по старому горбатому шоссе с такой скоростью, что даже неторопливо текущая вода в канале, казалось, мчится бурным потоком. На крутых поворотах Бриенона пришлось замедлить ход, потом я снова прибавил газ и понесся в сторону шоссе номер пять. Канал остался в стороне.

Стрелка на циферблате часов приближалась к девяти, но на шоссе еще царило оживление. Машины шли в обоих направлениях. Пришлось прибегнуть к довольно рискованным трюкам. Искусно используя свет моих фар, я проскальзывал между легковыми машинами и грузовиками. Если надо было пробиться вперед, я, не задумываясь, ослеплял противника. Мой спутник сидел невозмутимо. Правда, время от времени он хватался за дверцу, словно наивно рассчитывал уберечься таким способом, но затем усилием воли заставлял себя принять прежнюю позу.

Мы и не заметили, как очутились в Сен-Флорантэне. Проехали мосты через Арманс, на мгновение вспомнив Стендаля, и вскоре снова оказались рядом с Бургундским каналом, донесшим сюда свои воды кратчайшим путем. Выехав на прямой участок широкой и ровной дороги, я пустился с ним наперегонки. Моя машина неслась вперед, но и канал не отставал. Я уже промчался через Флоньи, Шене, а он все еще был рядом. Я устремился в сторону Данмуэн, он по-прежнему следовал за мной по пятам. Между нами стеной стояли деревья. Наконец я заметил справа яркие огни строений Тоннера. Последний рывок, дерзкий поворот — и я на полном ходу пересек шоссе, а заодно и канал, и реку Армансон.

Эти несколько километров позволили мне сэкономить драгоценные минуты; можно было бы сделать остановку в Тоннере и спокойно поужинать. Там есть отличный трактир. Но моя машина пристрастилась к головоломной езде, и я оказался бы невежей, если бы стал ей перечить. Тем более что я хорошо знал, какой увлекательной становится дорога после Тоннера: узкая, извилистая, темная, она кружит по долине Армансона вместе с рекой и каналом. Множество небольших мостов, к которым ведут крутые повороты, без конца перебрасывают ее с правого берега на левый и назад.

Ничто, вероятно, не могло бы мне доставить такого удовольствия, как гонки с моторной лодкой, мчащейся по каналу между Тоннером и Монбаром. Будь я префектом департамента Ионны, я обязательно организовал бы такие состязания. Не беда, если при этом всякий раз не менее четырех машин непременно угодят в воду. Такие состязания привлекали бы туристов гораздо больше, чем церквушки XII века. А пока что я метр за метром, поворот за поворотом единоборствую с моторной лодкой, существующей только в моем воображении. Вот она мчится во мраке, подымая клубы пены, вот она пролетает над мостами, чтобы преградить мне дорогу. А моя машина скрипит, скрежещет на поворотах, несется, задевая парапеты,— и я все время впереди.

— Бюффон! — возвестил я и дал два продолжительных гудка в честь ученого-натуралиста.

На главной площади города Монбара, где Бюффон родился, стоит его статуя. Это более чем справедливо. Он и Мишле — два французских писателя, снабдивших наших преподавателей грамматики лучшими текстами для диктантов. Может ли требовать стилист большего признания! И вот Бюффон перед нами, он возвышается в темноте на нашем пути в своем кружевном жабо, у дома, в котором когда-то жил.

Кратко изложив моему спутнику свою точку зрения на Бюффона, я предложил пообедать здесь, под сенью гостеприимства ученого.

— Если хотите,— вежливо сказал он. Но добавил, желая, очевидно, поддержать мой легкомысленный тон: — Это приятнее, чем если бы речь шла о каком-нибудь генерале.

Глава третья

Мы миновали Монбар, не успев даже снизить скорость, и только уже за чертой города, проехав мост через Бренн, нашли место, где закусить

Это был ресторанчик при маленькой сельской гостинице, весьма невзрачный на вид. Рекламный щит у дороги, на котором было выведено белым по красному «Обед за 450 франков», служил, надо полагать, приманкой для туристов. Но заглядывали сюда, судя по всему, только водители проезжавших мимо грузовых машин и рабочие из близлежащего городка. Кстати говоря, по обе стороны дороги у гостиницы стояло несколько тяжелых грузовиков, созвездием своих красных огней они напоминали в темноте ярмарочный обоз. У стены сгрудились велосипеды.

В ресторан вела застекленная дверь. В зале было много народу, вкусно пахло супом и дешевым табаком.

Конечно, я совершил ошибку, решив пообедать в таком месте, где мы неизбежно должны были оказаться на виду у всех. Но я все же не предполагал, что наше появление до такой степени привлечет к себе внимание. При входе я посторонился, пропуская вперед моего спутника, когда же, закрыв дверь, обернулся, то почувствовал неприятное ощущение — казалось, что мы у всех на виду, словно актеры на сцене. Разговоры сразу стихли, воцарилось молчание. Все взоры обратились в нашу сторону.

Сначала я объяснил себе это тем, что мы оба, он и я, стоим, окруженные со всех сторон людьми, сидящими за столиками. Потом сообразил, что сама наша внешность могла казаться здесь необычной. В самом деле, рабочие Кот-д'Ор, водители транспортных машин, курсирующих по шоссе номер пять, знали алжирцев только полуголодных, чернорабочих, которые с утра до ночи трудятся на строительстве дорог, не имея даже спецовок, одетые в невероятно изношенную, похожую на отрепья одежду. Стоявший перед ними красивый молодой человек в светлых брюках и шерстяном свитере, невозмутимо спокойный, с лиловым шрамом на лбу, во всем противоречил сложившемуся у них представлению. Интриговала их и дорожная сумка с инициалами авиакомпании, которую он бережно держал в руке. Он произвел настолько сильное впечатление, что рядом с ним я, в своей куртке, с взъерошенными волосами и повадками молодого французского забияки, показался им, очевидно, просто лицом, его сопровождающим; когда мы проходили через зал, чтобы добраться до обнаруженного мною в конце концов свободного

столика, вокруг нас раздавался шепот, и я услышал — возможно, впрочем, что это была только игра моего воображения,— удивленные возгласы: «...погляди-ка на него, на этого Бен-Белла» *, «...я же тебе говорю, это вылитый Бен-Белла».

Наш столик находился у большой круглой печки. Холодов еще не было, ее не топили, но одним своим видом она придавала уют помещению. Я примостился возле печки, лицом к посетителям; он сел напротив меня, лицом к кухне.

Подошел хозяин ресторана, поздоровался, собственноручно расстелил на столике бумажную скатерть. Он был предупредителен, хотя в провинции очень не любят обслуживать посетителей после девяти часов вечера. Он предложил нам говядину с тушеной морковкой, что вполне устроило меня и не вызвало возражений у моего спутника. Я заказал на закуску паштет, заправленный шкварками, и — мы ведь находились в Бургундии — бутылку красного вина. Ресторатор, занимавшийся, надо полагать, и виноделием, был доволен. Он сразу подал вино и два пузатых стакана. Откупоривая бутылку, он описывал прелести прошедшего лета. Потом ушел, и я наполнил стаканы.

— Вино, надеюсь, вы пьете? — В моих словах явно звучал намек.

Он это прекрасно понял и промолчал.

Мы выпили, на столе уже появились тарелки и приборы; в этот момент мой спутник извинился, встал и направился в туалет.

Я отмечаю этот факт не из любви к нагромождению прозаических деталей. Дело в том, что он совершил поступок, с моей точки зрения, весьма показательный: встав и, если мне не изменяет память, уже отойдя на два-три шага, он вдруг вернулся к столику и взял свою дорожную сумку, лежавшую на полу возле стула.

По отношению к хозяину, к посетителям ресторана, продолжавшим разглядывать его и следить за каждым его движением, это выглядело почти как вызов; по отношению ко мне это было оскорблением. Он не мог не понимать всего этого и тем не менее поступил по-своему. Причем проделал все так уверенно, что я даже не счел возможным сделать ему хотя бы малейшее замечание, когда он через несколько минут снова уселся за столик. Но мысль об этом инциденте меня преследовала, и говорило во мне в данном случае не только любопытство, но и чувство опасения. Его заботы об этой сумке были настолько подозрительны, что я и в самом деле вправе был ожидать самого худшего.

Обед тем не менее прошел мирно. Затевать серьезный разговор в общественном месте мы не могли. И потому говорили, насколько мне помнится, о дорогах, о кухне ресторана, о Франции. Но, беседуя даже о самых пустяковых вещах, я очень скоро убедился, насколько его взгляды отличаются от наших. Невиннейшие, казалось бы, вопросы в разговоре с ним становились весьма щекотливыми. Я спросил у него, к примеру, успел ли он побывать в парижских театрах.

— О чем вы говорите? — Его голос стал почти суровым.— Вы же знаете, что нам фактически запрещено выходить по вечерам из дому.

И тут же рассказал мне о злоключении своего друга, марокканского студента: едва обосновавшись в Университетском городке, он, вопреки предупреждениям товарищей, во что бы то ни стало решил побывать на вечернем сеансе в кино на Елисейских полях. У выхода из метро его задержали два блюстителя порядка, и, независимо от того, марокканец он или алжирец, студент или подозрительный субъект, ночь ему при-

* Министр Временного алжирского правительства, вероломно захваченный французскими властями и брошенный ими в тюрьму.

шлось провести в полицейском участке, освободили его только вечером следующего дня.

— Можете быть уверены, с тех пор даже он не помышляет о том, чтобы где-нибудь побывать. А французские фильмы он будет смотреть через год... в Лозанне!

В его манере разговаривать юмор и горечь переплетались так же, как учтивость и твердость сочетались в его манере держать себя. Мне становилось ясно, что я имею дело с человеком не совсем обычным. Воспользовавшись тем, что и мы ехали по направлению к швейцарской границе, я решился спросить:

— А сами вы учитесь в Лозанне?

— Нет... Но у меня там друзья.

То ли почувствовав, что я стал теперь относиться к нему с уважением, то ли желая избежать дальнейшего разговора о своих лозаннских друзьях, он отрешился от своей замкнутости и рассказал о том, как начал изучать медицину в Монпелье. И тут же не преминул заметить:

— Это самый расистский университет во Франции.

В подтверждение своих слов он сообщил факты из своей студенческой жизни, приводить которые здесь мне было бы стыдно.

В его речи часто мелькали выражения вроде «когда вспыхнула революция...», «в начале войны...», «когда война кончится...» И мне всякий раз приходилось делать усилие для того, чтобы взглянуть на мир его глазами и понять, какую войну и какую революцию он имеет в виду.

Мы отведали отличного сыра, немного напоминавшего жирные сыры Савойи, и, продолжая болтать, ждали, пока будет готов кофе. Посетители постепенно забыли о нашем присутствии, хозяин ресторана мыл за стойкой стаканы. И кому только понадобилось, чтобы хозяйка, закончив свои дела в кухне, вошла в этот момент в зал и почти машинально включила радиоприемник? Потом она обошла столики, обменялась рукопожатиями с несколькими посетителями, совершенно игнорируя при этом нас. Сначала в зале зазвучала музыка — концерт по заказу рекламного отдела какой-то фирмы. Затем начали передавать последние известия.

В передаче главное место было уделено информации о покушении на Си Шаруфа, совершенном утром у входа в Люксембургский дворец. Диктор сухо и, само собой разумеется, не без злобы излагал подробнейшим образом все обстоятельства этого происшествия. Покушение было совершено около десяти часов утра. Когда машина сенатора от Константины, следовавшая по улице Турнон, замедлила ход при повороте на улицу Вожирар, к ней приблизились засевшие в соседнем почтовом отделении «террористы» и стали стрелять в упор. Полицейские, стоявшие на посту у сената, немедленно открыли огонь по нападавшим, из которых двое убиты наповал, третий тяжело ранен. При перестрелке шальными пулями ранены молодая женщина, сидевшая на террасе кафе «Турнон», и кондуктор автобусной линии № 58. Пострадавших увезли в больницу Кошен. Предполагают, что остальные участники покушения успели скрыться, воспользовавшись поднявшейся суматохой. Производится проверка во всех прилегающих к этому району гостиницах и среди живущих в столице североафриканцев. Есть основания надеяться, что террористическая организация будет раскрыта целиком.

Диктор стал подробно рассказывать о политической деятельности Си Шаруфа, члена сената от Константины, ветерана войны 1914—1918 годов, офицера ордена Почетного легиона, достойного гражданина, посвятившего свою жизнь укреплению франко-мусульманской дружбы.

Эти драматические сообщения из Парижа вызвали в маленьком монбарском ресторанчике в далеком департаменте Кот-д'Ор напряженную тишину. Он сидел спиной к залу, но я-то видел, как взоры снова устремились в нашу сторону, уставились в его чуть склоненный затылок, покрытый густыми черными волосами. Заметив, что он потянулся за сигаретой все из той же пачки «Бастос», я предложил ему свою зажигалку, и он, прикуривая, наклонился над столом. Я внимательно посмотрел на него: от пламени зажигалки в его черных зрачках заиграли две блестящие искорки, но лицо было невозмутимо, бесстрастно. Ни малейшей дрожи — ни в пальцах, ни в уголках губ.

— Благодарю,— коротко произнес он, выпустив струйку дыма.

Я тоже закурил.

Хозяйка подошла к радиоприемнику и повернула ручку, желая, очевидно, усилить впечатление от услышанного или, может быть, считая, что и так уже достаточно пищи для разговоров на целый вечер.

— Ну не безобразие ли это все-таки,— произнесла она, пожав плечами и ни на кого не глядя, но явно адресуясь к нам.

Она продолжала вертеть ручку приемника, пока не поймала наконец голос известного певца, исполнявшего сентиментальный романс. Все в зале разделяли ее волнение, и можно было услышать, как посетители громко высказывали свои соображения по поводу событий в Париже: «...Пусть палят друг в друга у себя, нечего им приезжать для этого к нам...», «...еще один убит, а что это даст, не понимаю...», «...страдают от этого невинные люди, именно они и оказываются в больнице...» Все единодушно, безоговорочно порицали «террористов», и кое-кто довольно недвусмысленно имел при этом в виду нас. Снова упомянули имя Бен-Белла: «Попадись они мне, я бы всех этих Бен-Белла и ему подобных...»

Он делал вид, что ничего не слышит. Словно царившая вокруг нас атмосфера враждебности не имела к нему никакого отношения. А мне и в самом деле было не по себе. Я уже не решался поднять глаза, беспокойно ерзал на стуле, машинально поглаживал волосы, как всегда в минуты сильного волнения. Дальнейшее пребывание здесь становилось мучительным и, как мне казалось, даже опасным. Ничего не говоря моему спутнику, я попросил у хозяина счет.

Ресторатор вынул из ящика книжку с отрывными листками, что-то подсчитал и, ни слова не говоря, положил бумажку на наш столик. Мой спутник хотел непременно уплатить половину, я запротестовал и сказал:

— Бросьте, вы же студент.

Я умышленно говорил громко, мне хотелось, чтоб все кругом услышали слово «студент». Но у него оно почему-то вызвало улыбку.

Хозяин принес сдачу, пробурчав пренебрежительное «Спасибо». Не справился о том, пришлась ли нам по вкусу говядина с морковью, ни словом не обмолвился больше о прохладе летних ночей. Мы поднялись со своих мест, мой пассажир взял сумку, и нам снова пришлось пройти, следуя друг за другом, через весь зал, нарушая своими шагами наступившую в нем тишину. Уже у выхода я повернул голову и отчетливо произнес:

— До свиданья!

Ни звука в ответ. Мы вышли на улицу.

Вынужден упомянуть еще об одной небольшой детали, хоть это и может показаться неуместным, но прольет свет на мое собственное душевное состояние в тот момент.

Мне тоже понадобилось на минуту отлучиться. Однако атмосфера в ресторане неожиданно настолько накалилась, что я посчитал рискованным оставлять моего спутника в одиночестве среди столь враждебно

настроенной публики. Я имею в виду не физический риск: просто у меня было такое впечатление — пусть даже ошибочное,— что уже одним своим присутствием я ограждаю его от возможных грубых выпадов. И уж во всяком случае следует отметить, что я сознательно взял на себя роль покровителя человека, совершенно мне незнакомого и, как уже было сказано, внушавшего мне самому лишь относительное доверие.

Вот почему, когда мы подошли к машине, которую я оставил неподалеку от гостиницы, в хвосте стоявших там грузовиков, мне пришлось помочиться в траву у обочины дороги.

Глава четвертая

Мы снова в пути. Мощно и равномерно гудит мотор. Как только я сел на свое место, положил руки на руль и увидел циферблаты приборов, ко мне вернулась моя обычная уверенность. Моя трубка наполняла машину густым медовым ароматом. Мы были почти одни на дороге, терявшейся в ночной дали.

Дружеская беседа за столом взломала ледяной барьер между нами. Машина шла на хорошей скорости, приближаясь к Дижону, и я решил, что могу заговорить более откровенно.

— Вы слышали сообщение по радио? — спросил я прямо.— Кто он, этот сенатор?.. Си Шелуф?.. Или Шеруф?

— Си Шаруф! — резко поправил он.— Ставленник вашего правительства. Предатель, давно приговоренный к смерти.

Надгробное слово было произнесено безапелляционным тоном, и я не решился защищать человека, которого совершенно не знал. Но ведь при перестрелке пострадали невинные люди! Я поинтересовался, дошли ли до него реплики, брошенные почти в полный голос посетителями ресторана.

— О да! — серьезно ответил он.— Но кто во время схватки может определить, какие удары необходимы и какие не нужны?

Мы помолчали с минуту, размышляя каждый про себя. Он заговорил первый, и на губах его играла улыбка:

— Они называли меня Бен-Белла. Очень лестно! А вы было приняли меня за Людовика XVI!

Он, несомненно, почувствовал неприязнь, которой повеяло на нас, едва мы вошли в зал, и особенно после сообщения, переданного по радио. Но он, видимо, так часто сталкивался с подобным отношением в кафе, магазинах, поездах и метро, что старался не обращать на все это внимания.

— Видите ли,— объяснил он каким-то безучастным и немного усталым голосом,— широкая публика всех нас считает в большей или меньшей степени убийцами. «Террористами», как называет нас ваше радио. Да и вы тоже, чего только вы не подумали об этом мальчишке у бензоколонки?

Он помолчал немного, как будто ждал, что я стану оправдываться; но ведь я выразил тогда свои опасения по поводу мальчишки лишь затем, чтобы заставить моего пассажира рассказать о себе. Сейчас я ничего не ответил. Мне хотелось вызвать его на откровенность. Я внимательно всматривался в дорогу, по которой скользили лучи моих фар, и мое молчание казалось естественным.

— А вы,— произнес он наконец после длительной паузы,— разве сами вы тоже немного меня не опасаетесь?

Это прозвучало как вызов. Я принял его и ответил не менее зло:

— Не больше, чем вы меня! Вы воображаете, кажется, что я хочу обыскать вашу сумку?

У него хватило такта обратить мои слова в шутку. Он ответил, смеясь:

— Я вижу, что эта проклятая сумка не дает вам покоя. Могу вас заверить: бомбы там нет.

Он явно издевался надо мной. Я был просто взбешен, главным образом потому, что он попал в цель. Стыдно в этом признаться, но мне действительно приходило в голову, что в сумке у него бомба. До чего же легко мы поддаемся игре воображения! И если я все же не очень был уверен в существовании этой бомбы, то лишь потому, что слишком уж небрежно держал он свою сумку — одними кончиками пальцев. Кто знает, может быть, и в самом деле у него там лежат всего лишь рубашки и носки?

Когда я сознаю, что не прав и мне нечего возразить, я начинаю упрямо смотреть в одну точку, и друзья мои часто упрекают меня в этом, говоря: «Жорж опять дуется». Я действительно дулся и отчаянно гнал машину в полной темноте.

Шоссе полого поднималось по небольшой долине. Дорожные знаки показывали поворот на Алезию, которую когда-то прославил Верцингеторикс. Но у меня не было никакого желания думать о сражениях галлов. Мысли унесли меня к иной Алезии, к парижской улице близ церкви Святого Петра на Монруже и к маленькому рынку на Орлеанской улице. Я с нежностью вспомнил свежие пучки редиски, которые мы недавно воскресным утром купили там с Франсуазой. Стояла прекрасная погода. Держа за ручку большую плетеную корзинку, мы шествовали по асфальту в сандалиях так же беззаботно, как на пляже в Сен-Тропезе...

Мы проехали Позанж, затем Вито. Я все еще думал о Франсуазе. Почему я покинул ее? Она была бы сейчас со мной, рядом, в машине. Она рассказывала бы о Нью-Йорке, где жила прежде, или о Блэзе Сандраре, которого хорошо знала, или о дядюшке Фредерике, который умел шить на швейной машине. Нам было бы очень весело! Так нет же, вместо этого я обречен отныне возить каких-то незнакомцев, воинственных и молчаливых.

Мы ехали не спеша, в полном молчании. Дорога проходила по песчаной равнине, вдоль большого искусственного озера, окруженного рощами. Легкий ветерок рябил черную гладь воды. Пейзаж стал более суровым и более величественным. Мы поднимались все выше, покидая узкую долину реки Бренн, которая вьется между Лангрским плато и предгорьями Морвана. По каким-то едва уловимым приметам — в листве деревьев, в прозрачном свечении неба, в работе мотора — я начинал ясно ощущать, что дорога идет на подъем. Ничто меня так не увлекает во время поездок, как смена высоты. С давних пор, со времени моих первых путешествий по Франции, я мечтаю поставить на своей машине альтиметр. Ведь ставят же альтиметры на самолетах! Значит, их можно найти. Надо как-нибудь отважиться и наперекор всем насмешкам попросить Агостини поставить на моей машине альтиметр.

Неожиданно начался спуск, и я искренне сокрушался, что так и не знаю, какой высоты мы только что достигли. Я особенно сожалел об этом потому, что, помнится, еще в шестом классе на уроках географии

этому незаметному перевалу придавалось особое значение: на желто-зеленой карте Франции он обозначал водораздел между Ла-Маншем и Средиземным морем; мы покинули бассейн Сены и въезжали в бассейн Роны. Это следовало отпраздновать.

— Внимание,— объявил я своему пассажиру,— мы начинаем пикирующий спуск.

От моего дурного настроения не осталось и следа. Я перевел рычаг в нейтральное положение и выключил зажигание. Ночь наполнилась необыкновенной тишиной. Были слышны лишь посвистывание ветра вокруг кузова и тихая музыка шин. Машина, точно с нее сбросили сто тонн, набрала скорость и помчалась вниз по склону со стремительностью сокола. Не обращая внимания на встречные машины, в которых ехали крестьяне после приятного вечерка в Дижоне, и ловко маневрируя, я посылал машину то на правую, то на левую сторону шоссе, как можно лучше используя склон и срезая повороты. Ночь была такая ясная, что я мог бы даже выключить фары. Мы неслись вниз, точно по воздуху, среди огромных деревьев, и казалось, силы земного притяжения для нас не существует. Чудесное ощущение! Я готов был мчаться так до самого Средиземного моря, вместе со всеми большими и маленькими речками.

— Э-гоп! Летим! — весело кричал я, поворачивая руль, а мой спутник изумленно глядел на мое ребячество.

Великолепный спуск. Хотя, пожалуй, чересчур короткий. И я с сожалением включил мотор, когда мы оказались в долине Уш, на ровной дороге. К тому же я был раздосадован, что опять наткнулся на Бургундский канал, пробравшийся сюда бог знает как.

— Сколько вам лет? — внезапно спросил он.

— Двадцать девять.

— В армии служили?

— Да.

— В Алжире?

— Нет.

И все. Но столь бесцеремонный допрос удивил меня. О чем думает он, когда мои собственные мысли бродят по ночным дорогам? Какие важные проблемы занимают его даже здесь, в долинах Кот-д'Ор? Я уже понял, что он считает нас всех до единого своими врагами. Но на каком основании он принял меня, лично меня, за человека, который с оружием в руках усмирял арабские деревни? Вообще-то мне повезло: я служил в Германии и ни в малейшей степени не чувствовал себя повинным в том, что происходило в Алжире. Следовало дать ему это понять.

— Я был прикомандирован к отделу печати в Берлине. Моя работа заключалась в чтении прессы. Я жил в небольшой загородной вилле. У меня был огромный черный «ДКВ» и молодой шофер-блондин. Это была роскошная жизнь...

Я не решился рассказать ему о самом приятном берлинском воспоминании — о Лотте. Она носила закрытый халат с длинной, бесконечно длинной молнией, от самой шеи и до щиколоток. Тоненькая и бледная, она напоминала египетскую статуэтку. Меня она звала совсем по-немецки: «Мой сладенький» и «Моя скрипочка».

Зато я рассказал ему о Михаиле. Случилось так, что в Берлине, как это ни странно, я довольно близко сошелся с моим советским коллегой. Михаил восторженно рассказывал мне о романах Фадеева — это был его кумир. Он даже выписал для меня из Москвы книги Фадеева

на французском языке. Он знал наизусть целые страницы и читал мне их по вечерам в разрушенном городе, пока наше начальство заседало в кабинетах. Я долго говорил о Михаиле, и под конец мой пассажир внезапно спросил:

— Если я правильно вас понял, вы офицер?

Мы подъезжали к Дижону. Машин на дороге становилось все больше. Рекламные щиты, расставленные вдоль дороги, восхваляли историческую столицу Бургундии и особенно ликер из черной смородины. Где-то наверху, слева от нас, парижский экспресс с шумом вырвался из туннеля и спустился по склону горы, прорезав ночь мчащимися огнями. Мы держались некоторое время рядом с ним, между каналом и рекой, которые так же, как и мы, неслись по долине, стараясь обогнать друг друга. Но пока я переезжал через мосты и пересекал Пломбьер, поезд обогнал меня. Не люблю состязаться с поездами. Не потому, что никак не могу их обогнать. Просто власти им бессовестно потворствуют. А это нечестная игра.

На прошлой неделе мне пришлось заночевать в Дижоне. Правда, тогда я выехал из Парижа несколько позже, лил дождь, мне было тоскливо и одиноко. Я снял номер в довольно хорошей гостинице неподалеку от вокзала и, сидя в ванне, долго размышлял о бесцельности своего существования, о пустоте, которую оставила в моей жизни Франсуаза. Я прекрасно помню, что решил тогда возвратиться в Париж. Что мне делать в фильме, который снимает Роже? Я едва находил в нем отдаленное сходство с сюжетом моего рассказа. Стоит ли из-за этого мчаться через всю Францию, чтобы торчать два дня на съемочной площадке, мешая операторам, смущая актеров, раздражая Роже! Наутро от моего решения не осталось и следа, а радушный прием, оказанный мне группой «Мадемуазель Эрмелин», заставил позабыть ночные сомнения.

— Если вы не очень устали,— предложил я своему спутнику,— мы не станем ночевать в Дижоне и поедем дальше.

Еще не было полуночи, и я решил отоспаться в Шампаньоле, где меня ждала комната в гостинице и где находятся мои приятели из кино.

— Конечно,— ответил он.— Надо ехать дальше. Даже если я и устал.

«Историческая столица Бургундии» выглядела еще более сонной, чем какой-нибудь захолустный городок. Фонари освещали красивые проспекты и безлюдные улицы, бесцельно били фонтаны на пустых площадях, а старинный герцогский дворец, огромный и ненужный, казался покинутым много веков назад.

Я долго кружил по маленьким запутанным улочкам вокруг дворца в надежде отыскать какое-нибудь кафе. Мне пришлось проехать всю улицу Префектуры, чтобы обнаружить пивную, освещенную неоновыми лампами, где несколько молодых людей играли на электрическом бильярде. Это место показалось мне мало подходящим для остановки. Я покружил еще несколько минут, пока наконец не остановился у зеленой вывески бара. От рокота моего мотора на тихой узкой улице содрогались дома. Я выключил зажигание и предложил моему спутнику зайти подкрепиться стаканчиком вина на дорогу.

— Если не возражаете,— ответил он с холодной вежливостью,— я подожду вас в машине.

Я был немного озадачен, но продолжал настаивать. Он поблагодарил еще раз и снова отказался. Мне хотелось выпить, и я не намерен был уступать. Не говоря ни слова, я вышел из машины, с шумом захлопнув дверцу. Затем, в порыве злости и недоверия, снова открыл дверцу и вынул ключи из замка. Я прекрасно понимал, как оскорбителен мой поступок, но в душе был доволен, что могу ответить оскорблением на оскорбление. Позднее я понял, что поступил просто бессмысленно: в разговоре выяснилось, что мой пассажир не умел водить машину.

Нарядный бар был почти пуст. Я заказал двойную порцию шотландского виски со льдом. Официант подал мне не торопясь, да и я не спешил пить, все еще переживая свою обиду. Я дал себе слово освободиться от этого типа как можно скорее и, главное, впредь вести себя умнее. Да, Бернадетта меня здорово провела! Но она еще получит свое в понедельник утром, как только я вернусь! Дрянь этакая!

Выйдя из бара, я остолбенел от неожиданности, сердце бешено заколотилось: два полицейских с велосипедами стояли возле моей машины. Один из них, открыв дверцу со стороны шоссе, нагнулся и стал что-то говорить моему пассажиру, второй ждал в нескольких шагах позади.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил я, решительно подойдя к машине.

Полицейский выпрямился, и, прежде чем он успел что-нибудь произнести, я твердо объявил:

— Этот господин путешествует со мной.

— Ну, тогда все в порядке. Но ведь мы этого не знали.— Полицейский захлопнул дверцу и слегка поклонился.— В таком случае, извините.— Ведя свои велосипеды за руль, полицейские удалились.

Я сел на свое место и быстро отъехал. Сцена длилась не более двух минут, а я никак еще не мог прийти в себя. Я вел машину наугад, путаясь в окружавших собор улочках с односторонним движением вокруг собора, и никак не мог найти нужную дорогу. Мы не промолвили ни слова. Наконец я выехал на какую-то круглую площадь, увидел стрелу указателя с надписью «На Женеву» и свернул на широкий бульвар. Только когда я включил дополнительный карбюратор и на прежней скорости помчался через предместья Дижона, я услышал слово, которого все время ждал: «Спасибо».

Итак, очко в мою пользу. Я сразу же решил воспользоваться своим преимуществом.

— Вот видите,— сказал я как можно небрежнее,— было бы гораздо лучше, если бы вы пошли выпить со мной...

Он не ответил. Надо полагать, у него действительно были какие-то очень веские доводы или, может быть, он просто не хотел признать свою неправоту.

— Скажите, пожалуйста,— холодно спросил я,— вас в самом деле разыскивает полиция?

— Вы просто ничего не хотите понять,— неожиданно резко ответил он.— Ваша полиция всех нас постоянно разыскивает, подозревает, проверяет, подвергает аресту. Полмиллиона алжирцев живет во Франции. Полмиллиона заложников.

Дорога шла по сельской местности вдоль широких просторов вспаханной земли. Ни одной машины, ни встречной, ни попутной, длинные пучки света фар убегали во тьму и ничего, кроме тьмы, не освещали. Тяжелое и враждебное молчание нависло над нами. Возможно, оно предвещало откровенный разговор.

Я не собирался обсуждать со своим пассажиром алжирскую проблему. В конце концов я не министр! Да и его позиция казалась мне настолько твердой, а моя — настолько шаткой, что спорить я был не в состоянии. Но поскольку волей обстоятельств я получил «достойного собеседника», как принято нынче писать в газетах, было бы глупо упустить случай и не послушать его доводы. Как раз в этот момент сквозь непрерывное гудение мотора, рокотавшего в ночной тиши, я услыхал его глухой, слегка гортанный голос. Он говорил, уставившись на бесконечную ленту дороги, расстилавшуюся прямо перед ним.

— Я обязан сказать вам всю правду.— Из-за волнения он произносил слова медленнее обычного.

Нелегко ему было решиться на это. Пауза длилась очень долго — видимо, он не знал, с чего начать. Я сдерживал себя, чтобы не прервать его.

— Как правило, мы никогда не скрываем правду. Я хочу сказать, что все, кто соглашается нам помочь, делают это совершенно сознательно.

Мне ничего не стоило разыграть невинного простачка: «Помогают вам в чем? О ком идет речь?» Может быть, таким образом мне удалось бы наконец снять с него маску или же, наоборот, он снова замкнулся бы в свою скорлупу. Я ведь прекрасно понимал, на что он намекал, и уже не сомневался в том, что вскоре все станет для меня ясно. Все же я счел более разумным поддержать начатую им игру.

— Что вы,— заговорил я уклончиво,— да вы ничем мне не обязаны...

— Нет, нет,— перебил он.— Ведь в какой-то мере мы заставили вас поступить так. Это совершенно противоречит нашим правилам. Мы никогда не подвергаем опасности человека, заранее не предупредив его об этом.

— А разве нам грозит опасность?

— Вы это отлично знаете!

Реплика была довольно гневная. На его языке она должна была означать: «Не стройте из себя дурачка». Нет, мне лучше не перебивать его. Пусть уж говорит, если наконец решился.

Но он нахмурился. Я почувствовал, что он вот-вот снова замкнется в себе, и молча вел машину, внимательно следя за изгибами дороги и за стрелками приборов. Снова замелькали рощи и леса. Мы пересекли Сону, затем проехали через спящий Оссон.

— Мы хотим, чтобы люди действовали только сознательно,— внезапно заговорил он.— Мы не хотим иметь дело с теми, кто при малейшей опасности прячется в кусты и начинает уверять, что был введен в заблуждение.

Я почувствовал в его словах какой-то вызов и не смог молчать.

— Тем не менее вы сами посоветовали мне сказать, что подсели

в мою машину уже в пути,— ответил я довольно агрессивно. Удовлетворенный возможностью указать на его собственное противоречие, я напомнил ему его «указания»: — «Вы меня не знаете»... «Перекресток у Обелиска, если не возражаете...»

— Элементарная предосторожность, и только,— ответил он.— Но у меня нет ни малейшей уверенности, что, если вас арестуют, вы не выдадите под пыткой ну, скажем, хотя бы Бернадетту. Вот что опасно!

Черт возьми! «Арестуют! Под пыткой!» Еще чего не хватает! А ведь говорит он обо всех этих ужасах, как о самых обычных вещах. Дрожь пробежала у меня по спине. В ту же минуту я сообразил, что Бернадетта, моя добрая краснощекая Бернадетта, которая умела печь такие вкусные яблочные пироги, имеет какое-то странное отношение к таким страшным вещам, как революция, покушения, полиция. Бернадетта!

У меня не было никакого желания узнавать новые подробности, хотелось только как можно скорее покончить со всей этой историей, которая обернулась каким-то кошмаром. Я нажал на педаль газа, словно в этом было мое спасение, и машина рванулась, угрожающе подпрыгивая на узком шоссе.

— Поймите меня, мсье,— продолжал он назидательным тоном, и это начинало меня не на шутку раздражать.— Я нисколько не сомневаюсь в вашей честности. Нисколько. Но повторяю, мы, как правило, пользуемся услугами только верных людей. Так честнее и надежнее.

Я поинтересовался, благодаря какому исключению из этих правил я оказался втянутым в эту рискованную историю. Почему он все-таки доверился мне, если делать этого не следовало и я вообще не заслуживаю доверия?

Он помедлил с ответом, понимая, что ответ на такой вопрос неминуемо повлечет за собой и другие признания. Наконец он решился.

— Исключительные обстоятельства,— заявил он неопределенно.— Нас застали врасплох.

Это не было ответом по существу. Я знал, что он продолжит разговор. Я ждал.

— Некоторые из наших связных вчера покинули Париж. Другие были заняты. Двоих только что арестовали. Как только стало известно...

— Известно о... покушении?

— Не совсем так. Как только стало известно, что один из наших попал в руки полиции...

— Тот, кого ранили?

— Да. Раненый может не выдержать допроса. Необходимо было дать возможность скрыться некоторым руководителям. Тем, кто мог оказаться замешанным...

— Вы тоже замешаны в покушении?

— Я этого не сказал. Но в связи с необходимостью обезопасить некоторых людей не оказалось никого, кто бы мог отвезти меня. А ехать поездом я, естественно, не мог.

— А вам было абсолютно необходимо уехать?

— Абсолютно.

— Сегодня же?

— Да.

— Вам грозит опасность?

— Нет.

— Тогда почему же?

Он был в нерешительности. Мне хотелось проследить, сколько времени он будет колебаться. Это было нелегко. Я отчетливо видел на

светящемся циферблате автомобильных часов одну лишь красную секундную стрелку, которая все бежала по кругу мимо двух других стрелок, минутной и часовой. Но я не мог следить за ней не отрываясь, так как моя машина с грохотом неслась среди лесов, по извилистой дороге. Молчание длилось минуты две или три: он, несомненно, взвешивал в уме, что выгоднее — ответить или отмолчаться, сказать правду или солгать, что, возможно, для него означало сделать выбор между жизнью и смертью. Я запомнил момент, когда он заговорил: мы покидали пределы департамента Кот-д'Ор, и мои фары осветили у кромки леса большой щит, указывающий, что мы въезжаем на территорию департамента Юры. В эту минуту мой спутник наконец решился. В его голосе звучали нотки гордости, но в искренности тона сомнений быть не могло:

— Я везу сорок четыре миллиона франков...

Сорок четыре миллиона! Я сразу же бросил взгляд на сумку, которую он держал на коленях от самого Парижа: ее там не было. Я вспомнил двух полицейских в Дижоне, мой спутник поступил, по-видимому, так же, как и тогда, когда нас остановил полицейский кордон при выезде из Санса,— поставил сумку позади сиденья, где она, должно быть, и осталась.

Сорок четыре миллиона лежали здесь, на дне моей машины! Не насмешка ли это! Чуть ли не каждую неделю «Франс-Суар» печатает сообщения об убийствах шоферов такси из-за каких-нибудь пятнадцати тысяч франков, и это в пригородах Парижа! А мы едем одни, ночью, среди лесов. И пачки купюр — сорок четыре миллиона — лежат рядом в сумке. Какой соблазн для первого встречного подлеца! Только затормозить — и гаечный ключ вот он, под рукой. Кто заинтересуется трупом алжирца, валяющимся на краю дороги? Я уже видел заголовки газет: «Североафриканский терроризм»! «Сведение счетов между алжирцами»! Преступление, которое безнаказанно сойдет с рук, что и говорить! И сорок четыре месяца сладкой жизни на Лазурном берегу...

К счастью, мои мысли не пошли дальше в том же направлении. Наоборот, я был необычайно тронут оказанным мне доверием: моя честность не ставилась под сомнение! Но тут же я вспомнил мальчишку, который наливал нам бензин в Жуаньи, вновь увидел его грязное прыщавое лицо, горевшее ненавистью. «Он еженедельно вносит деньги в фонд сражающегося Алжира»,— неторопливо пояснил мне тогда мой спутник. Сколько же потребовалось недель, сколько понадобилось рабочих у бензоколонок, землекопов, сталеваров, чтобы собрать в одной дорожной сумке фантастическую сумму в сорок четыре миллиона? Я впервые ясно почувствовал размах движения, которое охватило всю метрополию, объединило тысячи борцов и день за днем, франк за франком накапливало средства в казну восстания.

— Сорок четыре миллиона,— повторил я упавшим голосом, немного придя в себя. И чтобы скрыть ошеломляющее впечатление, которое произвели на меня его слова, я задал первый пришедший мне на ум нелепый вопрос: — Почему именно сорок четыре миллиона?

— Так сложилось,— отвечал он с улыбкой.

Но он не мог ограничиться этим признанием. И вот в общих чертах, не открывая, конечно, никаких секретов, он рассказал о том, какой долгий путь предстоит пройти этим миллионам через сейфы швейцарских банков, через посольства дружественных стран, пока они не попадут в руки международных торговцев оружием и судовладельцев ней-

тральных государств, в фармацевтические лаборатории и клиники Италии, в скандинавские авиакомпании, в отели Нью-Йорка и Каира, где останавливаются алжирские представители. Я ощутил легкое головокружение от одного сознания, что я посвящен в самую суть всех этих тайн. И, говоря откровенно, не мог устоять против невольного восхищения, которое охватило меня. Итак, по воле случая я вез в своей машине под видом скромного молодого человека в белой рубашке высокого посланца народа, сражающегося за свободу своей страны — против моей страны.

Глава пятая

Первое здание, которое бросается вам в глаза при въезде в Доль, это казарма. Свет моих фар упал на угрюмые стены и серые крыши. По обе стороны решетки, рядом с полосатыми деревянными будками, двое молоденьких солдат в защитных шинелях стояли в этот ночной час на своем нелепом посту, держа ружье к ноге. Вероятно, они с грустью проводили взглядом красные огоньки моей машины, ворвавшейся в этот уснувший город.

«Бедные мальчики!» — подумал я.

Мы переехали через тихий канал, затем пересекли мост через черные воды Ду. Я представил себе судьбу этих двух крестьянских парней из Юры, взятых в армию прямо с фермы или с лесопилки и поставленных с ружьем в руках у входа в казарму. Через несколько недель, а может быть, и дней, их, как и многих других, посадят в поезд, затем на пароход и пошлют убивать крестьян в алжирских деревнях. Через несколько месяцев они попадут в засаду где-нибудь в долине Ореса, и очередное коммюнике из Алжира известит: «С прискорбием сообщаем о гибели двух французских солдат». Это и будут они. Затем их родителям, живущим в какой-нибудь из деревушек в Арбуа, будут возвращены останки их двадцатилетних сыновей.

Да, я очень ясно представил себе всю их трагедию. Моя машина продолжала между тем свой путь прямо по широкой долине реки Ду, залитой лунным светом. Теперь я знал, что молодой человек, сидящий рядом со мной, пользующийся, так сказать, моим гостеприимством, сделает все возможное, чтобы добыть где-либо в Европе те самые пулеметы и пули, которые поразят спустя несколько недель на алжирской земле двух молоденьких солдат, стоящих у казармы в Доле. Мне начинало казаться, что я нахожусь вне времени и пространства и, сам того не желая, вынужден играть роль слепой и безжалостной судьбы, которая ощупью, в ночи, разыскивает свои жертвы.

— Вы меня пугаете,— сказал я своему спутнику, который продолжал молчать.— Я ведь не алжирец, а вы делаете меня своим сообщником.

Он ответил с какой-то необузданной резкостью.

— Ну что ж, воля ваша,— закричал он.— Везите меня в жандармерию! Становитесь сообщником военщины и полиции в Алжире.

Я сжал зубы и вцепился в руль. Этот тип положительно невыносим. Какой-то тупой фанатик, с которым просто немыслимо разговаривать по-человечески. Я дал выход своей ярости, нажав на педаль газа. Стрелка спидометра затрепетала, и машина понеслась с бешеной скоростью по холмам Омона, миновала лес, спустилась с быстротой молнии в небольшую ложбину и, не замедляя хода, взлетела по противоположному склону.

Мой пассажир подскакивал при каждом толчке, неловко вытягивая руки к пульту с приборами.

— Вы решили меня убить,— он старался шутить, но был действительно сильно напуган.

Я заметил сухо:

— Пристегните ремень!

И продолжал гнать машину.

Мне пришлось все-таки остановиться у переезда около Полиньи. На спущенном шлагбауме горели красные огоньки. Сквозь шум мотора я отчетливо услышал дребезжание звонка в будке — сигнал о приближении поезда. Я дал два коротких гудка. Маленький старикашка, с головой, закутанной в шарф, вылез из будки, прихрамывая и что-то бормоча себе под нос. Он принялся крутить ручку. «Дорогу! Дорогу восстанию!» — повторял я про себя, пока шлагбаум медленно полз вверх.

Я взял как можно левее и, как только шлагбаум, на мой взгляд, поднялся достаточно высоко, пересек пути. Еще один сигнал в знак благодарности старику, и, пока мы проезжаем Полиньи, я переключаю одну за другой все четыре передачи. Позади раздается неистовый грохот экспресса, сотрясающий окрестности.

За городом дорога резко шла в гору. Две крутые петли привели нас на высокое плато, в царство огромных елей — теперь мы действительно находились в горах Юры.

Я сбавил скорость и опустил стекло. Ворвавшаяся в машину струя холодного воздуха донесла до нас дыхание гор. Охмелев от ветра, я наслаждался грозным шумом деревьев.

Если бы Франсуаза была со мной, мы остановились бы на этом плато, я взял бы ее за руку и мы прошлись бы под высокими елями, беседуя вполголоса, слушая шелест ветра, раскачивающего где-то высоко кроны деревьев. Потом, продрогшие, мы побежали бы к машине, чтобы согреться. Но Франсуазы нет. И никогда больше не будет.

— Я вел себя глупо,— вдруг сказал мой пассажир, прервав нить моих воспоминаний.— Прошу меня извинить.

— Не стоит говорить об этом,— ответил я.— Мы не можем понять друг друга.

— Да нет же, нет,— продолжал он без всякого смущения.— Нам часто приходится сталкиваться с молодыми французами, с искренними демократами. Многие из них в решительный момент отступают, отказываются помочь нам. Совесть им этого не позволяет.

«Могу ли я считать себя искренним демократом?» — подумал я сразу, но честно ответить на этот вопрос мне было чертовски трудно. Впрочем, ответ интересовал только меня одного. Я спросил:

— И многие соглашаются помогать вам?

То, что я услышал, потрясло меня. Всю дорогу до Шампаньоля — заинтригованный его рассказом, я сбавил скорость до минимума — он говорил о тех, кто в Европе сочувствуют восстанию алжирского народа, о французах, которые, как время от времени сообщают газеты, обвиняются в «покушении на безопасность французской республики».

В Алжире, среди тех, кто встали на путь подпольной борьбы, не делают никакого различия между французами и алжирцами. Более того, в самом Париже, в Марселе, Лионе, Страсбурге, Лилле Фронт национального освобождения — он называл его просто Фронт — опирается на активные группы сочувствующих, которые, вопреки всему, де-

лают ставку на победу алжирского восстания. Молодые французы перевозят в своих машинах из Парижа в Лилль или из Марселя в Бордо воззвания, листовки, деньги, оружие и, если требуется, то и руководителей подпольных организаций; молодые француженки достают бумагу, гектографы и часто сами печатают листовки или брошюры для Фронта; во время облав респектабельные буржуа прячут ответственных руководителей движения в своих квартирах и конторах; представители деловых кругов открывают для них счета в банках на свое имя; врачи тайно и бесплатно лечат алжирцев, раненных во время стычек с полицией; служащие префектур и даже полиции достают для руководителей партизанских районов заграничные паспорта и удостоверения личности, позволяющие им свободно передвигаться...

Я не смел верить тому, что слышал. Видя мое замешательство, он добавил:

— Можете не сомневаться, есть еще французы более дальновидные, чем ваши правители.

Было около двух часов ночи. Мы спустились с плато на каменистую равнину Эн, и впереди я смутно начинал различать черную массу Шампаньоля, пронизанную редкими огнями. Через несколько минут мы прибудем на место, а я еще не решил, что мне делать со своим пассажиром.

— Вот и Шампаньоль,— объявил я.

Я сбавил скорость и медленно въехал в уснувший город. «Гранд-Отель дю Юра», в котором мы обычно останавливались, стоит в стороне от шоссе. Я хорошо помнил, что, обогнув церковь, следует свернуть налево на небольшую площадь с фонтаном. Дорогу я нашел быстро.

Остановив машину у отеля, я сразу увидел «пикап» киностудии, роскошный «шевроле», принадлежащий Роже, еще более забрызганный грязью, чем обычно, и открытую машину Франсуа Риччи — все были в сборе! На душе стало веселее. Я поставил свою машину на стоянку, дал мотору немного поработать и выключил зажигание.

— Приехали! — воскликнул я.— Сейчас ровно два часа. Дорога прошла отлично!

Я вышел первый. Ночная прохлада освежила меня. Вокруг царила полная тишина, слышалось только журчанье воды в фонтане. Я чувствовал легкую ломоту в спине — восемь часов за рулем! — и сделал несколько шагов, чтобы размяться. Затем подошел к багажнику, намереваясь достать мой саквояж.

Пока я запирал багажник, он тоже вышел из машины и подошел ко мне, держа сумку в руке, через которую был перекинут плащ.

— Итак, благодарю вас, мсье,— произнес он и подал мне руку.

— Как? Вы уходите? Но куда? — удивленно спросил я.

В свою очередь удивленный моим изумлением, он объяснил, улыбаясь, что ему абсолютно нечего делать в Шампаньоле и что он должен отправляться дальше.

— Но как? — повторял я, недоумевая.— Пешком? Ночью?

Я упорно и с таким убеждением доказывал всю бессмысленность его плана — право же, я плохо представлял себе, как он будет разгуливать в два часа ночи со своими миллионами в руке по пустым дорогам,— что он наконец согласился войти вместе со мной в гостиницу.

— Будьте спокойны,— уверил я его,— здесь вы ничем не рискуете!

— Кто знает? — улыбнулся он в ответ.

Так как мы снимали фильм и в местных газетах уже появились две фотографии и несколько строк в связи с нашим пребыванием в Шампаньоле, то нас здесь встречали как знаменитостей и относились к нам соответственно. Администрация отеля каждое утро готовила для всей группы корзины с провизией, которые мы увозили с собой, чтобы позавтракать, не возвращаясь в город. Иногда нас ждали с обедом до десяти часов вечера. А ночью отель полностью предоставлялся в наше распоряжение.

Когда я позвонил, явившись среди ночи без предупреждения со своим странным спутником, заспанный швейцар встретил меня как старого друга.

— Здравствуйте, мсье Прадье! Как поживаете, мсье Прадье? Приятная ли была дорога, мсье Прадье?

Он тут же стал искать для меня подходящий номер, осведомляясь:

— Вашу обычную комнату, не так ли, мсье Прадье? И для этого господина тоже комнату? — Он бросил взгляд на моего спутника, но обращался явно ко мне.

Прежде чем ответить, «господин» пожелал узнать, как ему доехать до Мореза... До Мореза? Парижский поезд прошел только что. Вероятно, это был тот самый экспресс, который мы опередили в Полиньи. Теперь остается только местный поезд, он отходит на Сен-Клод и Морез без четверти шесть утра; можно также обождать автобуса, он отправляется после полудня.

— Хорошо, я подожду шестичасового поезда,— твердо сказал он.

Я попытался его разубедить. Где он проведет эти несколько часов? Не разумнее ли пойти отдохнуть и выспаться? Что он будет делать в Морезе на рассвете?

— Я найду, что делать в Морезе,— ответил он, и загадочная улыбка промелькнула на его лице. Затем, повернувшись к швейцару и указывая на плетеные кресла, стоявшие в холле, добавил: — Посижу здесь, если мсье не возражает...

Что за нелепость! Трудно предположить, что человек, имеющий при себе сорок четыре миллиона, не в состоянии оплатить номер. Я вспомнил его улыбку, когда, рассчитываясь за обед в Монбаре, по наивности сказал: «Вы же студент». Возможно, он опасался, что, сняв номер, придется заполнить карточку, а наутро его поднимет с постели полиция? Или он в самом деле очень торопится в Морез? Но зачем? Я безуспешно пытался ответить на мелькавшие в голове вопросы.

Предложение моего спутника, конечно, не могло прийтись по душе швейцару: если администрация узнает, у него будут неприятности. Но поскольку «господин» обещает покинуть отель в шесть часов утра и поскольку это «друг мсье Прадье», он готов сделать вид, что ничего не замечает.

Итак, пора прощаться. Мне хотелось сказать несколько дружелюбных слов грустному и затравленному молодому человеку, с которым я провел такую необычную ночь. Но его замкнутость, даже враждебность, расхолаживала. Я не мог произнести ни одного приветливого слова.

— Что ж, спокойной ночи,— сказал я, но, увидев его холодную улыбку, поспешно поправился: — Счастливого пути.

— Спокойной ночи,— ответил он и добавил без малейшей теплоты в голосе: — Еще раз спасибо.

Мы пожали друг другу руки, и я пошел наверх.

Здание отеля было построено с большим квадратным холлом в центре. На каждом этаже лестница образовывала небольшую внутрен-

нюю галерею, откуда были видны четыре плетеных кресла и круглый стол на самой середине ковра.

Я поднялся на четвертый этаж, где находилась моя комната, перегнулся через балюстраду и посмотрел вниз. Он сел на одно из кресел в слабо освещенном холле, положил на колени сумку и прикрыл ее плащом.

Глава шестая

Три часа спустя я тихонько вышел из своей комнаты, в пижаме, в ночных туфлях, и подошел к балюстраде. Он сидел в том же кресле и, видимо, дремал. Я долго смотрел, как он спит. Он надел на себя плащ, вытянул вперед длинные ноги, скрытые низким столиком. Руки лежали на животе, голова склонилась на левое плечо. Бледный свет, падавший сквозь стеклянные двери, еще более ослаблял и без того тусклое ночное освещение. На всех этажах гостиницы царила больничная тишина.

Мое решение было непоколебимо. Я знал, что пойду до конца. Вернулся в комнату, быстро оделся. Затем очень медленно спустился по лестнице и, бесшумно подойдя к креслу, положил руку на его плечо. Он вздрогнул, посмотрел на меня в упор, и в глазах его промелькнуло явное беспокойство. У него был усталый вид, веки опухли от сна, небритые щеки подчеркивали худобу лица.

— Пошли,— шепотом произнес я.— Я довезу вас.

— Который час? — спросил он.

— Половина шестого.

Он встал и молча последовал за мной через холл, держа сумку в руках. Швейцар спал, вытянувшись в шезлонге, стоявшем позади стола. Я открыл, точно вор, тяжелую входную дверь, и мы оба вышли на улицу. В ледяном молчании рассвета слышался только шум падающей воды в фонтане.

— Вы напрасно беспокоились,— сказал он мне, когда мы сели в машину.— Я бы и сам дошел до вокзала.

Я включил мотор и ждал, пока он прогреется. Таков был один из самых настоятельных советов Агостини: никогда не ездить на холодном моторе. «Сначала вы заводите машину,— поучал он,— потом пьете чашку кофе и только после этого отправляетесь в дорогу». Я дал поршням возможность хорошенько выкупаться в масле, и вскоре они уже работали в обычном ритме. Тогда я включил передачу и отпустил сцепление.

— Довезу вас до Мореза,— сказал я невозмутимо.— Мы прибудем туда раньше поезда.

Впервые за все время нашего путешествия пришлось удивиться ему — и он не стал скрывать своего изумления. Он повернулся и долго молча смотрел на меня. Я знал, что его изумление скрывает и беспокойство, и недоверие, которое не покидало его всю дорогу и сдерживало малейшее проявление чувств между нами.

Я был вправе ждать хоть нескольких слов благодарности: ничего подобного! Можно было подумать, что он намеренно выбирает самые обидные слова.

— Не предполагал, что ваше любопытство зайдет так далеко,— наконец произнес он. Я ничего не ответил. Он добавил: — Да, ведь вы же любите водить машину.

При выезде из Шампаньоля мы пересекли Эн и теперь шли над рекой по прямому ровному шоссе, обсаженному елями. Дорога все время подымалась вверх, и мы ехали не спеша. Солнце еще не взошло, но по каким-то почти не ощутимым признакам в воздухе чувствовалось, что небо, вон там наверху, вот-вот сбросит с себя покров ночи.

Что привело меня сюда? Я не мог теперь ссылаться на нелепое стечение обстоятельств, не мог уже обвинять Бернадетту в том, что она завлекла меня в какую-то ловушку: обвинять я мог теперь лишь самого себя.

Сегодня я пытаюсь восстановить в памяти все, что произошло со мной в ту ночь. Помню, что, придя к себе в номер в «Гранд-Отель дю Юра», я несмотря на поздний час, сперва принял ванну, затем лег в кровать, но спать мне не хотелось. Долго мечтал о Франсуазе, вспоминал ее нью-йоркские шелковые кимоно, которые она надевала на ночь, ее кошачью манеру свиваться в клубок, лежа в постели. Я с грустью цеплялся за образы минувшего. Но мысли все время возвращали меня к молодому человеку, спавшему в плетеном кресле в холле отеля, и я бессмысленно повторял фразу не то Монтеня, не то Паскаля: «Одинокий путешественник — это дьявол...»

А может быть, я действительно ехал с самим дьяволом? И теперь воображаю, что могу спокойно спать в своем номере? Нет, это невероятно! Но что заставило меня встать среди ночи, смотреть, как он спит, наблюдать за ним с верхней галереи, что заставило меня снова сесть в машину и мчаться вместе с ним по ночным дорогам? О нет, мною руководило не любопытство, и он сказал это, чтобы уколоть меня. Это было скорее какое-то дьявольское искушение, невольное влечение к риску, живым воплощением которого был этот человек с красивыми черными глазами, весь окруженный тайной...

Мне часто приходилось писать для газеты всякого рода истории о гангстерах или убийцах. Иной раз, когда в номере не хватало «гвоздя», Бертомье просил меня сочинить романтическую биографию какого-нибудь известного авантюриста. Наши читатели очень падки на такую литературу. Но мне еще никогда не приходилось самому испытывать все то, чему подвергались выдуманные мной персонажи.

Если бы мой пассажир внезапно приказал мне: «Вперед! В атаку на жандармерию Мореза!» — я, наверно, повиновался бы не рассуждая. Но он упорно продолжал видеть во мне всего лишь взбалмошного француза, увлекающегося только автомобилями: «Да, ведь вы же любите водить машину»... И пока мы ехали по лесным дорогам к Сен-Лорану, мне ничего не оставалось, как виновато подтвердить:

— Это верно. Дорога здесь прекрасная. А мне просто не спалось...

С каждым новым поворотом мы поднимались все выше по склону, поросшему еловым дремучим лесом. Он подошел к самой дороге, и мох покрывал белые камни у ее краев. Местами в лесу открывались глубокие просеки, которые, казалось, уводили в неведомый мрак и царство тишины. Лес внезапно кончился, точно его срезали одним взмахом ножа. Мы ехали вдоль просторных пастбищ, на которых изредка виднелись кусты дрока. Прямо над нами, над склонами гор, расстилалось бесцветное предрассветное небо. Снова появились леса.

— Вы хотите, чтобы я рассказал вам о наших партизанах?

Хочу ли я?! Да я только об этом и мечтаю с самого отъезда из Парижа, с того момента, как я увидел это мрачное лицо с лиловым звездообразным шрамом на лбу, услышал загадочные предупреждения, и особенно с того момента, как он немного приоткрыл передо мной свои тайны. Конечно, мне очень хотелось понять этого человека, который спокойно смотрел на меня, как на врага, но сейчас постепенно доверяется мне, как другу.

— Теперь вы меня уже не опасаетесь? — спросил я, стараясь не выдавать своего нетерпения.

Он не ответил. Насколько я могу судить, это была его обычная манера соглашаться. Глядя прямо перед собой на бледно-серую полосу дороги, которая с каждой минутой все более светлела, он заговорил. Его глухой голос звучал отрывисто. Но сколько в нем таилось сдержанной силы!

— ...Мы приехали в Тизи-Узу поездом, в воскресенье. Мы хотели увидеться с прокурором. Подождите минутку.

Я ждал. Обычно он курил только на остановках, сперва в Сансе, затем в Монбаре, после обеда. Сейчас он изогнулся на сиденье, стараясь достать из кармана брюк пачку «Бастос» и коробку спичек. Необычные, долгогорящие спички лежали в картонной коробочке красно-желтого цвета с изображением головы льва: спички были тоже алжирские. Он закурил, позабыв предложить мне сигарету. Сделал несколько коротких затяжек, положил пачку с сигаретами возле себя, на сумку.

Всю дорогу он был совершенно спокоен и невозмутим, а сейчас нервничал, что-то его угнетало, он чувствовал потребность высказаться, освободиться от того, что давило его. Говорил он быстро, бросая фразу за фразой, и делал это совсем так, как курил — короткими затяжками.

— ...Мы видели, как два жандарма провели под руки Бен Мхиди. Он был очень бледен. Его, должно быть, избили, подумал я. Нет. Полиция искала его брата, Ларди Бен Мхиди. Мы знали его. Он находился уже в маки́. В виляя́ * VI. Нас отпустили к вечеру...

Он напряженно смотрел вперед, но я чувствовал, что глаза у него смыкаются и что ему стоит огромных усилий не опускать веки. Он и курил только для того, чтобы не задремать. Он как-то странно держал сигарету, за самый кончик, двумя пальцами. Так держат сигарету те, кто не любят курить. Он и говорил для того, чтобы не заснуть. Он не хотел спать в моем присутствии, хотя устал до предела. Воспоминания, идеи, мысли — все смешалось в его беспорядочных фразах...

— ...Передавали друг другу первые номера «Эль Муджахид». Батуш был арестован прямо на занятиях, в университете. «Эль Муджахид» — значит «Борец». Это газета Фронта национального освобождения. Французы ничего не подозревали. Они...

Меня уже раньше поразило, как он произносит слово «французы» или «все вы». Он говорил о нас, как о чужом народе, с которым у него

* Военный округ Народно-освободительной армии Алжира.

нет ничего общего. А сейчас он вдруг напал на Францию, на страну как таковую, на ее природу, на пейзаж, расстилавшийся перед нами. Он резко размахивал рукой перед стеклом.

— ...Ваши деревья! Ваши пастбища! Сколько зелени! Как, должно быть, сыты ваши коровы! А у нас? Вы бы посмотрели! Скалы, кустарники, пустыня. Все вокруг голо! Солнце жжет нестерпимо... Камни... Мы были вместе с Батушем и Кеном. Кен сжимал кулаки от ярости, от стыда. Да, да, от стыда. Он любил Францию...

Он тоже сжимал кулаки. Воспоминания и забытые образы поднимались из глубин его памяти. Он даже не пытался мне объяснить что-нибудь. Кто такой Кен? Почему Кен сжимал кулаки?.. Он говорил. Говорил не останавливаясь. Время от времени он подносил ладонь ко лбу и потирал шрам — вчера за всю дорогу я ни разу не заметил у него этого жеста. Потом умолкал. Потом снова начинал говорить. Имя Кена повторялось неоднократно. «Я находился вместе с Кеном, в Эль-Каттаре... Кен сказал мне: ты будешь полезнее там... Вы знаете, что по этому поводу говорил Кен...» Я, конечно, не знал.

Он курил одну сигарету за другой. Иногда — закуривая одну от другой. Иной раз он вообще забывал о сигарете, и она медленно догорала, обжигая пальцы. Он чиркал спичкой с красной головкой и снова закуривал или же опускал стекло и бросал окурок за окно, бормоча: «Какая дрянь!»

Холодный ветер врывался в окно. Дорога все время шла вверх, такая извилистая и узкая, что я вынужден был сбавлять скорость. Два или три раза нам пришлось затормозить при переезде через железнодорожные пути. Но когда на более ровных участках я нажимал на педаль газа и мотор снова громко гудел, он тоже возбужденно повышал голос, стараясь перекрыть рев мотора, и тон его становился почти трагическим:

— ...Он не признался, кто его лечил. Не выдал. Никого. Ни на допросе. Ни под пыткой. Не сказал ни слова. Умер в тюрьме. Ему, должно быть, было лет восемнадцать. Пуля в живот. Скверное ранение. Это было около Блида, на дороге в Буфарик. Они пришли за мной ночью в больницу. Он лежал ничком на земле. Вокруг кровь, грязь, гной. Я работал два часа, стоя на коленях, прямо на земле. При свете керосиновой лампы. Без воды. Не было ничего. Один товарищ стоял на посту. Мне удалось извлечь пулю, в двух сантиметрах от печени. Я до этого никогда не занимался хирургией, вы понимаете?.. Я сумел извлечь пулю. Почистил, зашил, перевязал, сделал уколы. На другой день его захватил патруль...

Он рассказывал сбивчиво, беспорядочно. Но вскоре мне стало ясно, что сначала он принимал участие в восстании в качестве врача. Власти запретили продажу лекарств и бинтов алжирцам. Врачи обязаны были сообщать в полицию о раненых.

— И они действительно сообщали? — рискнул я прервать его.

Он вскипел. Он разносил тамошних врачей: колонизаторы или сынки колонизаторов, владельцы виноградников, апельсиновых рощ, мельниц.

— Чтобы хорошо жить, им не нужно искать клиентуру, уверяю вас,— ехидно заметил он. Он был убежден, что нет бóльших защитников колониального режима, чем врачи.— Сплошные ничтожества к тому же.— Он выплевывал их имена, как ругательства: врач такой-то, доктор такой-то и еще такой-то.— Все это махровые реакционеры, реакционеры до мозга костей, свирепые и жестокие. Я их хорошо знаю.

Из своей больницы в Блиде он организовал снабжение партизанских отрядов. Бойцы приходили ночью, тайком, за пакетами с медикаментами, ватой, бинтами. Но эта «невинная игра» становилась с каждым днем все опаснее. Ему было приказано уйти в маки.

— А кто имел право вам приказывать?

Он не ответил. Его рассказ мог показаться сумбурным, но я чувствовал, что сам он очень следит за своими словами. Увлеченный рассказом, охваченный воспоминаниями и порывами негодования, он в то же время был очень осмотрителен в выборе слов и умел избегать точных ответов. Я слушал. Возможно, он говорил для меня, а может быть, рассуждал сам с собою.

— ...Особенно столбняк. У нас не было сыворотки. Не было обезболивающих средств. Приходилось ампутировать руки, ноги. Вы представляете? Оперировать женщин, детей без анестезии... Я ведь никогда раньше не был хирургом. Мы устраивали госпитали в горных пещерах. Там нет воды. Обходились без нее. Я слышал, как Селламай повторял: «Вода только для доктора. Я говорю тебе, вода только для доктора»... Надо было обороняться. Во что бы то ни стало. Я расставлял часовых. Сам не раз водил патрули в разведку. Я решал, где ставить засады. Врач на войне — это начальник. Да. И я командовал. Мне подчинялись. «Слушаюсь, доктор», «Есть, начальник». Ночь. Зима. Вдруг выясняется: подходят французы, необходимо срочно эвакуироваться. Всем, кто может стоять на ногах. Носилки, лекарства, инструменты. «Сами, ты остаешься.— Хорошо, доктор.— Тебя захватят и убьют.— Хорошо, доктор». И опять все сначала. У меня был прекрасный карабин, английский...

Он докурил последнюю сигарету. Долго мял в руке пустой пакет, наконец открыл окно и выбросил истерзанный комок на дорогу. Минуту он сидел, высунув лицо наружу, как бы умываясь струями холодного ветра. Он потирал лоб, волосы. Затем поднял стекло и сказал:

— Кен приезжал иногда ко мне в горы. Из Туниса или Каира. Он привозил газеты. Мы подолгу гуляли с ним ночью. Он хотел увезти меня. Я говорил ему: «Ты помнишь, Кен? Ты помнишь?..»

Он не закончил фразу. Его осунувшееся лицо с заострившимися чертами, с небритыми щеками вдруг осветилось какой-то далекой, грустной улыбкой.

Я слушал, стараясь ничего не пропустить, стараясь не перебивать его. Теперь, когда он замолчал, я не мог говорить. Мне необходимо всегда немного сосредоточиться, чтобы удержать в голове услышанное,— хотелось правдиво и точно запечатлеть в памяти все то, что он сообщил. Я вел машину как можно медленнее, боясь доехать до Мореза прежде, чем он окончит свой рассказ. Мы проехали Сен-Лоран и достигли перевала Савин.

Яркий свет залил все небо, и черная масса елей стала окрашиваться в темно-зеленые тона. С высоты перевала и до самого горизонта кудрявая зелень покрывала горные цепи, ровно разделенные долинами. То здесь, то там одинокая вершина возвышалась над горной грядой, торже-

ственно сияя в прозрачных лучах утреннего солнца. Ни единого облачка. Одолевая поворот за поворотом, машина бодро неслась вниз, к Морезу.

Я размышлял. Мне необходимо было запомнить все, чтобы затем понять, оценить услышанное. Внезапно в памяти всплыла курьезная деталь. После длинного монолога он, должно быть, ждал от меня каких-то слов одобрения или хотя бы сочувствия. Неважно. Меня упорно занимала одна мысль.

— А ваш шрам? — наконец выговорил я после очень долгого молчания.— От пули? Или осколка?

Он сразу заулыбался как-то легко и свободно:

— О нет! Это след от копыта осла. В детстве. Я хотел уцепиться за хвост...

И все. Таково было последнее признание молодого алжирца, которое я услышал в ту ночь, на французской дороге, далеко от войны. Нам предстояло вскоре расстаться, чтобы никогда больше не встретиться. Я даже не знал его имени и потому не мог рассчитывать, что когда-нибудь услышу о нем. Но когда я теперь читаю в газетах об аресте в Париже или на границе какого-нибудь руководителя алжирского движения, когда в коммюнике из Алжира сообщается о захвате в плен или о гибели начальника виляйя, когда пресса публикует отчет о встрече в Тунисе или в Триполи алжирских государственных деятелей, когда, наконец, я слышу о покушениях в Риме или Франкфурте, я невольно вспоминаю молодого врача из Блиды, с которым в ту ночь мы пересекли Францию и который без страха и ненависти раскрыл передо мной истинное лицо сражающегося Алжира.

Когда за очередным поворотом показались домики Морбье, он неожиданно сказал:

— Нам не к чему ехать до Мореза. Видите там, направо, за деревней, вьется небольшая дорога...

Мы проследовали через маленький городок, который только еще просыпался, готовясь начать трудовой день. Звонили колокола в церкви, открывались лавки, огромный грузовик молочного кооператива, загородивший всю дорогу, то там, то здесь оставлял на тротуаре большие бидоны. Мы выехали на высокую террасу, которая нависала над долиной Бьеврны. В утреннем свете, вдали, по ту сторону реки, сверкали крыши и колокольни Мореза. Мосты, виадуки, тоннели железной дороги добрались даже сюда, пересекая обширные пастбища и еловые рощи, как бы сливаясь с общим пейзажем.

Нам пришлось свернуть с шоссе на проселочную дорогу, спускавшуюся с гор.

«К Сен-Марселю?» — удивленно подумал я, но ничего не сказал.

Плохо асфальтированная дорога вела к железнодорожному шлагбауму, а оттуда вверх, к реке, которая бежала вдоль каменистого откоса, к окутанной ночным мраком долине. Крутые подъемы. Суровый пейзаж. Обрывы, голые склоны гор. И где-то слева, очень высоко над нами, роскошные леса на отрогах швейцарской Юры. По деревянному мостику — как только здесь проезжают повозки с сеном? — мы вновь пересекли реку, ставшую бурлящим потоком, затем поехали вдоль заросшего камышом небольшого озера с необыкновенно прозрачной водой.

Мы поднимались все выше. Солнце залило светом всю долину. Маленькая деревня показалась на круглом травянистом холме — Сен-Марсель

— Приехали,— сказал мой пассажир.

— Куда везти вас?

— Я вам покажу.

Мы выехали на проселок, который огибал холм среди полей, и въехали в деревню с другого конца. Прислонившись к церкви и глядя окнами фасада в горы, в глубине сада стоял низкий домик под шиферной крышей. Старая облупившаяся стена огораживала дом, сад и церковь. Железные ворота с распятием наверху выходили прямо на дорогу. Над калиткой висел звонок.

— Здесь,— сказал он.

Я остановил машину, и мы вышли почти одновременно.

Небольшой сад, разбитый на склоне горы, был разделен центральной аллеей на две части: справа росли овощи, огромные наливающиеся кочаны капусты, лук-порей, салат; слева от аллеи цвели осенние розы, большие клумбы сплошь поросли цинерариями, кусты с георгинами были усеяны желтыми и красными цветами.

Мы открыли калитку и по двум шатким ступенькам спустились в сад. В этот момент мы увидели кюре, выходившего из-за угла дома. Он был далеко не стар, лет сорока, в очках. Поверх сутаны на нем был надет вылинявший синий передник садовника, с ярко-синими заплатами. Он шел и в каждой руке нес по большой садовой лейке.

— Наконец-то, мой дорогой! — воскликнул он, увидев моего спутника.

Опустив лейки на землю, он быстро пошел ему навстречу, дружески протягивая руки. Они обнялись, радостные, сияющие.

— Я очень волновался, старина,— сказал кюре.

— Зачем же? Право, не стоило,— ответил мой пассажир.

Я оставался в стороне. Оба забыли о моем присутствии. Наконец мой пассажир вспомнил обо мне и представил:

— Мсье, который довез меня.

— Очень хорошо, очень хорошо,— с холодной учтивостью заметил кюре. Он предложил нам выпить по чашечке кофе.

Но мне не терпелось уйти. Я сказал, что меня ждут срочные дела в Шампаньоле.

— Мсье работает в кино,— пояснил мой спутник.

— А, очень хорошо, очень хорошо,— повторил кюре.

Они проводили меня до машины. Я сел за руль и включил мотор.

— Итак...— начал было я.

Он меня резко перебил:

— Вы сможете позвонить Бернадетте?

— Конечно.

— Будьте любезны ей передать...— Он замолчал в нерешительности.— Скажите ей только, что дядюшка Адриен чувствует себя хорошо.

— Дядюшка Адриен? — переспросил я.— Отлично. Договорились. Передам.

Я помахал на прощание рукой. Медленно объехав дом священника, я вскоре нашел дорогу, пересек деревню и помчался вниз, в долину.

Имре Добози

РАССКАЗЫ

Перевод с венгерского М. Попова

АВАРИЯ

Пронзительный скрежет в переднем шасси, машина внезапно кренится влево, как лодка при бортовом ударе волны. Пассажир не успевает ни за что ухватиться. Ломается стройная аллея придорожных тутовых деревьев, свет фар выхватывает из темноты неподвижное уродливое старое дерево. Визг тормозов, страшный треск, затем — тишина и темень.

С шофером ничего не случилось.

— Товарищ старший лейтенант! — в испуге кричит он, выпрыгнув на обочину. Он решает посмотреть, что произошло с его начальником, обегает машину, дергает дверцу, нащупывает кнопку выключателя. К счастью, освещение действует.— Товарищ старший лейтенант... вы ушиблись?

Усилием воли Дошаи удерживается на сиденье. Правая рука беспомощно свисает, голова падает на грудь, словно к шее привязан пудовый камень.

— Вот чертовщина...— бормочет он, с трудом ворочая языком и мучительно подыскивая ругательства. С удивлением Дошаи замечает, что ему трудно не только говорить, но и думать.

— У вас лоб в крови! — замечает шофер и тянется к заднему сиденью, ищет аптечку.

Старший лейтенант, должно быть, ударился головой о ветровое стекло. «Может быть, сотрясение мозга? — думает шофер, но не смеет сказать этого вслух.— Как же доставить отсюда раненого в район? Ведь на этой машине далеко не уедешь, черт бы ее побрал».

— Рука,— тихо произносит Дошаи, после того как шофер перевязал ему голову,— не знаю, что с рукой...

— А, это ушиб,— говорит шофер, подбадривая сам себя и осторожно ощупывая поврежденную руку.— Сильный ушиб, и больше ничего. Я знаю! Со мной такое случалось... ух ты, черт возьми! Товарищ старший лейтенант, перелом!

От нервного напряжения шофера бросает в дрожь. Но надо действовать. Он спрыгивает на обочину, режет в темноте прутья и накладывает на сломанную руку наспех сделанную шину, все время повторяя:

— Больно? Скажите, очень больно?

Дошаи хрипло бормочет:

— Воды бы, стакан воды...

Шофер беспомощно разводит руками. Вблизи нет ни хутора, ни колодца, ни какого-нибудь дрянного ручейка — откуда же взять воду? Он

лезет под машину, при свете спички осматривает шасси и затем встает, голос его звучит уже спокойнее:

— Лопнул привод руля... а без него ни один шофер не удержит машину на прямой!..

Водитель с облегчением вздыхает. Поломка, дефект — он здесь ни при чем. Его ответственность меньше. Шофер закуривает, предлагает сигарету старшему лейтенанту, но Дошаи отказывается, его тошнит. По голове словно бьют булыжники, и эти громкие, тяжелые удары тупой болью отзываются во всем теле. Но еще хуже то, что ему не удается сосредоточиться. Сначала он пытается думать об аварии, затем о том, что скажет жене и что напишет в рапорте, но всякий раз попадает в тупик, мысли его путаются.

— Я все же схожу за водой,— говорит шофер.

Дошаи удерживает его, сейчас вода не нужна. Он чувствует себя беспомощным, его знобит, и он боится остаться один.

Вдруг темноту разрезает свет одинокой фары. Шофер выходит на середину дороги, энергично машет рукой и, не дожидаясь, пока машина остановится, кричит:

— Здесь начальник районной комендатуры, его надо быстрее доставить в больницу! — и вдруг, разочарованный, умолкает: перед ним всего-навсего мотоцикл без коляски, везти раненого на нем рискованно. Да и водитель молчит, не спешит предложить свои услуги. Время от времени он прибавляет газ, отчего свет фары то вспыхивает, то меркнет.— Ну? — с раздражением произносит шофер, обозленный тем, что перед ним всего лишь мотоцикл.— Что будем делать?

«Подождать бы еще немного, возможно, подойдет машина»,— думает он, но старший лейтенант, словно угадав его мысли, говорит:

— А если никого не дождемся? Ночью на дорогах мало машин.

— Держаться может? — спрашивает мотоциклист.

— Куда там к черту! — с досадой говорит шофер.— Перелом руки!

У Дошаи не хватает терпения, он хочет как можно быстрее добраться до больницы. Лучше уж трястись на мотоцикле, держась одной рукой, чем оставаться здесь и мучиться от боли. Он взбирается на заднее сиденье, но чувствует себя неуверенно, клонится в сторону. Мотоцикл едва не заваливается, луч фары на мгновение освещает лицо водителя: худое, обветренное, утомленное. Прищуренные глаза, взлохмаченные волосы... Дошаи знаком, хорошо знаком этот человек, но в следующее мгновение он уже не помнит, о ком он, собственно, думал. Мотоциклист говорит:

— Жаль, мотоцикл не мой... Одолжил.

— Какое это имеет сейчас значение? — обрывает его шофер и снимает ремень с пояса.— Так не пойдет, товарищ старший лейтенант. На первой же выбоине вы свалитесь... Дайте мне ваш поясной ремень. Я вас покрепче пристегну двумя ремнями, чтобы ничего не случилось. А вы, приятель, посматривайте!

Шофер осторожно всовывает кисть поврежденной руки старшего лейтенанта меж пуговиц кителя, а мотоциклист уже включает первую скорость, и свет фары ощупывает пыльную дорогу.

— Эй! — кричит вслед им шофер.— Скажите в комендатуре, пусть меня выручают.

Мотоциклист не отвечает. Он долго едет медленно, затем переключает скорость, и кажется, что он занят только скоростью, не замечает ухабов на плохой грунтовой дороге, мчится напрямик. Дошаи хочется попросить, чтобы водитель ехал осторожнее, но не хватает сил. Его уже не тошнит, хочется спать. Сон накатывается на него волнами, захлестывает, как порывистый ветер,— такой головокружительный, всемогущий,

дурманящий сон, что даже усилием воли Дошаи не может удержаться, чтобы не сомкнуть глаз.

Машина осталась далеко позади, а до города еще добрых пятнадцать километров. По обе стороны дороги дремлют темные дали, время от времени о стекло фары ударяется жук, и сквозь шум в ушах Дошаи слышится, что молчаливый мотоциклист что-то говорит, будто о чем-то спрашивает. Может быть, о времени — который час? Откуда ж ему знать? Ведь часы у него на левой руке, которой он держится, да и в темноте все равно не разглядеть... Дошаи напряженно прислушивается, пытаясь понять, чего хочет водитель, в голосе которого уже звучит нетерпение:

— Не понимаете? Вы меня прекрасно знаете, а я — вас!

Они мчатся мимо леса, из глубины его на дорогу льется прохлада, освежающая, она прибавляет сил, как стакан свежей колодезной воды. Дошаи жадно вдыхает душистую прохладу ночного леса, головная боль проходит. Но тут же он чуть ли не жалеет об этом: по мере того как стихает шум в голове, усиливается пронизывающая все тело жгучая боль в сломанной руке. Он стискивает зубы.

— Слышите? — кричит водитель.— Узнаете меня?

— Нет,— бормочет Дошаи и сам удивляется, почему не узнает мотоциклиста, хотя чувствует, что должен знать, что где-то в спящем уголке его измученного болью мозга хранится память об этом человеке.

— Сейчас никто не услышит, так я скажу! — от ветра и напряжения голос водителя кажется хриплым.— Гад! Упек! Земляка, сверстника... Эх!

— Кто ты?

— Йошка Фекете... Это имя ты запомнишь! Навсегда!

Он прибавляет газ — мотоцикл почти вырывается из-под них. Дошаи много дал бы сейчас за одну сигарету. Даже за одну глубокую-глубокую затяжку, лишь бы почувствовать, как входит и выходит из легких табачный дым... Йошка Фекете... Который Фекете? Старший лейтенант силится вспомнить, и от этого голова наполняется пульсирующей болью. Ну конечно же, Йошка Фекете... Но кто он? Чего хочет?... На повороте мотоцикл, фырча, замедляет ход, затем по прямой снова с ревом мчится дальше. Скорость нарастает вместе с яростью водителя — Фекете одной рукой управляет несущимся мотоциклом, другой рубит воздух и кричит:

— Три года ни за что! Все ты, проклятый, ты!

Они едут по берегу водоема, Дошаи снова знобит, в лицо бьет сырой, холодный ветер. Фекете, Фекете... Ага, так это Фекете! Вспомнил: действительно знакомый с детских лет, хотя и не сверстник. И словно залитая ослепительным светом, перед ним внезапно возникает картина: он сидит за столом в комендатуре, а напротив стоит Йошка Фекете в пыльных сандалиях, в болтающихся широких брюках, голубой безрукавке, он выдавливает из себя слезы: «Нет, нет, больше ни разу... никогда не повторится!»

Дошаи вздрагивает от тепла, которое исходит от спины водителя: он крепко связан ремнем с этим подлецом.

— Ты украл,— с трудом говорит он сквозь зубы.— Украл двадцать тысяч форинтов... Это, по-твоему, пустяк?

Фекете не слышит его и продолжает кричать.

— Ты украл! — повторяет Дошаи, стараясь говорить громче.

На мгновение Фекете оборачивается, мотоцикл несется вперед, почти неуправляемый.

— Не я один крал! — кричит он.

— Не ты один сидел,— возражает старший лейтенант.

— Но столько! Три года! — мотоциклист пытается отодвинуться. — Навалился ты на меня! Хотел отличиться! Не сумма тебя интересовала и не обстоятельства... Одно только: кто крал! Классово чуждый элемент!— орет он.— А если крадет рабочий, разве убыток меньше?

Думать Дошаи так же трудно, как шевельнуть раненой рукой.

— Ложь,— все же произносит он, превозмогая боль.— Для меня важно было, какое преступление ты совершил... Но решал суд, а не я! За двадцать тысяч ты мог бы получить и пять лет!

— Не оправдывайся! Знаю я, что было важно для вас... Взаимосвязь!.. Между преступлением и классовой принадлежностью!

— Есть и взаимосвязь,— с трудом произносит Дошаи и пытается устроить поудобнее сломанную руку.

— Есть! — орет водитель.— Только вы ее и создали! Мой отец в лохмотьях остался на обломках своего имения!

— Один! А раньше у него в лохмотьях ходили двадцать батраков!

— Я не стал ждать, пока его дом пойдет с молотка, и украл! И еще раз украл бы! Сто раз украл бы!

Дошаи стискивает зубы. Его охватывает такая ярость, что он забывает про боль.

— Не для отца крал! Для себя!

— Я тоже человек! Мне тоже жить хочется!

— Ты, ты... Изображаешь из себя жертву? Ты шкурник... Ты и у отца воровал пшеницу и продавал ее Можи, ночью...

— Откуда тебе известно? Ты служил у другого хозяина!

— У господ была солидарность, у батраков — тоже... И ты еще смеешь возмущаться?!

— И посчитаться не имею права? Слышишь, господин старший лейтенант? Долг платежом красен!

Слова тонут в тумане, окутывающем голову старшего лейтенанта: на него снова накатывается дурманящий сон, глаза закрываются сами собой. Он летит куда-то в пустоту, вниз, в мягкую пушистую темноту, не чувствуя ноющей боли. Затем Дошаи приходит в себя. Мотоцикл сильно трясет. Или это его самого трясет?.. Вдруг он едва не вскрикивает: ремень, которым они связаны, начинает ослабевать. Что делает Фекете? Расстегивает ремень, чтобы Дошаи свалился?

— Убийца! — кричит изо всех сил лейтенант.— Хочешь совершить преступление... другое, более страшное?

В ответ слышится хриплый циничный смех.

От бессильной ярости горло Дошаи перехватывает спазма. Если бы правая рука была здоровой!.. Он достал бы из кармана пистолет и вдавил бы его в спину этому негодяю... Но до кармана не дотянуться, и левая рука, которой он с большим усилием держится за пиджак Фекете, начинает слабеть. Пиджак становится скользким, он словно смазан жиром, за него никак не удержаться.

«Неужели придется так глупо погибнуть?»

— Со мною вместе расшибешься! — кричит Дошаи на ухо водителю.— Куда я, туда и ты!

Фекете молчит. Они мчатся с бешеной скоростью, дорога стремительно ложится под колеса, мотор работает на пределе, дрожит и ревет. «Молчит,— с болезненным напряжением думает старший лейтенант,— а что он скажет? Сказочку — распустился ремень, вот и все... А мотоцикл гонит так остервенело, что он вот-вот развалится под нами».

— Ты и мотоцикл украл...— догадывается Дошаи.

Фекете молчит, но скорость как будто снижается.

Собрав все силы, старший лейтенант кричит:

— Останови! Или я ногой поломаю спицы!

— Останешься без ноги...

— Но и ты разобьешься! А если нет... достанут из-под земли.

— Не так просто!

— Куда ты денешься? Меня-то не бросят! Мои товарищи... тебе что, непонятно?

— Мне наплевать!

— У тебя еще не все потеряно... Почему бы тебе не попробовать работать, жить честно?

— Замолчи!

— Затяни ремень! Я приказываю!

— Дурак... Пальцем не может пошевелить, а приказывает!

— Рука у меня сломана, да чиста... Чиста!

— Замолчи!

— Задело? Твои-то грязные, и показать стыдно? Затяни ремень...

— Чтоб ты опять упек меня за решетку? За эту паршивую машину!

— Чей мотоцикл?

— Не все ли равно?

— Затяни ремень!

— Ну а если... если затяну?

— За это грехи не отпустятся!

Дошаи выбивается из сил. Холодный пот покрывает его лоб, он не может больше держаться. Прижимается к спине Фекете, хотя ему так хочется быть далеко, очень далеко от этого человека.

Когда Дошаи снова приходит в себя, мотоцикл бежит мимо домов. Фекете сбавляет скорость. Он клонится вперед, стараясь отодвинуться подальше от старшего лейтенанта, но беспомощное тело наваливается на него. У больницы ни один из них не может сойти с мотоцикла, Фекете сигналит, вызывая из помещения дежурных.

С Дошаи снимают ремень. Стиснув зубы, он отстраняет спешащих на помощь санитаров и сам идет к двери. Фекете показывает паспорт: я такой-то... засвидетельствуйте — раненый доставлен благополучно... Дошаи останавливается, ему приходится держаться за косяк двери.

— Мотоцикл,— говорит он тихо, но решительно,— останется здесь.

Мотор работает на малых оборотах, достаточно включить скорость — и тогда ищи ветра в поле. Дошаи, бледный, пошатываясь, стоит на пороге, санитары смотрят в недоумении. Фекете окидывает взглядом безлюдную улицу, оценивает время и расстояние.

Потом разражается бранью, выключает мотор, слезает с мотоцикла. Ему хочется оглянуться, всего на один миг, увидеть выражение лица Дошаи. И все же он не оглядывается. Упрямо наклонив голову, засунув руки в карманы, не попрощавшись, Фекете уходит в ночную тьму.

ЛИВЕНЬ

Когда супруги Пато вошли в контору, агроном Мишкеи прекратил работу и локтем отодвинул бумаги на край стола. Его давно разбирало любопытство: что за человек Иштван Пато, имя которого он так часто слышал? И вот Пато стоит перед ним. Ни велик, ни мал, ни толст и ни тощ. Сложен скорее пропорционально. Держится прямо. Голова спокойно и гордо сидит на плечах, как на троне, руки без напряжения согнуты под закатанными ру-

кавами рубашки, загорелые и крепкие, словно выточенные из полированного дерева. «Не крестьянские руки,— удивился без зависти Мишкеи,— такие маленькие, меньше моих...» Он продолжал разглядывать и мысленно изучать человека, стоявшего посреди конторы. Пато можно было дать все пятьдесят, если не больше, виски его уже покрылись инеем. На лбу алел глубокий шрам. От этого шрама лицо казалось странно холодным и угрюмым, зато теплый взгляд, мягкая складка рта и пышные усы свидетельствовали о покладистом характере.

— Добрый день,— промолвил Пато таким тоном, словно хотел сказать: вот я и пришел.

Его плечи слегка опустились. Это было едва заметное движение, но оно не ускользнуло от внимания Мишкеи. Такое движение обычно делает человек, если долго держит на плечах ношу, сильно, до боли, напрягая мышцы, и, когда сбрасывает груз, его плечи расслабленно и облегченно опускаются.

А председатель кооператива имени Петефи, опершись ладонями о стол и подавшись вперед, с сияющим лицом ждал, что еще скажет пришелец. Он не уловил интонации голоса Пато, не приметил его жеста, не понял, что тот больше ничего не скажет. Этот спокойный и сильный человек уже все сказал тем, что переступил порог конторы кооператива. Председатель походил на свата, который произнес речь в доме невесты и с умилением ожидает услышать торжественное «да». Разглядывая Пато сбоку, Мишкеи припомнил, как председатель почти ежедневно изливал душу, на все лады восхваляя Пато, едва о нем заходила речь. Умнейший крестьянин! Если он вступит в кооператив, все село Фелвег повалит за ним! А как он разбирается в лошадях, в коровах! Такой человек один стоит больше безвозвратной ссуды в сто тысяч форинтов! Не было этим восторгам ни конца ни края, и теперь председатель с трудом сдерживал свою радость.

— Так... чем мы обязаны? — кротко спросил он наконец, словно не подозревая, зачем понадобилось Пато заходить в контору. Впрочем, удивляться было нечему. Председатель так давно ждал этого дня, так часто и с таким удовольствием представлял себе, как будет принимать Пато, что теперь хотел продлить минуты торжества.

— Дай мне бланк заявления,— сказал Пато.

— Ну садись же. Это великое дело! По сравнению с ним и женитьба пустяк. Когда человек женится, он прощается только с холостяцкой жизнью. А вступая в кооператив, он порывает со своей прежней судьбой, с суетой и надоевшими заботами.

Пато улыбнулся. Но от этой легкой и снисходительной улыбки у председателя отпала всякая охота продолжать свою речь. Он с разочарованием смотрел на Пато. Полюбуйтесь-ка на него — годами заставлял себя ждать, а когда наконец собрался прийти, у него не хватает терпения выслушать короткое наставление. А к наставлениям председатель питал особую страсть. Если верить злым языкам, то вечерами, лежа в постели, он и жене своей читал длинные-предлинные нотации, и, пока ему приходило в голову, что он не только председатель, но и муж, бедная женщина уже спала глубоким сном.

— Ну что ж,— пробормотал недовольно председатель и извлек из ящика стола листок. — Если уж и доброе слово тебе в тягость, тогда вот подпиши — и дело с концом... Только эта комната — контора кооператива имени Петефи, а не клуб для глухонемых.

Отведя таким образом душу, он подал Пато ручку, предварительно обмакнув ее в чернила.

Мишкеи вдруг поймал себя на том, что и сам улыбается. Ему нравился этот хозяин. Здесь, в конторе, он показался оригинальнее и симпатичнее того человека, которого можно было представить себе по хвалебным отзывам председателя. Ведь вот, едва узнав Пато, Мишкеи уже был готов вместе с ним искренне и по-дружески посмеяться над слабостями председателя. В Пато привлекали его спокойствие, решительность, немногословность, его мимолетная улыбка, не оставлявшая сомнений в том, что этот крестьянин наделен тонким юмором. Будьте уверены, такие люди знают, чего хотят...

Пато взял ручку и с серьезным лицом, быстро, без колебаний подписал заявление. Между тем председатель достал еще листок и обратился к жене Пато:

— Ну, а ты, Мариш, ты тоже решила?

Лишь много дней и недель спустя Мишкеи по-настоящему удивился, как он до сих пор не замечал такую женщину. Быть может, это объяснялось тем, что фигура Пато, дышавшая буйной упрямой силой, заполняла почти всю контору. А Мариш тихо стояла за спиной своего мужа. Мишкеи даже не взглянул на нее, да и что можно увидеть в стареющей жене пожилого крестьянина — ведь еще с детства, да и в наши дни он хорошо знал крестьянок, как тень следовавших за своими мужьями. У них только тогда была своя воля, когда они не перечили мужьям, и только тогда был свой голос, когда их спрашивали.

Мариш удивленно взглянула на председателя.

— Я? — в недоумении спросила она.— Я?

Чуть подавшись вперед, оттянув кулаками карманы вязаной кофты, она лениво обвела контору взглядом, словно пробудившись от глубокого сна. Два человека, Мишкеи и председатель, интересовали ее, по-видимому, не больше, чем конторская мебель — столы в чернильных пятнах, стулья с кривыми ножками,— или свисавшая с потолка пыльная лампа.

Председатель засмеялся.

— Ну, конечно, ты,— сказал он и, подмигнув, посмотрел по сторонам.— Здесь одна Мариш или есть еще, только я не вижу?

Мишкеи невольно почувствовал неприязнь к жене Пато. Правда, его удивило, что Мариш далеко не стара, скорее она походила на молодуху и была лет на двадцать моложе своего мужа. Но и молодость Мишкеи поставил ей в укор. Такая здоровая, полнокровная, такая пышная и зовущая молодая женщина — жена пятидесятилетнего мужчины, разве это не бесстыдство?

Мишкеи оглядывал женщину, стоявшую без движения, словно деревянная статуя. Казалось, он догадывался об одолевавших ее страстях. Ему чудилось, что она переполнена зрелой женственностью, и контора, еще несколько минут назад казавшаяся серой и прокуренной, будто внезапно наполнилась розовым светом и тревожным ароматом. Крепкая и стройная фигура Мариш неудержимо влекла к себе. Тщетно пытался Мишкеи оторвать от нее взгляд. Ее полная грудь при каждом вздохе беспокойно вздымалась, растягивая вязаную кофту, ее точеная белая шея гордо возвышалась над вырезом блузки. Лицо Мариш было бы красивым, если бы его черты, и особенно рот, не сковывала какая-то застывшая, несмываемая горестная суровость, отчего оно казалось почти грубым, да если бы взгляд ее карих глаз, напоминавших сонных жучков, не был таким тусклым, безучастным. «Ее муж — это разум, а она — плоть,— думал Мишкеи,— муж живет для жизни, а она только для плоти...» И чем больше он сравнивал черты, голоса, движения этой пары, тем больше ему нравился мужчина и тем неприятнее становилась его

жена. «Когда они ложатся спать,— подумал он,— Пато, вытянувшись в кровати, долго сверлит своими глазами темноту, размышляя о хозяйственных делах, а жена, эта глупая и жадная ведьма, льнет к нему своим горячим телом, своими упругими бедрами, все не дает покоя, все пристает». В Мишкеи вспыхнула злость и закипела кровь одинокого мужчины.

— Ну,— подбодрил женщину председатель,— ты онемела, что ли?

Мариш пожала плечами:

— Муж уже подписал заявление.

— Муж! С ним-то все в порядке. А вот ты! Или ты не хочешь вступать в кооператив?

— Я ж говорю, муж... он уже подписал.

— Да пойми ты наконец, что речь идет о тебе! Хочешь ты вступать или нет? Ты-то чего хочешь?

Мариш вынула руки из карманов, потом неуклюже и беспомощно опустила их. Маска безразличия исчезла с ее лица, на нем отразился испуг, тревожная гримаса искривила рот, а в тусклых глазах внезапно засветились живые, сияющие искорки.

— Это я... чего я хочу? — спросила она и недоверчиво перевела взгляд с одного мужчины на другого, словно опасаясь, что над ней смеются.

— Ну смелее, Мариш,— сказал председатель,— я знаю, что ты послушная жена, но не будь же ты такой безвольной.

Мишкеи почувствовал, что женщина и не собиралась проявлять свою волю. По сути дела она и была такой, какой казалась: с головы до пят беспомощным, забитым человеком, и только.

Пато тихо вымолвил:

— Я и забыл сказать... тебе подписать тоже надо...

— Мне?

Председатель снова вмешался в разговор:

— Если, конечно, ты хочешь. У нас в кооперативе женщина равноправна с мужчиной... Человек есть человек. И не смотри на меня, голубушка, так, словно я съел твой хлеб. Ты ведь знаешь, прошли те времена, когда у женщины было имя «Молчи».

Обо всем этом он уже раз сто говорил деревенским женщинам, говорил суховато, как делопроизводитель загса, произносящий заученную формулу поздравления. И хотя в его голосе не прозвучало ни одной новой нотки, не было никакого волнения, Мариш восприняла его слова как откровение.

Пато кивнул головой едва заметно, без особого одобрения.

— Верно, ныне другие времена,— сказал он и улыбнулся.— Так ты подписывай.

И опять его улыбка была мимолетной, снисходительной, умной. Но Мишкеи уже не хотелось улыбаться вместе с ним. Он с любопытством разглядывал Мариш и все больше удивлялся тому, как эта женщина могла перемениться буквально на глазах. На плечи ей словно накинули легкое прозрачное покрывало. На лице отразились сомнения, надежды, волнения, и эта прорвавшаяся наружу борьба чувств смыла с него равнодушное выражение.

— А... что я должна подписать? — спросила Мариш.

— Да вот это,— сказал председатель, протягивая ей бланк заявления.— Здесь внизу, где стоят точки.

— Ну, а если теперь все иначе, чем раньше... то какое имя поставить?

Пато покачал головой, как бы извиняясь за невежество жены.

— Имя-то свое знаешь! — наставительно сказал он, как обычно говорят школьнику, запнувшемуся при ответе.— Нечего тянуть — у нас дела, у них тоже!

— Да... Тогда я напишу: Патоне. А еще... можно мне рядом написать свою девичью фамилию?

— Ну, конечно,— подтвердил председатель.— Можно обе.

Мишкеи не понял, в чем дело, но почувствовал, что в это мгновение женщина по какой-то причине считает важным, чтобы в заявлении была указана и ее девичья фамилия. Возможно, она лишь охраняла свои собственные корни в жизни, как дерево, пересаженное на новую почву.

Облокотившись на стол, Мариш медленно вывела свою фамилию: Патоне, урожденная Мария Кочиш. Она продолжала задумчиво смотреть на заявление не отрываясь, и черты ее лица окончательно смягчились, ожили, как у человека, который наслаждается непривычно красивым зрелищем. Она бы еще долго смотрела на бумажку, но председатель взял у нее заявление.

— Сегодня вечером соберется правление,— сказал весело председатель и подмигнул Пато.— Благословим эти бумаги и поговорим о том, какое тебе, Иштван, дело поручить. Доверие народа подымает высоко... Сегодня мы принимаем в «Петефи» не кого-нибудь, сам понимаешь.

Пато ничего не ответил, но лицо его говорило: как, мол, не понимать. Он пожал руку председателю, Мишкеи и направился к выходу. Мариш не подала руки, ей это и в голову не пришло. Взгляд ее по-прежнему был мечтательным, но, когда она двинулась вслед за мужем и еще порога не переступила, Мишкеи заметил, как ее лицо снова стало застывать.

Председатель довольно потирал руки.

— Ну, приятель,— сказал он и громко причмокнул,— это улов! Пять лет кооператив точил на него зубы, и вот наконец он наш! Восемнадцать хольдов земли, три лошади, две коровы, повозка с упряжью, тарантас, сенокосилка, грохот и еще всякая всячина. И в довершение всего — чудесный заместитель председателя... ведь этому Пато сам бог велел командовать — будь уверен, он управится с людьми без крика, разумно.

Председатель был так счастлив, что достал из ящика сигарету, зажег ее и в одну минуту наполнил комнату дымом.

— Нет, ты послушай, приятель,— продолжал он восторгаться,— этот самый Пато еще двадцать лет назад был таким хозяином, что на его земле даже барин замирал от удивления. Еще бы! «Друг мой, Пишта,— говорил он,— я стараюсь вести хозяйство по-современному, как же получается, что твои посевы лучше моих?» А Пато, как ты думаешь, что ответил? Все равно не угадаешь! Пато сказал ему: «Господин барин владеет землей, а я хлебом...» Вот что он сказал. Потому что Пато говорит редко, а уж если скажет, то очень дельно, удивительно дельно. Однажды, к примеру...

Дым щипал глаза Мишкеи. Не слушая председателя, он распахнул окно и задумчиво смотрел на каштаны перед конторой, на которых распускались клейкие почки. «Весна,— подумал Мишкеи и вдруг вспомнил о своем одиночестве.— Живу-то я только для себя, как бездомная собака, черт бы все побрал!»

Когда он отвернулся от окна, с его языка сорвалось:

— Скажи, товарищ председатель, этот Пато... не бьет свою жену?

Председатель, пораженный, уставился на него.

— С чего это в голову тебе взбрело? Пато не такой человек, он никогда никого не обижал, по крайней мере я не слышал...— Он глубоко

затянулся, серовато-голубое облако окутало всю его голову.— К тому же в чужую душу не заглянешь. Был у нас один звонарь, Пакич по фамилии,— такой забитый мужичонка, до двух не умел сосчитать, перед собакой священника снимал шапку. И вдруг однажды мы узнали, что он по всем правилам отдубасил свою жену, как настоящий мужчина. Бедная звонариха целую неделю не показывалась на улице — так он ее размалевал... Так что, приятель, тут трудно судить.

...Два дня спустя Мишкеи вместе с Пато осматривал усадьбу кооператива. Новый заместитель председателя оказался знающим хозяином. Правда, кооперативные земли он и раньше мог осматривать сколько угодно, ведь ему частенько доводилось ходить мимо них. И все же он серьезно вникал в кооперативное хозяйство. Если Пато и говорил, то ограничивался немногими меткими замечаниями о пахоте, севе, о скоте, и Мишкеи про себя удивлялся тому, как этот необразованный крестьянин умел свободно оперировать научными понятиями и определениями, всякий раз выбирая именно то слово, которым точнее всего можно выразить главное. На небольшом заброшенном участке люцерны, который как раз собирались привести в порядок, он сказал единственное слово: «Запущен». Другой разразился бы многословной тирадой на тему о люцерне, а Пато, подумав, как бы поставил точку. В коровнике, где они осматривали коров и молодняк, Пато только ходил и смотрел, и взгляд его то выражал удовлетворение, то становился нетерпеливо строгим. Мишкеи, хорошо знавший всех до одной кооперативных коров, с удивлением заметил, что Пато ни разу не ошибся.

На краю гумна, в стороне от осевших ометов, Пато закурил. Он задумчиво смотрел перед собой, словно подводя итоги, затем взглянул на агронома.

— О чем вы думаете? — спросил он.

Они не говорили друг другу «ты». Правда, для их сближения еще не было ни времени, ни случая.

Мысли Мишкеи были заняты другим. С тех пор как они работали вместе, он с удивлением наблюдал за этим хозяином и его мучил один навязчивый вопрос: способен ли этот человек, так быстро вникающий во все дела, понять свою собственную жену? Несколько раз этот вопрос готов был сорваться с языка, но Мишкеи проглатывал его. Так было и сейчас. «А вдруг этому Пато,— подумал он,— покажется, что я интересуюсь его женой...» — При этой мысли Мишкеи покраснел.

Услышав вопрос Пато и невольно подстраиваясь под его немногословность, Мишкеи попытался ответить коротко.

— Я здесь полтора года,— сказал он.— Нужно еще столько же времени, чтобы кооператив стал не только крупным, но главное — современным хозяйством.

Пато зашагал по меже, затем через плечо ответил:

— Мало.

— Почему?

— Мало для нормального севооборота.

Мишкеи почувствовал раздражение. Ему показалось, что это первое опрометчивое суждение Пато.

— К осени мы введем севооборот на трех четвертях наших земель,— торопливо начал объяснять он и поспешил вслед за Пато.— Кроме того, севооборот важен, но это еще не все. Капиталовложения, механизация, обработка почвы, себестоимость... современное хозяйство складывается из многих факторов.

Он не сказал только, что в этом-то он разбирается лучше. Пато сбоку взглянул на агронома, в его глазах вновь затаилась снисходительная усмешка, и, словно продолжая мысли Мишкеи, он сказал:

— Конечно, я только простой крестьянин.

— Я тоже! Что вы думаете? У моего отца была тысяча хольдов? Вовсе нет... Батраком он был. А я при нем был вторым батраком.

Пато кивнул головой.

— Стало быть, батрак,— промолвил он тихо.

— И батрак — крестьянин!

— Да...

— Я знаю, я пробовал! Махал и мотыгой, и косой! Эх, давно это было, давно прошло... Пять лет как окончил академию. С тех пор это мое третье место. А теперь хотелось бы уже осесть.

— Семейный?

— Нет.

— Женат?

Мишкеи нехотя ответил:

— Нет. Когда решился — не вышло. А потом... было не до того.

Мишкеи разозлился, что спрашивает не он, а Пато. Он припомнил свои попытки жениться, перед глазами всплывали девичьи лица, оживали встречи, эпизоды, трепетные чувства... Как и много раз до этого, Мишкеи должен был признаться самому себе, что для его любовных дел лучше всего подходит слово «эпизод». Одну девушку он любил по-настоящему — светловолосую, бойкую на язык деревенскую девчонку, ради которой готов был прыгнуть в колодец. Тогда ему было двадцать лет, он служил кучером у барина, но не успело дело дойти до свадьбы, как его призвали в армию. А когда вернулся домой, девушка уже вышла замуж. Обычная история, тоскливо обычная, но она стала причиной всех его дальнейших злоключений. Сколько ни встречал он женщин, всегда невольно мерил их памятью юношеской любви: он искал копию деревенской девчонки с пепельными волосами, не находил, и поэтому вместо любви получался эпизод... Так шли годы, и главная его беда теперь была не в том, что он одинок, а в том, что вместо неопределенной сладкой тоски юности в нем жило одно желание — обладать.

Он начал ненавидеть Пато, у которого есть такая красивая жена и которому не нужно было даже пальцем пошевелить ради нее — только позвал и взял, получил свое.

— Это тоже нехорошо,— сказал Пато, выпятив губы.

— Что именно?

— Когда человек не женат.

— Разве? А еще что?

Пато пожал плечами. Замедлив шаг, в раздумье он обходил чахлые кусты на меже.

— Я вот женат,— сказал он и не смог сдержать дрожи в голосе,— а семьи все-таки нет...

— Нет семьи? Отчего же?

Пато ничего не ответил. В эту минуту он казался старым и потрепанным, не таким, как в конторе два дня назад. Но Мишкеи не жалел его. «Так и надо ему,— думал он,— за что опутал девчонку?..» И представил Марию так ясно и отчетливо, будто она и впрямь стояла здесь, на обочине дороги. Руки в карманах кофты, высокая грудь часто и мерно вздымается... Кровь прилила к его лицу. Он не мог думать об этой женщине без какого-то обжигающего чувства. И когда Мишкеи представил, как на резко очерченном, окаменевшем лице Марии тогда, в конторе,

на какое-то мгновение засветилась надежда, она стала для него в тысячу раз желаннее.

«Нет,— думал он, опасаясь высказать эту мысль вслух,— она не повинна в том, что у них нет детей. Она способна родить десятерых — сам бог создал ее для любви, для материнства».

Когда они вернулись в село, Пато подал ему руку.

— Всего хорошего,— сказал он.— После обеда загляну в контору.

— Я вам буду нужен?

— Может быть... Впрочем, работайте. Дел достаточно.

— Верно. Достаточно.

Мишкеи отпустил его руку.

— Ну что ж,— сказал он,— у нас еще будет время познакомиться поближе. Вы интересный человек, и жена ваша тоже... интересная женщина.

Последней фразой он, собственно, не преследовал никакой цели, она сорвалась с его губ как-то сама собой. И Мишкеи тут же пожалел о сказанном, он бы с удовольствием высек себя за это.

Приветливое лицо Пато стало суровым и подозрительным.

— Молодая? — спросил он резко, почти враждебно.

Мишкеи покраснел.

— Я не сказал, что молодая! — ответил он громко, чуть не крича.— Какое мне дело, сколько ей лет! Интересная — да!

Пато молчал. Лицо его было непроницаемым. Прищурив глаза, он смотрел перед собой, розовый шрам на его лбу побледнел.

— Нет в ней ничего интересного,— пробормотал он наконец и, не взглянув на агронома, зашагал домой.

Мишкеи долго смотрел ему вслед. «Я отниму ее у тебя,— с завистью и злостью подумал он,— хоть на одну ночь, но отниму...»

...Прошла неделя, но Мишкеи все не представлялся случай оказаться с Мариш наедине. Он ходил за ней с поля на поле, отыскивал для себя какое-нибудь дело именно там, где работало ее звено. Но даже в обеденный перерыв женщины располагались группой на меже, и все странствия Мишкеи заканчивались обычно тем, что вместо страстного признания Мариш он должен был разъяснять женщинам смысл прореживания свеклы, до боли сжимая от досады пальцы.

Он заметил, что Мариш расцвела. Вырвавшись из своего узкого мирка, оказавшись среди товарок, она все чаще улыбалась и шутила. Выражение застывшей обиды сходило с ее лица, и Мишкеи украдкой и подолгу дивился тому, как быстро она оживилась, стала общительной. И глаза ее и рот стали выразительными, суровые черты, горькая замкнутость сменились выражением дружеского непосредственного любопытства. «Она хорошо чувствует себя на людях,— думал Мишкеи,— ведь вот молодые и те зовут ее Маришкой, и ей, видно, нравится это...» Впрочем, в поле она была такой ловкой и неутомимой, что женщины с трудом поспевали за ней. А когда кто-нибудь из товарок, тяжело дыша, кричал ей вслед: «Мариш, попридержи!» — ею овладевала какая-то детская гордость. Она победоносно, счастливо и лучисто улыбалась, как человек, который почувствовал вкус похвалы и никак не может насладиться ею.

Однажды к концу беседы агронома к ним завернул председатель. Он одобрительно кивал, слушая Мишкеи, а затем, взяв его под руку, зашагал вперевалку к селу.

— Ну, приятель? — начал он.— Что я говорил? Найди мы целый мешок золота — это было бы ничто в сравнении с этими Пато! Он—хозяин, не говоришь ему, не подгоняешь — все равно дело делает, такая уж

у него кровь... Я, брат, уважаю батрацкую косточку, сам служил у барина, будь он проклят, но, знаешь, таких, как мы, до сих пор надо подстегивать крепким словечком: пошевеливайся, не спи на ходу, черт тебя дери! А эти Пато, видно, просто не умеют лениться... Ты видел Мариш? Как паровая машина... Тянет за собой всех женщин. Что ты на это скажешь, приятель?

Мишкеи пожал плечами с деланым безразличием.

— С какой стати мне смотреть на нее? Такая, как и все.

— Э-э, не говори! Не прав ты, брат! Будь все такими, картофель давно был бы убран... Скажи мне, приятель, чем они тебе не понравились?

— Кто?

— Да эта баба и ее муж. Словом, Пато.

— С чего ты взял?

— Я только предполагаю...

— Я тоже рад, что они вступили!

— Тогда все в порядке. Было бы плохо, очень плохо, если бы между нашими лучшими людьми не было согласия. Это вредит делу, очень вредит, а ты, брат, тоже один из лучших — я это ни от кого не скрываю и на собраниях всегда говорю, сам знаешь. Но ты должен понять, что и Пато — один из лучших, ты не можешь отрицать... ведь это так же верно, как и то, что мой тесть говорит нам со свояком по очереди: ты мой самый лучший зять...

...В отчаянии Мишкеи уже дошел до того, что по вечерам со щемящей тоской в сердце выслеживал Мариш, когда она носила на сливной пункт молоко. Вполголоса ругаясь, избегая встречи с членами кооператива и другими знакомыми, он бродил за ней в темноте. Случалось, что поблизости никого не было, но тогда Мариш приходила сюда с кем-нибудь из соседок.

И все же им удалось наконец встретиться — неожиданно, с глазу на глаз.

Как-то в пятницу, после полудня, над округой разразилась гроза. Проливной дождь прогнал женщин с поля. Одни, шлепая по лужам и разбрызгивая грязь, попытались добраться домой, другие спрятались под тутовыми деревьями, окаймлявшими поле. Мариш тоже выбежала на дорогу, ведущую в село, но тут хлынул такой ливень, словно у низко нависшей тучи сразу лопнуло брюхо. Женщина спряталась в полуразвалившемся заброшенном сарае, где когда-то выжимали виноградный сок. Мишкеи поспешил за ней вслед. Добираясь до сарая, он промок до нитки и уже здесь, чертыхаясь, будто не замечая Мариш, стряхнул с плаща воду.

Женщина заговорила откуда-то из угла:

— Не расстраивайтесь, товарищ... Не страшно, если вы немного промокли.

Мишкеи обернулся.

— Кто здесь? — спросил он.

— Это я, Мариш. То есть... Патоне.

— Ливень-то какой припустил...

— Да.

Мишкеи перешагнул через валявшиеся на полу закопченные кирпичи и с радостью заметил, что ветхая крыша кругом протекает и только северный угол остается сухим. Для Патоне, значит, не покажется странным, если он проберется в угол, поближе к ней. И все же Мишкеи начал

сомневаться в своей затее — каким-то дальним и извилистым путем пришла мысль: а что, если ливень прекратится и он ничего не добьется? И Мишкеи решил не терять времени.

— Добрый день,— сказал он и подал ей руку.

Мариш засмеялась:

— Ой, я же вся промокла!

— Я тоже...

Она действительно промокла до нитки, с ее юбки обильно стекала вода. Блузка плотно облепила ее тело, не оставляя места догадкам — соски вырисовывались так четко, словно она была нагой. Мишкеи стиснул зубы.

— Я вот,— заговорил он сиплым голосом, не в силах отвести взгляд от ее груди,— давно уже собирался поговорить с вами.

— Со мной?

— С вами. И о том, что я хочу сказать вам... я не могу больше молчать. Я не могу молчать, пусть даже меня распяли бы.

— Вы говорите — давно? Давно ли мы виделись впервые?

— Бывает, что и день равен году. Даже час — это много. Если человек горит в огне... Мариш, вы ведь не сердитесь, что я так говорю? Вы не заслуживаете вашей участи, и не ваша вина, что бесчувственный старик...

— Мне холодно,— быстро сказала женщина, поеживаясь.— Если вы не одеваете плащ, то не дадите ли его мне?

Мишкеи недовольно протянул, почти кинул ей плащ. Мариш плотно укуталась. Она заметила жадный, ощупывающий и раздевающий взгляд мужчины, но на ее лице не было ни испуга, ни протеста, на нем отразилась какая-то задумчивая и участливая грусть.

— О чем вы хотите со мной поговорить? — спокойно спросила она и рукой откинула со лба прядь намокших волос.

Она ждала ответа, внимательно, спокойно и холодно разглядывая его лицо. Мишкеи не знал, что сказать. Витиеватое и смелое признание, которое он обстоятельно продумывал уже много дней и для которого этот обветшалый сарай был великолепным романтическим местом, где-то застряло, остыло, исчезло куда-то.

Наивную и робкую женщину можно увлечь пламенным потоком слов. Но Мариш, сегодняшняя Патоне, уже не робкая, не наивная... Здесь нужно другое признание, новое, не такое нетерпеливое, как у молодого парня.

— Вы даже не знаете,— сказала женщина,— что я собой представляю. Чего вы хотите от меня?

На мгновение им овладело необузданное желание без слов, пылко и грубо привлечь к себе влажное тело женщины — будь что будет. Но уже в следующее мгновение это желание показалось ему смешным: ну хорошо, обнимет, прижмет, как мальчишка... а потом что? Разве он этого ждал? Разве он горел и терзался ради того, чтобы вот так, на мгновение сжать ее без желанной ласки, без ответного трепетного чувства?

Женщина медленно покачала головой, словно горестно удивляясь и с невольной грустью осуждая что-то нехорошее и неприглядное, к чему она не имеет никакого отношения.

— Вы этого хотите? — тихо спросила она и распахнула плащ Мишкеи на своей озябшей груди.— Да?

«Да, да!» — застучало сердце Мишкеи, но вслух он произнес:

— Нет, нет!..

Он почувствовал, что густо покраснел, что женщина разгадала его ложь, разгадала, может быть, уже тогда, когда он только что открыл

рот на пороге сарая. И все же он упрямо затряс головой и протестующе выкрикнул: «Нет, нет!..»

Раздался грохот, с крыши сарая свалился слежавшийся пучок камыша, где-то рядом ударила молния.

— Другого вы хотеть не можете,— сказала Мариш и опять плотно запахнула плащ.— Я знаю... Многие меня хотели и хотят. Знаю! Что ж вы разглядели во мне? Мои плечи, руки, бедра... А вот что я думаю, чего я хочу и чего не хочу... этого вы не знаете. Да и не хотите знать. Никто этого не знает.

— Послушайте!...

— Меня не привыкли просить. Мне обычно говорили, чего от меня хотят.

— Я тоже думал об этом! Думал, что вы несчастны, обездолены, что... Не отрицайте, вы плохо живете с мужем, вы с радостью сбежали бы из дому, может быть даже муж бьет вас! Мне было жаль вас, да, я мог только жалеть там, в конторе, когда вы пришли с мужем. Это было человеческое чувство, и только, я не мог даже представить, что, кроме сочувствия, у меня может быть к вам какое-то другое отношение, но что я могу поделать, если вся вы такая, что вас нельзя долго жалеть?

Мишкеи произнес это единым духом, пылко и яростно. И сам поверил, что раньше он действительно жалел ее и только позже — желал.

Мариш молчала. Мишкеи продолжал смотреть на нее, затем отвернулся, наблюдая за колышущейся, местами густой, а местами тонкой сеткой дождя.

— Я живу очень одиноко,— сказал он, по-прежнему глядя в сторону.— Никого у меня нет... Один-одинешенек. Стукнуло уже сорок, есть диплом, хорошо зарабатываю, все есть — нет только дома; а ведь когда-то, давно, хоть и был я бедняк-бедняком, да по крайней мере мать ласковое слово говорила...

Мишкеи и сам не заметил, как его увлек поток воспоминаний о минувших годах; он все рассказывал, как никогда и никому еще не рассказывал, о том, как несмышленый парнишка, сын батрака, стал взрослым, авторитетным и уважаемым работником. Рассказывал обо всем: о лукавой светловолосой девчонке, которую вот уже двадцать лет ищет в других женщинах, о войне, о борьбе на поделенной земле, об учебе... да, об учебе! Трудно давалась она его проржавевшей голове. Мучительно трудно было исписывать каракулями тетради, постоянно стыдясь своих более сообразительных товарищей... Дождь уже начал утихать, тучи над виноградниками поползли лоскутами, а он все говорил, вспоминал, исповедовался, словно ливень смыл с него весь хлам, что накопился в нем за целые годы, и этот хлам уплывал теперь вместе с обильными потоками дождя.

— Сейчас перестанет,— сказал Мишкеи, не оборачиваясь.— Вы уйдете... Так скажите людям, что нашелся еще один глупец... Мне теперь безразлично... Скажите им, мне все равно.

В эту минуту Мишкеи верил в то, что говорил. Ему стало легче. Вот так кому-то, а может быть, только ливню, он без прикрас поведал, что стоит на пороге старости, с грузом прожитых лет, со смятенными чувствами, один.

Мариш сказала:

— Про вас говорят, что вы хороший человек...

— Я? Хороший человек? Отчего же?

— Не знаю. Так... говорят. Порядочный, добрый.

— А-а, это совсем другое! Люблю землю, люблю наш край, частень-

ко с людьми толкую, мол, так надо, а так не надо. Вот и все. Но это не добродетель... Я сам не знаю что!

— Видите, а я никогда не могла сказать, что так, а что не так.

Мишкеи обернулся. Он взглянул на женщину, но лицо ее не изменило выражения.

— Мой отец тоже был батраком,— продолжала Мариш.— У здешнего барина батрачил. А я... была красивой девушкой, вот мой муж и заприметил меня. И взял. Нет, нет, он не плохой человек... не плохой. Я не знаю, почему думаете, что он груб и даже бьет меня. Это неправда. Он никогда меня даже пальцем не тронул.

Мишкеи почувствовал себя уставшим и таким опустошенным! Он излил наконец свою душу, излил и ту мучительную тоску, которая, как отзвук его прежних чувств и встреч, уже давно не давала ему покоя. И все же осталась в нем какая-то капля жестокости.

— Защищаете мужа,— с горечью произнес он.— Еще окажется, что он тоже хороший человек.

Мариш покачала головой.

— Нет, не хороший он человек. Не хороший и не плохой. Он никогда не обижал меня, не поднимал руку... Но за пятнадцать лет он ни разу не спросил, что я думаю, чего хотела бы. Не спрашивал, желанный он мне или нет. Если он желал меня, так и должно было быть... Если вставал раньше обычного, я тоже вставала. Если не спал ночь напролет, и я не спала. Если покупал что-либо, не для меня, а для дома, для хозяйства,— только показывал, но никогда не говорил заранее, не советовался. Так вот и жили... Была сыта, имела хороший дом, хорошие вещи, все было. Только не было жизни... Что это за жизнь, если за тебя всегда думает другой? Если мне что-нибудь нравилось, я не могла об этом сказать. Даже фартук он выбирал мне сам. Потому что он мог все, а я ничего, потому что он взял меня, а не я его... Вы этого не знаете. Не понимаете. Вам никогда не давали что-нибудь так, любезно и свысока, что хотелось швырнуть обратно в лицо... Пятнадцать лет я живу не своим трудом, а благотворительностью. А ведь мужу повезло Работала-то я за троих. Только чтобы не остаться в долгу.

— Ну, а дальше? Пусть все идет по-старому?

Мариш отрицательно покачала головой.

— Нет. Я хочу уйти от мужа.

— Уйти! Но... ради кого?

— У меня никого нет. Но до этого я существовала лишь постольку, поскольку носила имя мужа. Если бы я не была Патоне, я была бы никто.

— Пустые слова!

— Нет. Может быть, вы не понимаете. Но именно так было. Люди здоровались со мной потому, что у меня была одежда и все необходимое... потому что я была Патоне. Я была частью мужа, и, если эта часть отпадет, она погибнет, ее не станет... Хоть бы он бил меня, и то было бы легче. С горя, назло ему, из-за упрямства у меня было бы хоть какое-нибудь желание. Поэтому-то я и спросила, когда мы подписывали заявление, можно ли мне написать свою девичью фамилию. Все-таки это не Патоне. Мариш — совсем иное, человек, у которого есть свое имя... И теперь мне ничего не нужно давать. За меня не нужно думать. Меня теперь зовут Мариш. Я и есть Мариш и хочу вычеркнуть эти пятнадцать лет из своей жизни.

В сарае было душно. Патоне сняла плащ, протянула Мишкеи. Ей уже было безразлично, посмотрит ли он на нее прежним взглядом или нет. Но его взгляд выражал другое. Мишкеи смотрел на ее лицо.

— Не сердитесь,— продолжала Мариш.— Я на вас не сержусь. Вы рассказали мне о своей жизни, я вам — о своей... Моему мужу нужно было только мое тело. То, что ему сразу бросилось в глаза. Но и позднее он не хотел увидеть во мне другое. А я вот... стала надеяться, что и женщина такой же человек, как другие... Если она ловкая, значит — ловкий человек. Если работящая, значит — работящий человек. Если сметливая, значит — сметливый человек. И уж только тогда тело... если она не ловка и работать не любит...

Мишкеи хотелось закурить, но папиросы отсырели в кармане намокшего плаща. Он попытался выбрать сухую папироску, но не нашел и выбросил всю пачку в угол.

Он взглянул на женщину, которая снова начала дрожать в своей промокшей одежде.

— Возьмите плащ, если нужно,— сказал он и улыбнулся.— Я не возражаю, если вы его наденете.

Теперь улыбнулась и Мариш.

— Спасибо,— поблагодарила она и набросила плащ на плечи.— Но я уже сказала, что не сержусь. Только... если человеку довелось однажды пожить недостойно, второй раз так жить он не хочет...

Теперь ее взгляд выражал не грусть, а скорее любопытство и примирение. Мишкеи было душно. Он лихорадочно думал о себе, о супругах Пато, об этой удивительной женщине, которая за пятнадцать лет не захотела и не позволила похоронить в себе человека, стремящегося к свету. А заговорил он совсем о другом.

— Что, если,— с новой надеждой взглянул Мишкеи на женщину,— если бы я полюбил вас такой, какой вы хотите быть? Ни перед кем не униженной? Не Патоне, а Мариш?

Мариш перешагнула порог сарая. Ветер гнал густой пар, насытившаяся влагой земля дышала. Мишкеи тоже вышел из сарая, встал рядом с женщиной, ожидая ее ответа. По дороге, огибая лужи, шел председатель, засучив до колен штаны.

— Дьявольщина,— произнес Мишкеи.— Увидит еще нас и черт знает что подумает.

Мариш пожала плечами.

— Пусть думает, что угодно. Я знаю, чего хочу. Он, кстати, не сюда идет. На луг свернул.

Женщина решительным жестом вернула Мишкеи плащ.

— Высохну на солнце,— пояснила она.— Доберусь до дому, будто и не была под дождем.

— Вы мне ничего не ответили,— остановил ее Мишкеи.

Женщина опустила голову, искоса наблюдая за лицом агронома.

— Жизнь покажет! — сказала она и, уже шагая по обочине дороги, улыбнулась ему беспечной девичьей улыбкой.

Мишкеи долго расхаживал возле сарая. Фигура женщины была уже едва заметна в зеленеющей кукурузе, а он все переминался с ноги на ногу.

— Я подожду! — громко сказал Мишкеи одинокому, одичавшему кусту крыжовника.— Подожду...

Насвистывая, он зашагал к лугу, вслед за председателем.

Гийом Аполлинер

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перевод с французского М. Кудинова

МОСТ МИРАБО

Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь...
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет.

Ночь приближается, пробил час.
Я остался, а день угас.

Мы за руки взялись, и сердца стук
Слышен тебе и мне.
Мгновенья бегут, замыкая круг,
Под мостом наших трепетных рук.

Ночь приближается, пробил час.
Я остался, а день угас.

Словно поток, словно эта волна,
Уносится прочь любовь.
Жизнь глубока — не достанешь дна,
Надежда — хмельнее вина.

Ночь приближается, пробил час.
Я остался, а день угас.

Проходят сутки, недели, года...
Они не вернутся назад.
И любовь не вернется... Течет вода
Под мостом Мирабо всегда.

Ночь приближается, пробил час.
Я остался, а день угас.

ПРОЛЕТАРИЮ

Ты без вины в плену и не умеешь петь.
Когда вокруг тебя грохочет сталь и медь,
Ты молча трудишься, а за стеной завода
Торжественно вершит свой добрый труд природа.

Холодный аквилон, летя к морям чужим,
С безрадостных цехов сдувает едкий дым.
Земля растит посев, растит познаний древо,
Где зреет для тебя плод мятежа и гнева.
Твоих утопленников море скрыть спешит,
Огонь чудесных звезд горит в ночной тиши,
Неся тебе свой блеск, как свет надежды дальней,
Колдуя до утра над тем углом печальным,
Где в муках и в поту хлеб добывают свой
И где рабочих крик похож на хриплый вой.

Не стоит дорого сиянье звезд. И что же?
Вся кровь твоя и жизнь намного ли дороже?
Ты породил сынов, похожих на богов,
Спокойных и простых, но их удел суров.
Ждут дочерей твоих страданья и заботы,
И жен твоих святых уродует работа,
Их руки высохли, они стыдятся их;
И роскошь детская для девственниц твоих
Доступна лишь в мечтах — возьмут ее другие,
Другим сулят успех витрины дорогие.
А между тем ведь ты, ты создал красоту
Недобрых городов, забравших весь твой труд.
И вот во мраке шахт печально и сурово
Ты думаешь порой о сказочных альковах.

В ТЮРЬМЕ САНТЭ *

I

Меня раздели догола,
Когда ввели в тюрьму;
Судьбой сражен из-за угла,
Низвергнут я во тьму.

Прощай, веселый хоровод,
Прощай, девичий смех:
Здесь надо мной могильный свод,
Здесь умер я для всех.

II

Нет, я не тот, совсем не тот,
Что прежде.
Теперь я арестант, и вот
Конец надежде.

Сочится солнце сквозь окно,
И на страницу
Лучами пыльными оно
Струится.

* В 1911 году Гийому Аполлинеру было предъявлено нелепое обвинение в похищении из Лувра знаменитой картины Леонардо да Винчи «Джоконда», и поэт был заключен в тюрьму.

Лучи танцуют на стихах,
Им нет заботы,
Что в этих четырех стенах
Тоскует кто-то.

III

В какой-то яме, как медведь,
Вперед-назад, вперед-назад,
А небо... лучше не смотреть —
Я небу здесь не рад.
В какой-то яме, как медведь,
Хожу вперед-назад.

А рядом вдруг забьет ручей
И зазвенит вода:
Тюремщик связкою ключей
Играет иногда.
И рядом вдруг забьет ручей
И зазвенит вода.

IV

О, как я тоскую в стенах глухих,
Окрашенных бледной краской!
По строкам неровным стихов моих
Мухи скользят с опаской.

За что ты печаль мне эту принес,
Скажи, всемогущий боже?
О, сжалься! В глазах моих нету слез,
На маску лицо похоже.

Ты видишь, сколько несчастных сердец
Под сводом тюремным бьется?
Сорви же с меня терновый венец,
Не то он в мозг мне вопьется.

V

Как медленно ползет здесь время
И как здесь на душе темно!

Но время это, как ни тяжко бремя,
Оплакивать ты будешь: ведь оно
Промчится быстро, как любое время.

VI

Здесь гул городской мне дороже хлеба,
Но в этой обители тьмы
Я вижу только враждебное небо
И голые стены тюрьмы.

День кончился. Лампа над головою
Горит, окруженная тьмой.
Все тихо. Нас в камере только двое:
Я и рассудок мой.

ЛОРЕЛЕЯ

Белокурой колдунье из прирейнского края
Жизнь и честь отдавали, от любви умирая.

И велел ее вызвать епископ на суд,
Все в душе ей прощая за ее красоту.

«О, скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны,
Кто тебя научил этим чарам опасным?»

«Жизнь мне в тягость, епископ, и проклят мой взор,
Кто взглянул на меня — свой прочел приговор.

О епископ, в глазах моих пламя пожара,
Так предайте ж огню эти страшные чары!»

«Лорелея! Пожар твой всесилен: ведь я
Сам тобой околдован и тебе не судья».

«Замолчите, епископ! Помолитесь и верьте:
Это воля господня — предать меня смерти.

Мой любимый уехал, он в далекой стране,
Все теперь мне не мило, все теперь не по мне.

Сердце так исстрадалось, что должна умереть я·
Даже вид мой внушает мне мысли о смерти.

Мой любимый уехал, и с этого дня
Свет мне белый не мил, ночь в душе у меня».

И трех рыцарей кликнул епископ: «Скорее
Уведите в глухой монастырь Лорелею.

Прочь, безумная Лор, волоокая Лор!
Ты монахиней станешь, и померкнет твой взор».

Трое рыцарей с девой идут по дороге.
Говорит она стражникам хмурым и строгим:

«На скале той высокой дайте мне постоять,
Чтоб увидеть мой замок могла я опять,

Чтоб свое отраженье я увидела снова,
Перед тем как войти в монастырь ваш суровый».

Ветер локоны спутал, и горит ее взгляд,
Тщетно стража кричит ей: «Лорелея, назад!»

«На излучину Рейна ладья выплывает,
В ней сидит мой любимый, он меня призывает.

Так легко на душе, так прозрачна волна...»
И с высокой скалы в Рейн упала она,

Увидав отраженье в потоке глубоком —
Глаза цвета Рейна и солнечный локон.

КОЛОКОЛА

Цыган мой, ты слышишь? Трезвонят опять.
В глазах у меня — туман.
Надеялась я — никому не узнать,
Что тебя я люблю, цыган.

С колоколен высоких видели нас
Церковные колокола:
Всем людям расскажут они, что не раз
Я с тобою вместе была.

А завтра Катрин, Урсула, Мари,
И с ними моя сестра,
И пекарь с женой, и сосед Анри
Судачить начнут с утра.

И когда по улице я пойду,
Улыбаться мне будут вслед...
Цыган, ты принес мне любовь, и беду,
И слезы на много лет.

ОСЕНЬ

Кривоногий крестьянин и усталый вол
Медленно бредут сквозь туман осенний,
Мимо притаившихся убогих сел.

О кольце обручальном, о любви и об измене,
О тех, кто полюбил, а после разлюбил,
Напевает песню крестьянин кривоногий.

Осень, осень! Твой туман холодный лето погубил!..
Два серых силуэта бредут по дороге.

БРОДЯЧИЕ АКРОБАТЫ

Мимо ворот постоялых дворов,
Мимо фруктовых садов
Идут акробаты дорогой своей
Через деревни, где нет церквей.

И детвора, сбежав со двора,
Их окружает уже с утра;
Покорно деревья им дарят плоды
В награду за их труды.

У них барабаны, и обручи есть,
И коврик, и гири — всего не счесть.
Косолапый медведь, их испытанный друг,
Медяки собирая, обходит круг.

БЕЗВРЕМЕННИК

Ядовиты луга в дни осенней прохлады:
Безвременник медленно
Отравляет стадо.
Лепестки у безвременника цвета сирени,
И похожи глаза твои на цветок осенний:
Бледно-синие, словно осень в нашем краю,
Глаза твои медленно жизнь отравляют мою.

Дети шумной ватагой выбегают из школы,
И губной гармоники звук раздается веселый;
Детвора, на луга совершая последний набег,
Рвет безвременник цвета твоих опущенных век,
Что трепещут, словно цветы на ветру сумасшедшем.

Тихо песню пастух напевает о лете ушедшем.
И медленно бредут по дороге стада,
Покидая отравленный луг навсегда.

ЛЯГУШАЧИЙ БЕРЕГ

У берегов островка
Тихо качаются лодки пустые.
Теперь
Ни в воскресные дни, ни по будничным дням
Ни художники, ни Мопассан не катают в них дам,
Толстогрудых и глупых, как пробка.
Лодки пустые,
Мне больно смотреть, как вы тихо качаетесь там,
У берегов островка.

О ПРЕДСКАЗАНИЯХ

Я знал предсказательниц, правда немногих.
Мадам Сальмажур научилась на картах гадать в Океании,
Где ей к тому же представился случай
Стать участницей обворожительной сцены,
Когда совершался акт людоедства.
Об этом она говорила не всем.
Но что касается тайны грядущего,
Тут уж она не могла ошибиться.

Другая гадалка — кажется, имя ее Маргерит —
тоже довольно искусна.
Однако мадам Деруа вдохновеннее всех.
И всех прозорливей:
Было правдой все то, что она мне сказала о прошлом,
А ее предсказанья сбывались в назначенный срок.

И еще я знал человека, который по тени гадал,
Но мне не хотелось, чтоб тень моя стала объектом допроса.

Бьется зеркало, соль рассыпается, падает хлеб...
Пусть безликие боги примет мне всегда свою милость даруют.
Впрочем, я ведь не верю, а только смотрю,
и слушаю, и, обратите вниманье,—
Я довольно прилично читаю по линиям рук,
Потому что не верю, а только смотрю...
и слушаю, если возможно.

Дорогой мой Андре, предсказателем может быть каждый;
Но людям так долго внушали,
Что нет у них будущего,
И от рожденья они идиоты,
И невежество — их неизменный удел,
Что поверили этому люди,
И никто себя даже не спросит,
Знает он будущее или не знает.
Религией тут и не пахнет — ни в приметах, ни в предсказаньях:
Это просто попытка наблюдать за природой
И ее истолковывать.
Здесь ничего незаконного нет.

БЕСТИАРИЙ, ИЛИ КОРТЕЖ ОРФЕЯ

Кошка

Хотел бы иметь я в доме моем
Жену, наделенную трезвым умом,
Кошку, что жмется к стене осторожно,
И чтобы друзьями был полон мой дом,
Потому что жить без друзей невозможно.

Верблюд

Было когда-то четыре верблюда
У дона Педро, и он с успехом
На них весь мир не спеша объехал,
И я сотворил бы такое же чудо,
Будь у меня четыре верблюда.

Слон

Слова мои — то же, что бивни слона,
Подарок заморских послов.
За пурпур славы плачу сполна
Ценою поющих слов.

Блоха

Блохи, друзья и любовницы даже
С нами жестоки — они нас любят,
А если вас любят, будьте на страже:
Любимых кусают и даже губят.

Павлин

Когда свой хвост распускает павлин,
Не оторвать от красавца взгляд.
Ах, если бы скрыть недостаток один,
Скрыть только пустяк — обнаженный зад!

Гусеница

Богатство — это труд средь зарослей густых.
Поэты бедные, послушайте собрата:
Трудитесь! И тогда из гусениц простых
Вы превратитесь в мотыльков богатых.

РЫЖЕКУДРАЯ КРАСАВИЦА

Вот я весь перед вами, исполненный здравого смысла,
Знающий жизнь и все то, что живые могут о смерти узнать,
Испытавший страданья и радость любви,
Иногда умевший навязать свое мненье другим,
Изучивший чужие наречья,
Немало блуждавший по свету,
Видавший войну в артиллерийских частях и в пехоте,
Раненный в голову, трепанированный под хлороформом,
Потерявший в ужасной борьбе своих лучших друзей;
Я знаю о старом и новом все то, что под силу узнать одному человеку.
И сегодня, не думая больше об этой войне,
Войне между нами, друзья, и за нас,
Я сужу беспристрастно о загнувшейся распре между традицией
и открыванием новых путей,
Между Порядком и броском в Неизвестность.

Вы, чьи уста подобны божьим устам,
Вы, чьи уста — воплощенье порядка,
Снисходительны будьте, когда захотите сравнить
Нас, стремящихся всюду найти неизвестность,
С теми, кто был идеалом порядка.

Мы не враги ваши, нет!
Мы хотим исследовать край необъятный и полный загадок,
Где цветущая тайна открывается тем, кто желает ею владеть,
Там сверкание новых огней и невиданных красок,
И мираж ускользающий
Ждет, чтобы плоть ему дали и дали названье;
Мы стремимся постичь этот мир, погруженный в молчанье,
Это время, которое можно стереть или снова вернуть.

Снисхожденье к нам! Мы ведем постоянно сраженье
На границах грядущего и беспредельного.
О снисхожденье
К нашим слабостям, к нашим ошибкам, грехам!

Вот и лето настало, пора исступленья,
И мертва моя юность, подобно весне.
Приближается время палящей мечты, и, горя нетерпеньем,
Жду ее наяву и во сне.
Чтобы шел я за ней, чтоб любовь мою душу зажгла,
В благородную, нежную форму она воплотилась,
Вот приходит, зовет за собой, и, даруя мне милость,
Рыжекудрой красавицы облик
Она приняла.
Волосам ее золото блеск подарило,
Словно молния, вспыхнув, застыла,
Словно пламя зажгло на розах
Свой узор, горделивый и грозный.

Смейтесь, люди!
Чужие и близкие мне, надо мною вы смейтесь,
Потому что есть много такого, о чем я сказать вам не смею,
Так много, о чем вы мне сами сказать не дадите;
Снисхожденья прошу я у вас.

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

Завещание живым

(Дневник чешской патриотки Марии Кудержиковой, казненной фашистами)

Публикация и вступительная статья Моймира Грыгара

Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик

Перед нами лежит связка пожелтевших листков, исписанных мелким девичьим почерком. Это дневник и письма Марии Кудержиковой, молодой чешской коммунистки, казненной в 1943 году за участие в антифашистском движении Сопротивления.

Когда читаешь записки Марии, названные ею «Фрагменты жизни и раздумий», невольно вспоминаешь «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. В них выражено чрезвычайно родственное восприятие жизни, обусловленное не только общим мировоззрением, но и сходством духовного облика, темперамента и особенностями национального характера.

О чем рассказывает Марушка в своем дневнике и письмах? За несколько месяцев и за несколько дней до смерти она пишет о жизни. О детстве, близких людях, о родном доме и своем милом моравском крае, о том, кого любила, о товарищах по заключению. Юная нежная девушка прошла через жестокие пытки и страдания. Но она даже не упоминает о них. Лишь иногда промелькнет в дневнике несколько слов, намеков на этот мрачный период ее жизни. Особое звучание ее рассказу придают душевное спокойствие и радость, с какими говорит Мария Кудержикова о прекрасном в жизни, о любви, доброте, дружбе.

Многие авторы тюремных дневников пишут о муках и драме допросов, стремясь дать документальное свидетельство о бесчеловечных методах гестапо. Другие рассказывают о тяжелой борьбе узников фашистских застенков с предательством, страданиями, смертью.

Марушка не пишет ни о допросах, ни о пытках, ни о том, как смогла она все это вынести. Ее внимание обращено к источникам сил, позволивших ей, как и миллионам безымянных героев второй мировой войны, с гордо поднятой головой и ясной мыслью взглянуть смерти прямо в глаза. Именно поэтому записки Марии Кудержиковой — это больше, чем документ чувств и раздумий одного человека. Они воссоздают духовный облик целого поколения, которое вступало в жизнь накануне войны и мужественно сражалось против фашизма.

Первая запись в дневнике помечена 7 декабря 1942 года. В то время Мария уже знала, что ей вынесен смертный приговор. Оставалось еще несколько месяцев, недель, дней жизни...

С этого момента и начинается ее рассказ.

Мрачная тюремная камера. Окованные железом двери с небольшим круглым «глазком». Высокая девушка легким шагом сту-

пает по почерневшему полу. Взгляд ее темных глаз задумчив, в мягкой линии рта есть что-то детское. Она останавливается у зарешеченного окна. Ей виден клочок серого неба, тюремная стена, здание напротив. Издалека долетает приглушенный шум улицы — грохот колес по мостовой, звуки трамвая, голоса детей. Где-то бьет церковный колокол. Его убаюкивающие звуки переносят девушку в прошлое...

Вот она, маленькая девочка, сгребает свежескошенную траву. Слышится колокольный звон. Люди на полях оставляют работу, на минуту преклоняют колени. Молится и девочка, горячо, страстно.

Как давно это было!

В далеком прошлом осталась наивная детская вера в справедливого, доброго создателя. Жестокая действительность разбила хрустальный замок детской религиозности.

Родной край!

Плодородная земля пшеницы, слив, виноградников. Изваяния святых застыли на перекрестках дорог и на деревенских площадях.

Марушка выросла в очень религиозной среде. Родители стремились воспитать в ней веру в бога, покорность, христианские добродетели, освященные традицией.

Но пришла школа, книги, пора вопросов и сомнений. Девочка подрастала и начинала понимать, как далека реальная действительность от ее детских представлений о гармонии мира. Божьи заповеди и библейские притчи уже не были для нее надежной опорой в поисках справедливости. Она начала задумываться над окружающей ее жизнью.

Долгие годы угасала прикованная к постели тяжелой болезнью Марушкина тетя, которая могла быть примером долготерпения и покорности. Батраки из соседнего имения, работавшие всю жизнь от зари до зари, к старости вынуждены уходить из дому с нищенской сумой. Монеты, которые бросали им прохожие, были слишком жалкой платой за многолетний каторжный труд. Крестьяне из горных деревень жили в деревянных покосившихся домишках, по вечерам зажигали лучину; каменистые поля на склонах гор, откуда дожди каждый год уносили почву, не могли прокормить своих хозяев.

Скажите, чья вина в этом? Почему на свете столько страданий? Отчего божья справедливость так непонятна? Марушка не находила ответа на эти вопросы, мрак ее сомнений сгущался.

И тогда пришел Ян со своими ясными убедительными объяснениями. Сначала она боялась их, не хотела принимать. Но аргументы Яна были сильнее, чем ее вера,— за ними была правда. Марушка вспоминает, с каким волнением читала она впервые «Коммунистический манифест», статьи Маркса и Ленина. Многого она не понимала, но Ян был терпеливым учителем. Он был на несколько лет старше. В раннем детстве он лишился родителей и жил у чужих людей. Ян знал, что такое бедность и как горек хлеб, который дают из милости. Коммунизм для него не был только теорией, его убеждения вытекали также из собственного жизненного опыта.

Они ездили вместе в гимназию и всю дорогу спорили. Ян был вспыльчив и решителен, в жизни и в спорах уступал неохотно. Но вскоре он понял, насколько настойчива и последовательна Марушка. У них была страстная дискуссия. О людях и боге, о морали и предрассудках, о коммунизме и Советском Союзе, о демократии и диктатуре пролетариата...

Марушка постепенно признавала, что Ян прав. Детское представление о мире бледнело перед реальной действительностью. Девушку вначале пугала ее суровость, а потом она поняла, что реальный мир прекраснее самой яркой и совершенной иллюзии. Дружба с Яном перерастала в глубокое взаимопонимание, отсюда был уже только шаг к любви. Тенистые аллеи парка стали свидетелями их первых поцелуев. Говорят, что первая любовь часто бывает скорее детской игрой, чем серьезным глубоким чувством. Отношения Марии и Яна были иными. Оба были взрослее и искреннее многих своих одноклассников. Легкомысленный флирт их не привлекал. Они были требовательны друг к другу. Марушке хотелось видеть в любимом только хорошее. А Ян был властен, уверен в себе и любил подчеркнуть свое превосходство. Она болезненно переживала это, неохотно мирилась со всем, что ее ранило.

И все-таки это был один из самых счастливых периодов ее жизни. Как богат он был новыми чувствами, мыслями, мечтами!

Как широки были горизонты жизни, открывающиеся перед ней!

В это время произошло первое серьезное столкновение Марии со своими родителями. Девушка долго скрывала свои сомнения в боге и религии. Не из лицемерия, а потому что для себя самой разрешила еще не все проблемы.

Но вот наступила жестокая минута, когда она должна была сказать родным: не верю! До сих пор видит она перед собой глаза матери, полные отчаяния, боли, страха. До сих пор горит на ее лице отцовская пощечина. Отец ударил ее впервые. Этот день прошел в слезах, обиженная Марушка была полна решимости сопротивляться.

Позднее родные как будто примирились с убеждениями Марушки, но она сама больше, чем кто-либо другой, понимала, какая невидимая стена выросла с той поры между ней и близкими, счастьем и спокойствием которых она так дорожила. Марушку мучило это противоречие, но выхода она не видела. Она не хотела причинять страдания отцу и матери, но не могла отказаться от своих убеждений.

Это было время тяжелых испытаний. И не только для Марушки.

Наступили черные дни мюнхенского предательства и капитуляции.

Мимо дома Марушки, мимо маленькой станции в горах, у самой границы Словакии, день и ночь шли военные составы, груженные танками и орудиями.

Отец возвращался с работы молчаливый, хмурый. В доме возле вокзала поселились немецкие солдаты. Пограничники и гестапо. Иногда в доме воцарялась зловещая тишина. Колонна военных мотоциклов расползалась по грязным полевым дорогам в направлении к словацкой границе и возвращалась поздно ночью или под утро. Когда вылазка была успешной, из окон первого этажа доносились глухие удары и крики ужаса и отчаяния.

Не раз Марушка, услышав их, просыпалась ночью, беспокойно металась в постели.

Что-то должно случиться, господи, что-то должно случиться, ведь не может она молча смотреть на это!.

Однажды Марушке передали поручение. Письмо. Товарищи из организации, с которыми она когда-то познакомилась через Яна, обращались к ней за помощью. Нужно помочь одному подпольному работнику, члену коммунистической партии, перейти границу. Она хорошо знает горы, будет надежной проводницей.

Дождливая ночь. Дом спит. Марушка тихо-тихо открывает окно и бежит через сад. У леса ее ждет молчаливый человек. Крепкое рукопожатие. И вот они исчезают в лесной тьме. Густая пелена дождя прикрывает их, смывая следы.

Дождливая ночь.

Утром мать никак не может разбудить Марушку.

— Дочка, вставай, уже шесть часов... Опоздаешь в школу!

Девушка просыпается; глаза усталые, ноги онемели. Мать с удивлением смотрит на промокшие туфли Марушки и следы грязи на полу. Боже, что происходит с ее Марушкой?..

Так началось *это*.

Марушка сама просила давать ей новые задания. Она выполняла их самоотверженно, сознавая, что ее убеждения не расходятся с делом.

Ее приняли в нелегальную организацию коммунистической молодежи. Встречи происходили в сторожке у Княжичской плотины, возле стадиона, где проводились военные занятия фашистской молодежи.

В то время — это было уже после выпускных экзаменов — Марушке в порядке трудовой повинности пришлось пойти работать на текстильную фабрику в небольшом городке возле Брно. Днем она стояла у станка, ночью размножала и разносила листовки, переправляла товарищей через пограничные горы в Словакию, участвовала в актах саботажа, как связная ездила в близкие и отдаленные пункты.

В подпольную работу Марушка вкладывала все свои силы. Она видела в ней смысл своей жизни. Домой приезжала лишь изредка. Мать с тревогой вглядывалась в ее осунувшееся лицо...

Однажды высоко в горах она встретила отца. Долго испытующе смотрел он на дочь. С минуту молчал, затем подал ей руку. «Ничего не нужно объяснять, Марушка, я знаю... Будь осторожна. Все мы должны помогать.»

И Марушка помогала...

Вокзал. Одинокий состав. Вдоль вагонов движутся неслышные тени. Ловкое движе-

ние руки, и масло медленно вытекает на рельсы. Еще одно заученное движение, и песок сыплется в буксы. Люди сбегают с насыпи и исчезают в ближайшем лесу...

Охрана проходит мимо окон фабрики. Огонек сигареты светит во тьме. Тишина. Только ветер шумит в ветвях акаций. Внезапно слышится звон разбитого стекла, свист полицейского, тяжелый топот сапог, крик. Тень стройной девушки мелькает у стены и исчезает.

— Это банда саботажников! Нужно их всех расстрелять! — кричит на другой день в канцелярии человек в военной форме.— Но это им даром не пройдет! За каждый поврежденный станок — одного к стенке!..

У Марушки работа шла хорошо. Она была смелой и решительной девушкой. Ее не пугали никакие трудности, никакие жертвы. Организации нужны были деньги. Много денег. Необходимы были продукты, бумага, оружие, боеприпасы... Марушка отдавала товарищам все свои скромные сбережения. Когда уже ничего больше не осталось, она продала золотые часы, подарок родителей, и написала домой, что просит продать часть земли, которую ей готовили в приданое.

Родители Марии встревожились. Приехала мать с твердым намерением забрать Марушку домой. Мать и дочь провели мучительную ночь. Мать плакала, уговаривала. Марушка осталась тверда в своем решении.

И еще одно тяжкое испытание ждало ее.

Ян, которого она так любила и который был для нее опорой в трудные минуты жизни, становился для нее чужим. Начались мелкие ссоры, потом настало время, когда оба осознали, что не понимают друг друга. Никто не хотел уступить. Ян не одобрял ее поведения. Он тревожился за ее жизнь, упрекал, ревновал к товарищам, к работе, ко всему тому, что не понимал в ней.

День разрыва приближался с жестокой неизбежностью.

Конфликт с любимым коснулся самого существа характера Марушки. Это был решающий шаг в ее духовном развитии, и он по-своему подготовил ее к будущим тяжелым жизненным испытаниям.

Для Марии это был период исканий верного направления и в мыслях и в чувствах. Многое во взглядах на жизнь она приняла от Яна, в сфере интеллектуальной он был для нее авторитетом, пока она не познала многое на собственном опыте. В чувствах она была самостоятельнее, тут ей никто не мог помочь, кроме нее самой. В свою любовь Мария вложила все, что имела и чем жила. Она восприняла идеи, принесенные Яном. Именно потому особенно остро и болезненно ощущала она то, что в чувствах Яна было от прошлого. Она искала в любви свободы, а не подчинения, гармонии, а не постоянной неуверенности, взаимного доверия, а не подозрений. Представление о новом человеке, которое создал у нее Ян, стало причиной их разрыва...

Снова настали долгие дни и ночи, полные напряженной работы. Мария искала и находила опору в товарищах по организации. Коллектив, связанный на жизнь и на смерть общими целями, борьбой, поддержал ее. Всю себя отдавала Марушка работе, и, когда ей удавалось успешно выполнить задание, она ощущала глубокое удовлетворение, радость.

Внезапно наступила развязка.

Она была арестована.

За ней пришли прямо на фабрику. Когда ее везли в закрытой машине на первый допрос, у Марушки возникли мучительные вопросы. Как могло это случиться? Достаточно ли осторожна она была? Не нарушила ли она правил конспирации? Или кто-нибудь провалился и назвал ее имя.. Нет, не может быть! (Последнее предположение, к сожалению, оказалось правдой. Но об этом Марушка узнала значительно позже.)

Через несколько минут она стояла перед комиссаром гестапо Доршем.

Начался первый допрос.

Первое оскорбление, первый удар.. Да, так примерно она все себе и представляла. Неожиданного ничего не было...

После этого допроса она прошла еще через много других, выдержала много оскорблений и мук. Из Брно ее перевели в Прагу, в дом Печека, где в то время допрашивали Фучика и его товарищей.

Из Праги Марию перевели в Бреслау. Там в ноябре 1942 года она была приговорена к смертной казни за распространение антифашистских листовок и участие в диверсионных актах против немецких захватчиков, проводимых подпольной организацией коммунистической молодежи города Брно.

В тюрьме Мария познакомилась с чеш-

скими девушками — им она посвятила свои записки, тюремные подруги стали ближайшими участницами ее диалога с жизнью, с будущим.

Последние два письма Мария написала непосредственно перед казнью — в яркий солнечный весенний день 26 марта 1943 года.

За два дня перед этим ей исполнилось двадцать два года.

С тех пор прошло восемнадцать лет. Записки Марии, вынесенные из тюрьмы ее подругами и тщательно сохраняемые ее родителями, впервые предлагаются вниманию общественности.

До сих пор было напечатано только одно из ее последних писем. В русском переводе оно было опубликовано в журнале «Иностранная литература» № 5 за 1960 год.

И вот перед нами ее дневник, связка пожелтевших писем. Берем в руки первое из них, читаем, прислушиваемся к голосу Марии...

7. 12. 1942

Меня вдруг охватило что-то вроде мистических настроений стихов Бржезины *. Такие же возвышенные чувства, только гораздо более радостные, более человечные, поднимающиеся из самых глубин души. Эти чувства соединяются в единую цепь звеньями человеческих рук, не хрупких и бесплотных, как у Бржезины, а грубых, почерневших в труде. Это руки огромной силы, которые обезвреживают человека-зверя и воздвигают светлые храмы жизни. Так представляю я себе «строителей храма». Я тоже звено, прочно впаянное в эту цепь.

Столько любви окружает и согревает меня. Я радостно улыбаюсь, зная, что за любовь я могу заплатить любовью, что я богата ею. Я не поэт, никогда не сумею срифмовать хотя бы две строки, но я всегда училась постигать красоту вплоть до самых неуловимых оттенков и так же воспринимать чувства. Я всегда была только приемником, с благодарностью впитывающим в себя голоса человеческих душ, поэтически одаренных. Мои слова только попытка воспринять эту неуловимую душевную деятельность. Я не из тех, кто могут, ослепленные лучами красоты, утратить свои взгляды, понимание цели и существа дела.

Мы знаем, в чем наша цель, и сумеем не только безжалостно отмести любые препятствия — и внутри себя и вовне,— но и пойти в решительное наступление, непоколебимо защищаться и вести тотальную войну с врагом. В нашей борьбе мы проявляем столько же твердости, сколько любви и нежности вкладываем в построение светлого мира людей, достойных этого имени. Так и должно быть. Этого требует боевая обстановка. Лес рубят, щепки летят! Одна из них задела тебя, и ты падаешь. Но перед тобой светлая просека и полным-полно рук, занятых работой. И ты улыбаешься...

Я много думаю о том, что такое душа. Это для меня острый вопрос. В понятие души я вкладываю весь комплекс, состоящий из умственных, эмоциональных и волевых элементов и их внешних проявлений, из духовных способностей и их выражения; именно они делают человека человеком и отличают его от животного.

И как глубоко решает этот вопрос ленинская материалистическая философия! Нет духа вне материи, потому что каждое духовное проявление обусловлено правильной деятельностью соответствующих органов.

Чем дальше, тем яснее я понимаю верную мысль Маркса, что религию, бога человек сотворил по своему образу и подобию, а не наоборот. И сколько человеческих черт, черт расы, географической среды, культурного уровня содержат в себе разные

---

* Отакар Бржезина (1868—1929) — чешский поэт-символист. «Рука» и «Строители храма» — поэмы Бржезины.

религии. Конечно, религия сыграла свою общественную и организаторскую роль, но как она злоупотребляла этой ролью!

Моя вера многим правдивее и проще! Люби, помогай людям и борись за торжество человеческой, всеобщей справедливости! А всех, кто стоят на пути, мешают, уничтожай! Не улыбкой можно обезвредить хищника, а только оружием. Такова наша вера — человечная, действенная, земная.

У меня нет ни тени сомнения в справедливости нашего дела, наших убеждений и путей их осуществления. Правоту этого дела подтверждают разум, чувства и опыт не единиц, а масс! И во имя их мы можем не только вдохновенно бороться и работать, но и спокойно, сознательно идти на смерть! Подчиниться законам необходимости, пойти на риск нелегальной работы и борьбы.

Я прошла долгий путь духовного развития, пока достигла этого состояния гармонии, и много людей — в большей или меньшей степени — помогли мне в этом. Сколько различных умственных и эмоциональных влияний, какой опыт и какие переживания!

И вы все, кто мне верят и любят меня, и вы в этот момент больше чем когда-либо «творите». Творите мою отвагу и силу, ту твердость и неустрашимость, которые мне помогут принять все, что меня ждет.

И вообще, ни один индивидуум, даже самый сильный, не занимает свое место в обществе только с помощью собственной воли и силы, его «творят» и на него влияют другие люди и общий опыт человечества. И потому самомнение, зазнайство — самые опасные, самые глупые человеческие свойства! Ведь человек должен возвращать обществу то, что он получил от него, в той или иной форме.

Критическое отношение к себе — основной момент в воспитании человека. И вообще критика! На людей с честным характером, ясной целью, воспринимающих критику, можно без риска положиться. Но людям даже самым способным самомнение скорее вредит, чем помогает. Это почти правило. С такими людьми всегда приходится много возиться, а результаты — ничтожны.

8.-12. 1942

Я, собственно, должна была бы описать свои впечатления о камере смертников. А я ощущаю лишь одиночество, вспоминаю дорогих мне людей, тоскую и беспокоюсь о них. В первые часы эта тоска изводила меня больше всего. Может быть, из-за темной камеры, всегда пыльной, так как единственная работа, которая мне разрешалась, было ощипывание перьев. Но я всегда понимала, что дружеское рукопожатие хотя и придает волю и отвагу, однако в конце концов надо быть готовой ко всему, рассчитывать лишь на собственные силы. И я должна сказать, что всегда любила такие моменты, когда надо было напрячь все силы и сохранить «спокойствие и выдержку». Это были минуты испытаний, которые позволяли мне судить о своей силе и подготовленности, они помогали познать себя. Так было еще в школе, но и в то время они казались мне не менее важными. И тут я за несколько минут приспособилась к новой обстановке, и она стала для меня естественной.

Приспособиться к обстановке, подавить в себе все, что мешает,— этому можно научиться. И тюрьма не показалась мне незнакомой, и удивление скоро прошло. Мир сузился до четырех стен и маленького окна, и все остальное, казавшееся раньше необходимым, стало недосягаемым. И все же, как и на свободе, начинаешь ощущать такую же радость от ничтожных мелочей, как от самых прекрасных даров жизни.

Все это жизнь, а величайшее искусство — это искусство жить, уменье приспособиться к формам жизни, а также разбивать эти формы и создавать новые, более легкие, более удобные... В общем, мне за мою короткую жизнь все удавалось по моему желанию. Помогали тут и счастливые случайности. Не знаю, все ли вело меня к моей конечной цели или и это было только средством закалки, укрепления сил? Испытание устойчивости мировоззрения? Может быть, и то и другое.

Я готова ко всему и ни о чем не жалею. Теперь, после всех испытаний, я, может быть, избежала бы допущенных мною ошибок... Часто меня во сне преследует образ

Яна, хотя мы с ним полностью рассчитались. Я благодарна ему за бесконечно многое.

Он помог мне найти теоретическую основу всей моей последующей работы, помогал бороться с собой и с окружающей средой. И не только он, но и его товарищи.

Но он не сумел удержать меня с помощью того, чем завоевал. Меня привязывала к нему вся сила первой любви, проснувшаяся женственность, восхищение, благодарность и привычка. Я бы никогда не поверила, что этот могучий комплекс чувств можно преодолеть в себе. И все же это случилось. Я была буквально истерзана внутренними противоречиями... стала истерична, мучила себя, его, родителей... Он вел бой за мою душу против семьи, традиций, среды! А меня тянуло к людям, хотелось вмешиваться в их неурядицы, помогать им изо всех сил. Но только я начинала улыбаться, рядом оказывался он и грозно смотрел на меня. А я была сверхчеловечески ему верна, не согрешила даже взглядом. Тюрьма темнейшая! Он хорошо меня знал. Знал, каким я представляю себе большевика! Это человек настолько совершенный, насколько это вообще в человеческих силах. И я пыталась стать такой, но чувствовала себя несовершенной и слабой, а он умел поддержать во мне это чувство до тех пор, *пока все не изменилось!* И помогла мне работа во имя Дела, к которой я пришла по счастливой случайности, о чем он и не подозревал. И это подняло мой дух, я победила, хотя меня долго преследовали со всех сторон он, его семья, моя семья. Разыгрывались драматические сцены, полные трагизма, но я освободилась, отвечая за свои поступки только перед своей совестью. Я познала желанную, выстраданную мною правду о мире. Права была я, а не он. И даже оказалась не так беспомощна. А то, что я очутилась здесь? Кончила не так, как он предсказывал.

Ну что же, я счастлива и не жалею ни о чем. Я благодарна ему за все, за любовь (а это была действительно большая любовь) и прошу его простить меня. У меня часто не хватало выдержки! Я его простила и благодарна даже за эту борьбу! Я вышла из нее сильнее, тверже, серьезнее.

Он поймет меня, поймет и моя мамочка, которая все видела и переживала и не могла вмешаться, так как была бессильна. Теперь она все поймет. Я прошу прощения у всех, кто страдали из-за моего тяжелого душевного состояния. Теперь я свободна, счастлива, уверенна и полна любви.

Ты спрашиваешь меня, Бетушка*, как найти верную дорогу в жизни. Может быть, мой опыт тебе поможет. Нет ни добра, ни зла вне общества. А ты хочешь совершать добро. Посвяти себя целиком этой цели, мобилизуй все свои способности. Лучше всего ты поможешь людям там, где может проявиться твой талант. Служи моей Идее, люби, помогай. Я не хочу этим сказать, что надо быть овечкой, которая искупает грехи других. Не позволяй злоупотреблять твоими достоинствами. Открывай людям только ту часть своей души, которую они могут понять, иначе ты будешь расточать сокровища, которые для них ничего не значат.

Доверяй настолько, насколько человек заслуживает доверия. Не обижай, никогда не обижай людей и имей мужество исправлять свои ошибки. А если надо ударить, смотри, чтобы твой удар попал в цель. На злобные удары отвечай ударами. Все это касается личных отношений. Люди бывают дурные, злые, жестокие, но верь, что при других обстоятельствах они могли бы делать добро. Вся экономическая организация общества воспитывает в них волчью повадку. Борись за новые экономические отношения в обществе, за новую социальную организацию. И не жалей врага! Здесь отношения меняются. Дело не может, не должно терпеть ущерб. Я повторяю: лес рубят, щепки летят. Старайся, чтобы щепок было меньше. Будь честной, прямой, мужественной! И умей критически относиться к себе, познавай себя, во имя общественного блага уступай место более способным.

Но чтобы так действовать, надо знать людей. Научись мыслить критически, диалектически и строго логически, учись анализировать и синтезировать. Размышляй, думай! Наблюдай за людьми, познавай их, сближайся с ними. И, главное, с простыми людьми! Среди трудящихся я встретила самых лучших, самых прекрасных, самых

* Сестра Марии Кудержиковой.

сознательных. Если они сознательны, они всегда знают, чего хотят, а некоторые образованные люди так долго копаются в себе и в других, что у них не остается ни в уме, ни в сердце ничего, ради чего стоило бы жить, трудиться и бороться. Вечная пустота и никчемность, при всей усложненности их умственной и душевной жизни. Подобные люди не способны к действиям ни в теории, ни на практике. Они гроша ломаного не стоят да еще к тому же заражают этими интеллигентскими качествами других. Интеллигенты! Будь проста, учись простоте во всем. У простых людей образование, чувство и интеллект ведут к цели, Л[енин], С[талин] — люди самого глубокого интеллекта, которым когда-либо обладал человек. Они создали точную логическую теорию и, главное, осуществили ее на благо человечества. Понимаешь? Изучай их труды. Ты еще далека от них, ты еще не освободилась от предрассудков, влияния среды — отбрось эти предрассудки.

Учись у жизни — ради жизни, и ты никогда не испытаешь разочарования.

22.12.1942

Вчера во мне все молчало. Целый, целый день. Я испытывала что-то сильное, волнующее, что может быть выражено только молчанием.

Когда я жила в Битыще, я ходила в школу берегом реки. Там росло несколько деревьев, и я всегда замедляла шаги в солнечные осенние дни, когда умирающая листва молчала и только порой вспыхивал то тут, то там листок, падающий на землю, а маленькие волны тихо журчали на вздувшейся реке. И на сердце становилось так тихо, ясно. Никакого ужаса, это умирание было естественно и озарено молчаливой радостью прожитой жизни.

И вообще я любила природу. В лесу я врастала в землю, становилась одним из деревьев, которые впитывают в себя безбрежную жизненную энергию. Случалось, что я полностью утрачивала чувство боли, забывала думать и становилась частью природы, в которой бурлила лишь жизненная сила. Я могла молчать часами или радоваться, скакать и жужжать, как пчела... Грубость, злоба и все дурное никогда не были мне так противны, как в эти минуты.

В Битыще я упивалась красотой природы. В лунные ночи и ясные дни. Одна и все же не одна — как листок на дереве природы. Она оказывала на меня целебное воздействие, когда меня раздирали противоречия и я была утомлена постоянными спорами с Яном, со своими, сама с собой; я ложилась на траву лицом к синему небу и прямо-таки физически ощущала, как все это вселяется в меня.

Человеку нужно и одиночество и общение с людьми. Чтобы разобраться в себе, нужно одиночество. Кроме того, что природа — чудодейственный врач, она еще и неиссякаемый источник всякого художественного вдохновения. Всякого.

Однажды я шла по полю. Был прекрасный летний вечер, особенно сладостный после утомительного дня. Он действовал как освежающий напиток. Я встретила знакомого, мы поздоровались и разговорились.

— У вас тут красиво,— сказала я.

— Мы не замечаем этой красоты,— ответил он.

И он был прав. Постоянный тяжелый труд и заботы о хлебе насущном делали всю эту красоту незаметной и неощутимой. Бесполезно играть самые восхитительные мелодии глухому, сначала надо ему возвратить слух оперативным вмешательством. Это очень наглядный пример. Люди, живущие у истока всех красот, совсем не замечают их. Им понятно мычание коров, а не музыка Сметаны. И это естественно. Не потому, что у них нечуткая душа, а просто потому, что у них нет времени вслушиваться в симфонию природы, которая наверняка привела бы их к музыке. Зато модная песенка, грубая и ничтожная, захватывает их своим ритмом, который тянет к движению, к танцу. Поэтому джазовая продукция иногда вытесняет народные песни, свежие, простые и динамичные.

Так вот, для широчайших слоев простых людей закрыт мир духа, мысли, красоты, искусства — мир, который был построен ценой их труда и пота, и все же они, как Адам и Ева, изгнаны из этого рая. Они даже не подозревают, что этот рай существует, говорят и не знают, что их речь может быть мелодичной, звучной, чарующей. И потому все усилия народных будителей, духовных вождей народа были, в общем, безуспешны, пока они не становились на путь социальных преобразований. Обеспечить народ хлебом, и только тогда — в свободные, действительно свободные минуты — открывать перед ним все эти замки. Не забудем об этом!

Мы, самые материалистические материалисты (потому что мы знаем, что нет духа вне материи и нет без нее ни мысли, ни чувства, ни красоты), разбиваем с помощью своих материалистических взглядов решетки, которыми самые идеальные идеалисты преградили дорогу к духу. И в этом был расчет, сознательный или бессознательный...

Вы, лживые идеалисты, с вашей нежизненной и глупой философией, построенной на необъяснимых фактах и непонятных фразах! Мы объясним народу, как она фальшива, объясним не в научных трактатах, а ясными фактами, взятыми из жизни, и простой, разумный и неиспорченный человек оттолкнет и растопчет вашу философию. Он создаст другую, более человечную, красивую и, главное, более правдивую, потому что вы никогда не могли найти правды, как бы ни искали. Вы топтались на месте, а ваши фантазии были использованы для порабощения народа, для угнетения тех, кто имеют равное с вами право на человеческую жизнь и кто своими силами построят эту жизнь!.. Да здравствует это будущее и да сгинет ваша философия!..

Ибо хотя вы, львы и орлы духа, честно искали истину, вы давали оружие в руки тем, кто им злоупотребляли. Поэтому отдыхайте с миром, оружие вернется в руки народа, и если вы честны, то поймете, что теперь ваше дело завершено...

...Я думаю, милая Бетушка, что тебе трудно или будет трудно разрешить вопрос о единстве духовной и физической стороны любви из-за влияния религии и предрассудков, которые на словах, я повторяю, на словах, а не на деле отвергают физическое влечение как грешную и позорную страсть, как разврат. Конечно, до того момента, пока этого дьявола не благословит священник! Видишь, милая моя овечка, как это все противоестественно. Ведь речь идет о любви, о том, что неразрывно с ней связано, прекрасно, чисто, радостно.

Посмотри вокруг себя, и ты увидишь, что жизнь ломает на практике подобные взгляды, но люди не имеют мужества в этом признаться и потому фальшивят и притворяются. Внимательно наблюдай! Я скажу тебе кое-что о себе, потому что мне кажется, ты проходишь или пройдешь через то же, что я, ведь мы вылетели на свет божий из одного гнезда. Прошло много времени, прежде чем было преодолено мое сопротивление, чисто физическое сопротивление. Спасибо за это Яну. Он пробудил во мне женственность, которой не суждено было загрязниться, а потом угаснуть. И потому, что он очень любил меня, все обошлось хотя и со страшными душевными муками, но без душевной травмы. С его помощью и благодаря его взглядам я очистила то, что было загрязнено.

Посмотри, сколько вокруг тебя жестоких и грубых людей. Жизнь лишила их тех религиозных взглядов, по которым дева возводится в святые, и не дала им взамен ничего чистого и естественного. А ведь от гармонии зависит так много — счастье, удовлетворенность. Так действует на тело и на душу это «низкое» вожделение, хотя люди не хотят в этом признаться.

Моя милая, когда ты встретишь друга жизни, убедись, понимаете ли вы друг друга, удовлетворяете ли один другого в духовном отношении, подходят ли друг к другу ваши характеры так, чтобы оставаться свободными, хотя и не нарушать верность. И если это так, не бойся отбросить предрассудок. Потому что любовь этого требует, и если гармония зазвучит и здесь, значит — это он.

Но, ради бога, не будь легкомысленной, знай, что то первое душевное волнение, которое вызывают весенние ароматы или звуки музыки,— это еще не любовь. Старайся

серьезно разобраться в своих чувствах, милая. А если возникнет какое-нибудь непредвиденное препятствие, не бойся предрассудков и порви эти отношения. Ведь так много несчастных людей на свете! Они не нашли удовлетворения или в физическом, или в духовном отношении (супружество не может существовать без физической близости, иначе оно превращается в дружбу, перестает быть супружеством, но оно рушится и без духовного взаимопонимания). А иногда, бывает, ошибешься, примешь первое душевное смятение за любовь и разочаруешься, когда уже поздно. А потом можно встретить настоящую любовь, но не позволяют сойтись обстоятельства, дети и т. д. Или тысячи других вариантов, в которых виноват не сам человек, а случайность, жизнь или что-то такое, чего ты в себе и не подозреваешь.

Присматривайся, оценивай вещи реально. Не будь несправедливой. Насколько было бы меньше горя при более счастливом устройстве жизни, которое принесло бы с собой и более естественные взгляды. Вот тебе вкратце и все, милая. Сейчас личные и семейные трагедии отступают на задний план перед трагедиями всего мира. Но надо решить и эти вопросы, потому что от них многое зависит. Я желаю тебе, вам, мои милые, самого гармонического союза. Чем совершеннее гармония, тем прочнее, вернее и нерасторжимее будет союз при абсолютной свободе.

Моя соседка по камере Фрида, что называется, богато одаренный человек. Ей не чужды музы живописи, музыки, но прежде всего, кажется, богиня любви и наслаждения. Фрида в совершенстве исполняет одной рукой на рояле „Du kleine süsse Soldatenfrau"*, „Im Leben geht alles vorüber"**. Она катается верхом, курит и т. д. Словом, человек, разбирающийся и в искусстве и в жизни. Хорошо еще, что она умеет молчать и не претендует на все мое время. Я могу зайти в «каморку своего сердца», повернуть ключ дважды, трижды, как советует Стерн, запереть ее еще на цепочку и не впускать никого внутрь. Тогда я счастлива. Фрида представляет в миниатюре все свое поколение, которое променяло нравственность и естественность на безнравственность, поставило на голову представления о справедливости и правде и вместо художественного творчества на алтарь воздвигло безвкусицу: „Nach jedem. Dezember kommt wieder ein Mai"***.

Я не переношу сочувствия и жалости людей, не способных на эти чувства, и не хочу, чтобы они на меня смотрели, как на заживо разлагающийся труп. Я живу богатой жизнью и наверняка богаче, чем вы, глупые, развращенные люди. Конечно, с их точки зрения, мы все мертвецы, которые говорят и двигаются до определенного момента в будущем. А есть что-нибудь страшное в моем положении? Я умираю за правое дело. И вы умрете тоже, но будут ли у вас так честно сведены все счеты? А для меня это главное. Важно не сколько, а как ты жил и какова была жизнь. Мне кажется, что все мое земное предназначение полностью выполнено, завершено. А что дает сознание выполненного дела — радость или горе? Радость, спокойствие. Сознание исполненного долга приносит счастье. Но я не хочу походить на католических святых, которые в смерти видят цель жизни. Нет, кто может — работай, делай свое дело в жизни и для жизни. Но не бойся и пасть за жизнь. Умереть не ради посмертного блаженства, а ради счастливой жизни твоих товарищей, людей.

Вот оно как! Этот песик, инстинкт, который слишком молод и здоров, иногда заскулит, а иногда и укусит до крови, но ранка заживет, и боль смолкнет. И я вовсе не живой труп. Я не умираю постепенно, изо дня в день. Я умру в один миг, и тогда еще буду жить и думать о жизни.

Я перечитала все, что излила здесь в подходящий момент. Все это слишком длинно, неточно выражено и очень уж неотшлифованно; но я верю, что под грудой лишних слов вы найдете то, что я думала и чувствовала. Все время есть опасность, что за мной кто-нибудь подсматривает в «глазок», и потому надо писать поскорее. Несмотря на все — нынешний день уплыл, как сон. И я утомлена, как всегда под вечер. Словно

---

* Моя миленькая солдаточка *(нем.)*.
** В жизни все проходит *(нем.)*.
*** За декабрем всегда приходит май *(нем.)*.

весь день я копала твердую землю. Не знаю, что со мной. Еще во время позапрошлогодней жатвы я могла целый день поднимать снопы и даже без устали перебрасывать их. А сегодня, просидев целый день, я падаю от усталости. Вчера мне стало холодно, чтобы согреться, я начала делать гимнастику и чуть не упала. Такая я силачка.

23.12.1942

Сейчас, проспав ночь, я снова как свежий листок, как сказала бы моя бабушка. Пока этот листок не увянет. Завтра сочельник, и я стараюсь не думать о том, что он уже на пороге. Я так люблю этот праздник, зачем вспоминать о его сказочном уюте, будет только больно.

В прошлом году, в Праге, мы праздновали его гораздо беднее, чем когда-то сьятое семейство. Мы сидели на соломе, в наш хлев дуло из окна, и только ясная звезда, не видимая для окружающих, засияла предвестницей счастливых перемен уже в наступающем году. Ее ясные лучи согревали, и она чудом превратила кусочек хлеба с солью в манну небесную. Меня насытила вера в будущее. Это был первый рождественский вечер, когда я осталась одна в мире. И, вдобавок, в каком мире! Под барабанный грохот по-прусски дисциплинированной тюрьмы.

У меня была тоненькая веточка, и ее запах так живо напомнил мне милое благоухание сочельника и все его радости! Я сжала зубы и не заплакала, нет, не пролила ни единой слезинки. Потому что я верила. А теперь верю еще крепче, и скалу не расплавит самый дивный аромат... А рождественские праздники в Врбовце были прекрасны. Они напоминали легкие штрихи на картинах Алеша, их тепло. Не роскошь, а сердечная простота. Мы были дома вместе с близкими, с которыми проводили праздники и пели рождественские песни. Знали бы вы Врбовце. Округлые большие холмы, как караваи хлеба, а в просветах между ними светятся окна хат на хуторах. Я вообще любила смотреть в темный вечер на наше окно, когда оно сияло, как огонек светлячка. И сердечность светилась оттуда, как в сказке о светлячках. Вдали светились другие окна, но они были бледнее и терялись во тьме. Но пришла зима, и один из сказочных светлячков умер. И выросла маргаритка, вся белая-белая, с кровавой каемкой. Потому что умерла девочка-светлячок. Ну и так далее.

Мне нравилась откровенность, простота этих людей с хуторов. Но моя бабушка, как католичка, не могла простить им ту откровенность, с какой они говорили о любви. Но гораздо лучше откровенность, чем лицемерие. И в конце концов ведь это единственная радость в их жизни. Когда люди неделю работают не покладая рук на этих холмах, кто упрекнет их, что она забывает о пряже, а он о конях и помнят они только о молодости и любви, единственной доступной им радости жизни? Остальные радости слишком далеки, и путь к ним заметен снегом. А это, как чардаш, волнует кровь в аромате полей при блеске мерцающих звезд.

Одно время я впала в такую крайность, что совсем не следила за своей внешностью. Это очень огорчало мамочку. Но я в то время старалась глубже понять многое, горизонты расширялись, я пыталась охватить их взглядом. А для этого нужно было время, и его было так мало. Конечно, это было неправильно...

Я настолько погрузилась в мир книг, что стала как слепая, перестала видеть повседневную действительность, стала нечувствительна к ее требованиям. Я не знала, не понимала, что книги не имеют цены, если не ведут непосредственно к жизни, к ежедневному труду и его нуждам. Так я бродила окольными путями, измученная и усталая, пока не вышла на прямую верную дорогу.

25. 12. 1942

Сочельник!

Сегодня над деревнями Моравской Словакии затрубит пастух и захлопает длинным бичом. В каждом доме он получит вознаграждение.

Ох, моя Моравская Словакия! От всей твоей красоты остаются только развалины. Что-то в тебе подгнило, как старая соломенная кровля. Конечно, я не за соломенные

крыши и крохотные оконца, увитые еще к тому же розмарином, я за воздушные солнечные здания. Но что-то утрачено. Утрачена религия, осталась только поповщина, и сюда нашла дорогу дешевая массовая продукция города: модные песенки, фильмы, псевдоискусство. Все это повело к падению нравов молодежи, отрекшейся от своего народного искусства и забывшей о нем. Я хотела бы помочь в разрешении твоих экономических вопросов; вокруг этих вопросов все в конце концов вертится — работа, рождения, женитьбы, смерти. А для свободных часов у тебя есть твои песни, твои цветы, твоя пестрота и живописность и твое искусство, настоящее искусство, а не подделка. Я хотела бы, чтобы город принес тебе настоящие блага цивилизации, настоящие ценности — технические и культурные, а не подделку. И чтобы твое лицо порозовело; там в горах ты еще похожа на словацкую девушку, но равнинный край блекнет и пудрит дешевой пудрой твое бескровное лицо. Но я все же люблю тебя, несмотря на твои пороки, несмотря на твою отсталость, твое любопытство, которое заставляет тебя самым невоспитанным образом заглядывать в окна соседки, не видно ли там чего-нибудь, что противоречит обычаям деревни, то есть поповским поучениям и традициям. Я люблю эту цепь гор, увенчавших тесную долину Моравы, где часто блуждает серна, забежавшая из соседнего леса. Счастливого праздника! Пусть пляшут девчата в алых юбках. Были веселыми наши места, и будут они веселыми!

Вчерашний день промелькнул, как фильм, как картина на экране,— без горя и безрадости, только сытый желудок доставил удовлетворение. Когда вчера погасла искусственная красота рождественской ветки, на которую я смотрю тайком через «глазок», настал обычный вечер и праздничные огни над моей камерой осветили обычную, повседневную обстановку: ободранный стол, грязные стены и черный пол, который нельзя отмыть ледяной водой без щетки. Где-то сиял очажок тепла, света и любви, но это не могло причинить боль. Вечером я читала «Давида Копперфильда» Диккенса. Его мастерски, просто безукоризненно написанные воспоминания о детстве и юности пробудили и мою память. Золотая мамочка, я была ужасным ребенком. Моя память почему-то сохранила только те минуты, когда я орала во все горло, а вы падали с ног от усталости...

И другие полные очарования воспоминания о деревне, о ночах, когда, не умолкая, гудела молотилка и между теснящимися вокруг телегами было столько уголков, где было можно спрятаться. А высокие хлеба, где так хорошо было сидеть. Еще одно очень живое воспоминание, о Стазке, синеглазой, светловолосой, стройной девушке. Я всегда восхищалась тем, как она носит воду и широкая юбка плавно раскачивается в такт ее шагам. (Эта раскачивающаяся походка казалась мне признаком взрослой девушки, и мы в наших играх всячески старались показать себя взрослыми, усиленно покачивая бедрами.) И вот однажды мы заметили, что за ней ухаживает какой-то чужой парень — средь бела дня! — провожавший ее, когда она несла ведра на коромысле из колодца. Толпа озорных мальчишек и девчонок с шумом и насмешками бросилась за парочкой — и тогда Стазка облила нас холодной водой. Эту невоспитанность и бестактность детей почувствует еще и теперь всякий, кто осмелится один пройтись по деревне. Сразу услышишь насмешливые крики: «Гляди, барыня!» Это озорство переходит в грубость, если дети замечают в человеке что-нибудь не их деревенское, а «панское».

И еще вспоминала я, мамочка, о первых любовных писульках и как я их прятала, а ты их отыскивала. С какой дрожью и бьющимся сердцем я читала эти записки, особенно когда моя тревога еще больше увеличивалась от выразительных взглядов. Первый одноклассник, который так смутил мое сердце, однажды назвал меня «My Golden Baby»*, и я боялась смотреть на него после получения письма, в котором он клялся мне в глубокой и вечной любви. А как я боялась потом признаться в этом Яну, изучавшему, как строгий цензор, мое «любовное прошлое», заключавшееся в многозначительных взглядах и рукопожатиях, к которым я относилась совершенно пассивно. И каким все это казалось важным. Я дрожала от страха. А как я тряслась перед контрольной по математике, и неудача просто убивала меня.

---

* Моя золотая детка (*англ.*).

Не надо забывать свое детство и нельзя недооценивать детские горести, которым обычно не придают значения. Это — настоящие, такие же серьезные, как у взрослых, огорчения. Или когда я пыталась овладеть важными документами общества «Красный Х», уважаемым членом которого была только одна девочка — Лида, и мы на зло всем, а также с досады, что мальчики не признали нас достойными доверия, основали феминистское общество. Ты помнишь это, мамочка? Обо всем ты узнавала окольными путями, потому что я была страшно скрытна как в личных, так и в общественных делах. Столько, столько воспоминаний!

9.1.1943

Я получила кучу писем. От мамы — полное самой глубокой любви, боли и нежности.

Моя мамочка набожна и в отчаянии, что я погублю свою душу, напоминает о последнем часе. Но я не могу!

Если бы мать умирала и мои слова могли облегчить ее страдания, я прошептала бы «верую» так горячо, что она не поняла бы, что это — милосердная ложь. Но умереть придется мне, а жить ей — и я не могу солгать. Мамочка, мне придется принести в жертву и тебя, и твое спокойствие, как и все личное!

Я только что вернулась с послеобеденной «прогулки». После обеда. В такие дни я каталась с отцом на санках. При этом воспоминании мною овладела какая-то безумная радость. Я напевала себе комсомольскую походную, под нее так хорошо шагается, жаль, что все время приходится маршировать по кругу туда и обратно. Я вернулась с лиловым носом и в веселом озорном настроении. Я бываю иногда ужасно озорной, шалой, как сказала бы наша бабушка. Если бы я могла, я сейчас наверняка повалила бы вас в снег. Хочется с кем-нибудь подраться, но не с кем, так уж лучше я поберегу силы, они мне пригодятся, чтобы совладать с собой...

14. 1. 1943

В понедельник у меня были мои. Мамочка, папочка, Бетушка.

Что я могу сказать об их огромной любви, об их горе, надеждах и безнадежности? Я не могла и не буду плакать, даже при мысли, что я их вижу в последний раз. Спокойствие, только спокойствие.

«Я умру, если ты не сделаешь то, о чем я просила тебя»,— сказала мне мамочка.

Дорогая, не умрешь. Ты понимаешь, мамочка, что всего тяжелее для меня видеть, как ты, как все вы страдаете. И все-таки я не могу решиться предать истину, в которой уверена. Потому что это не только мое личное дело, это касается взглядов, идей и имеет важные последствия. Ты меня поймешь. За свои взгляды люди отдают жизнь, и я не могу отдать жизнь за идею и одновременно предать ее...

Ты понимаешь? Моя любимая мамочка, твое личико стало малюсеньким, не плачь так много. Папочка, что я могу тебе сказать, кроме того, что горжусь своим отцом и люблю его?! Куколка моя! Ее ротик дрожал, в синих глазках стояли слезы, и она не могла произнести ни слова. Она показала мне фотографию своего друга. Такая страшно милая мальчишеская физиономия. И тут я испугалась, что она поймет меня неправильно в том, что касается отношений между мужчиной и женщиной. Деточка, это, конечно, твой любимый товарищ. Но наверняка не спутник жизни. Во всяком случае, не в этом возрасте: будущий муж должен быть хоть сколько-нибудь зрелым, мужественным человеком, а этот твой паренек мил по-мальчишески. Бетушка, ты должна понять это и не поддаваться головокружению от первого чувства. Не будь же легкомысленной. Иначе мне придется укорять себя, что я натолкнула тебя на это своими словами, которые ты не так поняла, и ты позднее пожалеешь об этом, Бетушка, даже если ты любишь его и не можешь себе представить жизни без него. Поэтому верь мне и подожди.

Подожди, пока ты поймешь, что нужно для долгой совместной жизни. Тебе потом будет недоставать в нем рассудительности, зрелости, мужественности. Этих качеств не

может быть у 20-летнего парня, их приобретают с годами и жизненным опытом. Ты скажешь, а как же Ян? Он был гораздо выше обычного уровня в своей зрелости и в глубине своих чувств. Ты это, конечно, тоже замечала. И все-таки, и все-таки, куколка моя, он был мальчик, а не мужчина! Я уверена, что все, разделявшее нас, было мальчишеством, которое пройдет со временем. А если нет, для мужчины это все было бы гораздо печальнее. Но я в него верю, не скажу, что люблю так же, как когда-то. То прошло, выдохлось под влиянием обстоятельств, его поведения, времени и т.д., но эта первая любовь так глубоко на меня повлияла, наложила такой неизгладимый отпечаток на мою внутреннюю жизнь, что я никогда не смогу его забыть. Наверно, это еще и потому, куколка моя, что я очень близко принимала к сердцу всякое чувство, ко всему относилась страшно серьезно, вдумчиво.

Ты разумная девочка, ты меня понимаешь, и я уверена, что ты пройдешь легко и безболезненно через первые любовные испытания. Я не хочу сказать, что эта любовь будет не на всю жизнь. Все может быть. Но именно поэтому проверяй и жди. Время покажет.

Я совершенно раскисла, так что даже не пытаюсь собрать разбегающиеся мысли. Ровно два месяца назад я была приговорена к смерти. И сколько раз я уже переживала свою смерть!

Бывают моменты — и большей частью это так и есть,— когда я могла бы умереть совершенно спокойно, без тени страха. И я стараюсь сохранить такое состояние духа.

Но вдруг откуда-то берутся ужас и отчаяние и сжимают меня своими когтями. К счастью, у них очень слабая, безнадежная позиция, и они отступают. В такие минуты я стараюсь не думать о том, что происходит вокруг меня, и переношусь мыслью в прежний свой мир, к своим близким, которые обращаются ко мне с любовью. А с ними все так легко, так естественно, так понятно.

Ни минуты не могу спать спокойно. Постоянно кто-то ходит, открывает и закрывает двери, наблюдает. У меня нет времени спокойно обдумать то, что я пишу. Скорее, скорее, пока никто не заметил, что я не работаю...

Вы как заботливые родители, конечно, беспокоитесь о моем быте, помещении, белье и т. д. Я как горлинка (не знаю, с какой еще нежной птичкой я могла бы себя сравнить, а черное кольцо на шее я честно стараюсь побелить, хотя бы и средствами военного времени) в клетке, побеленной клетке.

Воздух проходит через маленькое оконце высоко в стене и через щель под дверью. Если мне не хватает воздуха, я открываю окно с помощью крюка, но до него можно дотянуться и став на спинку стула.

Стул, доска для работы, маленький шкафчик в стене с миской, ложечкой и вешалкой для полотенца — вот и вся обстановка. Все здесь различного происхождения и отличается по возрасту, цвету, прочности. Да, чтобы не забыть! Параша в одном углу и радиаторы центрального отопления в другом. И чуть не забыла о «Waschbecken» *.

Стены изящно украшены перечнем инвентаря, книгой правил внутреннего распорядка и — о чудо из чудес! — маленьким зеркальцем. Думаю, что для полного представления об этой красоте стоит посмотреть на меня в белье (оно меняется раз в две недели): можно умереть от смеха или от слез. Умереть от смеха приятнее.

Распорядок дня: в четверть шестого — подъем, надо постелить, убрать, умыться и т. д. В шесть приносят завтрак (черный кофе, хлеб, иногда повидло, сироп или похлебка из отрубей). В шесть двадцать надо начинать работать до половины двенадцатого, когда раздаются райские звуки — звон посуды. Десять минут перерыва — круговая пробежка по шумному, безобразному двору. После обеда (Eintopf — суп, в котором обычно больше всего овощей: Grünkohl**, репа или горох — ведь сейчас война!) — работа до пяти часов. Потом ужин (черный кофе, хлеб, маргарин и ломтик конины, по-

* Умывальник *(нем.)*.
** Вид капусты *(нем.)*.

хлебка из отрубей или что-нибудь столь же аппетитное). Потом — спать, а завтра — все сначала. Все это сопровождается звоном, дребезжанием, хрустом, топотом, криками и прочими звуками. Бывают и приятные моменты: раз в неделю меняют книги, раз в шесть недель — душ и т. д. Всего в обрез — ведь сейчас война!

В камере номер 62 у меня еще и другие преимущества. Кроме маленького отверстия (глазок), есть еще и окошко побольше, в которое за мной всегда наблюдают или я могу смотреть в него, что, впрочем, запрещено. Всю ночь горит лампа, прикрепленная к стене над дверью, и смотрительница стережет мой сон. Дни я провожу в обществе «Sonderwache» *, которая на ночь уходит и уносит с собой все острое и с завязками. Зачем? Да чтобы я не посягнула на свою драгоценную жизнь. Удивляюсь, почему стены не увешаны коврами, ведь я могу размозжить себе голову!

В субботу мы кончаем работать раньше, моем пол и стены холодной водой и щеткой без щетины (война!) и отправляемся на покой. И хотите верьте, хотите нет, когда я сижу на батарее, чтобы не утратить ни капли тепла, когда желудок, наполненный жидкостью, удовлетворенно бурчит, когда я дорвусь до приличной книжки или получу письма из дому или какое-нибудь другое приятное известие, я думаю, что нет в мире более уютного, красивого, а главное — безопасного местечка, чем камера № 91 или 62, с запорами на два поворота и с крепкими замками! Когда не слышен этот беспрерывный топот и шум, чувствуешь себя на седьмом небе, не в тюрьме Бреслау V, Фрайбургштрассе, 1.

И действительно, я быстро привыкла к этой обстановке, потому что я легко приспособляющееся и, к счастью, не избалованное существо. Поэтому я не лила слез при виде бурды в расгрескавшейся грязной миске, не приходила в отчаяние, лежа под одеялом с бесконечными волдырями от клопиных укусов, и через час после того, как за мной захлопнулись двери с сотней запоров, я уже пела девчатам наши песенки.

Все это пустяки, и я могла бы долго-долго сохранять бодрость. До самого конца. Я кажусь себе важной персоной в буржуазном государстве, которая, при всей своей свободе, не может сделать ни шагу без почетной охраны. Впрочем, о нашей жизни вам обстоятельно расскажет Витезка и все, кто это испытали. Пока хватит этих коротких заметок.

Бетушка, никогда не позволяй себе вспылить. Если чувствуешь, что в тебе все кипит, молчи, ни за что не произноси ни слова, пока в голосе не будет и следа злости. Тогда спокойно скажи свое мнение — и дело с концом. Это усилие окупится сторицей, поверь мне. Я снова и снова в этом убеждаюсь. Так ты избежишь многих неприятностей. Всякий поймет, что тебя не выведешь из равновесия, и оставит свои попытки. Если бы я научилась этому раньше.

Я пишу какую-то смесь. Не удивительно, ведь нас кормят бурдой «Eintopf».

В субботу начинается новая неделя, полная свежести, жизни и мира. Кульминационный день — воскресенье, отчасти понедельник, а в последние дни недели наступает спад. Такова моя внутренняя жизнь, о которой Фрида ничего не знает. Потому что руки мои двигаются все так же механически, слова, о которых не надо думать, выскальзывают сами, может быть, я даже слегка улыбаюсь или напеваю. Но хотя на душе у меня спокойно, все же в нее нежданно-негаданно пробирается злой паразит: «А вот и я». Иногда он врывается внезапно, как вихрь или гроза. Бывают минуты, когда стоит только немного ослабить подпорки, и все здание рушится. Если бы эта темная сила пригнула тебя к земле, ты бы молила об освобождении или проклинала. Ты молилась бы неведомому «чему-то» или, как ребенок, кричала бы «мама, мама» и жалобно плакала бы. Один миг. Но ты выдержала — и ничего не случилось. Твое лицо не изменилось, голос не дрогнул, никто ничего не заметил, потому что тебе даже пришлось засмеяться, когда новая «Beamtin» ** посмотрела на тебя, как на труп. Странные

---

* Специальная охрана *(нем.)*.
** Надзирательница *(нем.)*

вы все-таки существа, люди! Потом понемногу наступает покой, мир и даже душевная ясность. Я напрасно пытаюсь понять причины возникновения и исчезновения приливов и отливов этого чувства. Видимо, настроение, среда, воспоминания и т. д. Что это такое? Боль, тоска, страх? Может быть, это то, что называют «смертельным ужасом»? Возможно. Я хотела бы знать, все ли испытывают то же самое чувство. Может быть, разница только в том, насколько успешно человек борется с этим в себе? Помнится, у Христа будто бы выступил кровавый пот. Волькер говорит: «Самое ужасное — умирание». Это, видимо, свойственно всем людям. Разница только во внешних проявлениях и в способности подавить страх размышлениями и т. д. Я бы хотела поговорить с человеком, который тоже через это прошел. Эти смены чувств очень интересны. Но я не хочу все это подробно описывать, чтобы не огорчить вас. Приступы страха продолжаются недолго, это только редкие нарушения равновесия.

Чем объясняется то, что иногда я могла бы уйти из мира с улыбкой, я хочу сказать, с внутренней улыбкой — улыбаться губами и глазами можно почти всегда,— а иной раз это стоило бы ужасных страданий и борьбы? От чего это зависит? От физического состояния, от настроения? Впрочем, я даже хотела испытать подобное психологическое состояние, вернее, состояния человека в такие критические моменты. Умирать среди своих — это было бы даже счастьем, а в бою, в обороне или в наступлении среди общего энтузиазма ты и не заметила бы приближения смерти.

Не говорите: «Она копается в своих страданиях, раздувает их». Нет. Это тоже средство защиты. Как только я начинаю наблюдать, доискиваться смысла и размышлять «почему, да как, да когда?», ужас понемногу исчезает или смягчается. Это, впрочем, давно известно. Я об этом только так, мимоходом.

А страдает ли человек в определенной обстановке, например в тюрьме, нисколько не зависит от того, есть ли у него семья. Мне всегда говорили: «Ты молодая, не замужем, детей у тебя нет» и т. д. Конечно, это тоже играет какую-то роль, но в общем-то все зависит от «чувствительности», душевной силы и интеллигентности, от подготовки и силы сопротивляемости, физической и духовной. И потому человек, который не привык, скажем, к скверной тюремной посуде, может так же «страдать», как другой, более сильный, от гораздо более серьезных причин. Одинаковые состояния духа могут быть вызваны совершенно различными причинами, в зависимости от того, идет ли речь о сильном или слабодушном человеке. А воспитание может укрепить дух.

Возможно, что один больше страдает от мысли о тюремном заключении на несколько недель, чем другой — от смертного приговора. С этим представлением сживаешься, привыкаешь к неизбежному. Конечно, проходишь через ряд фаз этого болезненного процесса, сначала нужно было привыкнуть к тюрьме и т. д. На все это можно смотреть с множества различных точек зрения, сравнивать. Но если человек осознает относительность и изменчивость душевного состояния, если он знает их границы, если знает, что выдержать страшную тяжесть в какой-то момент — значит победить, это очень помогает. Только нельзя думать: «Я этого не выдержу». Потому что человек может выдержать все — до определенной грани, когда нервы сдают. Здоровый человек в состоянии вынести поразительно много. Интересно было бы знать, где для него, с этой точки зрения, граница возможного.

Умеете ли вы мечтать? Я совсем не знаю так называемых «девичьих грез». Я никогда не представляла себе, как будет выглядеть мой суженый, какие у меня будут дети, какая квартира и т. д. Если я захочу вообразить себе что-нибудь такое, мне надо особенно сосредоточиться и изо всех сил напрягать внимание. Случается, что я теряю последовательность в своих воспоминаниях и картины прошлого просто мелькают одна за другой, а я, как посторонний зритель, реагирую на них чисто эмоционально, не упорядочивая их. Так, вероятно, возникают сны. Интересно, что я не унаследовала живое, яркое воображение моей мамочки, которая могла бы быть искусным художником. Я уж такой Санчо Панса, который видит только действительность. От Дон-Кихота у меня только вера. Я верю, что те ветряные мельницы, которые перемололи мои кости, исчезнут и мельничные крылья будет вращать другая, добрая сила. Я всегда безжалостно

разбивала мамочкины мечты. Одну за другой. Об этой жестокости я сожалею. Ни о чем я не жалею, не жалею о том, что сделано справедливого и хорошего, хотя мне лично пришлось за это поплатиться. Но я сожалею обо всех несправедливых обидах, которые я причиняла кому-нибудь. Когда я сказала «ни о чем не жалею», мне вдруг показалось это слишком преувеличенным. Я горько сожалею, как я сказала, обо всем дурном. Ведь неправда, что я была таким уж ангелом доброты и любви, как меня сейчас идеализированно представляют себе близкие. Я обижала людей, была злой, хотя и стремилась к добру. Но дорога к добру долгая и трудная. И всегда нам что-нибудь ее преграждает и закрывает.

Бетушка, герои книг не должны оставаться только в книгах. Их судьба должна вести к людям. Смешно, что люди могут плакать над книгой и тупо не замечать настоящего горя вокруг себя. Искусство ведет к жизни. Жизнь, люди — вот главная цель.

30.1.1943

...В последний день, проведенный в 62 камере, я старалась чем-нибудь занять свои мысли. Когда-то в Брно я радовалась одиночеству, которое позволит мне сосредоточиться, подумать, решить многое. Но получилось иначе, наверно, этот покой не был настоящим покоем. А теперь я решила попробовать снова. Я спросила себя: ну как бы я, например, практически разрешила проблему организации колхоза в своей родной деревне? Удалось мне это или нет — во всяком случае, я пыталась занять себя этим, когда однажды вечером в мою камеру упала «звезда». И не успела я опомниться, как оказалась лицом к лицу с Юлинкой, такой же удивленной, как и я.

Когда щелкнул замок, стало ясно, что это не ошибка. Я оказалась вдвоем с чешкой, и первые чешские фразы я пробормотала, заикаясь с непривычки. Но как прекрасно было говорить по-чешски и слышать чешский язык. Ведь это же факт! Велели: чешек к чешкам! В одно мгновение строжайшее запрещение превращается в строжайший приказ.

И мы выяснили, что обе знаем местечко Стражнце, что мы обе бродили по одному и тому же парку и по жужжащей пчелами тропинке, что она знает моих друзей и т. д. Эта маленькая, ласковая девчушка! И такая чистюля! Она сразу почувствовала ко мне безграничное доверие и поделилась со мной всем, что ее мучило целых три года (ее арестовали, когда ей было пятнадцать лет, и целый год она просидела в одиночке), как она страдала и как изменялась. Она очень сообразительная, интеллигентная, хорошо воспитанная.

«Я еще ни с кем не могла так говорить, как с тобой,— сказала она мне,— боялась, что меня не поймут, а тебе я могу сказать все». И она исповедуется в каждой мысли и чувстве, которые беспокоят ее маленькое неопытное сердечко.

И я сразу же поняла. Вот гораздо более практическая задача, чем теоретические размышления о колхозах. Этой девчушке я нужна.

Не хочу писать о том, что она мне доверила, но эта девочка прошла через ад! Она была близка к безумию. Пятнадцать лет — и тюрьма! Одиночество! У нее рождались странные идеи, она даже в мыслях отгораживается от мира и от людей (тут играет роль воспитание — она год ходила в монастырскую школу). Этого вполне достаточно, чтобы представить себе, как мы живем, какое все это имеет для меня значение и т. д.

Я рассказала ей о вещах, которые должны привлекать каждого: о любви к людям, о красоте и т. д. Вчера я весь день пела. И так дни проносятся очень быстро. Вернуть ей радость жизни, развеять ее меланхолию — вот моя цель, и ни о чем другом я не могу думать. Я опять делаю то, к чему всегда стремилась. Она говорит, что ей теперь хорошо, что она больше не грустит, что теперь все совсем по-иному, и она чувствует себя лучше. Общими силами мы сделали нашу камеру уютнее, и наша повседневная жизнь стала более полной, приобрела живое содержание.

Мне страшно только, что, когда я уйду, все обернется не так, как хотелось бы, из-за того, что она привыкнет ко мне и будет тосковать еще больше. Но мы должны к этому приготовиться.

Почему я об этом так часто говорю? Потому что наступила счастливая перемена в моей жизни, я получила возможность радостной, душевной деятельности. Я эгоистка, как всякий человек, но думаю, что будет несомненно полезнее для людей, если мои личные радости доставят хоть капельку радости другим. Можно жить эгоистически и быть полезной, если эгоизм не мешает приносить пользу и другим людям. Это не обязательно вызвано душевным благородством, а может быть в человеке воспитано. И даже неприятные вещи обогатят опыт, который поможет кому-нибудь другому, и так ты сберегаешь и умножаешь будущую радость. Если ты научишься так смотреть на вещи, станешь более гибкой, более приспособляющейся и примиришься с тем малым, что остается узнику. Вот так.

Нас так радуют стихи, которые я ей читаю. Не бойтесь, дорогие мои Витезка и Ярина. У меня вчера возникло такое теплое чувство, мне так захотелось кого-нибудь порадовать, приласкать, поделиться с кем-нибудь своей радостью, потому что я была так богата ею. Я была счастлива. И из дому я тоже получила очень хорошее письмо.

Знаю, как трудно признаться в том, что тебе страшно. Но сегодня я сказала себе: ты должна сказать им правду! Не скрывать от них эти тяжкие минуты. Это твоя обязанность. От того, что ты эти минуты замалчиваешь, они не исчезнут. Они существуют, и надо бороться с ними, а не сдаваться им на милость. Ты бы лгала, а они бы думали, что ты бог знает какой гигант духа, а ведь это неправда. Говори правду, они твои близкие и заслуживают этого. Однажды я даже уничтожила целое письмо, потому что боялась, что вам будет больно. Но ведь вам все равно больно. Поэтому я признаюсь и в этом.

Дорогие мои девочки, я уверена (и не только потому, что верю, а потому, что хорошо вас знаю), что вам был бы по плечу мой удел. Нет, может быть, для вас он оказался бы легче, хотя бы внешне. Никто не увидел бы, как вы ломаете в отчаянии руки. Они всегда видели бы только улыбки и высоко поднятые головы. Ты, Витезка, окинула бы их своим презрительным взглядом, и ты, Ярина, тоже, как ты умеешь, и они бы только дивились. Я в этом уверена! Вы не менее мужественны, чем те, кто идут на смерть, а вас ждет жизнь.

3.2.1943

Мои любимые!

В разгар зимы весна как будто помахала небесным платочком за моим окном. Платочек колышется от ветра. Может быть, его выпустил из рук мой любимый край, который вытирал им свое лицо. Он что-то обещает, говорит о радости, о грусти и о великой тоске.

А сколько он рассказал мне! О том небе, которое раскинулось над нашим Врбовце, о тенях его облаков, похожих на паруса лодок, которые плывут над лугами, над лесом, закрывая собой веселый силуэт нашего вокзала! О полях зеленых, коричневых и золотистых, о раскинувшихся вдали вершинах гор, покрытых легким туманом. И еще много, много чудесных вещей рассказывает мне с радостным смехом синий платочек, а я слушаю, слушаю... Он так прекрасен потому, что его держал в своих руках мой родной край, что он видел ваши лица, ваши глаза, что вы мне послали с ним радость и надежду.

Скажи им, что весточка дошла до меня! И что я испытываю умиротворение и счастье. Я тихонько мурлычу песенки — одну за другой, я люблю, грущу и танцую так же, как их мелодии. И тоскую!

Я иногда думаю, что надо было случиться всем этим событиям, для того чтобы мы полностью поняли друг друга, чтобы наше чувство раскрылось во всем богатстве. И это прекрасно! Я знала, что у меня есть мать, которая заботится о моем счастье, отец, который трудится ради моего блага, бабушка и тетушка, которые всегда молятся за меня, Бетушка и Йожик, которые желают мне счастья. Но я не знала и не могла измерить всю силу и глубину любви, которая породила весь этот труд, молитвы и пожелания. Эта любовь способна на чудеса. Я не умела раньше ценить искреннюю,

истинную дружбу и не распознала в любящих сердцах матери, отца и всех других источник поэзии, которая наполнила и скрасила мое одиночество. Все это я поняла только тогда, когда на меня хлынули со всех сторон слова участия, поцелуи и слезы, воспоминания и рукопожатия. Я ослабела от этого потока любви и нежности. За всякое счастье надо платить. И я, даже если отдам все, что имею, все же останусь в долгу.

А в остальном все по-прежнему. Уплывает день за днем, ночь за ночью, и моя жизнь вместе с ними, отмеченная тем же внешним однообразием. Тюремный порядок не меняется. Я все еще раскрашиваю солдатиков и жду.

Бетушка, учись так, как училась бы теперь я. Уважай профессоров и преподавателей — людей, которые видят в тебе не только ученицу, но и человека со всеми его огорчениями и забогами. Они научат тебя твоим обязанностям по отношению к школе, к учению, к жизни. Не забывай об этих обязанностях и честно выполняй их. Передай всем еще раз привет и Стражнце. Когда расцветут в аллеях черешни и пчелки зажужжат в кустах на тропинке за зáмком, передай им привет и вспомни, что там я влюбилась в жизнь, в ее красоту. Но кроме улыбки жизни я знала ее беды и горе, поэтому она не обманула меня. И я верю и никогда не перестану верить в жизнь!

А что делают наши пчелки? Посадите в садике пахучие веселые цветы! Как тоскливо без них в четырех стенах, когда ветер только через крошечное оконце доносит с воли запахи далеких просторов, где ликует жизнь.

Так наша рогатая уже скончалась! Бедняжка, сколько раз я ее ругала, сколько раз посылала к черту, с которым ее роднил бодливый темперамент, всегда, когда мне приходилось пасти ее и она, с чисто козьим упрямством, не хотела признать мое право спокойно читать. Теперь я понимаю ее, теперь и я бы побегала с ней по лугам наперегонки с ветром, далеко, далеко, только бы почувствовать, что я действительно свободна. Но довольно мечтать!

6.2.1943

Милые мои девочки!

На всех участках нашей жизни вся прошлая неделя была без перемен. Курс скорее на hausse*, чем на baisse**. Положение, если его представить себе реально, выглядит так: уважаемые господа решили потрясти население и посулить менее строгие наказания. Может быть, они действительно предполагали этим небольшим послаблением обезвредить тех, кто уже были жестоко осуждены. Незначительное облегчение наказаний должно было, по их замыслу, вызвать оглушительные вопли похвал и восторг перед таким беспримерным великодушием. Они подготовлялись к торжественному празднованию дня 30 января, но большевики внезапно сорвали их планы, и эти господа оказались в весьма критическом положении, которое становится с каждым днем все безнадежнее. И поэтому господа судьи растерялись. Судить более мягко или по-старому? Поэтому суды и казни откладываются.

Каково наиболее вероятное развитие событий? Надо беспощадно отомстить за наших павших героев! Рассчитывать на милосердие совершенно бессмысленно. Разве что кризис превратится в катастрофу, и они поймут свое положение, то есть признают себя побежденными и попросят мира. А пока они орут на весь мир: «Мы все-таки победим!» — и продолжают лезть из кожи вон. К политическим они, конечно, будут беспощадны. Впрочем, все зависит от хода событий.

Но все это между прочим. Главное, что события идут так, как мы давно мечтали, и не во власти врагов остановить их ход. Мы страшно радуемся всему этому шуму и весело отпраздновали «Landestrauer»***.

Я нисколько не опечалена, не подавлена, не взволнована. У нас по-прежнему стоит весенняя погода. Лучше всего вечера. Я пересказываю Юлинке какую-нибудь книжку. Мы вместе повторяем все, что слышали интересного. Строим планы мирной жизни после победы и не думаем о завтрашнем дне, который может уничтожить эти

* Повышение *(франц.)*.
** Понижение *(франц.)*.
*** Национальный траур *(нем.)*.

планы. Вспоминаем Стражнце и те аллеи и тропинки, на которых нам дышалось так радостно. И хотя мы видели и слышали много горького, сейчас я уже не чувствую этого. Тяжесть спала с сердца, и воспоминания порхают, как сладкие сны.

Все было прекрасно, и боль, и каждое чувство, каждая мысль, каждое событие наложили свой отпечаток на мой внутренний мир. Я приобрела ценный опыт. Даже самый страшный, грозный миг жизни принес свою пользу: укрепил мировоззрение, закалил волю и решимость в борьбе, готовность посвятить все свое существо ее целям. Казалось, все силы помогали мне. Вперед, только вперед, пока не будет выполнена моя задача! Без страха, вперед! Так мое чувство и память идеализируют все прожитое.

Иной раз Юльча рассказывает мне то, о чем она молчала три года, потому что ей некому было довериться. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы мысленно отправляемся к своим близким и засыпаем. Так плывут дни за днями. Мы не думаем о времени, а время не останавливается. Если бы те, кто велели посадить двух чешек вместе, знали, какое это для нас благодеяние, то, наверно, они отменили бы свое распоряжение.

Я все забываю поблагодарить девочек за стихи. Мы их читаем чуть ли не каждый вечер. Как жаль, что я совсем не умею декламировать. Как много портит мое дурное чтение. Я хотела бы их послушать в вашем исполнении. Со стихами так же, как с песней: когда ее поешь про себя, она красива, но еще красивее, если спеть ее вслух приятным голосом. Понравились мне «Билл и Нелли», «Молитва за родину». Я люблю стишки, в которых звенят колокольчики и которые излучают флюиды красоты, но эти сильнее, правдивее, главное — правдивее. «Билл и Нелли» должно красиво звучать в хорошем исполнении. А знаете вы «Пятьдесят две горькие баллады»*? Я повторяю себе, Витезка, отрывки из Розы Л[юксембург] и чувствую, как она права. Люди ранили ее сердце, полное справедливости, но не могли уничтожить в нем веру в человека, за которую можно сражаться и погибнуть. Не только можно, но и должно. Получу я новые стихи? Мне бы очень хотелось. Ты знаешь что-нибудь из стихов Безруча?

Спасение? Гм. Иногда я думаю, что оно возможно, а иногда мне кажется, что и думать об этом нечего. Не могу этого решить. Доводы рассудка говорят и за и против, а на инстинкт в этом случае я не могу положиться. Порой мне кажется, что я останусь жива, порой — что погибну. Ну, еще немного, и я все узнаю. Как было бы прекрасно, если бы я вернулась.

Только представь себе, Витезка, что мы идем вместе по Остраве, совершенно свободные, что ты показываешь мне свой край таким, как ты его видишь и знаешь. И мне он мил и близок, хотя там все черное и закопченное. А я вам показываю нашу Моравскую Словакию. Но эта мечта слишком прекрасна для того, чтобы осуществиться. Вы, конечно, это счастье еще испытаете, и это тоже прекрасно. А мне правда не больно. Моя жизнь была прекрасна. Что из того, что она оказалась так коротка. Уж таков закон человеческого прогресса, борьбы против зла. Он требует жертв. Сейчас мне весело, тепло, кругом чисто, завтра будет все спокойно, у меня есть книга и со мной Юльча, которая озарила мою камеру солнечным лучом. Если бы я жила с вами — нет, я слишком многого хочу. Это был бы верх возможного счастья...

Я понимаю, что происходит нечто прекрасное, великое и скоро, скорехонько приведет к победе. Победа так близка, до нее рукой подать — осталось всего несколько шагов. Приветствуем прекрасное будущее человечества! В ушах у меня звучит праздничный колокольный звон, я так счастлива его слышать и от всей души радостно смеюсь, ведь вы хотели бы, чтобы я так смеялась!

13.2.1943

Проходит день за днем, и, наверно, потому, что я занята другим (я беседую с Юльчей, и хотя это совсем не мировые проблемы, разговор требует сосредоточенности), у меня какое-то совершенно неопределенное душевное состояние. Нет времени прислу-

* Цикл стихотворений Витезслава Незвала.

шаться к себе, и, собственно, ничего во мне не происходит, потому что внимание мое отвлечено. Я просто ни о чем не думаю и не боюсь того часа, который теперь очень близок. Он наступит, это ясно и бесспорно. И можно ожидать его спокойно. Так даже лучше. Ничто меня не мучает, словно это неправда. Очень полезно проникнуться живым интересом к чему-нибудь — все остальное для тебя исчезнет. Ведь когда перед тобой стоит определенный вопрос, ты пытаешься его разрешить теоретически или практически... Надо только иметь интерес, иметь силу чем-нибудь интересоваться. Порой это очень трудно...

Сегодня воскресенье, все спокойно. Должна получить ваше письмо, есть надежды на свидание с Бетушкой и родителями, так о чем же еще мечтать. Carpe diem!* И мне это воскресное спокойствие приносит так много хорошего! Завтра начнется обычная суматоха, но ведь это только завтра, а оно так далеко, когда считаешь дни и часы жизни...

20.2.1943

В четверг у меня снова были наши. Свидание продолжалось около 25 минут, с соблюдением тех же правил, что и в прошлый раз. Я была счастлива. Во время прогулки я любовалась чудесным синим небом, и оно меня так радостно настроило. Я улыбалась им и рассказывала о своей жизни. Они держались гораздо бодрее, чем в прошлый раз. Только когда я напомнила им о самой реальной возможности, они погрустнели и в глазах их показались слезы. Но мы об этом много не говорили...

На фронте дела идут блестяще, как они мне сообщили. Конечно, я не романтическая душа и не хочу быть ею, чтобы отдать предпочтение смерти. Я хочу жить, если уж жизнь приближается...

Мамочка мне сказала, что, как только мне был вынесен приговор, немцы, присутствовавшие на суде, начали выражать ей сочувствие. Мне приятно, что симпатии были на нашей стороне, а не на стороне того комедианта, который играл свою роль так напыщенно и высокопарно. Даже упоминание им о «лучших сынах немецкого народа» и т. д. не вызвало восторженного «да здравствует»...

23.2.1943

Сегодня исполнится девяносто девятый день, если я не ошибаюсь. На крыше напротив я вижу трубочиста, может быть, это значит, что сегодня, в канун юбилейного сотого дня, будет картошка? Или, скорее, новая партия солдатиков, или еще какая-нибудь подобная радость.

Сегодня опять прекрасный день! Я весела и люблю весь мир. Мне страстно хочется быть где-нибудь на фронте и помогать нашим. Поскорее, побольше!

Спасибо за газеты! Как много солнышка и радости проникло в камеру!..

27.2.1943

На этой неделе был здесь священник. Он наставлял Юльчу молиться за меня и спрашивал, не удалось ли ей на меня повлиять. Потом он прислал чешскую книгу «К богу», изданную для чешской католической интеллигенции. Я решительно не боюсь размышлений и дискуссий и поэтому принялась за чтение. Мне хотелось снова восстановить в памяти догматы католичества, а результат? Я укрепилась в своих взглядах, знаю, что они правильны, ясны, логичны. Я не побоялась бы признаться, если бы хоть самое слабое сомнение шевельнулось в моей душе.

Мне, Витезка, все совершенно ясно, ясно как солнце, и меня не может поколебать ни страх смерти, ни ужас перед тем, что меня ждет, потому что мой разум, мое чувство, мой инстинкт, моя совесть — все подтверждает, что я права.

---

* Лови момент (*лат.*).

28.2.1943

Мои любимые!

Я размышляю о том, что вам сказать из бесконечного множества важных вещей. Я люблю и уважаю вас не только как родителей, но и как людей. В своем нынешнем положении я измерила всю глубину вашей любви и самопожертвования и оценила их. Благодарю вас от всего сердца, хотя и знаю, что любовь потому и называется любовью, что она умеет дарить и приносить жертвы. Ведь я тоже люблю и потому хотела бы дарить. И оттого никакая жертва не кажется мне тяжелой.

Меня не сломило то время, что я в разлуке с вами. Раньше говорили обо мне, что я мечтаю? Так вот, теперь я строю. Говорили о воздушных замках? А я их построила из железобетона и стали. Из опыта, который принесла жизнь. Ведь жизнь не улыбалась мне, а, словно могучий кузнец, наносила мне такие удары, от которых искры сыпались из глаз. И жизнь выковала решимость жить и умереть, закалила, а не искривила меня. Но мое сердце не холодно и не жестоко. Непоколебим только остов здания. А внутри оно полно тепла и любви, там много красивых нежных бархатных подушек, много света и воздуха. И все приготовлено для друзей, чтобы освежить утомленных и накормить голодных. На горе тем, кто захотят уничтожить эту постройку, такую по-человечески прекрасную!

Я долго была вдали от дома, а теперь вернулась к нему, доброму и ласковому. Потому что он понял меня, потому что помогал своей любовью. Как прекрасна идейная близость людей. Как она укрепляет кровную связь.

Вы спрашиваете, как я жила все это время? Многое вы знаете из моих писем, многое еще узнаете. Всюду я находила любовь и дружбу, потому что щедро раздавала их сама. Наверно, люди чувствовали мою искренность, естественность и стремление помочь, не предать никого и открывали мне свое сердце, и молодые и старые, откровенные и замкнутые... Столько сердец передо мной открылось, и во всех было горе и скорбь. Так что у меня было что делать все это время. Хотя бы слушать или утешать. Ко мне испытывали столько доверия, инстинктивно чувствуя мою непредвзятость и стремление к справедливости. Когда меня переводили с места на место, у окружающих появлялись слезы на глазах. А у меня они были в сердце, потому что я не могла плакать. Наконец я прибыла сюда, но и здесь я не столкнулась с суровостью. Многие начинали с равнодушия, а кончали симпатией и добротой. Да, да, живут все-таки еще люди на свете. Надо только найти их. И знать их, уметь обходиться с ними, этому мы все должны постоянно учиться.

До нас доносятся отзвуки великих потрясений, и мы радуемся. Время приближается. Дождемся мы урожая или нет, не в этом дело. Тысячи жнецов с нами. Но мы не хотим быть легкомысленными, и лучше бы я сама в ярко-красной юбке собирала в охапку эти колосья.

Я имею возможность снова исследовать свою «печенку», как ты говорила, мамочка, и свое сердце. И должна признать, что мои убеждения зрелы и не могут измениться. Это было бы притворством и ложью. Священник дал мне книжку «К богу», предназначенную чешской католической интеллигенции. В ней повторяются католические догматы на философской подкладке. Можете мне не верить, но мне очень хочется резко отбить нападки этой книги на мой здравый ум и чувства. Она морочит голову людям! Это тонкая, то есть наиболее вредная, пропаганда, основывающая свое существование на человеческом страхе перед вечностью. Не важно, сколько я прочитал сегодня молитв, важно, что я сделал доброго и чем помешал злу. И моя совесть не простит мне самый маленький проступок, вот это важно — воспитать в ней чуткость!

Ах, Иисусе, как ты далек с твоей любовью и добрыми делами от рабского и холуйского ханжества! Я не боюсь вечности и не дрогну перед ней, всем своим существом зная, что хотела только добра и боролась со злом. Я не могу иначе и знаю, что права.

Нет ни добра, ни зла вне общества. Если бы человек был один-одинешенек, что зависело бы от его поведения? Кого он обидит? Кому принесет пользу?

Но здесь вокруг меня — люди, и я могу помочь или повредить им, а все вместе мы можем построить на земле рай или ад.

Мамочка, отец, прочтите внимательно «Мать», не Чапека, а другую*, там глубже и лучше переданы наши чувства.

Мы мечтали (в письмах), как было бы прекрасно вместе поехать домой. Может быть, мы украсили бы своих коней пестрыми лентами и пели бы: «Открывайте ворота, мы везем солдата...» — или ехали бы совсем тихо, и я без звука бросилась бы в ваши объятия... Время нас не убило, но мы никогда не допустим, чтобы от горя искажались лица и ныли сердца любимых. Последнее время мы жили при блеске молний, под грохот грома, видели, как люди гибнут, и никогда этого не забудем. Из отчаяния и надежды выросла безграничная вера и сила. Ты пал? Своей гибелью ты будешь оживлять сердца и давать силу при воспоминании усталым рукам. Ты жив? Так живи во имя тех, кто пали! Это не жестокое мужское требование. Оно продиктовано самым горячим и мягким чувством...

28.2.1943

Дорогие мои!

Сегодня воскресенье. Мягкое спокойствие царит вокруг и тихие воскресные радости. Пришла почта от Витезки. Юльча принесла из костела приветы от многих знакомых. Меня ждет книжка и несколько прелестных чешских стихов, которыми наши девушки хотели скрасить мне время. И правда, когда долго слышишь чужую речь, родной язык звучит как чудесная мелодия.

В воскресенье я чувствую себя ближе к дому, чем когда-либо. Нежные, привычные картины встают передо мной. Промелькнет улыбка матери и рука, протянутая ко мне, взгляд отца и его доброе слово, голубые глаза Бетушки и кудрявая головка Йожинка. Тетя что-то ищет под подушкой. Что бы это такое? Красное яблоко или еще что-нибудь вкусное. Бесконечна ее любовь. А бабушка грозит мне пальцем. Я опять напроказила? «О добре твоем думаю»,— слышу я ее голос и соглашаюсь. И как рамка для ваших любящих сердец — наша ярко разрисованная кухня, вокзал, солнце, небо. Ветер летит над лугами, над лесом. А вот и окна, через которые проникает свет месяца, аромат полей и звуки леса. Тысячи воспоминаний, и каждое прекрасно по-своему.

И дальше вспоминаются мои первые шаги в мир. Поле, пруд, стада пестрых коров, буйный виноградник, красные черешни, веселые, как детские радости, душистая тропинка в поле и яркие пятна алых маков и васильков. Как долго могла бы вспоминать я все это! А главное — люди, люди, милые люди. Я слышу музыку и вижу яркие переднички девушек, закружившихся в стремительном танце, вспоминаю Бету.

Потом слышу песни, мелодии, слова которых напоминают о Битишце и о Брно. Я говорю с Любой и многими другими любимыми мною людьми, я брожу с ними, и мы говорим, говорим. Потом наступает время, которое протекало в более простой, не такой воздушной обстановке, полной певучих мелодий, время, наполненное чувствами и мыслями, время, обогатившее меня опытом.

Передо мною две фотографии Праги, присланные мне Витезкой. Карлов мост и Градчаны с Влтавой. Трудно выразить словами мое чувство. В нем воедино сливаются настоящее и прошлое, личное, милое и возвышенное. Наверно, я плакала бы, если б могла, и омыла бы слезами дорогой мне город. Есть в нем что-то бесконечно сильное, ошеломляющее и возвышающее. Это дух города. И в то же время это в тебе, внутри. Этот город дает тебе столько, сколько ты можешь принять. Это чувство в тебе и в людях, духовно с тобой связанных. Все зависит от того, услышат ли твоя душа и слух гремящие, потрясающие хоралы прошлого, которые помогают тебе расти, у тебя появляются крылья, и ты отрешаешься от своего личного. Только озноб, пробегающий по телу, напоминает тебе, что ты человек и что в твоем теле и твоих руках надежная опора духа.

---

* По видимому, М Горького *(ред.)*

Стояли серые, туманные дни, когда сидела я в доме Печека, и только шпили храма на Староместской площади, как два пальца, поднятые во время присяги, в своей молчаливой торжественности и силе вырисовывались сквозь туман.

Бывают минуты, когда всеми силами ты стараешься вызвать воспоминания, несмотря на то, что ты видишь все до мельчайших подробностей, чувства твои молчат. И достаточно какого-нибудь запаха, легкого облачка, солнечного луча или сладкого звука, вдруг оживают все воспоминания, в душе зазвенит какая-то струна. Чувствуешь, что ты все еще остаешься живой водой, когда уже думала, что стремительное теченне ее остановилось, замерло. Ах нет, все это длится, пока солнечный луч согревает камень, застывший под снегом.

Птицы щебечут весенними голосами. Судя по звуку, где-то неподалеку звенит трамвай, и я слышу отрывок модной песенки «За декабрем всегда приходит май!»

Вот оно, наше воскресенье! Вы бы, наверно, оплакивали его грусть, а мы чувствуем только его тишину и спокойствие. На столе у нас расстелена крошечная скатерть (полотенце), а на ней разложены фотографии близких. Мы перечитываем письма снова, и я молюсь на них, потому что написаны они с любовью к человеку, дочери. Они — мое евангелие, они — его содержание. Сегодня я читала отрывок из послания апостола Павла к коринфянам, этот гимн любви: «...а не имею любви — то я ничто... Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует... все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Вы мое благословение, моя любовь.

В этом смысл нашего воскресного утра.

Но как важна и его материальная основа, вы могли бы понять это только на собственном опыте. Когда ощущаешь тепло в желудке, чувствуешь себя сильнее, не приходится прилагать столько усилий, чтобы победить повседневные мелкие неприятности. Чувства ярче и острее, мир богаче красками. Воспоминания о душистых поджаристых булках, пусть даже из темной муки, или тарелке горячего картофеля не подавляют другие, более абстрактные представления, как это бывает при чувстве голода. Такие воспоминания бывают очень тягостны, действуют непосредственно на слюнные железы, проявляющие необычную активность. А сейчас, после еды, мы позволяем себе заигрывать с такими воспоминаниями.

— Ну как, Марушка, ты бы не отказалась от маковых кнедликов или от обыкновенного риса? Достаточно было бы, пожалуй, и риса с фасолью и со шкварками.

— Юльча, а яблочный пирог и жареный цыпленок в соусе?

Это уже утонченный выпад, двойная месть за обыкновенные наскоки. Такие невинные, простые желания, и как мы наслаждаемся приукрашенными представлениями и о вкусе и о запахе всех этих великолепных блюд. Но незаметно мы кончаем это сражение, оружием в котором становятся всякие вкусные вещи, сдаемся и говорим:

— И что это мы все болтаем о таких глупостях, давай лучше петь. Ну хотя бы эту:

Парень, парень,
Меня в щеку не целуй

Но нам не везет, мы поем, но это только прелюдия. Обе мы ждем момента, когда снова сможем нанести неожиданный удар тем же, еще более заманчивым оружием.

Но все это пустяки, себя можно перебороть. Только пусть никто не говорит, что тело и дух — врожденные враги и задача наша подавлять плоть, чтоб победил дух! Нет, нет и тысячу раз нет! В здоровом теле здоровый дух, в сытом теле сытый дух, в живом теле живой дух и т. д. до бесконечности — epiteton constans* принадлежит обоим. Только epiteton ornans**, то есть, что в прекрасном теле прекрасный дух, может и не соответствовать действительности. А если в больном теле здоровый дух, а в старом — молодой, это свидетельствует лишь о высшем качественном его содержании. Но всякий, кто прошел через такие тяжелые испытания тела, поймет и согласится со мной. Легче побеждать в жизни, когда у тебя здоровое, холеное тело от солнца, пищи, воды, спорта, а не от помад и кремов.

---

* Постоянный эпитет (*лат.*)
** Украшающий эпитет (*лат.*).

Вот так и проходит наше воскресенье. Мы не грустим, нам это и в голову не приходит. Ваше воскресенье я знаю, так хорошо знаю. И ваши дни и вечера. Мне не хочется, чтобы ваши любящие глаза увлажнились, и потому я обещаю, что буду писать только о радостных событиях, ну хотя бы о наших сумасбродных и счастливых пустяках, орошающих сухую почву повседневности.

Мамочка, все мое имущество здесь при мне. Боже, я бедна, как церковная мышка, у которой ничего нет, кроме ее скромной серенькой шкурки. И знаешь, чего бы мне хотелось? Чтобы вы познакомились с мамой Витезки и Ярки. Помнишь, мама, я не умела мечтать и разбивала твои мечты жестокой фразой: «А ты опять фантазируешь!»? И отец своим реалистическим взглядом на мир разрушал твои мечты, но он это делал мягко, с улыбкой, а я строго, безжалостно. Но, может быть, Бетушка лучше умеет слушать твои рассказы?

А сейчас мне хочется наверстать упущенное. Давай помечтаем вместе, хорошо? Я не умею сочинять сказки только для себя. Я сочинила только одну, небывалой красоты, но она принадлежит нам, людям, всем. В ней идет бой между драконом и добрым, славным парнем, и, как в каждой сказке, побеждает мир добра, правды, красоты. Я верю в это и готова вместе с Гонзой воевать за этот мир.

Но сейчас мне хочется сказать: стучи, бегай челнок, сегодня я сотку веселые красивые одежки, чтоб понравиться своей мамочке, чтоб радость красным солнышком заиграла на ее лице, пусть веселее станет и тебе, и бабушке и в ваших жилах заиграет молодая кровь, пусть и отец скажет радостное слово, пусть Бетушка и Йожинек звонко рассмеются. Хочу сегодня быть веселой, общительной Аничкой, живость которой тебе так нравилась, мамочка!

Когда я вернусь домой, все вокруг должно веселиться и радоваться. Не только люди, но и вещи. Никакой грусти, только веселье и смех! Пусть наши сердца и наши дома станут святилищем, где для всякого найдется улыбка и поддержка! Мне казалось, что я буду думать только о мечтах матери и дочери, но волей-неволей в мечты вошли и другие люди, ведь мы не хотим и не знаем эгоистического счастья только для себя. Я красиво оденусь, чтоб доставить маме удовольствие, буду общительной, разговорчивой и не буду прикрываться маской молчания!

А потом за работу! Сначала как следует подмести пол и все привести в порядок, а потом сажать, поливать, пестовать красоту, музыку, аромат. Сходить на пасеку, где так мирно жужжат пчелы вокруг ульев, поставленных отцом. Сходить с вами со всеми.

А потом, как ты думаешь, мама? Появятся принцы? У отца уже седые волосы, хотя и держится он еще прямо, хорошо. Он может быть только добрым королем-отцом. И поскольку в нашей сказке одни добрые феи и принцессы, для того чтобы жизнь была прекрасной, на заре должен появиться принц на белом коне. А за принцем следуют какие-то маленькие фигурки, крошечные принцессы с блестящим, как звездочки, взглядом и нежными вьющимися волосами. А потом нужно будет позаботиться и о них — и сказка повторится. Из сказки в сказку!

Довольна ли ты, мама, тем, что сегодня я вылетела с развевающимися волосами и горящим взглядом на буйном коне на поиски мечты? Так мне захотелось быть маленькой девочкой и, сидя у тебя на коленях, услышать сказку твоего сердца, хотя давно прошли те времена, когда ты ее мне рассказывала.

Но наступает время возвращения из мира сказок, и уже бумага, на которой я пишу, напоминает мне об этом. Нельзя принимать блеск ножа за сияние драгоценного камня из королевской короны, он может ранить, и алая кровь вернет тебя к действительности...

4.3.1943

...Витезка, прекрасно не только быть любимой, но и любить, не только брать, но и давать, не только принимать благодарность, но и горячо благодарить самой, не только вызывать восхищение, но и восхищаться. Всей душой, сполна отдавать себя любви и человеку и принимать его любовь. Только не дай победить мелкому самолюбию, не позволь себе страдать, если другой человек в чем-нибудь тебя предвосхитит. Сумей добить-

ся победы своей справедливой мысли и с радостью поступись своими взглядами, если им противостоит что-то лучшее. Пусть самолюбие не ослепляет тебя. Можно найти радость и в уступке, если это делается во имя правды. Ведь только тогда может быть обеспечена безупречная организация человеческого общества, если всякий будет на своем месте. Лучше со спокойной душой (это значит — побороть свое самолюбие) быть на последнем, но заслуженном тобой месте, чем на первом, но тебе не принадлежащем. Научись относиться к себе критически, распознавать тех, кто лучше тебя, и уступать им! Познай себя! Я не люблю людей униженных, покорных. Я готова поступиться ради идеи, любви, но не ради собственных интересов, успеха. Здесь вполне уместна скромность. У человека, однако, должны быть и сознание собственного достоинства и вера в себя, опирающаяся на знание своих возможностей и недостатков, чтоб он правильно нашел свое место в жизни, свою цель и не лез куда не следует. Но нельзя уступать из-за недооценки самого себя или из-за самолюбивых глупцов.

Я всегда боялась быть глупо самолюбивой, но и не хочу уступать человеку, ослепленному собой, особенно когда речь идет не о личных интересах.

7.3.1943

Любимые мои,

меня немного тревожит, что уже две недели от вас нет никакой весточки. Надеюсь, что вы все здоровы и ничего плохого у вас не случилось.

Сегодня снова воскресенье. О нем звонко поет дрозд под нашим окошком, сюда доносится колокольный звон и даже кукареканье петуха. Милый звук. Он напоминает мне дни радостного труда, движение, суматоху. Я думаю о жарком воскресном дне, шуме, о горячем солнце и запахе, о всех вас, о том, как я бродила по полям и лесам, думаю о своих планах и надеждах, о труде и любви своей ко всему этому, к вам всем.

Я была на прогулке, видела за окнами милых своих девушек и слышала песню, которую они мне часто пели. Я ее повторяю про себя или вполголоса напеваю, когда кружусь по грязному двору. Пою любовь, движение, отвагу!

Я выучила наизусть «Благодарность» [1] С. К. Неймана. Звучание стиха кажется вам жестким, ранит? Поймите, что именно этими острыми как нож и твердыми как сталь словами могут быть защищены Любовь и Дело. Задумайтесь, и вы не сможете не принять эту правду, ее закономерность и справедливость. Идет решающий бой, враг использует все средства, все виды оружия, чтобы физически и морально уничтожить как можно больше людей. Имеем ли мы право проигрывать сражение? Я говорю за всех полным голосом: Нет! Это конец или начало, смерть или жизнь! Мы хотим, чтоб победила жизнь, пусть мы заплатим за это своей жизнью! Мы живем верой в будущее, хотя у многих из нас и нет надежды остаться в живых! Да!

Вот о чем я думаю. Над многим и о многих размышляю. Обо всем, что вспоминается в ту или иную минуту. Познакомилась я с девушками из этого края, которому посвящена «Благодарность». Они полны молодости, воодушевления, идеалов, у них есть цель, труд, они жаждут борьбы и самопожертвования. Счастливая юная жизнь, полная улыбок,— все это знакомо им, они жили всем этим, во имя этого.

На этой неделе одна из наших подруг ушла от нас навсегда. Через три месяца и, кажется, пять дней после вынесения приговора. Мне осталось на две недели больше...

Люди будут страшно потрясены, когда над их кровом воцарится мир и спокойствие! Сколько людей, сколько сыновей и дочерей человеческих умирает — и не содрогнется небо и земля, не расступятся скалы! И каждый расплачивается своей жизнью, в каждом есть часть спасителя. Мир, мир! Не помогут ни горькие слезы, ни дым пожарищ! Поможет лишь жестокое, кровавое жертвоприношение. Не плачьте, сражайтесь!

---

[1] Стихотворение «Благодарность Советскому Союзу»

8.3.1943

Моя милая!

Конечно, ты уже знаешь из моего письма, что одну из нас увели на бойню. Прости мне это выражение, но есть ли тут разница? Делают ли они различие между человеком и волом? Пожалуй, только в том, что за волом больше ухаживают и лучше кормят, а потом еще немало мудрых голов размышляют, вести его на убой или подождать, не пригодится ли он еще для работы.

И вот пока один человек боролся с последним страстным желанием жить и пока он истекал кровью, мы ничего не подозревали. И, может быть, в ту минуту радовались тихому вечеру. И ничего не случилось! Никто не содрогнулся от ужаса перед своим поступком, никто не был потрясен безмерной несправедливостью и страшным преступлением: смотрите, он не виновен!

Ты жестокий, тупой, кошмарный мир! Ты убиваешь и цинично усмехаешься! Люди, люди, если вы достойны этого имени, если вы чувствуете и мыслите, не молитесь, а действуйте! Месть и справедливость в ваших руках! Отомстите виновным за невинных, уничтожьте, свергните чудовище с его презренного трона и поднимите знамя справедливости и отмщения! За миллионы тех, чья кровь была пролита невинно,— она проливается ежедневно! Товарищи, соратники, братья, люди! Если мы избежим смерти, то не забудем о вас. Ваша жертва сделает наше сердце и руку тверже и отзывчивее! Если мы погибнем, то пойдем на смерть без колебаний, лишь бы память о нас влила силу в ваши мускулы, вспыхнула огнем и зажгла ваши сердца! Обещаем!

Знаешь, моя Витезка, потрясло меня не только одно тяжелое известие. Ведь мы готовы ко всему. Но за тем, что ждет тебя,— за щитом, которым вооружило тебя время и борьба, если на минуту сорвать с глаз пелену, через которую смотришь на эту битву с отвратительным чудовищем,— вдруг видишь всю кошмарную жестокость того, чем цинично мстит оно за неудачи своих зверских планов. Человечество поймет этот ужас во всей его глубине и полноте только тогда, когда наступит мир и борьба будет продолжаться на поле труда. Только после бури, когда смолкнут адские голоса, только завтра, когда взойдет солнце!

Честь труду!

9.3.1943

Дорогие мои!

Снова прошло два дня с момента моей последней беседы с вами в письме, а о вас по-прежнему ни слуху ни духу. Это молчание тревожит меня. Здоровы ли вы? Не случилось ли что-нибудь? Пишите мне обо всем, что делаете, как живете.

Я здорова, спокойна, весела, даже пою, у меня все есть. Видно, наступает уже весна? Она машет за окном своими ветвями, опять поют птицы, воркует голубь, я слышу удары молота, воздух шумит отдаленными звуками жизни, и доносится тонкий аромат и птичий гомон. И все это вызывает иллюзии жизни в нашем дворе.

Вы спрашиваете, почему я все время говорю о солнце, небе, пении? Потому что все это так связано с нашей жизнью. И все это мост к воспоминаниям. Когда постучит в наше окно первый луч солнца, мы говорим: «Будет хороший день»,—и хочется от радости скакать на одной ножке. И я снова во дворе дома, в поле...

Так мне хочется проказничать, хоть со словами поиграть, разве не чувствуете вы за этим детские шалости, ребячливость? Я ощущаю радость, знаете от чего? От жизни, весны, разговоров, надежды, веры. Так часто я мечтаю перенестись туда, где бродил в юности ты, отец. Эта мечта жила во мне давно. С тех пор, как ты рассказывал об этом. Размечталась я о далеких краях, захотелось мне побороться с бурей, которая замышляет вырвать мою мечту с корнем. Я знаю, ей это не удастся, но как хотелось бы мне самой шагать в победоносном шествии, устоять против ее волны. Тебе не кажется, что это странное желание, правда? Когда день за днем проводишь в камере, когда работа так однообразна, мысль улетает далеко, туда, где движутся живые фигурки милых. Мои дорогие, время уходит, работа зовет. Я охотнее теперь копала бы

землю в саду, на винограднике, пасла бы нашу корову (а как ее зовут?) или лошадей дяди. Трудиться так, чтобы болела спина и руки огрубели бы от мозолей. Хуже, когда мозоли вырастают на сердце, которое должно привыкнуть к бо́льшей тяжести, чем лопаты у нас дома. Итак, я посылаю привет нашим ласточкам, пчелам, деревьям, всему, что наше. Посадили ли вы цветы в саду?

Что сказали бы вы, если б я вдруг появилась в нашем дворе?

— Ну, не видите вы, что ли, ведь это я!

12.3.1943

Милая, милая Витезка, прошла еще одна пятница. Напряжение день ото дня становится все больше. Чувствую себя утомленной, как после долгого пути. Хочется взять тебя за руки, положить голову на твое плечо, говорить с тобой, слушать твой голос. Какая неосуществимая мечта; нужно удовлетворяться сознанием твоей, вашей духовной и идейной близости. Так хочется поговорить не только с собой, но и услышать живое слово человека, который все может понять и выразить. Витезка, прошу тебя, если только это будет возможно, пришли мне «Мать — надежду», конечно, если можно будет, если удастся. На будущей неделе, до пятницы я верну книгу. Так хочется, чтоб в воскресенье было что-нибудь хорошее...

Учусь все глубже и глубже понимать большевистскую дружбу и инициативу. Большевистскую помощь и взаимопонимание...

Но не думай, что я малодушна, нет, этого со мной не случится. Только устала я от ожидания и неопределенности (по пятницам особенно это тяжело). Но это не усталость, от которой человек падает духом. Я в совершенно спокойном, нормальном состоянии и завтра буду снова свежей, как листочек. Я сегодня перепела все «наши песни», а песня уносит все, что тяготит. Пусть будет песня, а не слезы, так лучше, и я привыкла к этому. Пусть будет улыбка, а не слезы, гордо поднятая голова, а не уныние, отвага, а не страх.

23.3.1943

Милые мои!

В воскресенье был самый чудесный весенний день. На прогулке я увидела, что распускаются почки на деревьях, пробивается первая травка, птицы поют, музыка играет. Я утопала в волнах света и запахов. Вот тебе кто-то помахал рукой, еще кто-то. Кто-то улыбается? Да, да, смеется. Самая прекрасная улыбка у Витезки. Весенняя, теплая. Она улыбается мне. Я понимаю ее. А ты, малютка, плачешь? Что это, воспоминания, мечты? Не плачь. Мне хорошо, не тоскливо, я мечтаю... Вижу горы, голубые горизонты, парус на синем озере. Ощущаю аромат леса, слышу, как хрустит под ногами хворост. Утром я писала тете из Каменца и тете Руданке. Они так заботятся обо мне, так любят меня, а я им до сих пор не ответила. Потом наступил самый чудесный момент. Тише, тише, не спугните спокойствие весеннего воскресного утра, у меня гостья, которая так меня обрадовала. Ко мне пришла Витезка. Мы не знали, что нам делать — говорить или молчать. Что сначала? Мы сидели, прижавшись одна к другой, и держались за руки. Она обнимет вас за меня, если мне это не удастся. Хочется верить, что я обниму вас сама. Мамочку, папочку, бабушку, тетечек, Бетушку и Йожинька. Вас всех, кого люблю. Потом Витезка ушла. Я долго не могла уснуть, как всегда, если случится что-нибудь необычное. Я снова увидела жизнь такой, как она есть. Радость, страдание, неожиданность? Придет, откроет двери — и вот она здесь. Потом тихонько выскользнет, двери закроются. Ушла. Была, есть и нет ее. Но будет! Будет!!!

24.3.1943

...Утренний привет и поцелуй. Сегодня мне исполнилось 22 года.

Последнее письмо

26 марта 1943

Я попросила дать мне возможность написать еще несколько слов, которые будут приложены к документам и официальному письму из Бреслау, Клетчкауштрассе, 31.

Что остается сказать, любимые? Что еще рассказать вам о себе? Вы знаете меня, ведь я была и остаюсь вашей дочерью, вашей кровью. Мы разрушили стену, которая выросла между нами, и стоим рядом, рука об руку, сердце в сердце, мысль в мысль. Прошу вас, не ходите горевать на могилу памяти обо мне. Пусть всегда цветут на ней радость, улыбка, спокойствие. Прошу вас, пусть память обо мне не отнимет у вас радость жизни, но поддержит и усилит ее. Каждое воспоминание, каждая мысль обо мне!

Только что пришел священник. Мы поговорили с ним как человек с человеком. В решающий момент своей жизни я еще раз глубоко продумала все то, что составляет существо моего «я», и не усомнилась в нем. Не бойтесь за меня. Мое представление о справедливости чисто и возвышенно, оно переживет меня, потому что приносит людям добро. Не плачьте, не отчаивайтесь, но живите, любите и радуйтесь! Столько раз я повторила слово «любовь», что оно звучало бы глухо, если бы серьезность момента не давала бы мне высшего права на это!

Кончаю. Пожалуйста, вещи мои требуйте здесь! Очевидно, они будут в моей камере на Фрайбургштрассе, 5. Если их там не получите, спросите (лучше устно, чем письменно) здесь, Клетчкауштрассе, 31, Бреслау 10. Мне сказали, что я могу передать вам и свои косы. Надеюсь, ты получишь их, мамочка! Требуй их и скажи, что мне позволили это сделать, даже сами предложили. Получите ли еще что-нибудь, не знаю. Не бойтесь, не страшитесь!.. Говорят, у меня хорошие нервы и есть мужество. Вот и не бойтесь за меня, не отчаивайтесь!..

В тишине этих месяцев я много размышляла, многое вспомнила. Когда-то мне казалось, что я не умею жалеть. Сегодня я горячо, смиренно жалею обо всех причиненных мною кому-либо обидах. Жалею обо всем, что было в моем поведении дурного и ошибочного, радуюсь всему, что было хорошего (*вычеркнуто цензурой*)... мужественны. Как сблизила нас общая участь. Передайте привет их родным, поблагодарите их, я так их люблю!

За эти три месяца я мысленно прошла через все периоды своей жизни. Сердилась, как ребенок (простите), капризничала и играла. Ходила в школу и снова переживала серьезные и веселые минуты тех лет. Я прошла снова через весь процесс воспитания чувств, духовного и умственного созревания, взросления. Итоги вы знаете, они с очевидностью следуют из прожитого.

Никогда никому я не лгала и любила тех, кому говорила о любви. Всем вам посылаю привет, целую, жму руки и желаю счастья. Если вы будете счастливы, я с легкостью уйду из жизни, без зависти, горечи, с радостью за вас.

Пусть колоколами звучат моя благодарность вам и моя любовь!

Я с вами, была и буду с вами. Хочется рассказать вам что-нибудь веселое, чтоб вы поняли, что я совершенно, совершенно спокойна. Боюсь только, чтобы в такой момент это не прозвучало цинично. Этого во мне никогда не было.

Склоняюсь в твои объятия, мамочка моя, горюшко мое, моя голубка! Обнимаю тебя, дорогой отец, прошу тебя, будь опорой матери, как был всегда. Благодарю и снова целую ваши руки. Что сказать тебе, моя девочка? Часто говорила я с тобой в письмах, поняла ли ты меня? Мэленький, дорогой Йожка! Моя добрая бабушка, за все благодарю вас. И ты, дорогая тетушка, останешься для меня примером терпения, святости.

Помните ли вы, как я сдавала выпускные экзамены? Помните, что я никогда не боялась никаких испытаний, никаких жизненных трудностей? Страх, боязнь, робость всегда исчезали в решающий момент, оставалась твердость, решимость! Так и сегодня, верьте мне. Ведь я сражалась и подавляла тревогу, неуверенность, тоску, страдание, мечту... (*зачеркнуто цензурой*)... на память оставляю вам часть этого упорства.

Все уравновесилось, затихло, приближается решительный момент. Вы дома? Возвращаетесь с виноградников, из сада, от пчел? Я с вами, чувствуете? Я хотела бы положить свои руки, как щит, на ваше сердце, прикрыть рану, которую нанесет вам мое сообщение. Я буду всегда с вами, не оставлю вас.

Пишу все утро. Прерывает меня только необходимость заниматься всякими последними формальностями.

Не жалейте меня, не плачьте! Знаю, что вы охотно пошли бы на все за меня, но нет, я в силах сама вынести все, свою жизнь и свою судьбу, которая также была моим творением. Это только неизбежные, неотвратимые последствия.

Не получила я еще от вас поздравление к дню рождения, но я знаю, с какой любовью вы вспоминали обо мне, чего желали вы мне. Все знаю! Храните обо мне память во всем, где слышится биение жизни. Я буду с вами, буду оберегать, вести вас. Буду радоваться с вами, поддерживать вас.

Еще раз пришел священник посмотреть на меня.

Люблю, покидаю вас с верой, твердой верой. Ваша любящая дочь

Мария Кудержикова

Привет всем. Прощение. Благодарность. Любовь. Я с вами. Вам благодарность и любовь!

М. К.

Ухожу без страха!

Волосы я обрезала и завязала сама. С ними передаю привет и поцелуй. Они будут с моими вещами, которые вы потребуете.

Франтишек Бурианек

ПЕРЕД НОВЫМИ ГОРИЗОНТАМИ

(Заметки о современной чешской литературе)

Стремление глубоко и полно отражать социалистическую современность, активно участвовать в ней — ведущий принцип новой литературы народно-демократической Чехословакии. Этот принцип не только следствие социалистических преобразований в нашей стране. Он неотделим от вековой традиции нашей литературы, в течение более ста лет участвовавшей в борьбе народа за национальное самоопределение, в борьбе с феодализмом, а позже в борьбе с силами империализма. Следует подчеркнуть, что в годы между двумя войнами, когда чешская литература сблизилась с революционным рабочим движением и с марксизмом, эту традицию продолжали наиболее значительные писатели того периода: Гашек, Волькер, Нейман, Ольбрахт, Майерова, Незвал, Ванчура, Пуйманова.

Погружение чешской литературы в водоворот политических событий было не только исторически необходимым, но и благотворным для самой литературы. Возник тот контакт художника с нацией, с народом, который только и может оплодотворить произведение искусства, сделать его актуальным и жизненным. И на том переломном этапе, когда судьба нации зависела от исхода страшной войны, поэты оказались на уровне великих задач и создали замечательные произведения, сильные, монументальные. Значение этих произведений заключалось не только в том, что они явились историческими документами («Документом» назвал сборник своих первых послевоенных циклов стихов Голан), но и в том, что именно тогда поэты пришли к подлинному пониманию действительности, определившему их дальнейший путь. Убеждение в том, что только первому социалистическому государству удалось отстоять человечность в борьбе с фашизмом, что социализм является перспективой счастливого будущего, получило в этих произведениях высокое художественное воплощение. Даже поэты, не придерживавшиеся коммунистического мировоззрения, в хаосе войны и в дыму горящих городов распознавали подлинный облик советского человека — героя, освободителя, друга. Страстная монументальная поэзия С. К. Неймана, В. Незвала, Ф. Грубина и других во многом предвосхитила будущее направление чешской литературы.

Чешская проза и поэзия последних пятнадцати лет стремились постигнуть изменения в жизни новой Чехословакии, выразить их пафос, активно участвовать в строительстве социализма. Именно это приблизило нашу литературу к советской, к могучему и широкому потоку литературы, которая стремится изображать жизнь, глубоко постигая ее диалектическое развитие,— к литературе социалистического реализма.

Наша литература все больше удалялась от влияний модернистского искусства, ограничивающегося исследованием разрушающейся психики одинокого индивидуума, тщетно ищущего свое место и смысл жизни в старом классовом обществе.

О том, что наша литература занимает мысли и сердца читателей, говорит статистика: рост книжных тиражей, увеличение спроса на книги в библиотеках и читальнях, данные читательских конференций отклики на радиопередачи и т. д. Следует

также сказать, что современная чешская литература в гораздо большей степени по сравнению с предшествующими годами стала известна за границей, что книги А. Запотоцкого, М. Майеровой, М. Пуймановой, Я Дрды, Н. Фрида, Я. Отченашека, Зд. Плугаржа, Л. Ашкенази и других известны далеко за пределами нашего государства, а «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика знает весь мир, что имя Витезслава Незвала стоит в одном ряду с выдающимися поэтами нашей эпохи, что благодаря новым переводам уже начало складываться представление о высоком уровне чешской лирики, ее традициях, современном состоянии.

Какие художественные ценности создала чешская литература за эти пятнадцать лет? Какие принципиально новые средства нашла она для изображения постоянно меняющейся современной действительности?

Попробуем наметить самые общие линии ее развития, попытаемся выявить наиболее характерные для современной чешской литературы ответы на вопросы, которые ставит эпоха.

* * *

Ориентация на современность, стремление писателей отразить во всей глубине и сложности процесс социальных изменений, происходящих в стране,— таковы основные тенденции развития чешской и словацкой прозы пятнадцати послевоенных лет. К современности проза приблизилась прежде всего своей тематикой. Но когда мы говорим о рождении новых художественных качеств литературы, о ее новаторском вкладе в социалистическое искусство, то при этом имеем в виду не только обращение писателей к новым темам — социалистическое строительство, коллективизация деревни, острая классовая борьба и т. д.,— а в первую очередь воссоздание образа человека нашей эпохи, раскрытие новых явлений в общественных отношениях, в мышлении, в чувствах людей

Современная проза выступила в новом социалистическом качестве, освещая события недавней истории, то есть период войны и оккупацию, а также повествуя и о более отдаленном прошлом — истории рабочего революционного движения. Речь идет о таких произведениях, как, например, трилогия М. Пуймановой («Люди на перепутье», «Игра с огнем» и «Жизнь против смерти»), показавшая судьбы целой нации в эпоху великих политических потрясений, как сборник рассказов «Немая баррикада» Яна Дрды, запечатлевший страницы героической борьбы народа против оккупантов, как произведения Антонина Запотоцкого и т. д.

Писатели, обратившиеся к материалу современности, ищут своего героя в среде простых тружеников. Внимание Вацлава Ржезача, например, привлекли образы людей, которые начали строить новую жизнь в чешском пограничном районе. Склад мыслей и чувств этих новых героев, их психология, устремления приобретают особую общественную и эстетическую значимость теперь, когда рабочий класс стал ведущей силой в стране. И писатели, которым удалось глубоко проникнуть в психологию и умонастроения рабочих, потому что они хорошо знали или стремились узнать рабочую среду (В. Каня, Т. Сватоплук, М. Стеглик, И. Марек, К. Седлачек), создавали произведения, нашедшие живой и непосредственный отклик у читателя.

Обращение к новому герою, которого отличают ясный взгляд на мир, крепкая воля и целенаправленность, обогатило нашу прозу изображением активного отношения к жизни, драматизмом и действенностью. Этот герой — прямая противоположность тем типам мещанина или интеллигента старого уклада, с его «комплексами» и безволием, которые прежде обильно населяли страницы нашей прозы, и не только нашей. В романах Ржезача «Наступление» и «Битва» эти противоположные характеры сталкиваются в острых общественно-политических конфликтах.

Когда наша проза во второй половине пятидесятых годов снова проявила интерес к типу так называемого «модерного человека» (под этим термином понимается рефлектирующий интеллигент, стоящий перед неразрешимыми для него проблемами классового общества, мятущийся и заблуждающийся), когда наша литература обратилась к изображению разного рода ущербных типов мещан, в этом не было, собственно говоря, никакого новаторства или откровения. Конечно, писатели могли обогатить галерею литературных типов старого мира целым рядом новых портретов, но

новую эпоху и новые, социалистические черты человеческого характера изобразить таким образом было невозможно.

Современной в подлинном смысле слова такого рода литературу не сделало и использование некоторых художественных приемов, связываемых часто с понятием «модерной» прозы,— таких, как внутренний монолог, смещение планов действия, различные способы деформации действительности, показ событий в разных ракурсах и т. д.

Дело, конечно, не в самом обращении к этим художественным средствам. Вопрос в том, какую функцию они выполняют в каждом конкретном произведении, какому идейному замыслу служат.

Тем писателям, которые, обращаясь к типам героев, мыслящих по-старому, изображали их некритически, с позиции стороннего наблюдателя или даже с безоговорочной симпатией (как это имело место у Е. Валенты), не удалось по-настоящему приблизиться к современности, к пониманию тех сил, которые создают новую действительность, формируют нового человека. Идя по этому пути, талантливый писатель мог создать «интересный тип», но в литературу он не мог внести ни новых качеств, ни нового видения современной жизни.

Кстати, разве не меняется в социалистическом обществе и в социалистическом искусстве само содержание понятия «интересный тип» вместе с изменением эстетических взглядов? Прежде считался интересным образ раздираемого внутренними противоречиями, пассивного, рефлектирующего интеллигента. А сегодня, с точки зрения социалистического общества, гораздо интересней тип активного строителя социализма, участника великих исторических свершений, побеждающего, а подчас гибнущего в борьбе за общие цели. Думаю, что даже для врагов социализма этот особый сорт людей, который обозначается словом «коммунист», сегодня гораздо «интереснее». Это — человек, совершивший столь же фантастическое, сколь и закономерное превращение отсталой старой России в передовую державу мира, не только в экономическом и политическом, но и в научном и культурном отношении; человек, который, будучи движущей силой нового общества, ведет мир по пути непрерывного прогресса. Разве не стала всемирно известной чешская книга, которая в форме репортажа изобразила коммуниста, не дрогнувшего в неравной битве с миром врагов, не утратившего в застенках фашистских палачей ни веры в правоту своего дела, ни высокого человеческого достоинства? И разве новаторство Юлиуса Фучика не заключается в самом конкретном, в самом убедительном раскрытии новой, коммунистической морали?

Временное возрождение черт старого «модерного» психологического романа может быть объяснено как реакция на некоторые недостатки нашего «производственного» романа и драматургии периода до XX съезда КПСС. Значение актуальной общественной тематики было в то время до некоторой степени дискредитировано схематизмом в сюжете, в обрисовке характеров, в композиции и стиле, особенно у тех писателей, которые только начинали свой творческий путь и сразу же столкнулись с совершенно новыми задачами. Следует, правда, помнить, что и этот период развития нашей литературы обогатил таких прозаиков, как Отченашек, Плугарж и другие, чрезвычайно ценным творческим опытом, позволившим им в дальнейшем создать на основе тех же принципов социалистического искусства, которые они пытались осуществить в своих первых «производственных» романах, художественно зрелые произведения, поднимающие актуальные проблемы действительности.

Конечно же, такая перемена акцентов — ослабление внимания к образу современника — строителя социализма, настойчивое обращение писателей к исследованию сложных оттенков психологии интеллектуала-индивидуалиста — не могла сама по себе вывести чешскую прозу из того состояния кризиса, в котором она оказалась после критики схематизма. И здесь решающую роль играла позиция писателя по отношению к герою.

Герой романа Е. Валенты «Иди на зеленый свет» и герой романа Н. Фрида «Картотека живых» — оба интеллигенты. Но в романе Валенты, где ущербные, декадентские черты психологии героя обозначены особенно резко, идейная позиция автора по существу не обособлена от взглядов этого героя. Поэтому роман остается чуждым нашему сегодняшнему, социалистическому мировосприятию. Что же касается Фрида, то он в своем романе показал процесс ро-

ждения черт нового, социалистического отношения героя к обществу, выразил ведущую тенденцию нашей социалистической эпохи.

Итак, принцип партийности становится основной предпосылкой, помогающей автору проникнуть в смысл современности, создать образ активного участника великих исторических свершений — нового героя социалистической литературы. А в тех случаях, когда писатель обращается к персонажам отживающего буржуазного мира, партийность помогает ему изобразить их правдиво, точно определить их место в обществе. Тот или иной подход к современной теме неразрывно связан с идейной позицией писателя, определяющей и принципы отбора жизненного материала и критерии оценок явлений современности.

Яркий материал для рассмотрения этой проблемы дает роман Яна Отченашека «Гражданин Брих», который был издан еще до XX съезда КПСС и открыл новую фазу в развитии послевоенной чешской прозы. Его герой — интеллигент, пролетарий по происхождению, попавший в буржуазную среду, испытавший сильное влияние буржуазной идеологии, человек противоречивый, с множеством предрассудков, но субъективно порядочный и честный. Раскрывая духовный мир персонажей, связанных с буржуазной средой, раскрывая их реакционные политические воззрения, автор не остается нейтральным свидетелем. Марксистский взгляд на сущность людей этого типа, на их судьбы дал возможность писателю правдиво обрисовать их образы и объективно их оценить. Внутренняя драма героя отражает драматизм классовой борьбы, ее закономерную перспективу.

Если говорить о литературе последнего времени, можно назвать роман Богуслава Бржезовского «Железный потолок». Нарисованные оригинально, по-новому, образы бесхарактерных, морально развращенных представителей старой буржуазной интеллигенции в этом романе стали художественно убедительными именно благодаря тому, что автор руководствовался ясными идейными критериями, оценивая их место в современном общественном процессе. Иначе его роман был бы только выставкой курьезов отживающего мира.

Повествуя о современности, литература, естественно, стремилась создать образы активных участников социалистических преобразований, коммунистов, показать деятельность коммунистической партии. Там, где внимание писателя привлекали исключительно явления негативные, типы людей, тормозивших процесс революционной перестройки общества или пассивно подчинявшихся ходу событий, там возникала опасность, что писатель утратит перспективу, что сложный процесс рождения нового предстанет перед ним как сцепление не связанных между собой фактов, что он потеряет ощущение связи между отдельными явлениями и целым. Так случилось, например, с Карелом Птачником, молодым, одаренным писателем, обладающим достаточным жизненным опытом (что показало его первое произведение «Год рождения двадцать первый»), в первом варианте его романа «Город на границе».

Сегодня в нашей литературе ведутся новые поиски, свидетельствующие о наступлении следующего этапа в ее развитии. После временного ослабления у некоторой части писателей интереса к современному материалу, что было, как мы указывали выше, своего рода реакцией на недостатки литературы тех лет, в последнее время многие прозаики и драматурги вновь обратились к проблематике современности. Писатели ощущают потребность дать ответ на жгучие вопросы времени. Они не идут по проторенной дороге, а снова рискуют, бросаются в бой, который проиграли или не вполне выиграли некоторые их предшественники. Это радует.

Последнюю часть ранее начатой трилогии, посвященной строителям плотины, опубликовал К. Седлачек. Правда, этот роман существенно нового в освещение проблемы современности не внес.

Иван Кржиж уже в своем романе «Девичье поле» стремился избежать схематизма в обрисовке образа рядового труженика, не хотел ограничиться только аспектами производственными и политическими. В новом романе «Большое одиночество» он сделал шаг вперед по пути проникновения во внутренний мир человека. В центре романа — судьба героя, который хотя и выполнил общественно полезное дело, осуществление которого казалось невозможным,— сохранил земледельческий кооператив от неминуемого развала,— но при этом благодаря своему жестокому характеру вступил в

конфликт с людьми, самыми близкими ему, самыми дорогими, и чуть не сломился под бременем страшного одиночества. Если оставить в стороне вопрос о том, насколько закономерным было перенесение центра тяжести конфликта в область моральную, то можно сказать, что роман Кржижа интересен и художественно ценен своим тонким раскрытием жизненной проблемы, ценен тем, что автор оказался способным заглянуть в глубь души современного человека— одного из героев (в известном смысле трагического героя) строительства социализма.

В целом художественный уровень прозы в последние годы заметно повысился. Это относится ко всем ее жанрам. В области романа-эпопеи, широко воспроизводящего сложный процесс общественно-исторического развития,— главным образом благодаря высокой культуре повествовательного искусства В. Неффа. В жанре короткого рассказа, на малой площади которого можно запечатлеть самые драматические моменты в жизни человека,— благодаря тонкому поэтическому дарованию блестящего стилиста Л. Ашкенази, мастерству психологического анализа А. Люстига. В жанре романа — хроники судеб поколения с успехом выступают опытный прозаик К. Новый («Пламя и ветер») и впервые пришедший в прозу лирик Е. Петишка («На пороге зрелости»). В области художественного репортажа — такие мастера слова, как М. Майерова, Я. Глазарова, К. Конрад и другие.

Такова была ситуация в современной литературе Чехословакии, когда в ней зазвучали громкие голоса молодых — авторов первых книжек недавно начатой серии «Жизнь вокруг нас».

Дыхание живой современности ворвалось со страниц этих книг (многие из них явились дебютами их авторов) в литературу. Свежие, сырые пласты современной жизни поднимают произведения молодых. Правда, пока это только фрагменты, а не целостное изображение жизни. Часто перед нами только еще «полуфабрикат», жизненная эмпирия, не переработанная в художественный образ. В большинстве случаев это репортажи или очерки, реже — рассказы Лишь Я. Прохазка сумел создать сложную по форме повесть «Зеленые дали» — с живым, многогранным образом героя, переживающего трудный и очищающий кризис. Произведения молодых писателей свидетельствуют о подлинном и достоверном — не кабинетном, а непосредственном — знании действительности, того, чем живут сегодня рядовые труженики города и деревни. Поэтому их книги так привлекательны.

Что касается стиля и тона этих произведений, то здесь бросается в глаза отказ от патетики, отказ от внешнего пафоса. Тем не менее все они повествуют, в сущности, о героических делах — правда, подвиги совершаются в обстановке трудовых будней, рядовыми, обычными людьми. И очень знаменательно, что, например, Иван Клима, у которого эта «антипатетичность» выражена особенно резко (тем более что центральным планом его произведения оказывается критика теневых сторон жизни отсталого пограничного края восточной Словакии), в то же время подмечает и показывает увлекательно и по-своему приподнято приметы социалистической действительности, постепенное созревание незаметных, на первый взгляд, черт нового в человеческом характере. Как будто скептик на ощупь убеждается в правдивости тех или иных фактов. И у Прохазки, и в рассказах Вл. Пшибского мы ощущаем в подтексте подлинное величие будней творческого труда, пафос рождения нового человеческого сознания, крепнущего людского содружества. В этом направлении открываются для нашей литературы новые творческие возможности.

Есть в произведениях молодых еще одна общая черта. Она типична для литературы сегодняшнего дня. Это интерес к личным судьбам людей, к их мыслям, чувствам, к тому, что их огорчает и радует. Это интерес к человеку, к его внутреннему миру, к проблемам семейных отношений, любви. Частная жизнь человека уже не отделяется, как это случалось порой на первом этапе, неприступной стеной от его общественных интересов, от его работы, от его политической и общественной деятельности. Они сливаются воедино.

Более глубокий подход к изображению частной жизни человека как неразрывно связанной с жизнью общественной — распространенное явление в прозе последнего времени. Речь идет прежде всего об усилении внимания к проблемам эмоциональной жизни современного человека. Можно, ко-

нечно, сказать, что со времен Ромео и Джульетты счастливая и несчастная любовь остается самой распространенной и неиссякаемой темой литературы. Как говорят иногда — «вечная» тема. Но тот живой интерес, который проявляется в нашей современной литературе к проблеме любви, вовсе не исчерпывается «вечной» темой. Сравним современных Ромео и Джульетту Отченашека с классическими героями Шекспира, коль скоро само заглавие повести Отченашека нас к этому побуждает. В названии «Ромео, Джульетта и тьма» мы видим третьего «героя». Это — «тьма», это эпоха фашистской оккупации. Это современность, точнее сказать, недавнее прошлое, которое, к сожалению, еще не полностью исчезло. И эта «тьма» является важным участником трагической истории, она неотделима от сюжета, она — его главный двигатель. «Тьма» придает совершенно новый оттенок «вечному» чувству, именно она делает неизбежным трагический исход счастливой любви, а не родовая вражда, как у Шекспира. «Тьма» делает эту вариацию на старую тему новой, современной. За печальной историей любви вырастает страшный бесчеловечный облик фашизма — звериный оскал тьмы, варварства и расизма, а также трусливого оппортунизма, предательски капитулирующего перед этой тьмой.

Повесть Отченашека современна потому, что в ней вскрыты корни многих особенностей молодого поколения Чехословакии, подраставшего во время оккупации, что в ней показаны истоки особой горечи и скептицизма этого поколения, причины, объясняющие, почему ощутим трагический отзвук пережитого в чувствах многих сегодняшних Ромео. Писатель обвиняет общество, породившее эту тьму, и тех, кто допустили ее, примирились с ней, трусливо отступили перед ней. Нет, это не «вечная» тема любви!

И в повести А. Климента «Мария» мы увидим, что автор не отступает от этой общей линии изображения связи общественной и личной жизни, недаром эта повесть, напечатанная в газете, вызвала у читателей такой острый интерес. Я не собираюсь здесь оценивать детали изображения супружеского конфликта. Хочу обратить внимание лишь на то, какую большую роль играет в повести Климента трудовая жизнь героев, как она определяет их характер. Коллизии личной жизни человека, любви, такие живые и насущные, не могут раскрываться в новой литературе старыми методами — только с психологической точки зрения, изолированно от общественных проблем. Правда, появилась необходимость более глубокой психологической обрисовки характеров, а поэтому становится правомерным и более частое использование таких художественных средств, как внутренний монолог, несобственно прямая речь и т. п. Пример повести Климента говорит и об опасности, которая подстерегает автора, если он некритически обращается к этим средствам, смещает планы повествования, перемежает различные временные периоды, даже когда это не диктуется художественной природой произведения.

Следует сказать, что в связи с углублением внимания к изображению внутреннего мира героя чешские писатели больше, чем прежде, пишут об интимных сторонах человеческих отношений. Однако подчеркивание «бесконтрольной стихии секса» в описаниях любви проблемы отнюдь не решает. Роман Птачника «Город на границе» — красноречивое свидетельство этого.

* * *

Послевоенную чешскую поэзию, как мы указывали выше, характеризует широкий взгляд на мир, большие горизонты, монументальность. В поэзии, в лирике, где столь резко обозначены черты творческой индивидуальности, мы можем особенно отчетливо увидеть новое отношение к действительности. Для всей новой поэзии характерно чувство ответственности перед обществом, сознание зависимости лирического мира поэта от мира объективного, стремление постигнуть чувства коллектива, нации, класса. Патриотизм выступает как великая эмоциональная сила в поэтическом цикле Незвала «Из родного края», в «Чешской мечте» Кайнара, в «Праге» Пуймановой. Этот патриотизм — тоже новый по существу он неотделим от интернационализма. Масштабность, «всемирный размах» этой поэзии можно почувствовать, например, в сборнике Ф. Грубина «Хиросима», где автор одним из первых в поэзии на весь мир крикнул «нет» войне, страшным «атомным дождям смерти», или в стихах, посвященных героической борь-

бе народа Кореи, поэтических откликах на актуальные политические события в мире.

В первые послевоенные годы возникла даже опасность, что эти новые тенденции могут привести к некоторой обезличенности, отказу от поэтического своеобразия. Но это были лишь издержки первого этапа борьбы против пережитков индивидуализма и эгоцентризма, когда поэт впервые сознательно обратился к массовому читателю и пытался опрокинуть ту стену непонимания, которую между ним и читателем возвел субъективизм.

Другой новаторской чертой современной чешской поэзии является ее общий оптимистический тонус, рожденный новым представлением о назначении искусства.

Впервые в чешской лирике зазвучала тема народного счастья, завоеванного своими руками в борьбе. Новая поэзия — поэзия энергии, бодрости, жизнеутверждения, а не горечи, не тоски, не страха — основных мотивов нашего поэтического прошлого. Радость участия в созидании звучит в поэзии В. Завады, в необычных метафорах Витезслава Незбала Она сделала Грубина певцом жизни. Эта поэзия знает и интонации подлинной трагедийности Речь идет вовсе не о бездумной восторженности. Наоборот, поэзия избавлялась от «облегченного», дешевого оптимизма, звучавшего поначалу в отдельных произведениях поэтов, поверхностно воспринявших новую действительность. С помощью партийной критики был преодолен и тот временный наплыв скептицизма, который проявился особенно остро у молодых, политически незрелых поэтов в период исправления ошибок, связанных с культом личности.

В условиях народно-демократической Чехословакии расцвел талант такого большого художника, как Витезслав Незвал. Можно наглядно проследить, как благодаря ясной идейной позиции его творчество вливается в русло большого искусства социалистического реализма, не утратив при этом своеобразия его поэтической манеры — ни буйной стихийной фантазии, ни задора, граничащего порой с озорством. Избавился поэт лишь от черт субъективизма, ограничивавших его предвоенные сюрреалистические произведения. Именно организующее идейное начало внесло гармонию в многокрасочный поток современной жизни, воспроизводимой поэтом, позволило ему выразить сознание ответственности перед обществом, не потеряв самых тонких оттенков в передаче богатства и сложности внутреннего мира человека. Этой гармонией и определяется его выдающаяся роль в чешской и мировой поэзии.

Многообразие форм и стилистических особенностей нашей поэзии естественно выражает кипучую социалистическую современность во всем богатстве и сложности ее проявлений. Мы находим у Незвала сочетание монументальных композиций и живописных портретов с молниеносными «короткими замыканиями» фантазии и озорными зарисовками мимолетных настроений, у Завады — классическую простоту и лирическую лаконичность изображения повседневности, сотканной из человеческого труда и человеческой любви; у Грубина — взволнованную мелодию глубокой философской лирики; у Микулашека — динамический поток образов, напоенных пьянящим чувством жизни; у Скалы — крепкую кладку стиха в его поэтических размышлениях.

Эта гармония индивидуума и общества проявляется и в творчестве молодого поколения поэтов, чье поэтическое созревание было отмечено сугубо критичным и самокритичным отношением к пройденному пути, отношением, рожденным в период XX съезда КПСС. И эта поэзия в той мере, в какой она создавала подлинные ценности, не могла, да и не хотела отбросить стремление к сочетанию интимной сферы жизни со сферой общественной, не могла и не хотела уйти от своей ответственности перед эпохой. Современность со своими настоятельными вопросами мира и войны, с проблемами науки, которая может служить либо жизни, либо смерти, со своими политическими проблемами, теснейшим образом переплетенными с самыми личными, самыми интимными человеческими отношениями, настойчиво требует от писателя партийной позиции. И даже там, где поэт, на первый взгляд, только ищет особый, свой, неожиданный угол зрения, где он идет от совсем частного, казалось бы, явления, изображаемого сугубо критически, и там, где поэт как будто намеренно избегает пафоса и патетики,— и там мы сегодня ощущаем единство, сознание неразрывной связи индивидуума и социалистического общества.

В поэзии молодых эти новые качества поразному оттеняются в зависимости от того, что определяет лицо поэта — гармоничный и напевный стих, как у Мирослава Флориана, или нарочито дисгармоничный, как у Иржи Шотолы, прозаически конкретный, насыщенный, как у Мирослава Голуба, или немногословно повествовательный, как у Яна Скацела. Но есть нечто общее в их творчестве, что присуще всей социалистической поэзии. Речь идет о чувстве гражданской ответственности. Ушло в прошлое проклятие старого индивидуализма, расширилась сфера лирических переживаний поэта. Теперь они обнимают весь мир, делают поэтический образ доступным любому труженику нового социалистического общества. Там, где связи между поэтом и обществом нарушаются или где они недостаточно органичны и крепки, там оказывается под угрозой и сила поэтической выразительности, там снова возникает опасность, что поэт не будет прочитан и понят, что один только талант и своеобразие не помогут ему дойти до читателя.

Основную роль в этом процессе насыщения лирики общественным содержанием играет марксистское мировоззрение, которое в большей или меньшей степени присуще всем современным поэтам.

На этой основе вырастает активное отношение к жизни — поэт не может и не хочет уже быть ее пассивным созерцателем.

Постепенно исчезает из нашей поэзии (несмотря на кратковременные и не оказавшие большого влияния на литературу рецидивы, вызванные реакцией на недостатки поэзии самых первых послефевральских лет) импрессионизм, «настроенчество», по определению Шальды. Интеллект мыслящего современного человека не может остаться немым даже там, где в полный голос говорят чувства. Именно мысль, разум сообщают сегодняшней поэзии тот особый динамизм и напряженность, от которых зависит острота и глубина ее непосредственного эмоционального воздействия на читателя. Это не значит, что рациональное начало в поэзии может быть противопоставлено эмоциональному или подавит его. Такой «баланс» скорее повредил бы поэзии. Это начало присутствует, как говорится, в подтексте, присутствует в метафоре, в далеких ассоциациях. Его воздействие на читателя происходит чаще всего не через логическое понятие или определение, а через чувственно конкретный поэтический образ, через эмоциональную атмосферу всего стихотворения. Интеллектуализм — отличительная черта современной чешской поэзии. Мы говорим о нем в связи с творчеством В. Завады, так же как В. Незвала — наиболее ярко выраженного представителя чувственно эмоциональной поэзии; И. Шотолы и М. Флориана, хотя в стихах Флориана, на первый взгляд, превалирует музыкально-чувственная сторона; со стихами Микулашека, который обращается к едва намеченным, иногда еще неосознанным движениям человеческой души.

Аналитический склад мышления придает особый характер лирике И. Кайнара, принципиального противника всякой сентиментальности. Ирония Кайнара приближает его поэзию к чистой сатире. Между прочим, ирония вообще одно из ярко выраженных свойств современной поэзии.

Интеллектуализм проявляется и в воскрешении тенденции в нашей лирике к объективному эпическому изображению человека — как это можно наблюдать уже у Константина Библа, Витезслава Незвала, затем у младших — Иосифа Кайнара, Милана Кундеры, Эдуарда Петишки, Власты Дворжачковой, Мирослава Голуба и, наконец, Ивана Дивиша. Они пошли по пути развития эпического начала.

В диалектическом раскрытии взаимоотношений личности и коллектива, связи психики индивидуума с объективным миром — раскрытии, к которому ведет социалистического писателя его мировоззрение, проявляются не только новые качества современной литературы народно-демократической Чехословакии, но и ее принципиальное отличие от буржуазного искусства Как часто в западной литературе мы встречаемся с героем, изображенным как будто интересно и глубоко, со всеми его психологическими особенностями, и при всем том — упрощенно и искаженно, потому что односторонний интерес писателя к так называемой «биохимии человека», к сложной механике психической и сексуальной жизни изолирует его героя от общественного контекста. Формальные до-

стоинства не могут искупить отклонения от правды жизни, заменить живую, насущную проблематику эпохи.

К этому синтезу, к этой органической, а не искусственной гармонии личного и общественного, субъективного и объективного, случайного и закономерного стремится современное искусство Чехословакии. Поэта ведет по этому пути сознание, что только так можно сохранить контакт с людьми, с эпохой, что только такая поэзия будет понятна, сможет вторгаться в действительность, поможет человеку социалистического общества постичь жизнь во всем ее богатстве, сделать ее еще краше. И прозаики отдают себе отчет в том, что облик своей эпохи можно воссоздать, только изобразив человека во всех его проявлениях, в поступках и в чувствах, в работе и в любви, в сфере личных и общественных интересов. И в драматургии подобное всестороннее изображение характеров — как это можно увидеть в лучших пьесах Когоута, Грубина, Ашкенази, поднимающих большие морально-этические проблемы нашей эпохи,— воспринимается как неотъемлемое условие дальнейшего творческого развития.

Опыт пятнадцатилетнего развития и сегодняшнее состояние чешской прозы и поэзии приводит нас к выводу, что основой социалистической литературы — то есть литературы, новые качества которой позволяют ей воплотить облик новой действительности в общественно значимые и живые эстетические ценности,— является слияние художника с современной социалистической жизнью. Связь с современностью сказывается не только в знании материала, в жизненном опыте, но и в духовном мире писателя, в его социалистических взглядах, в его мировоззрении.

Именно это слияние создает предпосылки для полного развития таланта писателя, для расцвета литературы, которая сумеет запечатлеть на своих страницах современное общество в таком живом художественном образе, чтобы современный человек узнал бы себя и смог заглянуть в будущее.

Н. Балашов

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аполлинер ушел из жизни более сорока лет назад, но с его творчеством связана значительная, продолжающаяся до наших дней, эпоха французской поэзии. От Аполлинера, того самого Аполлинера, который дал толчок многим модернистским исканиям двадцатых годов, берет начало и животворный импульс, облегчивший передовой французской поэзии последующих десятилетий обращение к большой общественной проблематике. Сложное творчество Аполлинера, слагавшееся в трудное время перепутья, оборванное трагической кончиной в ноябре 1918 года, заключало в себе не только модернистские тенденции, но также реалистические элементы, выявившиеся и практически послужившие особенно в сороковые-пятидесятые годы. Эти реалистические элементы, воспринятые и преображенные Элюаром, Арагоном, Десносом, Марсенаком и другими прогрессивными поэтами, сыграли важную роль в поисках путей к социалистическому реализму во французской поэзии.

Передовые французские поэты дорожат и гордятся наследием Аполлинера. Арагон, обращаясь к молодежи, следующим образом разъяснял значение Аполлинера для развития реализма во французской поэзии сегодняшнего дня: «Он призвал к поэтической жизни конкретные черты современности и слова, никогда ранее не имевшие доступа в стих, распахнув тем самым шлюзы жизни и осуществив непосредственное взаимопроникновение разговорного и книжного языка...»

«Аполлинер встречает нас там,— писал в 1948 году Жан Марсенак,— где поэты идут в сомкнутом строю с людьми, с историей». Аполлинер, приветствовавший Октябрьскую революцию, мог быть старшим участником процесса сближения французской поэзии с жизнью нации, начавшегося с тридцатых годов: только недавно, 26 августа 1960 года, исполнилось восемьдесят лет со дня рождения поэта.

Но, говоря о роли, которую сыграла поэзия Аполлинера в реалистическом обновлении современной французской поэзии, нельзя упускать из виду, что потребовалось чуть ли не два десятка лет, чтобы раскрылось самое положительное в его творчестве. Повинны в этом, конечно, не только сложные обстоятельства развития французской поэзии, но и то, что он сам, часто не разбираясь в общественной обстановке, оставил противоречивые высказывания об искусстве, да и в своих стихах многого не договорил и не додумал.

Значительная часть стихов Аполлинера, помещенных в разных журналах либо вообще оставшихся в рукописи, была издана только посмертно. А первое собрание стихотворений Аполлинера — одного из тех немногих поэтов, печатью которых, по выражению Арагона, означено чело двадцатого века,— было осуществлено, когда век этот уже наполовину прошел: в 1956 году! До выхода этого издания, тщательно подготовленного французскими учеными Адема и Декоденом, нельзя было охватить идейное и художественное богатство Аполлинеровой поэзии. Долгие годы творчество Аполлинера рассматривалось в тех ракурсах, в которых его видели почитатели, зачастую сужавшие в духе модернистских представлений творчество большого поэта.

Гийом Аполлинер, как когда-то Франсуа Вийон, сросся с Францией, с Парижем; но национальный французский поэт, он не был французом перед законом. В течение всей жизни Аполлинер находился в бесправном положении человека без родины. Французское гражданство поэт получил на фронте, 9 марта 1916 года, за неделю до ранения.

Настоящее имя Аполлинера — Вильгельм-Альберт - Владимир - Александр - Аполлинарий Костровицкий. Он родился в Риме и числился российским подданным. Аполлинер был внебрачным ребенком Ангелики Костровицкой, дочери польского офицера, эмигрировавшего из России после поражения восстания 1863 года. Только в 1959 году польскому литературоведу Анатолю Стерну удалось собрать данные, позволяющие предполагать, что Аполлинер по отцу был правнуком Наполеона I.

Если Гийом Аполлинер и не был правнуком Наполеона, то он верил в семейное предание. Особой симпатии к прадеду Аполлинер не испытывал, но историю Франции видел глазами стендалевских героев и с наивной симпатией относился к знамени Третьей республики, которое долго представлялось ему овеянным ореолом былых революционных войн Франции.

Костровицкая приехала в Париж, когда Вильгельму было двадцать лет. Он рвался к литературной деятельности, был бунтарски настроен. Юный поэт сочувствовал анархистам, был на стороне дрейфусаров, писал революционные стихи, которые чаще всего не удавалось печатать (например, стихотворение «Пролетарию», написанное около 1902 года, было опубликовано в 1952 году!).

Но жизнь не дала хода этим бунтарским порывам. В Париже Вильгельм оказался совершенно изолированным, одиноким. Полицейские формальности, которые пришлось претерпеть по переезде, напоминали о бесправном положении и об угрозе высылки. Вильгельму пришлось начинать с работы конторщика. Долгие годы это было самое «продуктивное» занятие поэта. В 1901—1902 гг. Вильгельм в качестве домашнего учителя в одной богатой семье ездил на Рейн и дальше по Германии и Австро-Венгрии. В печати появляются его первые стихотворения и рассказы, один из которых в марте 1902 года был впервые подписан: *Гийом Аполлинер*. В эти годы никому не известный Аполлинер уже создал замечательные поэтические произведения, это прежде всего «Ветер Рейна» и «Песнь несчастного в любви». Рейнские стихи, героями которых были простые люди, вобрали в себя живость и непосредственность народной песни, высокую патетичность французских поэтов девятнадцатого века в соединении с некоторыми отзвуками иронии немецких романтиков. Представление о «Ветре Рейна» может дать известное стихотворение «Лорелея».

Эти стихи были новы не только формальной новизной, но и особым аполлинеровским сочетанием восторженности, трагизма и простой человечности.

В примыкающем к рейнскому циклу стихотворении об опустившейся девушке из Кельна Аполлинер писал:

Самых разных людей я знаю,
Не распутать судьбы их нить:
Листья мертвые, мгла сырая,
А глаза могут пламя таить
И сердца трепетать пылая.*

И все же рейнские стихотворения, несмотря на всю свою оригинальность, были скорее последним аккордом романтической поэзии девятнадцатого века, чем началом новой поэтической эпохи. Они отражали не столько бунтарство, сколько вынужденное отступление одинокого поэта перед неумолимым натиском действительности буржуазного мира. А Аполлинер мечтал о новом. Однако во Франции девятисотых годов, с тенденциями, преобладавшими в поэзии того времени, в том окружении, в котором оказался поэт среди изолированной от народа артистической богемы, его новаторство на первых порах сбивалось на путь модернизма.

Приход Аполлинера к модернизму, однако, мог принести сторонникам этого течения лишь иллюзорную радость. Поэт, не мирившийся с несправедливым и отжившим, мечтавший, чтобы технические достижения служили свободному человеку, должен был на известном этапе разойтись с модернизмом, как с замкнутым, далеким от общественных проблем течением.

Для судеб французского искусства двадцатого века немалое значение имела завязавшаяся в 1904 году дружба между Аполлинером и Пикассо. В поисках нового Пикассо и Аполлинер выступили в те годы как инициаторы кубистского экспери-

* Все стихи, кроме специально оговоренного, даны в переводе М. Кудинова.

мента. Аполлинер ошибочно видел в кубизме направление, способное в области искусства равняться с современными достижениями точных наук в анализе и синтезе. Он предполагал, что кубизм способен доискаться сущности вещей, и одно время верил, что этот метод заменит перспективу (нечто поверхностное, имеющее, дескать, дело с оптическим обманом) четвертым измерением, позволяющим проникнуть в суть вещей. На известном (довольно кратком) этапе Аполлинеру казалось, будто художник-кубист творит эскиз нового, более человечного, чем данная действительность, мира. Аполлинер, вслед за Пикассо, вполне искренне думал, что кубисты придут к активно воздействующему на мир искусству...

К кубизму Аполлинер довольно быстро остыл, но пока что с увлечением стремился произвести аналогичную ломку в своей поэзии. Годы 1906—1910 — это годы создания самых модернистских и самых темных его стихотворений. Так продолжалось примерно до 1911—1912 годов, когда Аполлинер стал отходить от модернистских абстракций. Этому способствовало волновавшее поэта общее обострение политической ситуации во Франции в 1911—1914 годах.

Оказывали воздействие на французскую поэзию этого времени и события в России. В складывавшейся к началу десятых годов группе из четырех поэтов, к которой кроме Аполлинера принадлежали Макс Жакоб, Сандрар и Сальмон, трое были тесно связаны с Россией и поддерживали русскую революцию. Аполлинер, дискриминированный царскими властями русский подданный, владел русским языком, внимательно следил за событиями в России и был задолго подготовлен к принятию русской революции. Блез Сандрар, проведший в юности несколько лет в скитаниях по России и начавший печататься в Москве, посвятил бурной русской действительности свою знаменитую поэму «Проза транссибирского экспресса и маленькой Жанны Французской». Поэма, изданная в 1913 году, была написана под воздействием Аполлинера и в свою очередь повлияла на Аполлинера, поддерживая появившееся у него стремление к широкому и смелому охвату больших тем современной жизни. Молодой Сандрар гордился тем, что «предчувствовал явление великого багряного Христа российской революции». Наконец, Андре Сальмон никогда не забывал Петербурга, в котором прошла его молодость, и в начале 1919 года воспел нравственную чистоту героев Октябрьской революции в поэме «Приказ».

В 1911 году работа Аполлинера была неожиданно прервана. Он был арестован по дикому обвинению в похищении из Лувра «Джоконды» Леонардо да Винчи. Дело было настолько нелепым, что через неделю Аполлинера выпустили. Однако его оставили под следствием еще на четыре месяца, за которые пресса успела высказать ему много «приятного», включая предложение изгнать его из Франции, как чужеземца.

В это время Аполлинер завершал работу над важнейшим сборником стихотворений, который ему удалось издать в 1913 году. Книгу после некоторых колебаний Аполлинер озаглавил «Алкоголи», в знак того, что жизнь двадцатого века жгуча, как спирт.

«Алкоголи» состоят из стихов разных лет, среди которых можно выделить три важнейшие группы: «романтические» рейнские стихи и «Песнь несчастного в любви»; стихи середины девятисотых годов — периода модернистских экспериментов и наибольшего увлечения кубизмом; наконец, лирико-эпические стихотворения начала десятых годов, общественная содержательность которых привела к усилению реалистической тенденции.

Модернистский эксперимент сильнее всего дает себя знать в сложных стихотворениях сюитах 1908 года «Костер» и «Помолвка» (посвящено Пикассо). Аполлинер, по его словам, стремился в них к «лиричности — новой и в то же время гуманистической». Однако в те годы это ему не всегда удавалось. Поиски формальной новизны, усложненность и разорванность образов, немелодичность ритмов — все это препятствовало осуществлению гуманистических идей, обнаруживало, что в данное время эти идеи были у Аполлинера расплывчаты и неопределенны. Однако человечность поэта прорывается даже в «Помолвке»:

Простите невежество мне,
Простите, что больше не знаю
старинной игры стихотворной.
Ничего я больше не знаю и только
люблю

Лицо книги «Алкоголи» определяют поздние, написанные около 1912 года стихотворения — «Зона», «Мост Мирабо», «Вандемьер», «В тюрьме Санте», «Кортеж»,

«Путешественник», «1909». В них свойственная Аполлинеру лиричность сочетается с общим у него с Сандраром и Сальмоном тех лет стремлением к определенному сюжету, к эпическому размаху, к смелому, широкому захвату значительных тем; тяга к современному выражается не только в поисках неожиданных аспектов, но и прямо в изображении современности; отчетливо выражен интерес к труду и к технике.

Конечно, и эти стихи связаны с предыдущими модернистскими исканиями: в них часто отсутствует логическая последовательность, а внутренняя композиция заменяется параллельным, одновременным изложением различных тем. Стремясь к непосредственности в воспроизведении действительности, поэт иногда передает деталь импрессионистически, «как она есть», без типизации. Как раз в конце 1912 года Аполлинер отказался от пунктуации в стихах, продолжая (бессознательно, быть может) символистскую тенденцию к многозначности, неопределенности стиха. Мы говорим — бессознательно, потому что Аполлинер отрицательно относился к символистским стремлениям уйти от действительной жизни. Свой отказ от знаков препинания поэт объяснял тем, что «подлинная пунктуация — это ритм и паузы стиха». Отказ от знаков препинания получил широкое распространение в современной французской поэзии (Элюар, Арагон и другие).

Среди лирико-эпических поздних пьес книги «Алкоголи» лирическое начало ярче всего выразилось в стихотворении «Мост Мирабо», поющем о любви, уходящей безвозвратно, как Сена под парижскими мостами, и о любви и надежде, столь же неиссякаемых и неукротимых, как эти усталые от взглядов влюбленных, но непрерывно текущие воды Сены:

Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь...
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет

Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.

Впоследствии было установлено, что Аполлинер не то намеренно, не то в силу смутных реминисценций воспроизвел в этом стихотворении ритмический рисунок ткацкой песни XIII века («Gaiete et Oriour») К этому нужно добавить, что Аполлинер воспринял и дух народных песен он так же просто и с такой же сосредоточенной серьезностью поет о любви, как напевали за ткацким станком французские женщины, размышляя о счастье и о разлуке с возлюбленным В «Мосте Мирабо» нехитрые слова и образы повествования в единстве с захватывающим ритмом создают особо сильное лирическое воздействие. После народных песен, после Вийона очень немногие французские поэты, Жерар де Нерваль, например, творили песни такой лирической интенсивности Урок Аполлинера был воспринят поэзией Сопротивления: «Мост Мирабо» соединил ее со старинной народной традицией, без «Моста Мирабо» иначе и глуше звучали бы некоторые стихотворения книги Арагона «Нож в сердце», многие стихи Десноса и, может быть, не было бы в их настоящем виде стихов-песен греческого и испанского циклов Элюара.

Еще более неповторимо аполлинеровским по идеям, образной структуре, интонациям является стихотворение «Зона», открывающее книгу «Алкоголи». Оно представляет собой свободный, иногда иронический диалог Аполлинера с самим собой; в этот диалог вмонтированы, словно кадры в кинохронике, важнейшие события жизни поэта. «Зона», как и большинство стихотворений, созданных около 1912 года, устремлена вперед, исполнена ожиданий. «Смутные ожидания», о которых говорится в «Зоне», сродни «неистовой надежде» (какое необычайное сочетание понятий!), высказанной в «Мосте Мирабо», но еще не имеют явной революционной окраски, которую они приобретают год спустя в «Вандемьере».

Аполлинер обращает свой взор к новым рабочим кварталам предместий, к так называемой Зоне Парижа:

Ты от старого мира устал, наконец.
Пастушка, о башня Эйфе́ля! Мосты в это утро блеют, как стадо овец.
Тебе надоела античность, ты жил среди римлян и греков
Автомобили и те здесь кажутся чем-то отставшим от века
Одна религия новой осталась. И духу эпохи верна.
Проста, как ангары авиапорта она.
В Европе только христианство не покрывается пылью
Из всех европейцев вы, Пий X, ближе других к современному стилю.

Не нужно доверять Аполлинеру, когда он говорит любезности папе или произносит

похвалы христианству: за такими словами прячется веселая ирония.

Христос, лучше летчиков на небеса
поднимаешься ты.
Побивая мировой рекорд высоты

Аполлинер хотел быть современным, в этот период быть современным означало для него любить жизнь большого города·

Этим утром я улицу видел, названье
которой запомнить не смог,
Трубило солнце в нее, как в сверкающий рог
Машинистки, рабочие и управляющие
с понедельника и до субботы
Там четыре раза на дню на работу
идут и с работы.
Троекратно сирена там стон издает по
утрам,
В полдень лает взбесившийся колокол
там.
И афиши вывески, стены, рекламы,
Как попугаи, кричат упрямо.
Я люблю красоту промышленной улицы
этой,
Что в Париже между Омон-Тьевиль и
авеню де Терн находится где-то.

Перед Аполлинером проносятся воспоминания, которые он приводит беспорядочно, как они возникают. Среди них есть весьма неприятные: Аполлинер в Париже перед следователем — его арестовывают как преступника. Теме соответствует форма — неслыханные, почти не поддающиеся переводу прозаизмы в рифмах *.

Как многие стихотворения времени «неистовых надежд», «Зона» заканчивается картиной утра, «прозаизированной» как раз в той степени, в какой здесь это нужно для конкретности и подлинной поэтичности: «Ты идешь один. Вот-вот наступит утро. На улице молочники уже гремят бидонами»

Аполлинер в стихах лирико-эпического цикла прост, иногда намеренно угловат. Ему противен высший свет и салонная литература с ее подобострастием перед светской крикливостью и роскошью. В стихотворении «1909» Аполлинер изобразил высший свет как «пену», «накипь» в сравнении с трудовым народом. Поэту дороги «умелые люди машин».

Аполлинер верил, что его поэзия складывается из творчества миллионов — «из роз, которые приносят люди бесчисленных народностей, из слов, которые они придумывают на жизненном пути». В стихотворении «Кортеж», откуда взяты эти образы, поэт, предваряя современную французскую прогрессивную поэзию, пишет, что у него нет ничего, что бы не было создано народами:

Наподобие башни меня не спеша
воздвигали.
Толпились народы, и вот наконец я
возник,
Сотворенный из тел и деяний людских.

Поэту даже казалось, что он слился с потоком жизни, растворился в нем и что ему будто бы эпос дается легче, чем лирика.

На самом деле Аполлинер оставался лириком, только в его лирику действительно входило много общезначимого, и произведения, которые у других французских поэтов тех лет вышли бы камерными, у Аполлинера приобретали размах симфонии. В стихотворении «Путешественник» Аполлинер пишет о верности в любви, но в нескольких словах полунамеком набрасывает притчу о трогательной верности в дружбе двух матросов, не оставлявших друг друга до самой смерти. Тема верности в большом плане всегда была близка Аполлинеру. Еще в «Песне несчастного в любви» она породила у него далекие непредвиденные ассоциации, привела к усилению эпического начала. Поэт писал, что он верен,

Как верны запорожские казаки,
Набожные в грабеже и драке,
Вере родной и степям.

Султан им писал «придите,
Склонитесь скорей предо мной.»
Они встретили смехом посланье
И ответили тотчас ему
При огарка тусклом мерцанье.

Перевод И. Эренбурга

В последнем стихотворении книги «Алкоголи» — «Вандемьер» — Аполлинер выходит на широкий простор, сентябрьский Париж, хмельной от сознания созревших сил, ведет разговор с городами всей Франции. Это прямой разговор народа с народом, как во времена революции 1789—1794 гг. Каждая провинция готова, чем может, поддержать Париж — «средоточие живого разума страны».

Громче всех раздается мужественная речь пролетарских городов Севера:

И на Севере слышен ответ городов:
Вот и мы, о Париж! Мы истоки живые
Города, где поют и горланят святые,
Из металла святые заводов священных
Наши трубы под небом — и тучи
брюхаты от дыма.
Словно вновь Иксион механический
ожил.
Бесчисленны руки у нас:
Мастерские, заводы и фабрики — руки
Где рабочие, пальцами нашими став,
Фабрикуют реальность за столько-то
в час
Это все мы тебе отдаем.

---

* Tu es à Paris chez le juge d'instruction
Comme un criminel on te met en état
d'arrestation.

Самой сути модернистских установок противоречил этот очевидный интерес и любовь Аполлинера к рабочему человеку, материалистическое содержание такого действительно нового, неожиданного образа трудящихся как людей, которые за столько-то в час производят реальность!

Аполлинер стремился слиться с Парижем, сделать свои стихи «песней Парижа». Как другой большой поэт, его современник, Аполлинер хочет стать голосом безъязыкой улицы:

Слушай, слушай меня, я ведь глотка
Парижа.

Вино вандемьера, месяца сбора винограда, у Аполлинера не только фольклорный образ. Этот образ наделен революционной символикой. Озаглавив стихотворение «Вандемьер», Аполлинер имел в виду первый месяц республиканского календаря, месяц, с которого началось революционное летоисчисление. Заглавие «Вандемьер» не менее выразительно, чем заглавие «Жерминаль» у Золя. Стихотворение, а вместе с ним и вся книга «Алкоголи» завершается символической картиной: над спящей Сеной брезжит первый свет... Аполлинер был уверен — люди будущего не забудут его, поэта, понявшего, что время царей миновало:

Вспоминайте меня, люди будущих дней!
Век в который я жил, был концом
королей...

Обозреватели буржуазных журналов встретили «Алкоголи» такими статьями, что автор в ответ посылал вызовы на дуэль. Стихотворения вроде «Зоны» или «Вандемьера» опрокидывали навязанные модернистами представления о поэтическом образе, и от их содержательности модернистская эстетика трещала по всем швам. Витезслав Незвал, который высоко ценил и любил Аполлинера, писал в предисловии к чешскому переводу его стихотворений (1958), что «Зону» трудно вместить в устоявшиеся литературные жанры. Реалистические тенденции, заложенные в таких вещах Аполлинера, как позднейшие стихотворения «Алкоголей», оказались понятнее и ближе современной поэзии, умудренной историческим опытом, чем поэзии десятых-двадцатых годов. Даже передовая поэтическая молодежь тех лет, восторгавшаяся Аполлинером (Арагон назвал его «похитителем небесного огня», а Реверди казалось, что в руках Аполлинера, «как букет, пылает немножко солнца»), не могла тогда подхватить по-настоящему его традицию.

Последние полтора года до войны были для Аполлинера, несмотря на модернистские эксперименты, временем продолжающегося реалистического поиска. Это видно по «Волнам» — первой книге второго из двух главных сборников, опубликованных поэтом при жизни,— «Каллиграммы. Стихотворения мирного и военного времени» (издано в апреле 1918 года). Здесь появляются стихотворения-беседы, стихотворения-очерки, в которых поэт старается как можно непосредственнее, эмпирически передать текущие впечатления, разговоры. Это не просто дальнейшее проникновение в область считавшегося непоэтическим, а попытка вовсе устранить грань между поэтическим и непоэтическим, освоить для поэзии сферу бытового романа, кино:

Музыканты умолкли, и вот начались
переговоры с публикой,
Которая вместо трех франков, назначенных
стариком в уплату за трюки,
Накидала на коврик два с половиною
франка мелкой монетой.
Но когда стало ясно, что больше никто не
даст ни гроша,
Было решено начать представленье.

Опыт был рискованным. Подобный эмпиризм мог повести, а иногда и вел Аполлинера к своего рода «поэтическому натурализму» (как впоследствии целые течения в искусстве, преодолевавшие модернизм, например итальянский неореализм). В некоторых стихотворениях, скажем «В понедельник на улице Кристин», поэт, собирая совершенно реальные, правдоподобные и более того — может быть, характерные для парижской улицы обрывки разговоров, создает отрывочную хронику, едва не переступающую грань художественного.

Другим экспериментом, более формалистическим, была попытка создавать «лирические идеограммы», или «каллиграммы», то есть печатать стихотворения так, чтобы их текст образовывал рисунок (дом, косые линии дождя, звездочку и т. д.). Аполлинер рассматривал это как пробу в период развития техники, при котором намечается переход от типографии к прямой записи голоса на диск или на пленку. Поэт написал немного идеограмм и в течение года-полутора забросил эти опыты. Идеограммы пригодились только для стихотворения-плаката Аполлинер иногда использовал такую возможность, например смело выделив в одном

стихотворении, написанном в разгар войны в феврале 1916 года, крупным шрифтом стих о солнечной радости мира.

Поиски Аполлинера в предвоенные годы были связаны с верой в прогресс, стремлением отразить его в поэзии. В стихотворении «Холмы» Аполлинер говорит, что поэты должны, подобно холмам, глядеть далеко вперед, возвещает о чудесах грядущего. Если при этом верить в справедливость завтрашнего дня и не забывать о страданиях сегодняшнего, «вы постигнете будущее». Поэт предсказывал молодежи, что ей впервые дано «открыть будущее, не поплатившись жизнью за открытие». Аполлинер слагает дифирамбы человеку: человек удесятерит свои внутренние силы, откроет новые миры, установит справедливость.

На пути осуществления этих замыслов выросло препятствие — война 1914 года.

Отношение Аполлинера к войне длительное время изображалось неправильно — упрощенно и часто тенденциозно. Повод к этому в известной мере дал сам поэт, пошедший добровольцем на фронт, безукоризненно исправлявший военную службу, избегавший постановки острых вопросов в корреспонденциях для журнала «Меркюр де Франс» и даже в течение первых трех-четырех месяцев пребывания на фронте (апрель-июль 1915 года) писавший стихи о том, как красивы сигнальные ракеты и вспышки артиллерийского огня.

За всем этим долго не удавалось понять сущность определившегося у Аполлинера к осени 1915 года отношения к войне. Только во второй половине тридцатых годов и особенно на основе опыта Сопротивления Марсенак, Арагон, Лакот, так же как и Незвал, сумели оценить патриотизм поэта, сочетавшийся у него с антиимпериалистическими, антивоенными настроениями.

Новые данные о не искаженном цензурными условиями военного времени тексте стихов Аполлинера и об эволюции его взглядов за годы войны полностью подтверждают эту точку зрения. Пробыв полгода на фронте, Аполлинер многому научился. Его стихи стали приобретать антивоенное звучание. И не случайно позднее он пришел к пониманию позиции Советской России в Брестских переговорах. Ведь именно Аполлинер написал еще в конце 1915 года и сумел напечатать в ноябре 1917 года следующие негодующие строки об империалистической войне:

Мне кажется, будто попал я на пир,
озаренный огнями,—
Земля пирует сегодня, земля голодна,
Она открывает поблекшие длинные рты,
И вот каннибальский пир Валтасара в
разгаре.
Кто бы подумал, что людоедство может
дойти до такого предела,
И нужно так много огня, чтоб изжарить
людские тела!

Поэт-патриот размышлял совсем не так, как было положено исправному солдату Антанты:

Я в траншее переднего края, и все же я
всюду, верней, начинаю быть всюду.
Это я начинаю дело грядущих веков,
И воплотить его будет труднее, чем миф
о летящем Икаре.

Грядущему я завещаю историю
Аполлинера
Он был на войне, но умел быть везде:*
В тыловых городах, где в покой не
утрачена вера,
И в прочей вселенной без края и меры,
И в тех, кто гибнет, шагая по изрытой
боями земле.

В стихотворении «Маленькое авто», которым открывается цикл военного времени, Аполлинер направлял внимание читателя на проблему будущего, на то, как после войны «воздвигнуть и устроить новый мир». Судя по рукописи, эти слова были написаны не в первые месяцы войны. Аполлинеру было трудно сразу понять ее суть. Положение «непатриотического» чужеземца, друзья которого, французы, должны были идти на войну, делалось с каждым днем все более двусмысленным и морально тяжелым. Аполлинер, вначале явно склонявшийся к антивоенным настроениям, стал сомневаться. Печальную роль в этом сыграли и частные обстоятельства. В конце сентября 1914 года поэт познакомился в Ницце с Луизой де Колиньи-Шатийон и полюбил ее со свойственной ему цельностью и страстностью. Ее холодность немало способствовала тому, что он записался добровольцем в армию. 5 декабря Аполлинер, по его просьбе, был направлен в артиллерийское училище в Ним. Лу, которую не трогали поэтические лавры, почти по «Красному и черному», тотчас приехала к новобранцу в Ним: «Ты стала моей жизнью, моей надеждой, моим мужеством...» Но согласие длилось считанные дни,

* За этим стихом в рукописи следует снятый в подцензурном тексте смелый стих: «среди нейтралов и среди воюющих против нас».

и Лу вскоре начала забывать поэта 5 апреля Аполлинер прибыл на фронт.

Стихи, которые послужили для создания версии об «официально патриотической» позиции Аполлинера, *все* относятся к краткому периоду, максимум до начала осени 1915 года. Это некоторые стихи сборника «Ящик на передке» (апрель—июнь 1915 года), составившего третью часть «Каллиграмм», и стихотворные послания, которые первое время почти ежедневно поэт отправлял Лу с фронта. Мажорный тон, в котором Аполлинер писал о своих фронтовых впечатлениях, был для него единственно психологически возможным в посланиях к Лу. Они представляют собой прежде всего не эпос о войне, а лирическую песнь поэта, вновь несчастного в любви. Именно так воспринимал послания к Лу Поль Элюар, который привел два из них (XXIII и XLV) в радиобеседе «Обаяние любви» (1949).

Далеко *не все* стихи даже этого краткого периода согласуются с ложной схемой, под которую часто подводят творчество поэта времени войны. Антиимпериалистический гуманизм Аполлинера с силой обнаружился в стихотворении «Жалоба солдата-артиллериста из Дакара» (аналогичное стихотворение было послано к Лу 15 июня 1915 года). Поэт здесь говорил «не от себя», а от имени негра, рекрутированного во французскую армию, и поэтому мог избавиться от условной мажорности. Аполлинер нашел самое уязвимое место в империалистической лжи: за что сражается во Франции он, негр из Дакара, безвестный номер артиллерийского расчета?

Теперь я французский солдат.
Не успел оглянуться — и в белый цвет
перекрашен.
Не могу я ответить, где часть находится
наша.
Почему же все-таки белым быть лучше,
чем черным?
Почему нельзя беседу вести и плясать
И наевшись отправиться спать?
И вот мы стреляем по обозам бошей,
Землю снарядами пашем

Солдату из Дакара не за что благодарить метрополию. Ведь не за то, что он по неделям таскал в носилках колониального администратора? Ведь не за то, что епископ был любострастно медоточив с его матерью и с его сестрой? И не за то, что он был слугою в Париже?

Негр помнит войны племен и дикарскую жестокость победителей, и все же его родная хижина была «не так дика, как землянка артиллерийского расчета!..»

В последних стихотворениях к Лу, посланных в сентябре 1915 года, безнадежная любовь соединяется с подавляемым, но все же срывающимся невольным негодованием против нее, как вдохновительницы его воительства. Аполлинер неожиданно завершает послания к Лу сонетом (необычная для него форма), да еще сонетом бодлеровской мрачности, открывая Лу страшную правду войны.

Когда в ноябре 1915 года поэт был произведен в подпоручики, он избрал не артиллерию, а пехоту, где было тяжелей, но ближе к простым людям. В письмах этого времени Аполлинер воссоздает правду жизни на фронте: «2 декабря. Прервалось снабжение. С офицерами еще кое-как наш повар выпутывается, но люди! Они поразительны простотой своего героизма...»

Стихотворения, написанные с осени 1915 года до ранения в марте 1916 года, собранные в части четвертой «Каллиграмм» — «Артиллерийские зарницы» и в части пятой — «Лунный блеск снарядов», не имеют больше точек соприкосновения с официальной пропагандой. Они обогащены общественным опытом, приобретенным поэтом на войне, непосредственным общением с солдатской массой. Это связывает их со скрепленной в годы Сопротивления патриотической традицией прогрессивной французской поэзии.

Если Аполлинер пишет о ненависти к врагу, то это относится не к немецкому народу («Я повсюду... Я среди тех, которые воюют против нас...»), но прежде всего к оккупационной политике кайзеровских войск. Его возмущают проявления покорности оккупантам: «Есть женщины в оккупированных областях, которые учат немецкий язык».

Этот стих был снят в подцензурном тексте. Как стало ясно после публикаций пятидесятых годов, антивоенный пафос стихотворений Аполлинера был затуманен изъятиями, вынужденными изменениями и перестановками. Например, в напечатанном в «Каллиграммах» тексте стихотворения «Ракета» (октябрь 1915 года) по сравнению с рукописью ослаблено содержавшееся там гуманное противопоставление чувства любви войне, а некоторые образы искажены до неузнаваемости.

Аполлинеру приходилось выражать свои мысли скрыто, косвенно, в отрывочных зарисовках, порою под двусмысленным заглавием.

Порой поэт проводит свою идею, пользуясь стихами, построенными как нейтральные назывные фразы:

Есть вокруг меня множество маленьких
елок, сломанных взрывами
бомб и снарядов;
Есть солдат-пехотинец, который идет
ослепленный удушливым газом,
. . . . . .
Есть американцы, которые золотом нашим
свирепо торгуют *
. . . . . .
Есть во мраке ночном солдаты, которые
доски пилят и сколачивать будут гробы;
Есть в Мехико женщины, которые с
воплями молят маис у Христа,
обагренного кровью,
Есть Гольфстрим, такой благодатный и
теплый,
Есть в пяти километрах отсюда кладбище,
что до отказа набито крестами;
Есть повсюду кресты — и вблизи и вдали ..

В марте 1916 года Аполлинер был ранен в голову осколком снаряда. Ему сделали несколько операций, но он так и не выздоровел. Несмотря на заботы Жаклины Аполлинер, на которой он женился в мае 1918 года, поэт, здоровье которого было подорвано тяжелым ранением, скончался в Париже 9 ноября того же года, в возрасте тридцати восьми лет.

В 1916—1918 гг. Аполлинер написал сравнительно мало стихов, хотя завершил роман «Сидящая женщина», одно из самых значительных, наряду с книгами «Ересиарх и К°» (1910) и «Убитый поэт» (написано до войны, издано в 1916 году), его прозаических произведений, подготовил либретто для русского балета в Париже, написал две экспериментаторские по сценической технике, осуждающие войну пьесы — «Груди Тиресия» и «Цвет времени». Встреча с Парижем в 1916 году принесла раненому Аполлинеру тяжелые огорчения: «Эгоизм царит повсюду... Мне кажется, все погибло в этой нескончаемой катастрофе... По-моему, это продлится по крайней мере еще года три, ужасно».

Аполлинер воочию, как герой Барбюса во время отпуска, увидел, что представляло собой «национальное единство» буржуазии с народом. Поэт мог бы припомнить слова, которые в одном юношеском произведении вложил в уста чудовищного зверя Шапалю: поедая других животных, Шапалю приговаривал, что этот превосходный аппетит *объединяет* его с ними..

Горькие сомнения, сквозившие в письмах раненого Аполлинера, не переходили непосредственно в стихотворения. Сквозь пелену тяжелой болезни, сквозь пелену монополизировавшей информацию шовинистической прессы до Аполлинера доходили сведения о новых великих событиях. Видимо, он был первым поэтом на Западе, в стихи которого рядом с требованием, чтобы «милая и прекрасная Франция» несла мир, весной 1917 года ворвалось солнечное сообщение:

..Слушайте!
Россия поет «Марсельезу»!

Старый друг Аполлинера (знакомый с ним еще с октября 1903 года) Андре Бийи, сохранил драгоценное свидетельство об отношении поэта к Октябрьской революции. Аполлинер, которого после ранения направляли на работу в разные министерские канцелярии, не поддавался влиянию царивших в них реакционных настроений: «Когда разразилась Октябрьская революция и когда Россия заключила с Германией сепаратный мир, он отказался присоединиться к ропоту окружающих. «Кто знает,— говорил он,— что всем этим не положено начало великому делу?» Андре Бийи, человек умеренных взглядов, сжато и скупо говорит о высказываниях Аполлинера об Октябре, но о том, какое впечатление они оставили у Бийи, можно судить по тому, что он тут же задался вопросом: «Был бы Аполлинер в наше время коммунистом?»

В 1916—1918 гг. вокруг Аполлинера складывается группа буйной, антивоенно настроенной молодежи. Литераторы, которые тяготели к Аполлинеру, были молодыми и задиристыми, но не самыми сознательными. Они ненавидели казенщину буржуазной культуры, опозорившей себя связью с империалистической бойней. В Аполлинере, как и в Пикассо, они ценили больше всего безбоязненного новатора, но воспринимали в этом новаторстве формальную, модернистскую сторону. Восторги и требования этой молодежи, у которой стали появляться первые тощие тиражом и возможностями журналы («Нор-Сюд», «Сик»), в свою очередь влияли на усиление формалистических исканий Аполлинера. В его стихах последних лет прогрессивные идеи становятся определеннее, развивается отчасти и реалистическая образность, но по сравнению с пре-

* Стих снят в подцензурном тексте

дыдущими годами вновь усиливается формальное экспериментаторство. Поэтическая молодежь рьяно впитывала и нередко доводила до озорства как раз это последнее Но многие из тех поэтов — Элюар, Арагон, Тцара — и из их еще более молодых друзей, такие как Деснос, Лакот, в наше время, в иной общественной обстановке восприняли в поэзии Аполлинера самое существенное, ценное и пошли дальше как в области обновления содержания, так и в области обновления формы.

Шестую, последнюю часть «Каллиграмм» раненый Аполлинер с грустной иронией назвал «Звездная голова». Книга открывается меланхолическим пятистишием «Отбытие», посвященным кладбищу *немецких* солдат:

И лица их покрывала бледность,
И рыдания их разбились .

Как раненый фронтовик, поэт мог позволить себе озаглавить — «Победа» стихотворение, направленное, по существу, *против* войны до победы. Написанное в дни Февральской революции в России и начинающееся словами «Петух поет», оно посвящено теме становления нового. От нового в слове, в стихе поэт идет к новому во всей жизни.

Юным поэтам, возненавидевшим все старое, равное для них бесконечной войне, возможно, казался остроумным совет использовать в поэзии глухое чавканье человека, не умеющего прилично есть. Но призывы Аполлинера к обновлению языка имели более серьезный смысл. Аполлинер требовал, чтобы поэты не молчали о язвах сегодняшнего дня, не замыкались в сферу чисто поэтического:

Языки эти так одряхлели, так скоро
начнут умирать,
Что сегодня только из робости и в силу
привычки
Могут в поэзии к помощи их прибегать

Они подобны больным, лишившимся воли
Ей-богу, люди скоро привыкнут молчать.
Для кино вполне достаточно мимики,
жеста.

Аполлинер призывал учиться у бурного моря жизни:

Слушайте море!

Кричит в одиночестве море и стонет вдали
Мой голос, верный, как тень,
Хочет тенью жизни стать наконец,
Хочет быть изменчив, как ты, о море
живое!

Для Аполлинера быть тенью, верным отражением жизни значило быть «изменчивым, как море жизни», и обгонять жизнь:

О железных дорогах помни:
Они устареют, и скоро покинут их люди.
Смотри!

Победа прежде всего
В том, чтобы видеть далекое,
Близкое,
Все...
И все пусть по-новому названо будет

Новое, то, о чем поэт не может молчать, Аполлинер предвидел не в прогрессе техники, не в каком-либо чисто формальном прогрессе, но в гуманизме неизбежного завтрашнего дня общества. В его стихах все чаще встречается слово bonté, которым французские поэты от Рембо и до Элюара, Арагона, Марсенака обозначают нравственную ответственность поэта, гуманистическую устремленность.

Однако 1918 год не мог стать для французской поэзии 1940 годом. Как ни велик был талант Аполлинера, как ни велика была его тяга к реальному, он не мог ни сам полностью вырваться из круга модернистских представлений, ни непосредственно указать молодежи такой выход. Поэт правильно искал выход в приобщении к опыту народа, в гуманизме, но он не был последователен. Путь формального обновления поэзии он определял намного полнее и точнее, чем путь ее идейного обновления.

Это видно в поэтическом завещании Аполлинера, в завершающем «Каллиграммы» посвященном Жаклине стихотворении «Рыжекудрая красавица». Аполлинер в этом стихотворении обращается к важной проблеме о соотношении традиции и новаторства в поэзии, но рассматривает эту проблему в плане поисков новых форм.

Вот я весь перед вами, исполненный
здравого смысла,
Знающий жизнь и все то, что живые
могут о смерти узнать,
Иногда умевший навязать свое мненье
другим,
Изучивший чужие наречья,
Немало блуждавший по свету,
Видавший войну в артиллерийских
частях и в пехоте,
Раненный в голову, трепанированный
под хлороформом,
Потерявший в ужасной борьбе своих
лучших друзей;
Я знаю о старом и новом все то, что под
силу узнать одному человеку,
И сегодня, не думая больше об этой
войне,
Войне между нами, друзья, и за нас,
Я сужу беспристрастно о затянувшейся
распре между традицией и
открыванием новых путей,
Между Порядком и Броском
в Неизвестность.

Борьбу за новые формы поэт связывает с наступившим восходом «палящей мечты Ра-

зума» (написано весной 1918 года), но поэт разъясняет прежде всего трудности в отыскании новых форм, как бы полагая, что новые идеи придут сами собой. Конечно, нами допущено здесь известное упрощение: в живой ткани образов большого поэта все это высказывается сложнее и глубже, но в общем именно это и именно так было подхвачено в начале двадцатых годов сюрреалистами.

В таком виде новаторство могло быть, на худой конец, терпимо буржуазной поэзией и буржуазным литературоведением. Аполлинер был «признан», но его сочинения в полном и подлинном виде не издавались, его идейная и художественная эволюция не изучалась. В работе двадцатых годов «История современной французской литературы» Рене Лалу характеристика Аполлинера выдержана в ледяном, а порою в покровительственно презрительном тоне.

Подлинное признание пришло к Аполлинеру в период широкого и стремительного развития французской прогрессивной поэзии. Именно с конца тридцатых— начала сороковых годов голос Аполлинера по-настоящему дошел до потомков. Демократические читатели сегодняшнего дня знают о его трудном и сложном пути. Они знают о его больших ошибках и заблуждениях, в которых он сам так проникновенно и правдиво признался в своем поэтическом завещании. Но они помнят заслуги поэта. Они знают, что в годы господства модернизма во французской поэзии в лучших стихах Аполлинера забрезжил свет реалистической поэзии, устремленной в будущее.

* * *

Эта статья уже была написана, когда свежий номер «Юманите» (11.XI.60) донес воодушевленное слово Марсенака - «Победа Аполлинера». Марсенак, называя Аполлинера «пророческим эхо своего времени», пишет: «О по-братски родной, всегда такой близкий нам, нашим безрассудным и нашим обоснованным надеждам! Поэт, думавший, как мы, что с окончанием войны наступит время справедливости, конец насилия, царство «палящей мечты Разума», поэт, уверенный, что умирает в момент, когда над миром занялась заря! Сквозь пробежавшие дни он и сейчас напоминает нам высшую заповедь поэтов: верить в человека в его становлении».

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Уроки Толстого

Высказывания современных писателей о великих художниках прошлого имеют двойную ценность: они, с одной стороны, помогают раскрыть неисчерпаемое богатство художественного наследия, осмыслить его непреходящее значение, а с другой стороны, позволяют уяснить идейные позиции и эстетические принципы самих писателей, вернее понять тенденции, которые они представляют.

Не может не вызывать поэтому интерес своеобразный симпозиум, организованный газетой **«Леттр франсез»** в связи с пятидесятилетием со дня смерти Толстого, на тему **«Современные писатели о Толстом»**; в нем приняли участие известные французские писатели самых различных направлений — Андре Моруа, Арман Лану, Пьер Гаскар, Робер Мерль, Эмиль Анрио, Натали Саррот, Клод Мориак, Мишель Бютор, Жан-Луи Бори, Морис Дрюон, Пьер Дэкс.

Если бы всеобщее признание величия Толстого и всемирно-исторического значения его творчества нуждалось в новых свидетельствах, можно было бы сослаться и на эту анкету «Леттр франсез».

> «Уже было сказано, что творения Шекспира, Бальзака и Толстого являются тремя великими монументами, которые воздвиг род человеческий человечеству. Это верно. Творения этих трех художников (и я прибавил бы к ним Гомера) охватывают все — рождение и смерть, любовь и ненависть, господ и слуг, великое и ничтожное, войну и мир. Но Толстой рисует людей с той простотой и правдивостью, которых не достигает ни один другой романист... Толстой — это совершенное зеркало, отражающее и осмысляющее безграничную действительность. Читателя его книг уносит течение полноводной реки. Эта река — жизнь»,— пишет в статье **«Величайший из великих» Андре Моруа.**
>
> «Я до сих пор благодарен другу и доброму советчику (Этьену Рэю), который пятьдесят лет назад дал мне впервые прочесть «Войну и мир»: эта книга, заключающая в себе одной целый мир, остается для меня образцом того, каким должен быть, каким может быть всеобъемлющий роман, схватывающий и воссоздающий средствами искусства жизнь во всем ее многообразии»,— пишет **Эмиль Анрио.**
>
> «Среди романов всех времен и народов,— замечает **Пьер Гаскар,**— «Война и мир» возвышается подобно величественному собору среди обыкновенных зданий».

Трудно назвать художника, который оказал бы столь могучее и плодотворное влияние на все последующее развитие мировой литературы, как Л. Н. Толстой. Творческое становление многих больших писателей нашего времени, формирование их философских и эстетических воззрений неразрывно связано с его именем. Это лишний раз подтверждают выступления писателей, откликнувшихся на анкету «Леттр франсез». Так **Морис Дрюон** в своей статье **«Зрелый возраст»** рассказывает о том, как «открытие Толстого» стало решающим, поворотным моментом его идейной эволюции, определило его переход от духовного «отрочества» к духовному «совершеннолетию». Если длительное время его настольной книгой, «книгой наставником» были «Замогильные записки» Шатобриана, главы реакционного лагеря французских романтиков, то потом их навсегда заменила «Война и мир», и это знаменовало перелом в самом мировоззрении писателя.

«Замогильные записки», — пишет Дрюон,— являются самым поразительным памятником, какой когда-либо воздвигал себе самому писатель. Никто, даже Жид, куда более ловкий, не сумел придать себе такого значения, не предавался в такой мере культу собственной личности, не ваял так тщательно и терпеливо свое собственное лицо и так упорно не замыкался в гордом одиночестве. Ибо как не быть одиноким тому, кто взирает лишь на самого себя и бросает взгляд на мир лишь для того, чтобы восхититься тенью, которую сам отбрасывает на него?»

Эта позиция, весьма соблазнительная для подростка, который открывает «чудо собственного бытия» и которому не терпится внушить всему миру преклонение перед своей личностью как несравненной, единственной ценностью, таит в себе трагикомическое противоречие.

«Человек, почитающий себя несравненным и единственным, не может не испытывать горечь от того, что, как ему кажется, человечество несправедливо к нему». Более того, как отмечает Дрюон, эта позиция чревата серьезной опасностью, притом не только для самого «неповторимого и единственного»: «Ребенок отрывает лапки у мухи, чтобы доказать самому себе свое божественное могущество. А потом он «отрывает лапки» у человека. И если может, находит утешение в поэзии, полной разочарования».

Этой эгоцентрической позиции «опасного подростка», каким и в восемьдесят лет оставался Шатобриан, Дрюон противопоставляет позицию «взрослого человека», которая, по его мнению, находит самое полное выражение в творчестве Толстого и

«характеризуется тем, что интерес переносится на других, что личность определяет себя не посредством противопоставления себе подобным, а путем отождествления или сближения с ними, что понимание жизни других считается необходимым для понимания себя самого, что права индивида, как бы ни был он горд собой и своим призванием, признаются лишь постольку, поскольку они согласуются с правами других».

Несмотря на несколько отвлеченный, умозрительный характер рассуждений Дрюона (они могли бы даже показаться наивными тому, кто не понял бы образного смысла, который он придает понятиям отрочества и зрелого возраста), нельзя не видеть, что он говорит здесь о подлинном гуманизме и глубоком демократизме Толстого и именно в этих чертах видит основу основ большого искусства и главный критерий творческой зрелости.

«Я по-прежнему восхищаюсь Шатобрианом,— пишет в заключение Дрюон,— но восхищаюсь, как статуей; для меня это холодный мрамор, полая бронза. Толстой населил мою жизнь друзьями; он создал мне подобных».

Но вот другое высказывание, тоже построенное на сравнении, однако совершенно иного порядка.

«Каждое поколение писателей использует открытия предшествующих авторов,— пишет **Клод Мориак**,— и лучшие из них благодаря этому идут несколько дальше тех, кто им проложил дорогу. Здесь имеют безусловное значение личные возможности, талант, одаренность; но имеют значение и приобретения эпохи. Гомер выше мадам де Лафайет, Бальзак выше Олдоса Хаксли, Мальро выше Роб-Грийе. Тем не менее вторые продвинулись вперед по сравнению с первыми. После Пруста и Джойса мы начинаем понемногу завоевывать новые позиции.

Если в известном смысле прогресс существует также и в литературе, для молодого человека, который хочет познакомиться с хорошими писателями, важно соблюдать хронологический порядок. И при всех обстоятельствах ни в коем случае не читать Пруста раньше Толстого, иначе последний может его отчасти разочаровать, хотя это и не значит, что автор «Войны и мира» ниже автора «В поисках утраченного времени»: на этих высотах уже не существует иерархии... В наше время меньше, чем когда бы то ни было, можно чему-нибудь научиться у Толстого. Толстой — это уже музей. Пруст — это еще лаборатория».

Легко можно поддаться соблазну попросту высмеять эти глубокомысленные рассуждения Клода Мориака, который ставит Мальро в один ряд с Гомером и Бальзаком, а Пруста возводит на те высоты, где «уже не существует иерархии». Но при всей их несерьезности, рассуждения эти, от которых веет такой узостью мысли, таким вульгарным схематизмом, в той или иной мере характерны не для одного лишь Клода Мориака, а потому заслуживают более пристального внимания. Нет надобности доказывать полную несостоятельность механического перенесения понятия прогресса на историю литературы и напоминать о том, что, скажем, греческое искусство и эпос не только продолжают доставлять нам эстетическое наслаждение, но и сохраняют в известном смысле, по выражению

Маркса, «значение нормы и недосягаемого образца», тогда как копья и щиты античных героев утратили всякое военное значение в век термоядерного оружия. Рассмотрения заслуживает не вопрос о том, выдерживает ли критику концепция прогресса в литературе, с похвальной прямотой изложенная Клодом Мориаком, а вопрос о том, каковы идейные корни этой концепции, согласно которой энциклопедия буржуазного паразитизма, созданная Прустом,— шаг вперед по сравнению с «Войной и миром». На наш взгляд, их надо искать в буржуазной безыдейности, в холодном и бесплодном формализме и снобизме — недаром Толстому противопоставляется именно Пруст.

Погоня за новыми выразительными средствами — самыми новыми, прежде всего новыми и во что бы то ни стало новыми — превращается в самоцель, и перед нею отступают на задний план и верность жизненной правде, и глубина художественного обобщения, и моральный пафос художника. Именно с таким критерием подходит к Толстому и **Натали Саррот.**

«Для меня, как я уже не раз говорила, искусство романиста, как и всякое искусство, зиждется главным образом на исканиях»,— пишет она. Эти искания, продолжает Натали Саррот, в свою очередь влекут за собой поиски эффективного инструмента, техники, стиля, которые позволили бы писателю «преодолеть сопротивление материала». Толстой же отнюдь не принадлежит к тем художникам, творчество которых «стимулирует вкус к таким поискам и открывает новые пути».

Существо довольно туманных и путаных рассуждений Натали Саррот сводится к тому, что «спокойный и ясный взор Толстого», от которого, казалось бы, ничто не может укрыться, останавливается по сю сторону обманчивой видимости, не проникает в темные глубины подсознательного, в тихие омуты душевной жизни; что жизненность его героев поэтому иллюзорна; что достаточно применить к любому из них более тонкий и сложный «инструмент исследования», чем тот, которым располагает Толстой, как он

> «тотчас утратит свой гармоничный и мирный облик, обезобразится, распадется, превратится в нелепого паяца, одержимого исступленными и противоречивыми стремлениями, и ничто в нем уже не напомнит нам тех, кого мы обычно видим вокруг себя, ничто в нем не напомнит и нас самих, какими мы себя представляем»;

что этот другой, несравненно более совершенный «инструмент» позволит нам погрузиться в неведомую для Толстого реальность, сотканную из теней, обломков и провалов, из безотчетных импульсов и мучительной погони за неуловимым.

> «Я не хочу спорить: творчество Толстого само по себе имеет большую ценность,— пишет Натали Саррот.— Но в наши дни, после всего того, что мы знаем, все еще верить в эффективность романических условностей, на которых зиждятся его произведения, видеть в них образец романа (и это не только после Флобера и Достоевского, но и после Джойса, Пруста и Фолкнера) значит, по-моему, выступать против всякого прогресса, парализовать всякие поиски, идти против течения всей живой литературы нашего времени».

Отсталый Толстой! У него не было даже такого «инструмента», как психоанализ, он не воссоздавал «поток сознания», не занимался «поисками» в области всякого рода «комплексов» и вывертов и писал свои романы попросту от третьего лица — ах, боже мой, как это старо!.. Но, быть может, самое комичное во всем этом — «авангардистская» нотка: Натали Саррот удивляется тому, что в предреволюционный период, переживаемый буржуазным обществом, многие передовые писатели, желающие, как она выражается, содействовать его преобразованию, не только не восстают против реалистической традиции, идущей от Толстого, которого она считает чуть ли не воплощением консерватизма, но находят возможным учиться у него, признают в нем величайшего психолога, умевшего воссоздавать самые тонкие переживания своих героев. Так Саррот говорит о художнике, великую заслугу которого составляет, по словам В. И. Ленина, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс», о художнике, каждая книга которого — «замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фаль-

ши», «срывание всех и всяческих масок»! Если бы Натали Саррот отвергала философию толстовства ради революционного мировоззрения, ее можно было бы только приветствовать, но она обрушивается не на «толстовщину», а именно на реализм Толстого, которому, кстати сказать, противопоставляет, по существу, не Достоевского, а «достоевщину», и это лишний раз показывает, что современный «авангардизм» если не совпадает, то смыкается с декадансом.

С тех же антиреалистических позиций подходит к наследию Толстого **Жан-Луи Бори.** Он, правда, отдает «дань почтения» Толстому, но при этом делает весьма примечательную оговорку:

> «Почтению я всегда предпочитал любовь, а верному зеркалу — то, что оно скрывает, то, что таится за ним. Я люблю в искусстве тех, кто либо проходит сквозь зеркало, хотя бы и разбивая его, либо создает кривое зеркало, в котором мы видим искаженное отражение, но в этом искажении — истину».

Разбитое или кривое зеркало... В эту формулу вмещается вся эстетика модернизма.

Если бы статья **Армана Лану «Толстой и надувшиеся дети»** не появилась в «Леттр франсез» раньше статей Клода Мориака, Натали Саррот и Жана-Луи Бори, можно было бы подумать, что это ответ на их выступления. Эта горячая, страстная статья направлена против

> «снобов и апостолов романа без предмета, без сюжета, без характеров, без персонажей и без истории, которые, конечно, не могут восхищаться художниками, воссоздающими в своих книгах жизнь целых народов»

Пятидесятилетие со дня смерти Л. Н. Толстого, пишет Лану, отмечается в тот момент, когда во французской литературе «процветает претенциозность, гонгоризм, культ формы как таковой» Именно поэтому так ценен для французских писателей «урок Толстого». Этот урок, по мнению Лану, состоит прежде всего в высоком мужестве великого реалиста, никогда не уходившего от «проклятых вопросов» своего времени, никогда не страшившегося «глядеть в глаза» жизни со всеми ее трагическими противоречиями. Как ничтожны и как трусливы в сравнении с ним те, кто не выходит за пределы интроспекции или чисто формальных исканий! Их писания часто выражают лишь страх перед жизнью, бегство от действительности, «дезертирство», как говорит Лану.

«Урок Толстого» состоит в его подлинном гуманизме, в его щедрой и страстной любви к людям. Как ничтожны и как эгоистичны в сравнении с ним те, кого занимает не человек, а лишь извращение человеческого, для кого слишком просты, слишком банальны, слишком пресны мысли и чувства «простых» людей, общие с другими людьми!

> «Я прекрасно понимаю,— пишет по этому поводу Арман Лану,— что каждый художник находит для себя пищу там, где может, и с той же естественностью следует своим особым склонностям, с какой яблоко падает с дерева на землю... Но беда не в тех, кто поет свою песнь, а в тех, кто соглашается восхищаться только исключительным, сугубо индивидуальным, патологическим,— во всех этих любителях красивых фраз, чье безразличие к человеку получает яркое выражение как раз в том дешевом оправдании, которое они находят для себя· «Видите, как мы любим человека' Нет такой внутренней тюрьмы, такой пытки нервов, такого оттенка паранои или шизофрении, которые оставляли бы нас равнодушными» Да, они любят человека Человека с содранной кожей. Человека из психиатрической больницы Они не любят только человека, работающего рука об руку с другими людьми.. И как раз в силу своего обостренного интереса к особенному они впадают в то самое спокойствие, которое Толстой разоблачал как душевную бесчестность».

«Урок Толстого» состоит, наконец,— пишет Арман Лану,— «в слиянии гения с народом, в отождествлении его судеб со своею судьбой». И как ничтожны перед ним так называемые happy few *, которые «вменяют писателю в преступление то, что его читают все».

Можно было бы привести немало других, характерных высказываний французских писателей о Толстом, но и сказанного достаточно для того, чтобы почувствовать, что этот «колокол правды, гремевший на весь мир», по прекрасному выражению А. М. Горького, гремит и поныне, и никто не может не прислушиваться к нему. Анкета «Леттр франсез» показывает всю актуальность наследия Толстого в свете нынешних битв за большое реалистическое искусство.

---

* Избранные счастливцы *(англ.)*.

Молодая поросль

Кого из писателей вы считаете для себя примером и почему? Какие жизненные проблемы больше всего занимают вас в вашем творчестве? В какой области вы предпочитаете работать?

С такими вопросами обратилась газета **«Элет эш иродалом»** ко многим молодым венгерским писателям. И хотя по тем или иным причинам не все они откликнулись на эту анкету, ответы некоторых литераторов, сопоставленные с их произведениями, в совокупности дают возможность судить о «творческом тонусе» и основных устремлениях нового пополнения венгерской литературы.

Анкета, проведенная «Элет эш иродалом», отмечает **Миклош Саболчи** в своей заключительной статье **«Третье поколение писателей»**, прежде всего подтверждает, что

> «венгерская литература — и в рамках ее венгерская социалистическая литература — имеет многообещающее, талантливое, полное идей молодое поколение, которое в лице своих лучших представителей не только обещает, но и оправдывает ожидания; мы встречаем в его рядах не только начинающих, но и зрелых художников».

Миклош Саболчи считает нужным подчеркнуть это в особенности потому, что в отношении писателей старшего поколения к литературной молодежи порою чувствуется известного рода консерватизм, нежелание подойти к ней иначе, чем с меркой своих собственных стилевых идеалов, или, наконец, политическое недоверие, откуда проистекает опасная сектантская тенденция ограничить узкими рамками круг молодых литераторов, заслуживающих признание и поддержку. Не следует забывать, замечает Миклош Саболчи, что, хотя среди этой молодежи есть и неустойчивые в мировоззренческом и политическом плане элементы, ее большинство составляют люди, верные народной власти, проникнутые духом социалистической идейности.

> «Та группа молодых писателей,— продолжает Саболчи,— которая начала свой путь в 1954—1955 гг. как «третье поколение писателей» нашей народной демократии и обрела свой голос в 1957—1959 гг., без сомнения принесла в литературу свое собственное содержание. Для них и сегодня характерно то, о чем мы уже говорили несколько лет назад: сочетание социалистической идейности с поисками нового, современного. Каждым кончиком нервов они ощущают напряжение борьбы за социализм и величие исторических перспектив, открывшихся в наши дни. Пусть же будет у этого молодого пополнения свой голос, своя тема, свои задачи — в этом залог будущности нашей социалистической литературы».

Молодые писатели, как явствует из их ответов, чувствуют себя продолжателями лучших, социалистических традиций венгерской литературы периода «между двух войн», традиций, связанных с именами Аттилы Йожефа и Лайоша Надя.

> «Эта осознанная связь,— пишет Саболчи,— означает многое: устремленность к бесстрашному познанию и глубокому осмыслению действительности, выстраданную и вошедшую в плоть и кровь партийность, смелое новаторство в области стиля, крепкую мускулатуру стиха».

Однако молодые писатели, к сожалению, подчас обращаются и к другим, довольно мутным источникам. В частности, поэты, даже те, кто объявляют себя продолжателями традиций Аттилы Йожефа, в качестве своих учителей вместе с тем называют также и «корифеев» зарубежной модернистской литературы. Если наиболее сознательные из молодых писателей ориентируются на великанов социалистической поэзии, то в творчестве многих других чувствуется наряду со здоровыми элементами неосознанное эпигонство, подражание венгерской и западной буржуазной поэзии XX века, одновременно, по выражению Саболчи, в нем слышатся отзвуки не только «громового голоса Маяковского, но и «расстроенной» лиры Реверди», лирики Арагона, но и зауми Элиота, поэм Неруды, но и элегий Хименеса. стремясь «осовременить» поэтическую форму, найти новые средства выражения и обращаясь для этого к опыту «метров», молодые поэты подчас механически переносят в свои стихи настроения и мотивы, характерные для певцов распадающегося мира, для потерявшей дорогу части интеллигенции, для одинокой личности

Насущная задача венгерской критики состоит в том, чтобы помочь молодым поэтам освободиться от всего чуждого и наносного, что ограничивает их творческие возможности. Но при этом, предостерегает Мик-

лош Саболчи, не следует выплескивать вместе с водой и ребенка.

«Я думаю,— пишет он,— мы бы ошиблись, если бы стали защищаться от отрицательных влияний с позиций некоего консерватизма или провинциальной узости; мы должны поднять голос против такой критики, которая стремится затормозить тягу к высокой культуре и современности литературного произведения, выступая с позиций догматической жесткости и местной ограниченности, поиски нового — это характерное для молодежи и здоровое явление. Мы должны анализировать и спокойно, хладнокровно, вдумчиво отделять одни от других различные влияния. Мы должны призывать молодежь не снижать, а повышать культуру произведения, свой литературный уровень».

В ответах молодых прозаиков на первый вопрос анкеты чаще всего упоминается имя Жигмонта Морица, а из классиков — Толстого и Горького. Однако в произведениях многих из них не видно заметного следа того, что у этих художников они учились. У некоторых прозаиков ощутимо влияние экзистенциалистской прозы, Кафки, Камю и их последователей.

«В поисках новых решений, новых форм,— замечает по этому поводу Миклош Саболчи,— многие молодые писатели оказываются во власти старого. Нередко это не влияние тех или иных произведений, а скорее влияние моды, мнимой новизны».

Молодые писатели заявляют, что хотят отображать сегодняшнюю жизнь, ставить в своих произведениях современные проблемы, и эта тяга к современности, вдохновенность действительностью в самом деле пронизывает их творчество — среди них почти нет замкнувшихся в себе или ушедших в прошлое. Но если одни из этих писателей стремятся понять и показать в своих книгах, как изменяется и преобразуется венгерское общество, какие новые типы формируются в нем и какие возникают новые ситуации и новые конфликты, то других занимают по преимуществу абстрактные морально-философские проблемы, и в современности они ищут лишь иллюстрации для своих отвлеченных тезисов. Саму по себе интеллектуально-философскую направленность творчества, свойственную в той или иной мере почти всем молодым венгерским писателям, можно было бы только приветствовать, замечает Саболчи, но те, кто при этом смешивает экзистенциализм с марксизмом и отображает действительность сквозь призму экзистенциалистских категорий (трагическая свобода, одиночество, смерть и т. д.), несомненно идут неправильным путем, и если можно говорить о буржуазном влиянии в венгерской литературе, его не в последнюю очередь надо искать именно здесь

Наиболее серьезными слабостями венгерских молодых, да и не только молодых прозаиков Миклош Саболчи считает литературщину и интерес к второстепенному.

«Первое явление,— поясняет он,— состоит в том, что писатель видит действительность лишь через философское или литературное восприятие предшественников и современников; своеобразным побочным продуктом этого является присущая некоторым молодым писателям тенденция перенимать у своих буржуазных предшественников и современников не только их технику, но и идейное содержание их творчества. Суть другого явления заключается в том, что писатель, хорошо видящий действительность, связанный с жизнью, хочет замечать лишь второстепенные в географическом или социальном смысле явления, аномалии и извращения, которые являются «остроконфликтными» и потому легче поддаются отображению».

Эта последняя тенденция косвенным образом связана с характерной чертой венгерской литературной молодежи, чертой, которую Миклош Саболчи называет «своеобразной неудовлетворенностью», хотя термин этот, на наш взгляд, вряд ли можно признать удачным. В основе своей это прекрасная, драгоценная черта: те, кто в 1956 году самоотверженно отстаивали пролетарскую власть, и те, кто присоединились к ним позднее, с революционной убежденностью и с пылом юности восстают против всякого застоя, всякой мелкобуржуазности, всякого «ожирения», против жизненной философии бюрократов, приспособленцев, карьеристов, подчас еще гнездящихся в порах венгерского общества.

Этим боевым духом, чуждым успокоенности и примиренчества, по мнению Саболчи, проникнуты, например, стихи Михая Ладани, многие стихотворения из последнего сборника Лайоша Шимона, рассказы Кароя Сакони, «Май с хорошими предзнаменованиями» Ласло Надя и т. д. Однако, с другой стороны, в «неудовлетворенности» молодежи, как показывает сам Миклош Саболчи, проявляется и извест-

ная политическая неустойчивость, в изменившихся условиях, в период решения «будничных», повседневных задач, более медленной и кропотливой организационной работы наименее зрелые и закаленные из числа молодых не находят применения своей энергии, за деревьями не видят леса, и их боевой задор сменяется унынием или перерождается в беспредметное критиканство и брюзжание.

Со всеми отмеченными нездоровыми тенденциями, которые в той или иной мере проявляются в творчестве некоторых молодых писателей, необходимо упорно бороться, но, как подчеркивает Миклош Саболчи, такая борьба может быть действительно эффективной и плодотворной только на основе правильного понимания принципов социалистического реализма

Статья Миклоша Саболчи не претендует на освещение и тем более на решение всех сложных и многообразных вопросов, которые встают перед новым поколением венгерских писателей,— в ней лишь ставятся некоторые из этих вопросов. Она не подводит итоги, а лишь кладет начало широкой дискуссии, которая, без сомнения, поможет молодым уяснить подлинное «место поэта в рабочем строю» и обогатить достойными нашего времени произведениями венгерскую социалистическую литературу.

Искусство в застенке

Герой «Женитьбы Фигаро» в своем знаменитом прологе сообщает между прочим, что в Мадриде объявлена свобода печати: «Я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, оперного театра, равно как и других театров, а также людей, имеющих к чему-либо отношение,— обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров».

Мадридская свобода печати в наши дни остается все той же, что и во времена Бомарше, а лиссабонская ничем не отличается от мадридской. Слова Фигаро могли бы послужить эпиграфом к докладу известной португальской писательницы **Марии Аршер «Искусство и литература в салазаровской тюрьме»,** прочитанному на первой южноамериканской конференции в защиту политических заключенных Испании и Португалии и опубликованному в журнале **«Куадернос де культура».**

Являясь чудовищным анахронизмом, обреченным на исчезновение всем ходом социальной и идейной эволюции, салазаровский режим, пишет Мария Аршер, «пытается сохранить в непрерывно развивающемся мире застывшие формы жизни и мышления, косность и окаменелость». Поэтому он гнетет искусство, обрушиваясь всей силой своих репрессий на художников, в творчестве которых находят хотя бы косвенно выраженное критическое отношение к действительности и чаяния социального обновления. И если такие виды искусства, как архитектура, музыка, танец, до некоторой степени ограждены от опеки салазаровских церберов, то изобразительное искусство, кино, театр, художественная литература, уже не говоря о критике и публицистике, в полной мере испытывают на себе давление цензуры, которая, как подчеркивает Мария Аршер,

> «осуществляется исключительно военными — лейтенантами и капитанами».

Как тут не вспомнить грибоедовского Скалозуба:

> Я князь Григорию и вам
> Фельдфебеля в Вольтеры дам,
> Он в три шеренги вас построит,
> А пикните, так мигом успокоит.

Произведенные в ревнители изящной словесности португальские фельдфебели, которым чудится угроза устоям даже в слове «социальный», неизменно оставляют следы своих сапог на страницах литературных газет и журналов.

> «Карандаш цензора перечеркивает произведение журналиста в целом или вымарывает в нем отрывки, фразы, слова, знаки препинания. Закон не дает ему права что-либо прибавлять или изменять в тексте, который подвергается цензуре, но цензор не считается с законом и позволяет себе «сотрудничать» с автором».

Какого рода это «сотрудничество», Мария Аршер поясняет на своем собственном

примере. В один из ее рассказов, напечатанный несколько лет назад в газете «Сол», цензор внес «незначительные поправки» — всего лишь заменил вопросительные знаки запятыми, а разделительный союз «или» соединительным союзом «и» — и мысль писательницы была совершенно извращена.

«Таким образом,— замечает Мария Аршер,— писатель всецело зависит от настроения духа лейтенантов и капитанов и в особенности от того, насколько одиозным для салазаровских властей представляется его имя и насколько опасна его известность. Цензура неизменно действует, как бич, занесенный над головами прогрессивных писателей»

Так, две трети статей, написанных самой Марией Аршер для лиссабонской газеты, в которой она постоянно сотрудничала до того, как покинула Португалию, не были опубликованы из-за вмешательства цензуры, а остальные ей приходилось переделывать по три-четыре раза, прежде чем цензор соглашался их пропустить. Сотрудничество этой талантливой писательницы влекло за собой такие типографские издержки и так дорого обходилось газетам и журналам, что они нередко были вынуждены отказаться от него.

«Моя история,— пишет Мария Аршер,— не просто частный случай. Я привела ее для того, чтобы показать, какому гнету цензуры подвергается португальская пресса, которой не дают выполнять ее информационную роль. Сообщения о событиях внутренней и международной жизни, статьи обозревателей, очерки и заметки по вопросам науки, искусства, философии, религии и т. д появляются в периодических изданиях соответствующим образом препарированные публицистами и журналистами, которые знают требование цензуры. Они представляют собой выхолощенные, «причесанные», трафаретные работы, выдержанные в духе салазаровской философии, официальной морали, буржуазной этики, узколобого национализма, унаследованного нами от монархии и отвергаемого современным миром, работы сознательно лишенные основных достоинств — правдивого отражения действительности и ее критического анализа. Но как ни увечат литераторы своих собственных детищ, этого оказывается недостаточно, чтобы удовлетворить цензоров, которым нужно оправдать свое существование, поглощающее немало средств из государственного бюджета... Цензор не заботится о том, чтобы уяснить в целом мысль журналиста или писателя, не следует за ним до конца силлогизма, а выхватывает из контекста отдельные слова и периоды, обращаясь с литературным произведением, как обращался бы дикарь, попавший в музей, ломая, уничтожая, глумясь...».

Книги в Португалии не подвергаются предварительной цензуре, если в них не затрагивается история, социология, религия, короче — идеологические вопросы. Зато нет ничего более заурядного, чем изъятие и запрещение уже вышедшей в свет книги, заподозренной в скрытой крамольности и «безнравственности» или попросту принадлежащей перу писателя, неугодного властям предержащим. Марии Аршер и здесь не приходится ходить далеко за примерами. В 1939 году была изъята ее книга рассказов, а в 1946 году — роман.

«Должна сказать,— замечает писательница,— что я одна из наименее пострадавших В Португалии тысячами насчитываются реквизированные книги—поэтические сборники, рассказы, романы, очерки отечественных и иностранных авторов, в том числе всемирно известных» Работая над новой книгой рассказов «Первая жертва дьявола», Мария Аршер, наученная горьким опытом, пыталась сделать все возможное, чтобы предохранить себя и издателя от возможных санкций. «Я писала эту книгу, как, впрочем, и все мои книги (когда я вступила на литературное поприще, в Португалии уже существовала салазаровская цензура) и как пишут вот уже тридцать лет все португальские писатели, ограничиваясь поверхностным изображением характеров, анализом чувств, описанием ситуаций и отказавшись от мечты всецело отдаться творчеству, полностью выразить себя в нем; я писала ее, как сражается человек, заранее обреченный на поражение... Работая над «Первой жертвой дьявола», я старалась сгладить все острые углы и сделала книгу почти бесцветной, чтобы спасти ее».

Эту пиррову победу, как с горечью говорит сама писательница, ей удалось одержать: книга не была изъята. Но издательство жестоко поплатилось за то, что выпустило ее в свет: сначала на него наложили штраф, а затем закрыли его под предлогом неудовлетворительной документации.

Но преступления салазаровского режима против свободы творчества не исчерпываются произволом цензуры, изъятием и сожжением книг, воскрешающим времена инквизиции, явным и скрытым давлением на авторов и издателей. Португальские дер-

жиморды не останавливаются перед полицейским преследованием писателей, которые вопреки всему отваживаются в своих произведениях говорить правду. Тому яркий пример возмутительный судебный процесс над одним из популярнейших романистов Пиренейского полуострова семидесятидвухлетним Акилину Рибейру, вписавшим славную страницу в историю португальской литературы задолго до того, как Салазар и его приспешники вписали в историю Португалии одну из самых черных страниц.

Единственным материалом обвинения на этом беспрецедентном процессе, с гневом и возмущением рассказывает Мария Аршер, служит последний роман Акилину Рибейру «Когда воют волки», где писатель изображает столь же позорный политический процесс над неграмотными крестьянами, которые взбунтовались против экспроприации их земельных наделов службой лесонасаждения и которых политическая полиция обвиняет в коммунистическом заговоре и покушении на государственную безопасность Если бы правдивость книги Акилину Рибейру нуждалась в новом подтверждении, достаточно было бы сослаться на эту судебную расправу над самим писателем В обвинительном заключении по делу Акилину Рибейру в качестве отягчающего вину обстоятельства отмечается, что его роман пользовался у читателей необычайным спросом и был мгновенно распродан Престарелому писателю угрожает приговор — восемь лет исправительной тюрьмы. Это ли не образчик салазаровской законности!

Подобно литературе, задыхается в атмосфере безвременщины и португальский театр, имеющий славные многовековые традиции, связанные с именами Жила Висенти, одного из крупнейших европейских драматургов эпохи Возрождения, Жоана Батишты ди Алмейда Гарреты, главы романтического направления в португальской литературе, Альфреду Кортеса и т. д. Эти социально-критические, антиклерикальные и революционно-патриотические традиции ненавистны столпам режима, и они тщатся их искоренить

> «Притесняя отечественных авторов и запрещая представления пьес самых прославленных иностранных драматургов как прошлого, так и наших дней,— пишет Мария Аршер,— цензура обрекла на унизительную роль португальский театр, вынужденный работать лишь над задачами, не связанными с животрепещущими проблемами современности. Ни одна пьеса не получает одобрения цензуры, если содержащийся в ней конфликт не разрешается в духе буржуазной этики и не приходит к развязке, приемлемой с точки зрения официальной морали, от чего страдают и истина, и искусство, и автор. Трагические конфликты психической и социальной жизни, борьба подлинно человеческого в человеке с его собственными демонами, доводящие до отчаяния семейные неурядицы, экономические противоречия, гибель кумиров и мифов — не могут быть правдиво показаны на португальской сцене».

Принцип «тащить и не пущать» неукоснительно соблюдается салазаровскими властями и в области изобразительных искусств. Куда же «тащат» они живопись и скульптуру? Разумеется, назад — к прославлению призрачного величия средневековой Португалии, к угодливой апологетике, к ложной монументальности и эпигонскому подражанию нарядно-декоративному стилю «эммануэлино». Художники, не соблазняющиеся постыдной ролью аллилуйщиков, не порвавшие своих связей с народом, а тем самым и с подлинным искусством, верные жизненной правде и демократическим идеалам, как показывает Мария Аршер, не могут рассчитывать не только на поощрительные премии, но и на возможность донести свои произведения до широкой публики Так, несколько лет назад, вспоминает писательница, на выставку независимых в салонах Национального общества изящных искусств в Лиссабоне ворвалась полиция и конфисковала полотна, признанные «подрывными» Одно из этих «крамольных» полотен изображало бедные деревенские похороны — по-видимому, власти нашли, что оно не согласуется с официальным оптимизмом и не отражает благоденствия португальских крестьян Не более веские причины побудили уничтожить замечательное настенное панно художника Гильерми Фелипи в одном из ресторанов лиссабонского предместья Оно изображало сцену в отдельном кабинете: богатый старик с молодой проституткой смакуют изысканные блюда, которые подает им сонный лакей, а в окно глазеет на это пиршество семья нищих, одетых в лохмотья Даже в далекой Анголе невозможно укрыться от бдительности салазаровских надзирателей над искусством. Так, на художественной выставке в Луан-

де была конфискована картина Изабел Аршер Морейра — портрет прокаженного негра: эта работа была плохим свидетельством благодеяний цивилизации, которыми якобы пользуются африканцы благодаря португальским колонизаторам.

Но нет застенка, в котором можно было бы покончить с искусством. Лучшие, передовые художники и писатели Португалии не смирились и никогда не смирятся с фашистской диктатурой. Творческому бесплодию они предпочитают изгнание, как Мария Аршер, тюрьму, как Акилину Рибейру, или подполье, как многие другие.

Новыми путями

Кто такой Хосе Солер Пуиг? В недавнем прошлом — административный работник табачной фабрики в Гуантанамо. Еще раньше — чернорабочий, маляр, пеон на сахарной плантации. А сейчас Пуиг — кубинский писатель, удостоенный в прошлом году первой премии на вселатиноамериканском конкурсе за свой роман «Бертильон 166». Написанный в яркой реалистической манере, этот роман посвящен одному дню диктатуры Батисты. Действие происходит в городе Сантьяго де Куба, на многих страницах книги описана подпольная борьба народных масс против фашистской диктатуры и власти американских колонизаторов.

Нам представляется, что судьба этого начинающего писателя в немалой степени знаменательна в связи с тем курсом, каким сейчас в новой, народно-революционной Кубе следует вся ее культура.

> «Учитывая, что прогресс нации основывается на гармоническом удовлетворении всех запросов материальной и духовной жизни народа,— говорится в статье главного директора по делам культуры **Вихентины Антуньи,** помещенной в выходящем на Кубе **«Болетин культураль»,**— кубинская революция проявляет горячую заботу о развитии культуры нашей страны».

Эта поистине горячая забота направлена, насколько можно судить по сообщениям печати, в первую очередь на то, чтобы добиться основной задачи: возможно быстрее приобщить народные массы ко всем благам духовной и материальной культуры. Достижение этой цели возможно лишь путем всемерного оживления творческой деятельности кубинской интеллигенции, отдающей все свои силы и знания народу.

Признаки этого оживления сейчас налицо. Здесь и всевозможные литературные конкурсы (в том числе и на лучший очерк о кубинской революции), и учреждение шестидесяти стипендий для наиболее талантливых писателей, художников, артистов, и проведение спектаклей-дискуссий с участием не только актеров, но и зрителей, и специальные премии в области драматургии. Издаваемый на Кубе ежеквартальный журнал «Нуэва ревиста кубана» печатает не только кубинских, но и иностранных писателей с тем, чтобы таким образом, как пишет тот же «Болетин культураль»,

> «также служить основной цели революционного правительства: стимулировать творческую деятельность кубинской интеллигенции и способствовать распространению культуры в стране».

Примечательной представляется уже сама форма проведения спектаклей-дискуссий. Вот в чем она состоит: сначала постановщик спектакля кратко излагает идею пьесы и представляет зрителям автора. После этого начинается спектакль, а по окончании его проводится дискуссия. Есть нечто характерное в том, что впервые такого рода спектакль-дискуссия был проведен по инициативе театра, носящего название Народный кооператив искусств!

Как отмечает кубинская печать,

> «победа революции на Кубе благоприятствует появлению произведений на социальные темы, написанных молодыми кубинскими писателями».

К числу таких произведений критика относит пьесу молодого кубинского драматурга Густаво Эгурена «Пробуждение». Среди ее героев — отсталый крестьянин, который не согласен со всем тем, что сейчас происходит в стране, и его сын, олицетворяющий прогрессивную молодежь, озаренную светом новой жизни.

Актуальность тематики и острота проблем, затрагиваемых в современной кубинской драматургии, способствуют тому, что

> «театр на Кубе в настоящее время приобрел живую и действенную связь с народом. Эта живая связь с народом

является основой, на которой и должна расти кубинская драматургия».

Важным подспорьем для приобщения народных масс к литературе должны служить издания серии пьес под названием «Кубинская сцена» и предполагаемый выпуск серии прозаических произведений под названием «Три книги за сорок сентаво». Дешевизна издания и ранее невиданный для Кубы тираж — 50 тысяч экземпляров! — ярко свидетельствуют о масштабах и назначении всего начинания в целом. Директор издательства «Патронато дель либро популар», предпринимающего выпуск этой серии, Рафаэль Умберто Гавирия,— писатель из Колумбии. Мы, таким образом, с полным основанием вправе подчеркнуть: «Ориентация издательства будет революционной и народной».

Весьма показательно, что передовая интеллигенция всей Латинской Америки с огромным и дружеским сочувствием следит за развитием народной культуры Кубы. Так, например, когда кубинское издательство «Каса де лас Америкас» объявило литературный конкурс, в жюри наряду с такими кубинцами, как Николас Гильен и Алехо Карпентьер, вошли крупнейшие писатели из других стран, в том числе Мигель Анхель Астуриас (Гватемала), Мигель Отеро Сильва (Венесуэла), Бенхамин Каррьон (Эквадор) Уже самый состав жюри как бы символизировал готовность известных писателей Латинской Америки оказать братскую поддержку кубинской творческой интеллигенции в ее самоотверженной борьбе за расцвет народной культуры. Показательно, что Бенхамин Каррьон, прибыв в Гавану, выразил надежду на то, что «великие преобразования, происходящие сейчас на Кубе, распространятся на всю Латинскую Америку».

Что касается Мигеля Отеро Сильвы, являющегося сенатором, то журнал «Болетин культураль», откликаясь на его участие в жюри конкурса, увидел в этом факте

> «пример того, как жизнь заставляет писателя занимать определенную позицию по отношению к политике своей страны и не позволяет ему ограничиваться «чистой» творческой деятельностью».

Все эти факты, бесспорно, свидетельствуют о том, что народная культура Кубы находится на подъеме и что за этим знаменательным процессом с дружеским сочувствием следит множество деятелей культуры во всех странах Латинской Америки.

Ярослав Путик

СОВЕСТЬ

Дело профессора Оппенгеймера

Перевод с чешского П. Н. Антонова

История эта началась весной 1954 года.

Это был необычный случай. Профессор Роберт Оппенгеймер, увенчанный лаврами создателя первой атомной бомбы, оказался на скамье подсудимых. Его обвиняли в антиамериканском образе мыслей; в кругах, где обходились без дипломатического словаря, откровенно говорили о шпионаже. Дело это привлекло внимание общественности. Достопримечательна была как личность обвиняемого, так и учреждение, предъявившее обвинение. Оппенгеймер предстал не перед судом, а перед специально созданным Комитетом безопасности атомной комиссии. Это был не процесс о государственной измене, не дружеская беседа, не академический диспут; это было особое судебное разбирательство, которое напоминало и то, и другое, и третье.

К слушанию дела тайная полиция ФБР подготовила тысячи документов и фотокопий, километры магнитофонных пленок, многочисленные фильмы — все то, что имеется в распоряжении современного аппарата государственной безопасности. Было привлечено много свидетелей, и вашингтонским деятелям пришлось долго думать, прежде чем они смогли найти помещение, которое не напоминало бы ни тюремную камеру, ни зал заседаний. В конце концов они освободили просторную канцелярию с порядковым номером 2022 в служебном помещении Билдинг Т-3. Эта канцелярия помещалась в корпусе, строгом и сером, как официальный декрет, и прекрасно подходила для данного случая.

Заседания начались 12 апреля 1954 года. Председательствовал Гордон Грей, бывший военный министр, в то время президент университета штата Северная Каролина. Заседателями были Томас А. Морган, бывший президент общества «Сперри корпорейшн», и доктор Уорд В. Ивенс, профессор химии Чикагского университета. Советником Комитета был адвокат Р. Робб, состоящий на службе у сенатора Маккарти.

Свыше 3 тысяч страниц, отпечатанных на машинке,— таков итог свидетельских показаний. Еще толще были кипы документов, подготовленные ФБР. В «святом негодовании» организаторы процесса забыли классический принцип инквизиторских судов: «Верьте мне, наилучшее доказательство — это не иметь доказательств. Это единственное доказательство, о котором нельзя спорить». Но они не руководствовались этим мудрым принципом.

Целью процесса было доказать нелояльность и политическую неблагонадежность профессора Оппенгеймера. Для него это означало бы потерю доверия и запрещение доступа к секретным научным и военным документам. Логически за этим следовало бы отстранение профессора от научной работы в области ядерной физики — конец карьеры.

Оппенгеймер был обвинен не в том, что он сделал, а в том, что он думал, чувствовал, и, главное, в том, что он с недостаточным энтузиазмом отнесся к созданию

Печатается с сокращениями.

водородной бомбы. Это был современный инквизиторский процесс в прямом смысле слова. Но как это часто бывает с подобными процессами, он превратился в обвинение обвинителей. Стенограммы заседаний не только показали драматизм судьбы ученого в американском обществе, они разоблачили всю американскую действительность. Америка не часто отражалась в таком правдивом и безжалостном зеркале. Кто в него смотрел внимательно, многое увидел.

Действующие лица и эпизоды в книге не являются вымышленными. Автор лишь позволил себе из многочисленных свидетелей, экспертов, провокаторов, шпионов, защитников выбрать всего четверых, которые ему показались самыми интересными. Это:

Доктор Эдуард Теллер, физик-атомщик, один из создателей водородной бомбы, названный ее «отцом»;

Борис Пах, офицер службы безопасности, во время войны ведавший охраной атомных лабораторий в Лос-Аламосе;

Адмирал Льюис Л. Страус, бывший в течение долгих лет председателем комиссии по атомной энергии, один из руководителей банка Кун-Леб;

И, наконец, сам Роберт Оппенгеймер, физик-атомщик, названный «отцом атомной бомбы».

Эти люди действительно давали показания перед Комитетом безопасности. Их можно считать главными действующими лицами этой драмы. То, что прочтет читатель, не является точным переводом выступлений — это лишь свободное изложение материалов дела. Однако авторская вольность не вступает в противоречие с фактами, и, несомненно, она далеко уступает той вольности, которую позволил себе, например, Борис Пах, давая показания на процессе.

Показания доктора Эдуарда Теллера

— Я думаю, что никто не будет возражать, если свои показания по поводу истории профессора Оппенгеймера я начну с рассказа о своих личных чувствах.

Комитет безопасности хорошо знает, что я много лет трудился с профессором Оппенгеймером на одном поприще. Научные интересы сближали нас так тесно, как они могут сблизить лишь людей, которые загорались общей идеей и вместе ее осуществляли. Жаль только, что такое сотрудничество не всегда бывает дружеским и любовным. По причинам, которые по прошествии стольких лет трудно точно установить, наши взаимоотношения с самого начала были натянутыми, скорее настороженными, чем товарищескими, и годы, которые обычно оказывают благотворное действие, наоборот, все больше и больше отдаляли нас друг от друга. Это мое признание не может, я думаю, помешать мне снова выразить свое искреннее восхищение громадным талантом и трудоспособностью профессора Оппенгеймера и отдать должное неповторимому обаянию его личности...

С юридической точки зрения, мы должны решить, можно ли оставить за профессором Оппенгеймером право доступа к секретным материалам атомной комиссии. Решить так или иначе — значит решить судьбу обвиняемого. Однако я думаю, что это имеет второстепенное значение по сравнению с главной проблемой, которая лежит в основе всего дела. Если я правильно понимаю истинный смысл нашего процесса, то от нас требуется, чтобы мы ответили на вопрос, что значит настоящий американский образ мыслей, каковы наши идеалы и что с ними несовместимо. Иными словами, мы берем на себя функции, которые юридически принадлежат нашим высшим органам — президенту, верховному суду, правительству и конгрессу.

Несколько парадоксально, что по такому вопросу должен выступать именно я, что, будучи иммигрантом, я должен говорить о человеке, который, вне всякого сомнения, является истинным американцем. Поэтому я хочу попросить о том, чтобы вы принимали во внимание в моих показаниях только факты и аргументы, а не личность свидетеля...

Председатель Гордон Грей:

— Комитет безопасности так же, как и вся Америка, глубоко уважает ваше мнение и знает, что свою преданность вы доказали делами. Это важнее, чем родиться американцем.

Доктор Эдуард Теллер (кланяется):

— Я думаю, что все мы — и профессор Оппенгеймер в том числе — сошлись

бы в определении того, что мы считаем позитивными идеалами настоящего американца. Мы, вероятно, придерживаемся единого взгляда на значение личности, религии, свободы и главных принципов демократического общества. Но разногласия сразу бы возникли, если бы нам пришлось решать такой, например, вопрос: прогрессивна или реакционна роль английского колониализма, или определить: является ли индийский нейтралитет полезным для наших интересов? Но самые большие разногласия, безусловно, появились бы при обсуждении проблем мирового коммунизма.

С коммунистами нельзя спорить, как думают некоторые наивные ученые. Коммунизм не может быть побежден ничем иным, кроме силы. То, что я говорю, является политической азбукой, однако многие колеблются, когда нужно сделать из этой азбуки необходимые и само собою разумеющиеся выводы. Особенно колеблется интеллигенция. Я годами борюсь с этими сомнениями, которые могут в критической ситуации стать роковыми. Еще в 1947 году я утверждал, что в будущем военная сила будет иметь первостепенное значение. Я предупреждал, что прямая обязанность всех нас, посвятивших себя производству первой атомной бомбы, предусмотреть всю опасность, которую несет с собой наше открытие. Мы вкусили от древа познания, сказал я, и как ученые должны иметь силу, а быть может, и дерзость поверить в то, что это открытие приведет к победе Добра...

Если бы недостаток веры или энтузиазма можно было квалифицировать как преступление, тогда Оппенгеймер должен был быть признан виновным без смягчающих обстоятельств. Я понимаю абсурдность этой мысли, однако полностью снять такое обвинение я не могу. Нельзя забывать, что каждый поступок выглядит в совершенно другом свете, если он играет на руку противнику.

Советник Роджер Робб (согласно кивает):

— Правильно!

Доктор Эдуард Теллер:

— Перехожу к фактам. Мы все знаем, что колебания профессора Оппенгеймера начались в тот момент, когда нужно было твердо решить, будем ли мы производить водородную бомбу. Сегодня, когда проведен уже целый ряд успешных экспериментов и водородные бомбы в недалеком будущем станут обычным оружием нашего военного арсенала, этот вопрос может показаться лишним. К сожалению, мы должны, однако, вернуться к этой истории, чтобы вспомнить, какое легкомыслие проявлялось в вопросах государственной безопасности Соединенных Штатов. Достаточно будет, если мы извлечем из этого хотя бы урок на будущее.

Я понимаю всю серьезность обвинения, которое я высказываю, но я не могу поступить иначе: мы продвинулись бы намного дальше в развитии нашей оборонной мощи, если бы не отрицательное отношение профессора Оппенгеймера к производству водородной бомбы. Профессор Оппенгеймер делал все, чтобы мы не имели бомбы!

Заседатель Томас Морган:

— Можем ли мы ваши слова понимать в том смысле, что Оппенгеймер сознательно утаивал принцип производства водородного оружия?

Доктор Эдуард Теллер:

— Нет. Ничего такого он и не мог сделать. Непосвященным часто кажется, что водородная бомба является открытием последних лет, но это ошибка. Теоретические основы ее открыты уже давно. Еще в 1927 году английский физик Аткинсон высказал мнение, что на солнце происходят термоядерные реакции в результате соединения атомов легких элементов, при этом выделяется колоссальная энергия. Принцип «fusion» — соединение атомов легких элементов — был известен раньше, чем идея нашей атомной бомбы, основанная на расщеплении атомных ядер самых тяжелых элементов. Второй вариант был проще, и поэтому мы его использовали, когда нам потребовались быстрые результаты. Но принцип соединения не мог навсегда оставаться под замком. Меня лично уже во время войны увлекала мысль создать водородную бомбу. Я пробовал установить и рассчитать некоторые теоретические предпосылки. Я продвинулся довольно далеко, и мне стало ясно, что водородную бомбу создать можно. Я не забуду чувства глубокого волнения и даже, признаюсь, ужаса, которое меня охватило, когда я при исследовании всех результатов этой плодотворной идеи вдруг оказался на пороге познания совершенно неведомых миров и их возможностей. Я не мог, конечно, идти дальше в своих поисках без солидной лабораторной работы и без помощи специальных научных центров.

Тогда, это было в 1944 году, я решил написать письмо военному министру Стимсону и сообщить ему о практической возможности произвести бомбу, взрывная сила которой была бы почти в тысячу раз больше, чем та, которую мы ожидали от бомбы, действующей по принципу расщепления. Целиком захваченный этой новой мыслью, я лишь по прошествии долгого времени заметил, как изменилось отношение ко мне со стороны моих коллег. И хотя меня упрекали в том, что я будто бы мало работаю над атомной бомбой, в действительности, как я с течением времени стал все яснее понимать, речь шла о более важном. Я думаю, что уже тогда, 10 лет назад, начались сомнения профессора

Оппенгеймера и его ближайших сотрудников, на которых он воздействовал силой своего дарования. Ученых мучило чувство вины уже во время работы над обычной атомной бомбой, и оно превращалось в кошмар при мысли, что все это лишь начало. Ученые страшились своих догадок и желали, чтобы они никогда не подтвердились. Они надеялись, что обнаружится техническая невозможность создать такое оружие, и подсознательно боялись, что когда-нибудь им предложат принять участие в его создании. Без сомнения, эта тревога порождена самыми высокими чувствами. Я понимаю все, и страх, и колебания, и тем не менее я должен открыто сказать, что именно эта нерешительность могла стать пагубной для судьбы нашей страны. Если бы мы вовремя не опомнились, то были бы теперь пленниками мирового коммунизма.

Роджер Робб:

— Правильно!

Эдуард Теллер:

— Не все ученые были против водородной бомбы. Многие из тех, кто чувствовали упреки совести, в то же время заинтересовались научной и технической стороной проблемы, их влекло то, что мы называем «technical sweet»*. Я сам хорошо знаю, как трудно бороться с этим влечением. Техническая сложность проблемы привлекла Энрике Ферми и такого крупного ученого, как Ганс Бёте. Однако мы сделали очень мало. Эксперименты закончились в тот момент, когда были успешно сброшены наши атомные бомбы. Никому не хотелось продолжать исследовательскую работу над оружием страшной разрушительной силы в дни, когда весь земной шар предавался преждевременной радости от наступающего долгожданного мира. Большинство ученых, которые работали над производством атомной бомбы, по-особому реагировали на это всемирное ликование. Теперь, когда окончилась война, они казались себе уже не славными борцами за дело народов, а мерзкими союзниками ада, они чувствовали личную ответственность за каждого мертвого ребенка в Хиросиме. Я понимаю это настроение и духовную растерянность людей, которые пережили войну не на фронтах, а в приятной тишине лабораторий, окруженные роскошью и заботой всего народа. Мы все были потрясены, когда узнали, что профессор Оппенгеймер во время визита к президенту Трумену заплакал и проклял свои руки и свой мозг, которые якобы были причиной смерти сотен тысяч людей. Я понимаю эти чувства, они могли бы дать современному Шекспиру сюжет для трагедии нашего века. Я сам бесчисленное множество раз ставил перед собой подобные вопросы и боялся подобных мыслей. Но думаю, что мне удалось найти иной и, конечно, более правильный ответ, чем профессору Оппенгеймеру.

Не наша задача — изучение всякого рода эмоций. Но Комитет безопасности хорошо знает, что далеко не все осталось лишь в области чувств, имеющих то или иное оправдание. У некоторых наших ученых эмоции превратились в своеобразную политическую линию. Они во все вмешивались, а люди с благоговением им внимали. Это объясняется огромным ростом авторитета наших ученых, которые сделали реальностью то, что казалось невозможным. Под влиянием реклам им стали приписывать почти сверхъестественные возможности. Эта игра в политику имела последствия, которые они сами даже не могли предугадать.

Я очень скоро почувствовал практические результаты этих новых настроений. В 1945 году, сразу же после окончания войны с Японией, меня вызвал незадолго до этого назначенный директором лаборатории в Лос-Аламосе доктор Норрис Брэдбери и предложил мне место руководителя отделения теоретической физики. Мне было в то время 37 лет, и я, конечно, даже и не мечтал о такой головокружительной карьере. Но, если говорить откровенно, моя радость была омрачена сомнениями. Я опасался, что Брэдбери, преемник Оппенгеймера и его ближайший друг, предлагает мне такой высокий пост не бескорыстно, а хочет, чтобы я был ему морально обязан. Поэтому я попросил время для размышлений. Взвесив все, я решил дать согласие при двух условиях. Я потребовал, во-первых, чтобы ежегодно испытывалось не меньше десяти атомных бомб и, во-вторых, чтобы без промедления началась подготовка к производству водородной бомбы. Когда я высказал свои требования, доктор Брэдбери с трудом сдержал свое негодование. Он сразу же мне отказал... и я отказался тоже. Лос-Аламос прозябал в дальнейшем между жизнью и смертью, и немного требовалось для того, чтобы исполнилось пожелание профессора Оппенгеймера, который хотел вернуть этот забытый уголок индейцам. В том, что этого не случилось, нет заслуги ни Оппенгеймера, ни моей...

Но я ни на йоту не отступил от своих убеждений. Читая лекции в Чикагском университете, я продолжал в свободное время агитировать за свою идею во всех доступных мне местах. Международная обстановка, к сожалению, подтверждала мою правоту...

В то время когда я вел свою донкихотскую борьбу, профессор Оппенгеймер занимал высокий пост председателя Главного консультативного комитета. От него полностью зависела деятельность

* Радость технического открытия *(англ.)*

атомной комиссии. По иронии судьбы решение о том, будем ли мы иметь термоядерное оружие, зависело от человека, который по разным причинам был заранее предубежден против его производства. Профессор Оппенгеймер почти никогда открыто не выступал против. Этому мешало его положение во многих правительственных органах. Он всегда выбирал обходные пути. Каждого прямого и открытого столкновения он тщательно избегал. Характерна, например, его реакция на мое предложение выработать перспективный, приблизительно на десять лет, план развития и производства оборонных средств, включая водородную бомбу. Собрание, на котором я предложил этот план, проводилось шесть лет назад недалеко отсюда, в Пентагоне. Профессор Оппенгеймер, по своей старой привычке, сначала вообще ничего не предлагал, со всем соглашался, все поддерживал, но потом, используя обширную, юридически хорошо обоснованную аргументацию, доказал, что атомная комиссия вообще не компетентна вырабатывать подобные планы! Меня как громом поразило заявление о том, что мы не можем планировать производство термоядерного оружия на десять лет. Это, по его словам, слишком уж долгий период, и мы не можем точно знать, что за это время произойдет в термоядерной науке. Я не люблю употреблять сильных слов, но разве не является такой ответ чистой демагогией. Оппенгеймер просто не хотел бомбы.

Нам все-таки удалось преодолеть его сопротивление, и за это надо благодарить трех выдающихся людей, которые приложили для этого невероятные усилия и проявили большую политическую зоркость. К сожалению, нашей общественности они не так известны, как того заслуживали бы. Это Лоуренс, Комптон и Льюис Алварес. Без них не было бы исторического решения президента Трумена от 31 января 1950 года.

Эти люди, к которым я питаю самые дружеские чувства, в течение продолжительного времени с беспокойством следили за деятельностью профессора Оппенгеймера. Когда подтвердились известия, что русские все же сумели произвести атомную бомбу, и в период более короткий, чем мы предполагали, стало ясно, что каждое дальнейшее колебание является преступлением, грозящим безопасности Соединенных Штатов. Эти настоящие патриоты, поддержанные своим большим моральным и научным авторитетом, встали на борьбу против примиренческих и сентиментальных настроений в нашем научном мире. Они обратились в Белый дом, и после долгой борьбы мы вместе сломили неблагоприятное влияние Оппенгеймера.

Заседатель доктор Уорд Иванс:

— Вы убеждены, господин Теллер, что Оппенгеймер организовал какой-нибудь заговор?

Доктор Эдуард Теллер:

— Этого я не утверждаю.

Роджер Робб:

— Это ясно само собой.

Томас Морган:

— Какова потеря во времени в соревновании с русскими?

Доктор Эдуард Теллер:

— По вине профессора Оппенгеймера мы опоздали на несколько лет. Я отважусь сказать, что эта ошибки была одной из самых страшных из числа тех, которые когда-либо совершались...

К сожалению, эта горькая правда с трудом пробивала себе дорогу. Достаточно вспомнить, каким образом были приняты доктор Лоуренс и Льюис Алварес тогдашним председателем комиссии по атомной энергии Лилиенталем. На заявление наших ведущих ученых о том, что возможности создания водородной бомбы совершенно реальны, человек, которому эти вопросы должны были быть особенно близки, ответил тем, что повернулся к ним спиной и не сказал ни слова! Да, так реагировал Лилиенталь.

Нельзя удивляться тому, что еще большая растерянность царила среди ученых. Я спрашивал у Ганса Бёте, хочет ли он работать с нами над производством водородной бомбы, но так и не смог от него добиться ясного ответа. Доктор Конан из Гарвардского университета даже заявил, как вы знаете, что путь водородной бомбы будет проложен только через его труп. В такой накаленной обстановке мы должны были подготавливать почву для дальнейшего важного шага. Я обратился с чисто формальной просьбой сотрудничать с нами и к профессору Оппенгеймеру. По своему обыкновению, он не высказался ни за, ни против, но в его настоящей позиции не могло быть никаких сомнений. Он разоблачил себя тем, что на собрании Главного консультативного комитета, которое проводилось 29 октября 1949 года, сформулировал возражения свои и возглавляемого им комитета в известных тезисах:

бомбу нельзя производить по причинам моральным; процесс производства бомбы слишком рискован, и неизвестно, возможно ли ее вообще произвести;

с военной точки зрения, это оружие обладает слишком большой разрушительной силой, и потери были бы бессмысленно велики;

невозможно мирное использование водородной бомбы.

Вдумайтесь внимательней в аргументацию Оппенгеймера. Что он ставит на первое место? Препятствия морального порядка... Итак, мы подходим, я думаю, к одному из узловых моментов дела, которое рассматриваем. Только действи-

тельно свободному человеку свойственны угрызения совести и способность применять критерии морали. Но как ученый я не могу встать на колени ни перед каким, даже самым святым, чувством. Еще в школе меня учили, что совесть — это своего рода внутренний неподкупный судья, который судит наши действия, не учитывая обстоятельств и не поддаваясь влиянию временных интересов. Из этого явствует, что совесть вовсе не объективное мерило, что два человека могут один и тот же факт оценивать по-разному. Один почувствует упреки совести, а другой, напротив, будет удовлетворен и полон гордости. Известно также, что совесть — это категория моральная и ни в коем случае не научная. Я считаю гибельным для каждого научного исследования, когда к нему приступают с априорным моральным, политическим или философским предубеждением. Наука не имеет ничего общего с этими понятиями так же, как ее не интересует и религия. Это проблемы иного мира, наука по отношению к ним безразлична. Если ученый будет рассматривать научную идею сквозь очки морали, то он запутается не только как моралист, но прежде всего как ученый. Дело профессора Оппенгеймера красноречивое тому свидетельство...

Профессор Оппенгеймер и его группа присвоили себе своеобразную монополию на моральные оценки. Они чувствовали себя, не известно почему, призванными судить других, осуждать ученых, которые отдали свои способности производству водородной бомбы. Я думаю, что их собственное поведение не дает им на это права. Я убежден, что профессор Оппенгеймер всегда прекрасно знал, что создание водородной бомбы вполне реально. Если бы он был последовательным и действовал в духе собственных принципов, он должен был сказать: да, водородная бомба — реальность, но профессор Оппенгеймер по ряду причин против ее производства...

В тот день, когда президент Трумен принял свое историческое решение, я был в Лос-Аламосе. Понятно, что я сразу же на месте попытался проверить предпосылки производства термоядерного оружия. Я пришел в лабораторию, полный радости, как выпускник, который только что сдал все экзамены, но меня быстро отрезвили. Норрис Брэдбери, мягко выражаясь, прочитал мне мораль и наставительно заявил: «Смысл выступления президента Трумена недостаточно ясен».

Приказ президента был совершенно ясен всей Америке, за исключением руководителя атомных лабораторий... Немного погодя я понял, что профессор Оппенгеймер не сложит оружия даже после решения президента. Выражение: «Ни одна битва пока не проиграна и не выиграна»,— которое как-то вырвалось у Оппенгеймера, не было просто красным словцом.

Гордон Грей:

— Значит, профессор Оппенгеймер был все-таки руководителем какого-то заговора в нашем научном мире...

Доктор Эдуард Теллер:

— Скорее это была договоренность людей одинаковых убеждений.

Роджер Робб:

— Не думаете ли вы, что настоящей причиной этих поступков Оппенгеймера было честолюбие и жажда славы?

Эдуард Теллер:

— Я не решаюсь об этом судить... Но я верю, что слава достается лишь тем, кто ее добивается... (с м е х).

Немало затормозила нашу работу также группа ученых, которые хотя и с оговорками, но согласились трудиться над созданием водородной бомбы. Они требовали, чтобы сначала были проведены переговоры с русскими. На этом особенно настаивали Ферми, Раби и Бёте. Снова и снова выдвигался неотразимый аргумент: как можем мы, всегда отстаивавшие принципы морали и человеческого достоинства, первыми начать производство оружия тотального уничтожения? Снова и снова мы должны были терпеливо доказывать, что это забота не ученых, а политических деятелей и, в конечном счете, всего американского народа...

Оппенгеймер зашел так далеко, что использовал результаты испытаний атомных бомб, работающих на принципе «fractional crit» *. Но ведь это была моя собственная идея! Он ухватился за метод, который я сам уже считал пройденным этапом, и горячо пропагандировал его на совместных совещаниях ученых и представителей нашей армии. Трудно представить себе большую трагикомедию: я отрицаю свое собственное открытие, а Оппенгеймер отстаивает его. Я угрожаю безопасности Соединенных Штатов, а Оппенгеймер выступает как ангел-хранитель.

Роджер Робб:

— Этой возможности у него уже больше никогда не будет.

Доктор Эдуард Теллер:

— Мое выступление слишком затянулось бы, если бы я стал рассказывать о бесконечных ссорах и борьбе, которые я сам и мои друзья должны были вести, чтобы выполнить приказ президента о создании водородной бомбы...

---

* Метод, позволяющий уменьшить вес критической массы расщепляемых материалов благодаря ТНТ или другой обычной взрывчатке. Этот метод дает возможность производить большее количество более дешевых атомных бомб той же мощности. Экспериментальные взрывы таких бомб проводились в 1951 году в Неваде. *(Прим автора).*

Томас Морган:

— Ваши действия достойны изумления. Я думаю, что вы должны были бы сказать больше о своей работе.

Доктор Эдуард Теллер:

— Охотно...

Ни одна даже самая гениальная личность не может самостоятельно выработать необходимое количество оригинальных идей, а также не способна проследить за всеми нюансами и тонкостями одной идеи или использовать все имеющиеся в ней возможности. Для этого в наше время недостаточно лишь аналитических и дедуктивных способностей, необходимы также и основательные знания многих специальных дисциплин. Другими словами, для того, чтобы мы могли решить нашу основную задачу — найти способ создания действенной и в то же время не очень тяжелой водородной бомбы, нам необходима была целая группа высококвалифицированных научных работников. Нежелание Оппенгеймера и большой группы его друзей помочь нам своими знаниями и своей энергией означало в итоге то, что мы шли вперед медленнее, чем это было в наших возможностях. Оппенгеймер, Раби и десятки других не хотели нам помочь. Может показаться, что ученые имеют на это право. Однако это лишь мнимое право. От солдата требуется, чтобы он в бою отдавал все — свой энтузиазм, возможности и весь свой моральный потенциал. То же самое мы должны неуклонно требовать и от наших ученых. Тем более что сегодня их работа для обороны Соединенных Штатов Америки намного важнее, чем боевые качества наших солдат...

Роджер Робб:

— Можно ли сказать, что по вине Оппенгеймера мы потеряли несколько лет и нас почти превзошли русские?

Доктор Эдуард Теллер:

— Да, я подтверждаю это.

Роджер Робб:

— Благодарю вас. Это является решающим!

Доктор Уорд Ивенс:

— Ученые имеют право ошибаться. Эйнштейн не верил, что удастся расщепить атом, кто его за это может осудить?..

Доктор Эдуард Теллер:

— Сейчас по Соединенным Штатам снова прокатилась волна восторга, и мы, ученые, снова становимся любимцами народа. Наши успехи известны всему миру, и мы должны были бы этому радоваться от всего сердца. Однако я считаю необходимым откровенно сказать об опасности, которая скрыта в этой волне оптимизма и неумеренного восхищения нашей наукой. Американских ученых снова позовут к микрофонам, они снова будут писать в газетах. Широкая общественность, однако, не знает, что тот или другой ученый до самых последних часов был против нас, что многие принесли больше вреда, чем пользы... Люди часто ошибаются, считая, что величие в одной сфере деятельности должно означать исключительное дарование и в других областях интеллектуального творчества. Иногда в эту ошибку впадают и сами великие люди. Черчилль рисует, Оппенгеймер пишет стихи... И, к сожалению, не только стихи. Оппенгеймер прежде всего вмешивается в политику и, что еще хуже, сваливает в одну кучу политику и физику. Это в конце концов не только его вина. Вы все знаете, что он занимал десятки весьма значительных правительственных постов, руководил атомной комиссией, говорил от имени Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций и выступал в качестве эксперта в конгрессе. Его приглашали университеты всего мира, еженедельно он выступал по радио и перед объективами телевизоров. От него требовали отзыва о вещах, в которых он ничего не понимал. Самые знаменитые люди нашего государства приглашали его и стремились узнать его мнение о Ван Гоге, о стихах, о санскритских переводах; он объяснял им принцип неопределенности Гейзенберга, комментировал выступления Вышинского, учил Ачесона, давал советы Баруху, говорил и писал... Что же удивительного, что наконец он сам поддался этому обману и почувствовал себя и министром иностранных дел, и даже самим президентом Соединенных Штатов.

Доктор Уорд Ивенс:

— Так же выступал я и многие мои коллеги.

Доктор Эдуард Теллер:

— Оппенгеймер же в значительной мере считал свои выступления программными. Известно, что во многих выступлениях он завуалированно высказывал мнение, что лишь ученые способны управлять миром. Люди, которые его слушали, не относились к этому всерьез. Однако я убежден, что Оппенгеймер нисколько не шутит. Это мнение намного шире распространено среди ученых, чем можно судить по их признаниям или общественным выступлениям. Я сам несколько раз задумывался над этой старой мыслью, которую впервые высказал, кажется, Сен-Симон. Сегодня, когда в руках ученого сосредоточены огромные силы, эта идея становится еще более заманчивой и привлекательной. Очень легко поддаться мысли, что сила, которую ты освободил, по праву принадлежит тебе. Весьма соблазнительно стать равным правительству, армии и могуществу природы. Я не могу, однако, удер-

жаться от смеха, когда представляю себе эти идеалы осуществленными и вижу наших докторов и профессоров, одержимых бредовыми мечтами, садящихся за общий стол, чтобы начать переговоры с коммунистическими политиками, и пытающихся убедить их с помощью дифференциального исчисления в преимуществах американской демократии. Это зрелище было бы весьма экстравагантным, однако гораздо менее радостно, что ученые начинают принимать свои фантазии так серьезно, что ради них готовы пожертвовать интересами собственной страны. Дело зашло так далеко, что кое-кто предложил открыть Советскому Союзу наши секреты и тем самым создать равновесие сил, которое, по их наивным представлениям, является гарантией мира...

Доктор Уорд Ивенс:

— Но ведь вы, доктор, сами знаете, что ученые всегда и везде были склонны к идеализму и пацифизму.

Доктор Эдуард Теллер:

— Я знаю об этом. Но не кажется ли вам, что пацифизм становится опасным? Я считаю эту опасность тем более грозной, что широкая общественность ее недооценивает. В научной среде пацифизм считается чем-то само собой разумеющимся. Он становится как бы признаком хорошего воспитания, он является чуть ли не символом веры каждого научного работника. В Соединенных Штатах эта традиция жива со времен Вениамина Франклина — тогда она была оправдана, но сегодня она вредна! Если судить поверхностно, пацифистские взгляды вполне разумны. Ведь безусловными пацифистами являются такие благородные личности, как Эйнштейн и Швейцер, Роллан и Шоу. Кажется также бесспорным, что для науки лучше, если она защищена от всех влияний армии, не говоря уже о войне. Я уважаю людей, о которых сейчас говорил, но я все-таки не согласен с ними. Сегодняшняя наука должна быть воинствующей.

Доктор Уорд Ивенс:

— Хорошо, но ведь должны быть какие-то причины, порождающие пацифизм?

Доктор Эдуард Теллер:

— ...Я думаю, что людей влечет к пацифизму потому, что они не способны понять войну как одну из возможных форм мирового развития. Они ведут себя как дети. Думают, что опасность исчезнет, если они закроют глаза. Психопатическая боязнь войны полностью парализует прежде всего ученых. Угнетаемые сознанием вины за ужасы прошедшей войны, они впадают в панику, когда слышат, что может начаться новая война. Мы бы смеялись над генералом, который, обучая армию, не допускал возможности, что эта армия когда-нибудь действительно будет сражаться. Интеллигентам мы такой ход мысли прощаем. Но я думаю, что я уже доказал, почему ученые должны считать себя авангардом наших вооруженных сил, воинами прежде всего. Если быть последовательным, то нужно сказать открыто: ученый, который по каким-либо причинам исключает войну как одно из возможных решений мировых проблем, должен по логике вещей сделаться нашим противником, и рано или поздно он нанесет вред оборонной подготовке свободного мира...

Мне могут сказать, что мои рассуждения имеют мало общего с тем случаем, который мы разбираем. Однако, говоря об общих явлениях, я всегда имел в виду именно профессора Оппенгеймера. Он именно тот ученый, который не хочет или не может сделать выводы из современной обстановки. Его позиция закономерно приходит во все более глубокое противоречие с занимаемым им положением. В этом как раз и есть основа нашего спора! Оппенгеймер не зря назван духовным сыном Эйнштейна. Он унаследовал не только страстность ученого, но и эмоции еврейского пророка из Ветхого завета, твердящего об искуплении. Оппенгеймер — это человек, подавленный комплексом вины, и он готов искупить ее действенным покаянием. Борьба против водородной бомбы и есть своеобразное проявление активного раскаяния.

Доктор Уорд Ивенс:

— Этим он еще не совершил преступления.

Роджер Робб:

— Объективно — это было преступление.

Доктор Эдуард Теллер:

— Я не утверждаю, что он совершил преступление, а стараюсь просто проанализировать мысли Оппенгеймера. В ошибочных мыслях причина ошибочных поступков. Я согласен, что нас не должны были бы интересовать подобные вещи, если бы не тот парадоксальный факт, что этот человек, изо всех сил боровшийся против водородной бомбы, в то же время был председателем консультативного комитета и практически руководил работой атомной комиссии, которая должна была выполнить приказ о создании термоядерного оружия...

Доктор Уорд Ивенс:

— Я не понимаю, каковы могли быть его мотивы...

Роджер Робб:

— Это еще будет видно!

Гордон Грей:

— У вас есть еще замечания по поводу деятельности профессора Оппенгеймера?

Доктор Эдуард Теллер (после продолжительного молчания):

— Нет. Я старался только выполнить как можно более объективно свои свидетельские обязанности и не повредить профессору Оппенгеймеру и в его лице другим ученым, одинакового с ним образа мыслей, но я также не хотел и не мог оскорбить Правду... В заключение я хотел бы еще остановиться на одном вопросе, который является личным, почти интимным. Я долго сомневался, должен ли я сказать об этом Комитету безопасности или лучше промолчать. Однако я считаю, что мог бы дать более правильное представление о личности профессора Оппенгеймера, и поэтому обязан сказать все. Ваше дело решить, в чем я ошибался.

В своих показаниях я не скрываю, что мои взаимоотношения с Оппенгеймером не были дружескими, но думаю, что ни одним словом я не возбудил сомнений в научной квалификации и авторитете профессора Оппенгеймера. Я не сомневаюсь в этом, но, честно говоря, думаю, что в этом сомневается сам профессор Оппенгеймер. Я убежден, что в глубине души он не удовлетворен своей научной карьерой. Талант Оппенгеймера увлекает. Это ученый с изумительно легким, подвижным и ярким интеллектом, но необходимо сказать, что Оппенгеймер не сделал ни одного открытия, имеющего такое значение, как, скажем, открытия Гейзенберга, Бора или Рэзерфорда. Ради работы над атомной бомбой, которая была более или менее организационной, он пожертвовал чистой наукой, которая является для него, как и для большинства ученых, истинной и высшей целью. И так как он не мог прийти к бессмертию этой возвышенной дорогой, он соединил свою судьбу с атомной бомбой и вместе с ней шел к славе и вечности. Атомная бомба стала его личной собственностью, он сжился с ней, считал ее своим достоянием и ревниво оберегал ее. Идея термоядерного оружия была не его, она принадлежала мне и моим сотрудникам. Наш успех означал, что слава Оппенгеймера быстро поблекнет и завянет. Я отважусь высказать мысль, что это чувство личной обиды и является причиной, объясняющей, почему профессор Оппенгеймер боролся с нами. Все остальное — политические размышления, моральные сомнения или упреки совести — это второстепенные явления, которыми он объясняет свои действия перед самим собой.

Это всего лишь мое предположение, но тот, кто знает обстановку наших университетов, поймет меня и подтвердит, что личные отношения, дружба, любовь, зависть, ненависть играют бóльшую роль, чем мы это признаем перед общественностью. И этот случай не представлял бы собой ничего исключительного, если бы от зависти внутренне неудовлетворенного и мучимого сомнениями ученого не зависела безопасность Соединенных Штатов.

Доктор Уорд Ивенс:

— Ваше предположение не дает ответа на основной вопрос, который нас интересует прежде всего. Можем ли мы признать профессора невиновным и дать ему право участвовать в атомных исследованиях?

Роджер Робб (очень зло):

— Доктор Теллер доказал, что мы не можем вынести такое решение, если не хотим предать интересы Соединенных Штатов Америки.

Томас Морган:

— Я считаю выводы доктора Теллера очень интересными и поучительными.

Гордон Грей:

— Вы бы признали, доктор Теллер, невиновность профессора Оппенгеймера?

Доктор Эдуард Теллер (колеблется):

— На это нельзя ответить просто — да или нет. Я считаю, что личные качества профессора Оппенгеймера безупречны. Я не верю, чтобы он сознательно мог сделать что-либо такое, что бы угрожало безопасности нашей страны. С этой точки зрения, профессору можно доверять. Если же вы хотите, чтобы я судил о нем по его делам, начиная с 1945 года, то думаю, что они угрожают безопасности независимо от желания профессора Оппенгеймера, и поэтому было бы разумнее отказать ему в дальнейшем доверии. Однако это мое личное мнение, и я не хочу влиять на Комитет безопасности.

Гордон Грей:

— Благодарю вас. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Нет.

*Who's who**

(Заметки из биографического справочника)

Почти все, кто знают доктора Теллера, утверждают, что он производит неблагоприятное впечатление. Он не способен скрыть своей скуки при разговоре с любым, кого не признает равным себе, и слишком явно каждому показывает, что его дух ви-

* Кто есть кто *(англ.)*.— обычное название для биографических справочников.

тает в областях более высоких, чем те, что доступны простым смертным.

У этого хромого, поседевшего элегантного человека, который возбуждает веселье своих знакомых упрямым желанием выступать в качестве фортепианного виртуоза, не обычное прошлое.

Он родился в Будапеште в 1908 году в богатой адвокатской семье, которая в этом городе играла значительную роль. Хотя Теллер захватил лишь последние отблески аристократического великолепия дунайской метрополии, но у него навсегда осталось стремление вращаться в самых высоких кругах и презрительное отношение к людям, не принятым в свете. Буржуазные нравы царили везде и даже в науке. Теллер сам говорит, что в его молодые годы в Будапеште в моде был интеллектуальный снобизм, и чем абстрактнее был изучаемый предмет, тем бо́льшей чести удостаивался студент. Теллер, естественно, посвятил себя абстрактным наукам. По иронии судьбы, как раз эти нашабстрактнейшие науки сегодня самым конкретным образом интересуют человечество...

В Будапеште Теллер окончил технологический институт, который равнялся нашим бывшим чешским реальным гимназиям. Потом он уехал учиться в веймарскую Германию, которая переживала короткое межвременье буржуазной демократии. Сначала он учился в Мюнхене, а в свободное время упорно занимался туризмом в Баварских Альпах. Туризм является, собственно, причиной его увечья. Когда, отягченный по немецкой привычке громадным рюкзаком, он прыгал в трамвай, у него соскользнула нога, и он упал под машину. С той поры он хромает и, как часто бывает у честолюбивых людей, ощущение своего физического недостатка переродилось в упрямое стремление выдвинуться в области духа.

Дальнейшими остановками в жизни Теллера были города Карлсруэ, Лейпциг, Гёттинген, где он попал в общество выдающихся физиков. В то время его захватила проблема квантовой механики. «Я был побежден квантовой механикой,— говорит он,— хотя ей было только два года. Мне было двадцать лет, но несмотря на это борьба мне казалась несколько неравной».

При наступлении нацистов в 1933 году он покинул, подобно Эйнштейну и десятку других физиков, Германию и переселился в Копань, где работал в институте теоретической физики у профессора Нильса Бора — одного из самых крупных ученых в области атомистики. Этим была предопределена дальнейшая научная карьера Теллера. В Копане он получал богатую поддержку из рокфеллеровского фонда. В этом ему помогла его жена, которая училась в Соединенных Штатах и имела связи с рокфеллеровскими кругами. С того времени Теллер находится под защитой миллиардеров Рокфеллеров.

Эта помощь дала ему возможность продолжать учебу в Англии в институте доктора Доннана — биохимика с мировым именем. Такие институты были трудно доступными для молодых и неизвестных эмигрантов. Благодаря рокфеллеровским связям он скоро попал в Соединенные Штаты, и уже в 1935 году ему предлагают сразу два значительных места: стипендию в Принстоне и профессуру в университете имени Георга Вашингтона. Теллер принял профессуру. Ему тогда было неполных 27 лет, и такая карьера была исключительной. За четыре года он опубликовал совместно с Георгием Гамовым ряд научных работ, благодаря которым его имя стало известно специалистам. Теллер с удовольствием приводит один эпизод из дискуссии о том, будет ли когда-либо возможно использовать энергию атомных ядер. Все крупные физики сошлись на том, что это невозможно. Теллер, однако, провозгласил: «Это п о ч т и невозможно».

* * *

Дальнейший путь Теллера можно проследить по его выступлению перед Комитетом безопасности. Теллер, однако, многие факты передергивает и приукрашивает. С первого взгляда видно, что он весьма подправил свое эмигрантское прошлое. Он выдает себя сразу за борца и против коммунизма и против нацизма. В действительности он является лишь фанатичным антикоммунистом. Теллер, может быть, и вправду верит выдуманному представлению, что его мировоззрение сформировалось благодаря глубоким переживаниям в эмигрантской одиссее. Однако это не так. Жизненный путь его только помог развитию старых антикоммунистических взглядов, начало которых датируется 1919 годом, когда власть захватила рабочая республика Советов и когда избалованный ребенок неожиданно понял, что возможно крушение установленных порядков и ценностей. Тогда он почувствовал ужас и страх перед теми, кто вчера еще не были ничем иным, кроме безымянной толпы рабов. Так, наверное, у него осталось на всю жизнь невидимое клеймо, подобное тем, которые унесли дети царских генералов и аристократов, когда удирали из революционной России.

В его показаниях можно обнаружить и более серьезную фальсификацию. Так, он повторяет утверждение, что Соединенные Штаты обогнали Советский Союз в производстве водородной бомбы. По прошествии большего периода времени становится без сомнения ясным, что это не так. В то время такое мнение рука об руку защищали американские ученые и политики. Теллеру были хорошо известны результаты лабораторных испытаний и сообщения об анализе радиоактивной пыли от взрыва советской водородной бомбы Обнаруженные следы лития доказывали, что Советский Союз имел водородную бомбу, которую можно

было транспортировать. Испытание было проведено 12 августа 1953 года, то есть на полгода раньше, чем подобного результата достигли Соединенные Штаты! Было проиграно соревнование, которое Соединенные Штаты начали, убежденные в том, что советская наука и техника никогда не смогут догнать американскую. Президент Эйзенхауэр решил после некоторых колебаний скрыть это неожиданное развитие событий от американской и мировой общественности. Теллер дисциплинированно повторяет вымышленные аргументы и перед Комитетом безопасности, что должно показаться по крайней мере странным. По логике вещей, он должен был признать, что в споре с Оппенгеймером проиграл. Люди не любят признавать неприятную правду, и в этом нет ничего необычного. Теллер не был одинок в этом своем неверии. В то время Трумен и Даллес публично заявили, что у Советского Союза, конечно, не может быть водородной бомбы. В доказательство своих утверждений они даже изобрели собственную теорию, что 12 августа 1953 года взорвалась не водородная бомба, а только экспериментальная лаборатория где-то в Сибири.

Теллер извратил также участие Эйнштейна, Сциларда и других ученых-пацифистов в производстве атомной бомбы. Правда, что эти ученые способствовали тому, чтобы было начато производство атомной бомбы. Известно письмо которое они послали американскому президенту Рузвельту. Оно было написано после встревожившего их сообщения о том, что немцы оградили яхимовские рудники и категорически запретили вывоз радия. Это означало, что немцы были на пути к решению проблемы. Всякому очевидно, какая опасность угрожала бы миру, если бы у Гитлера в руках оказалось страшное «гехеймваффе», которым он все время запугивал народы. В 1945 году, когда стало ясно, что немецкие ученые не смогли создать бомбу, Эйнштейн, Сцилард и сотни других деятелей науки восстали против того, чтобы это оружие было использовано в Японии, которая и так находилась накануне поражения. Однако ученые не добились успеха. Бомбы по личному приказу президента Трумена были сброшены. Хиросима стала увертюрой «холодной войны» против Советского Союза. Теллер позже признался, что даже он не соглашался с тем, чтобы были сброшены бомбы. Это казалось ему так же, как и Оппенгеймеру, неудобным — с политической точки зрения. Теллер склонялся к мнению, что японцев надо было сначала информировать об опасности, которая им угрожает, и потребовать от них капитуляции. И лишь в том случае, если бы они не послушались, можно было бы сбросить бомбу.

Заслуживает внимания признание Теллера, что принцип водородной бомбы общеизвестен. В пылу дискуссии он не заметил, что тем самым подрубил одну из главных свай, на которые опирается антисоветская пропаганда. Если правда, что принцип водородной бомбы давно известен, тогда глупо утверждать, что Советский Союз стремился получить информацию о теоретических основах водородной бомбы путем шпионажа. Таким образом отпадает и главное обвинение, возведенное против казненных супругов Розенбергов...

Стоит отметить и рассуждение Теллера о том, что должна была сделать Америка в момент, когда нужно было открыто признать успех Советского Союза в разрешении проблемы, которая считалась неразрешимой. Благодаря потере атомной монополии были уничтожены привычные стратегические догмы и нужно было начинать сначала. Известно, что сделала Америка. Она решила ответить силой. В то время была особенно велика опасность, что Америка начнет превентивную войну. Многие причины не допустили принятия такого решения. Большую роль сыграл здесь страх перед советской мощью, а также упорная борьба общественного мнения против новой войны. Поэтому осуществился другой вариант: интенсивное вооружение, которое должно было помочь обогнать Советский Союз и отвечало интересам монополистических групп. Но с самого начала была и третья возможность, которую Теллер даже не отмечает, потому что, видимо, считает ее слишком абсурдной: прекратить конкуренцию с Советским Союзом и заключить с ним договор. Советский Союз неоднократно вносил такие предложения, но все было напрасно. Развитие событий в последующие годы показало, что, для того чтобы сохранить мир от гибели, нужно добиться именно этого третьего решения.

Но вернемся еще раз к Теллеру. Если бы читатель принял на веру то, что говорил Теллер, он должен был бы думать, что Теллер в своих стремлениях не руководствуется иными идеалами, кроме служения Америке и науке. Правда, как это часто бывает, выглядит несколько иначе. Что такое Теллер, показали дальнейшие годы. Он, который упрекал Оппенгеймера в активном участии в общественной и дипломатической деятельности, вступил на тот же путь. Он добивается правительственных и консультативных постов, выступает по телевизору, печатается в журналах, особенно в архиреакционных — «Лайф» и «Форин оффис». Он выступает в роли научного медиума Даллеса, а часто и самого Эйзенхауэра. Он стал классическим политическим зубром, который больше времени проводит на заседаниях конгресса и министров, чем в лабораториях и в университете. В отличие от Оппенгеймера он не испытывает при этом никаких угрызений совести. Теллер не утруждает себя собственными взглядами, а просто говорит то же самое, что и государственный секретарь. К нему многие хорошо относятся, и его ждут, вероятно, долгие годы успеха и процветания.

Показания Бориса Паха

— Если бы я хотел, как доктор Теллер, выразить сначала свои чувства, то должен был бы сказать прежде всего о своем глубоком удовлетворении. В нашей работе мы привыкли ждать, и иногда проходит много лет, пока наступит такой момент, как этот, когда мы все и, главное, каждый лично убеждаемся, что наши усилия не были напрасными. Это наша заслуга, что Оппенгеймер стоит сегодня перед Комитетом безопасности и, в высшем смысле, перед судом всей Америки.

Я не буду скрывать своего мнения: думаю, что это дело должен был бы рассматривать обычный американский суд. Совершенно неправ доктор Теллер, который, как я слышал, был готов открыть с Оппенгеймером академический диспут. Дело профессора Оппенгеймера — это не просто борьба мнений, как неправильно считает заседатель Уорд Ивенс и с ним некоторые наши ученые. Я докажу, что это дело нужно понимать прежде всего как дело уголовное. Ясно, или должно быть ясным, что только из-за высших государственных интересов Оппенгеймер не предстал перед обычным судом. Что касается меня, я действовал бы иначе — твердо и без церемоний.

Роберта Оппенгеймера Америка и Европа знают как ученого, которому мы благодарны за многое и прежде всего за атомную бомбу. Один французский писатель даже написал, чтобы Оппенгеймер не тратил лишних слов и по примеру какого-то французского короля ударил себя в грудь и воскликнул: «Атомная бомба — это я!» Ни в мою задачу, ни в задачу моего учреждения не входит решение вопроса о заслугах и научной компетенции этого человека. Это решают иные авторитетные инстанции. Нас интересует обвиняемый как субъект, которого подозревают в ряде действий, направленных против безопасности страны. Задачей моей и моего учреждения является охранять эту безопасность. Мы знаем одно никогда не обманывающее правило: то, что укрепляет Соединенные Штаты,— это хорошо, то, что их ослабляет и подрывает,— плохо и должно быть безжалостно истреблено. Для нас Оппенгеймер — потенциальный враг, и нас не могут поколебать его действительные или вымышленные заслуги, его слава и популярность. Это нас не может обмануть, так как мы хорошо знаем механику, при помощи которой достигается и то, и другое.

Роджер Робб:

— Прекрасно!

Борис Пах:

— Дело Оппенгеймера началось для нас, для органов безопасности, еще двенадцать лет назад, когда, кажется, доктор Комптон официально предложил, чтобы Оппенгеймер стал руководителем атомных лабораторий в Лос-Аламосе. Я должен сказать, что хотя эта кандидатура могла казаться оправданной, с точки зрения профессиональных и организаторских данных этого человека, однако с точки зрения безопасности и политических интересов нашей страны, назначение Оппенгеймера было катастрофой. Наше учреждение, как известно, производит проверку сотрудников атомных лабораторий. Мы основательно изучали прошлое каждого, кто должен был там работать. Мы утверждали лишь тех, в чьих патриотических чувствах не было ни малейшего сомнения. Точка зрения безопасности обычно важнее, чем научная квалификация. Мы не принимали во внимание нацистов, потому что их почти не было, и поэтому сосредоточили свое внимание на коммунистах. Их влияние в научном мире и в мире искусства было гораздо сильнее, чем может себе представить непосвященная общественность. Мы прекрасно знали, как велик был недостаток в высококвалифицированных силах, и поэтому в некоторых случаях соглашались закрыть глаза на бывшие симпатии к коммунистам. Такой компромисс, однако, был невозможен, когда дело касалось руководящего поста. Наши документы безошибочно доказывали, что Оппенгеймер является или членом Коммунистической партии Соединенных Штатов, или весьма активным попутчиком. Мы действовали так, как от нас требовал наш служебный долг: категорически и без колебаний мы отклонили кандидатуру Оппенгеймера.

Роджер Робб:

— Правильно!

Гордон Грей:

— Кто изменил это решение?

Борис Пах:

— Генерал Гроувз, командующий Манхэттэн дистрикт *, который использовал свои особые полномочия и сам принял решение о назначении Оппенгеймера руководителем лаборатории. Так он стал занимать ведущее положение в атомной науке.

Доктор Уорд Ивенс:

— Вам известно, свидетель, выска-

* Генерал Лесли Гроувз был начальником Манхэттэн дистрикт (другое кодовое название — «ДСМ-проджект», что означает «Подготовка вспомогательных материалов»). Так шифрованно во время войны было названо производство атомного оружия В 1947 году, когда Манхэттэн дистрикт перешел под руководство вновь организованной атомной комиссии, Гроувз ушел из армии и с тех пор является сотрудником одной из крупнейших фирм по производству электронных вычислительных машин *(Прим. автора).*

зывание такой научной величины, как Ганс Бёте, который заявил, что без Оппенгеймера Соединенные Штаты не имели бы атомной бомбы?

Борис Пах:

— Действительно, у Оппенгеймера есть определенные заслуги в производстве атомной бомбы. Мы, однако, убеждены, что эту задачу решили бы и другие ученые — хотя бы тот же Ганс Бёте,— которые не были подозреваемы в антиамериканском образе мыслей. Поэтому мы внутренне никогда не соглашались с решением генерала Гроувза. Сегодняшнее заседание, я думаю, достаточно ясно доказывает, что мы не ошибались. Я могу убедить Комитет безопасности, что свое недоверие мы не высасывали из пальца. Оно выросло на основе долголетнего изучения материалов, тщательного наблюдения, размышлений и сомнений. Я думаю, что мы не забыли ничего. Мы изучали поступки и поведение, чувства и характер, я знаю Оппенгеймера так, как будто он мой брат...

Гордон Грей:

— Нас бы прежде всего интересовало, когда Оппенгеймер стал склоняться к коммунизму.

Борис Пах (*листает свои заметки*):

— Коммунистические настроения возникают у него вскоре после 1930 года. Экономические трудности переходного периода, которые переживала наша страна в результате модернизации промышленности, сразу вывели Оппенгеймера из равновесия. Какой же слабой должна была быть его вера в наш образ жизни! Реакция Оппенгеймера кажется тем более удивительной, если мы примем во внимание, что американский образ жизни, о котором он говорит со скепсисом и неуверенностью, достойными большевистского агитатора, давал ему возможность для весьма благополучного существования.

Оппенгеймер происходит из богатой семьи, которая удовлетворяла все его желания: он учился и в Гарвардском университете, и в лучших европейских учебных заведениях. Он мог позволить себе без колебаний самое дорогое удовольствие, для него была открыта дорога в высшее общество. Несмотря на это он с юных лет был против нашего строя... Коммунисты хорошо понимали, насколько полезен может быть для них Оппенгеймер,— они сделали все, чтобы вовремя опутать его, и использовали для этого старый и эффективный метод: подсунули женщину. Это была красивая студентка-психиатр Жанна Тотлок. Мало кто знал, что Тотлок, дочь профессора английского языка в Пасаденском университете, коммунистка. Встреча с Оппенгеймером была, как мы выяснили, заранее подготовлена и произошла весной 1936 года. Не много потребовалось для того, чтобы Оппенгеймер вспыхнул, как факел. С этой минуты он помогал коммунистической партии и связанным с ней организациям. О самой Тотлок надо сказать, что позже она тоже влюбилась в Оппенгеймера. И не только влюбилась, но и заплатила за это чувство жизнью. Об этом я скажу позже. Своими прокоммунистическими симпатиями Оппенгеймер возбудил вскоре внимание наших органов безопасности, которые уже с 1936 года в основном знали о всех его делах...

Гордон Грей:

— У вас есть доказательства принадлежности профессора Оппенгеймера к коммунистической партии?

Борис Пах:

— Нам не удалось найти его членскую карточку; возможно, что ее формально и не было. Но это ни о чем не говорит... Коммунисты и сам Оппенгеймер оказались, однако, достаточно неосторожными и дали нам много доказательств его подпольных связей и сотрудничества... Я позволю себе предложить вам письменные документы, из которых видно, что Р. Оппенгеймер продолжительное время выписывал коммунистическую газету «Пиплз уорлд». Здесь также есть подписанные собственной рукой Оппенгеймера документы о денежной помощи бастующим членам профессиональных союзов. (*Среди присутствующих распространяются документы.*)

Гордон Грей:

— Благодарю вас, этого хватит.

Борис Пах:

— О нет, это еще далеко не все: здесь я передаю фотокопию подписанного Оппенгеймером чека о выплате в помощь испанским беженцам. Обвиняемый большими суммами помогал красной коммунистической Испании и американской бригаде, сражавшейся там на стороне красных.

Роджер Робб:

— Теперь все становится абсолютно ясным!

Борис Пах:

— Ничего подобного, этим еще далеко не исчерпывается его подпольная деятельность. Здесь у нас есть письменные доказательства, что он по собственной инициативе основал в Калифорнии «Союз преподавателей» — «Teachers' Union», который сплачивал левых и коммунистически мыслящих профессоров. В этой организации Оппенгеймер был даже секретарем. Он работал в ней до 1941 года, то есть как раз до того времени, когда начал практически решаться вопрос о производстве атомного оружия! Эти неопровержимые доказательства Комитет безопасности имеет в руках. Без всякого сомнения они показывают, что Оппенгеймер был на службе у коммуни-

стов как активный и целеустремленный их сторонник.

Гордон Грей:

— Нельзя ли извинить коммунистические симпатии Оппенгеймера наивностью и политической неопытностью?

Борис Пах:

— Я предвидел подобное возражение и могу на него ответить... Политика не делается из любви к ближнему. Великий математик Оппенгеймер плохо рассчитал. Но мы должны принять во внимание, что это было в 1936—1939 годах, то есть в период полного размаха рузвельтовских планов. Это было в годы, когда очень быстро росло влияние профессиональных союзов и коммунистических организаций. Ставка на коммунизм не должна была казаться абсолютно безнадежной. Если мы приплюсуем к этим расчетам Оппенгеймера его неуравновешенность и крайнюю симпатию к преследуемым в Германии евреям, среди которых он имел близких родственников, и любовь к коммунистке Тотлок, то мы можем считать положение ясным.

Доктор Уорд Ивенс:

— Насколько я знаю, коммунистические организации начали подвергаться преследованиям только после войны. В этих связях Оппенгеймера не было в то время ничего незаконного.

Борис Пах:

— Оппенгеймер знал о незаконности своего поведения, иначе он не встречался бы с коммунистами конспиративно. В анкете органов безопасности, которую он заполнил в 1942 году, когда был кандидатом в Лос-Аламосе, он признал свои связи в выражениях, которые не требуют никаких комментариев.

Гордон Грей:

— Почему же он тогда признался?

Борис Пах:

— ...Непосвященный человек мог бы посчитать искренность Оппенгеймера обескураживающей. Нас, однако, трудно ввести в заблуждение.

Гордон Грей:

— Есть доказательства, что он принял предложение занять руководящий пост в лаборатории по приказу коммунистической партии?

Борис Пах:

— Прямых доказательств нет, однако по некоторым данным можно предполагать, что это именно так и было.

Томас Морган:

— У вас есть еще сведения о коммунистической деятельности профессора Оппенгеймера?

Борис Пах:

— Да. Мы установили, что брат Оппенгеймера, Франк, был вместе со своей женой с 1937 года членом Коммунистической партии Соединенных Штатов. У нас нет доказательств, что он перестал быть коммунистом! С юридической точки зрения, этот факт не имеет ничего общего с делом профессора Оппенгеймера. Я, однако, думаю, что если мы рассматриваем вещи с точки зрения безопасности Соединенных Штатов, мы не будем ни минуты сомневаться в том, что такое родство не является слишком благоприятным для человека, который руководит самой секретной атомной лабораторией. Это, однако, не все. В 1937 году Оппенгеймер женился. Его брак вызвал в университетах Беркли и в Пасадене почти скандал. Оппенгеймер ведь женился не на Тотлок, как того ожидали, а на совершенно другой женщине — Екатерине Поунинг, которую знал лишь несколько дней, и в этом проявляется эксцентричность его крайне неустойчивой натуры. Влюбился, обещал жениться, был принят в семье Тотлок как будущий жених, однако ночью передумал и через неделю женился на другой! Для того чтобы завершить его портрет, нужно добавить, что он даже после свадьбы не перестал встречаться со своей бывшей любовницей. Мы не знаем, до какой степени эти отношения были политическими, но совершенно ясно, что они были весьма интимными, как показывают фотоснимки, которые сделали наши сотрудники. За каждым шагом и поступком этой пары следил наш агент. Когда мы покажем фильм, вы убедитесь, что у Оппенгеймера не было угрызений совести, когда речь шла о вопросах супружеской верности. (*В зале шум. Оппенгеймер продолжает безучастно молчать.*)

После этой встречи он, естественно, решил дальнейшие связи прекратить. Он боялся возможных неприятностей в собственной семье, потому что у него в то время уже было два сына от Екатерины. Он не хотел также компрометировать себя дальнейшими встречами с коммунистами. Жанна Тотлок через некоторое время после последней встречи покончила жизнь самоубийством. (*Сильный шум: Оппенгеймер, склонившись, делает заметки.*)

Гордон Грей:

— Почему Тотлок убила себя?

Борис Пах:

— Это нам должен объяснить господин Оппенгеймер... Может показаться, что таким трагическим эпилогом окончатся связи Оппенгеймера с коммунистами. Однако это далеко не так, ибо и его законная супруга была коммунисткой! Она была известна как дочь зажиточных и порядочных родителей, но мало кто знал самое главное — она была не только членом коммунистической партии, но и супругой Джо Даллета, освобожденного секретаря коммунистической партии в Огайо. Даллет погиб, служа коммунистам в Мадриде. (*Снова волнение среди присутствующих.*)

Значит, Оппенгеймер женился на фа-

натичной коммунистке. Этим круг замыкается: бывшая любовница и законная жена, брат и его жена — все являются членами коммунистической партии, со всеми он лично встречается, а кое-кто хотел бы нам доказать, что у него нет ничего общего с коммунистами! Смешно!

Роджер Робб (выкрикивает):

— Это страшно!

Борис Пах:

— Да, страшно. Мы все это знали в 1942 году, имели все доказательства и несмотря на это ничего не могли сделать. Он занял место, которое имело более важное, с военной точки зрения, значение, чем должность командующего несколькими армейскими корпусами. Само собою разумеется, что мы никогда с Оппенгеймера не спускали глаз, и могу сказать, что каждый его шаг был известен, каждое письмо прочитано, каждый телефонный разговор подслушан, каждая встреча проверена и изучена. (Оппенгеймер подтверждает это кивком головы.)

С начала 1943 года Оппенгеймер стал более осторожным и тщательно избегал своих друзей-коммунистов. Вероятно, он получил приказ избегать всех компрометирующих встреч. Он весьма старался возбудить и доказать мнение, что его коммунистическое прошлое — это давно забытая история, что это было минутное заблуждение... Но нельзя верить людям, которые однажды уже изменяли своим убеждениям... Поэтому мы всегда следили за Оппенгеймером, а то, что случилось, доказывает нашу правоту.

В 1942—1943 годах в моем ведении была безопасность Лос-Аламоса. Я несколько раз встречался с Оппенгеймером. Внешне он держался, как и следовало ожидать, корректно и очень патриотично. Однако мы вскоре поняли его тактику: он в нашу лабораторию стремился насадить своих друзей — конечно, коммунистов. Ему удалось устроить в Берклеевской лаборатории своего брата Франка Оппенгеймера, а в Лос-Аламосе взять на работу своего личного друга, коммуниста и пацифиста, Ломанидзе и многих других, совершенно несолидных людей. Эти поступки были более чем подозрительны, однако мы долго ничего не могли сделать, потому что Оппенгеймер находился под защитой генерала Гроувза. Генерал поддался общему заблуждению, что без Оппенгеймера у нас бомбы не будет и миллиарды долларов даром вылетят в трубу. Наши предупреждения он бросал в мусорный ящик и этим хвастался.

Мы знали, что наша обязанность вовремя и основательно парализовать угрожающую опасность... Мы выбрали путь, который, может быть, удивит Комитет безопасности, однако в этом нет ничего непонятного. Мы решили сделать Оппенгеймера своим сотрудником, чтобы постепенно компрометировать его до тех пор, пока он не станет обыкновенным доносчиком, перед которым навсегда будет закрыта возможность вернуться в свой круг. (Шум в зале.) Способ, который мы избрали, может показаться нечестным, однако нельзя забывать, что мы не в футбол играли, а воевали.

Эту операцию начал полковник Лэндсдейл. Он позвал Оппенгеймера и открыл ему свои карты. Он предоставил ему доказательства его коммунистических связей и убедил Оппенгеймера, что нынче мы ему доверяем (что, конечно, было неправдой) и именно потому, что мы ему доверяем, мы требуем, чтобы он сделал для нас кое-что. На вопрос, что именно надо сделать, Лэндсдейл ответил, что он должен нам назвать имена бывших коммунистов, которые избежали проверки и сейчас работают в Лос-Аламосе. Оппенгеймер понял, что ему не удастся вывернуться. Если бы он отказался, то Лэндсдейл спросил бы его, а как же нам верить вашим утверждениям, что вы с коммунистами разошлись? Оппенгеймер обещал нам сделать это, но заявил, что он нам не подпишет никакого письменного обязательства, потому что это оставит у него лично неприятный осадок. Мы выполнили его просьбу. Цель наша в основном была достигнута. Первый шаг удался, и мы пошли дальше.

Роджер Робб:

— Назвал он вам какие-нибудь имена?

Борис Пах:

— Да. Он назвал, например, молодого физика Вайсберга. Не думаю, однако, что сотрудничество Оппенгеймера было искренним. Он называл чаще всего лишь тех коммунистов, о которых мы знали из других сообщений.

Роджер Робб:

— Но он был вашим сотрудником?

Борис Пах:

— Да. Весной 1943 года был сделан следующий ход. Для профилактики мы арестовали нескольких подозрительных коммунистических агентов. Между ними были и друзья Оппенгеймера. Он скоро узнал об их аресте и, как мы и предполагали, страшно разозлился. Он совершенно потерял голову. Через несколько дней он по собственной инициативе зашел в кабинет нашего агента безопасности Лиля Джонсона и в довольно пустом и ни к чему не обязывающем разговоре заявил, что он знает или что мог бы назвать человека, который подозрительно интересуется Лос-Аламосом. Когда Джонсон попросил, чтобы он сказал, кто этот человек, Оппенгеймер задумался и ответил, что это скорее его догадка, чем реальный факт. Лиль Джонсон сразу сообщил нам об этом разговоре и сказал, что он не знает, что и подумать. Мы, конечно, знали, в чем дело. Рыбка

клюнула, но в последний момент она почувствовала опасность и ускользнула, то есть думала, что ускользнула...

Мы не стремились ускорять ход событий. Мы знали, что он от нас никуда не уйдет. Больше того, дальнейшие сведения еще больше убеждали нас, что Оппенгеймер никогда не откажется от своих постов в лаборатории. Мы знали, что рано или поздно он сделает следующий шаг, которого мы ждали. Наш агент Пеер де Силва, который вращался в его кругу и считался его товарищем, после долгого и внимательного наблюдения послал нам следующее письмо: «Оппенгеймер — это честолюбец, который соединил свою судьбу с Манхэттэн дистрикт. Он раскроет имя шпиона, если ему прикажет генерал Гроувз». (Оппенгеймер неожиданно бледнеет.)

Сообщение Силвы в основном было сходно с нашими заключениями... Мы поговорили с генералом Гроувзом и убедили его, что он должен отдать Оппенгеймеру приказ, чтобы тот все рассказал. Генерал позвал Оппенгеймера и коротко, но настойчиво приказал, чтобы он открыл нам имя загадочной личности и избавил таким образом себя, любимого им Оппенгеймера, от подозрений в том, что он сотрудничает со шпионами. Все шло гладко: Оппенгеймер все рассказал и, к всеобщему удивлению, предал своего лучшего друга Хаакона Шевалье. С Хааконом, который был профессором французского языка в Берклеевском университете, он почти каждый день встречался. Оппенгеймер был поставлен перед выбором между дружбой и карьерой. Он выбрал карьеру. Мы не ошиблись. Мы редко ошибаемся.

Результат, однако, был для нас неожиданным: Шевалье вовсе шпионом не был, как мы очень скоро и ясно поняли. Оппенгеймер знал, что мы это откроем. Однако он добился своего. Он остался в лабораториях. Но нашего доверия он уже никогда не добился. О том, что он о нас действительно думает, говорили сообщения, которые к нам доходили. Оппенгеймер не мог удержаться, чтобы при каждом удобном случае не порочить нашу систему безопасности. Он говорил о ней, как о гидре, называя нас тупицами, дураками, идиотами, фанатиками и кретинами. Мы были, однако, в определенном смысле довольны. Мы знали по крайней мере его искренние убеждения и настоящие взгляды.

Своего мы добились. Предав Шевалье, он сжег за собой все мосты к своим бывшим друзьям. В дальнейшем он вынужден был идти, хотел он того или нет, вместе с нами. Единственное, что ему оставалось,— это заигрывать с собственной совестью. Однако и это нам обошлось слишком дорого.

Гордон Грей:

— Почему он решил предать Шевалье?

Борис Пах:

— Чтобы обмануть нас и иметь возможность потом интриговать...

Гордон Грей:

— Вы можете привести какие-нибудь конкретные доказательства подрывной деятельности профессора Оппенгеймера?

Борис Пах:

— Конечно. Таких доказательств бесчисленное множество. Вот первое, которое мне пришло на ум: в апреле 1952 года Оппенгеймер был назначен председателем комитета по разоружению. Ошибочно предполагая, что этот высокий пост достаточно скрывает его интриги, он сразу показал себя как противник ядерных испытаний. Он хотел это учреждение использовать прежде всего для того, чтобы не дать возможности подготовить испытание термоядерного оружия на острове Эниветок. Выступление Оппенгеймера ввело в заблуждение общественность и необычайно осложнило условия, в которых работали наши атомные ученые... Достойно внимания еще одно событие, совершенно неизвестное нашим гражданам. В октябре 1951 года профессор Оппенгеймер был в Париже. Он попросил приема у генерала Эйзенхауэра, который был в то время, как вы знаете, верховным главнокомандующим вооруженных сил Северо-Атлантического пакта. Беседа, которая состоялась у Оппенгеймера с генералом Эйзенхауэром, была, к счастью, записана, и поэтому у нас есть неопровержимые доказательства, что Оппенгеймер настойчиво стремился сорвать усилия, направленные к производству в Америке термоядерного оружия. Я цитирую по магнитофонной пленке эту часть беседы: «Вы знаете, генерал, что это значит,— говорит Оппенгеймер,— если водородные бомбы когда-нибудь будут изготовлены и будут лежать в наших арсеналах. Сейчас еще есть время не дать этому развития. Ни у нас, ни у других еще нет адской бомбы. Еще можно не допустить смерти бесчисленного количества людей и с нашей, и с их стороны. Помогите, генерал Эйзенхауэр, помогите!» На наших гуманистов и пацифистов, наверно, произведет впечатление эта забота о человечестве, которую он так явно здесь проявляет. Однако я могу засвидетельствовать, что наши воины не меньше заботятся о человечестве, чем Оппенгеймер. Этот призыв Оппенгеймера в действительности был дерзкой попыткой торпедировать в последний момент результаты многолетней и дорогостоящей работы. Поэтому, когда он узнал, что Эйзенхауэр советуется с генералом Норстэдом, он смиренно заявил: «Это конец». В то время когда вся Америка облегченно вздохнула, созна-

вая, что это конец сомнениям, Оппенгеймер реагировал так, что это сделало бы честь любому коммунистическому деятелю, для которого интересы Москвы выше интересов Соединенных Штатов...

Доктор Уорд Ивенс:

— У органов безопасности есть конкретные доказательства, что Оппенгеймер был шпионом?

Борис Пах:

— У нас есть вполне обоснованное подозрение.

Доктор Уорд Ивенс:

— Значит, нет доказательств?

Борис Пах:

— Мы в этом непоколебимо убеждены.

Доктор Уорд Ивенс:

— Благодарю вас!

Гордон Грей:

— Свидетель, продолжайте, пожалуйста!

Борис Пах:

— В 1951 году Оппенгеймер был еще в зените славы и занимал много важных постов. Когда наши органы стали изучать, в каком положении находится оборона Соединенных Штатов в новых условиях, которые возникли после того, как русские создали атомную бомбу, опять вернулось время Оппенгеймера. К ученым обратились за помощью, чтобы принять меры на тот случай, если бы Соединенные Штаты подверглись атомному нападению... Практически решался вопрос, что делать с нашей стратегической авиацией. Нужно ли усиливать нашу стратегическую авиацию или надо от этого отказаться, чтобы русские не чувствовали угрозы и чтобы они первыми не совершили превентивного удара против нас? И вот Оппенгеймер должен был ответить нашим вооруженным силам на этот вопрос.

Роджер Робб:

— Кто его наделил такими полномочиями?

Борис Пах:

— Научный советник военно-воздушных сил Льюис Райдмуэр.

Роджер Робб:

— Это же настоящий заговор!

Борис Пах:

— Свои предложения Оппенгеймер вырабатывал не сам, в помощь ему были даны научные силы и лаборатория Калифорнийского института, а также десятки экспертов и советников. Но все было проникнуто духом Оппенгеймера, и это сказалось на результатах. После нескольких месяцев изучения он предложил проект, известный как «Проект Виста». В основном его формулировал Оппенгеймер, первые пять глав были написаны лично им, и он свое авторство признает. Весьма интересно, какие вещи он нам предлагал. Не нужно иметь богатую фантазию, чтобы понять, что он был прежде всего против дальнейшего увеличения нашей стратегической авиации. Это якобы слишком дорого, а также вовсе не бесспорно, что русские нас не догонят; но главное — усиливается нервозность, и русские могут из страха, чтобы на них не напали, атаковать первыми, и началась бы война. Он нападал на нашу исходную концепцию, что коммунистов надо задавить силой. Он доказывал с совершенно серьезным видом, что, если мы откажемся от строительства стратегической бомбардировочной авиации, русские успокоятся и возрастут мирные возможности, а для того, чтобы русские не решились атаковать, якобы достаточно тактической авиации и прежде всего сильной обороны здесь, в Америке. Между строчек рекомендовалось, чтобы мы ликвидировали военные базы за границей, оставили выстроенные за сотни миллионов долларов порты, аэродромы и военные склады. Предложение просто фантастическое!

Эти фантасмагории были в конце концов отвергнуты. Однако надо сказать, что они все-таки дали кое-что полезное: наши ведущие политики наконец поняли, кто такой господин Оппенгеймер и кому полезны эти предложения. Справедливость, однако, идет трудными дорогами и добирается длинными обходными путями. И поэтому получилось так, что хотя наши генералы бледнели, когда слышали имя Оппенгеймера, однако этот человек с ангельским спокойствием разрабатывал дальнейшие проекты организации нашей обороны. Он настойчиво повторял одну и ту же навязчивую идею: мы не можем даже подумать о превентивной войне или атомной бомбардировке; это якобы морально невыгодно в военном отношении и т. д., и т. д. Если мы разберем его сомнения, от нас не может ускользнуть явная схожесть с русскими предложениями в Организации Объединенных Наций и в других местах. Оппенгеймер и советские политики в ряде вопросов имели почти одно и то же мнение.

Роджер Робб:

— Возможно, и одни и те же деньги?

Борис Пах:

— Еще в одном важном вопросе его предложения была похожи на идеи, которые днем позже распространяла московская «Правда». Так же, как и коммунисты, он нападал на главный принцип — совершенную тайну результатов ядерных исследований. Я здесь также говорил об его иронических замечаниях в адрес наших органов безопасности. Оппенгеймер оскорблял нашу службу безопасности систематически. В одних случаях он рассказывал старые анекдоты, в других с огорченным лицом докладывал о действительных, а иногда вымышленных неудачах нашего сотрудника и делал заключения, что вся наша

система безопасности глупа. С радостью он посылал доносы на агентов высшим органам и бурно выражал восторг, когда кто-нибудь из них бывал наказан. Я его обвиняю в том, что подобное ненавистническое отношение к нашим работникам постепенно развилось и в других лабораториях. Он действовал, однако, очень осторожно, и мы поэтому не могли его поймать. Оппенгеймер вообще с удовольствием обращался к закону. Граждане США имеют якобы право все знать и должны быть поэтому досконально информированы об атомном оружии. По этой логике Генеральный штаб должен был бы давать на утверждение оперативные планы всенародному форуму. Такая демагогия, которая опять-таки играла на руку русским, могла иметь опасные последствия, если бы не удалось вовремя обезвредить подобные утверждения. Оппенгеймер не был одинок. В то время многие из известных и менее известных ученых считали необходимым рассказывать анекдоты о нашей службе безопасности, жаловаться на полицейский произвол, на комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, говорить намеками о закрытых ртах и распространять оскорбительные слухи о том, что свобода науки, а вместе с тем и свобода Америки находятся под угрозой. Мы выдержали эту демагогическую волну кроме всего прочего еще и потому, что в конгрессе самоотверженно выступило несколько человек, которые поняли опасность и смогли мужественно сказать: «Да, мы за свободу и дадим нашей науке свободу, но никто не должен думать, что мы допустим, чтобы эта свобода была на руку нашим врагам...» *

Доктор Уорд Ивенс:

— Свидетель, вам известно, что аналогичного убеждения о свободе науки придерживался и Альберт Эйнштейн, человек, которым Америка гордится и который, видимо, не может быть подозреваем в коммунизме?

Борис Пах:

— Подозревать можно каждого, даже Эйнштейн не является святым. И вообще надо открыто сказать, что некоторые его мысли недалеко ушли от коммунизма. Оппенгеймер относится к другой категории, и мы должны его иначе судить. Он свои предложения провозгласил не как ученый или философ, а как политик. Нельзя забывать, что он был сотрудником правительства Соединенных Штатов, и уже поэтому у него были определенные обязанности, которые он не мог безнаказанно нарушать...

Гордон Грей:

— Встречался ли Оппенгеймер с коммунистами в последние годы?

Борис Пах:

— Да. Недавно в Париже он встретился с Хааконом Шевалье. (Шум в зале.) Это было на Монмартре в обществе бывшего коммунистического писателя Мальро. Этот господин Мальро в 1938 году посетил Соединенные Штаты и агитировал за красную Испанию...

Роджер Робб:

— Ага!

Доктор Уорд Ивенс:

— Насколько мне известно, нет никакого доказательства, что Шевалье является членом коммунистической партии. Вы сами сказали, что у вас нет никаких доказательств, что он является шпионом.

Борис Пах:

— Оппенгеймер не может доказать, что Шевалье не является членом партии.

Доктор Уорд Ивенс:

— Но ведь это и не его обязанность!

Роджер Робб:

— Вы ошибаетесь. Инструкция органов безопасности сотрудникам атомной комиссии строго запрещает какие-либо связи с коммунистами и с членами подпольных коммунистических организаций. Эти указания вменяют в обязанность каждому сотруднику прилагать усилия, чтобы с ними не встречаться. Из этого логически вытекает, что ни один сотрудник атомной комиссии не имеет права встречаться с людьми, если он не уверен, что они не являются коммунистами. А Оппенгеймер знал, что его бывший друг Шевалье по меньшей мере подозревается в коммунизме. Поэтому он с ним не должен был связываться...

Томас Морган:

— Вы можете нам объяснить, почему Оппенгеймер в последние годы добровольно отказывался от многих постов?

Борис Пах:

— Я убежден, что он был вовремя предупрежден своими друзьями и знал, что наши руководящие политики уже не считают его благонадежным. Он, конечно, узнал о том, что весной 1952 года несколько известных ученых были против того, чтобы он был снова избран председателем Генерального консультативного комитета. Совет был тайным, однако Оппенгеймер должен был кое-что узнать, потому что сразу после этого сам предложил отвести свою кандидатуру. У него, однако, все еще была

* Борис Пах говорит, конечно, об известном выступлении сенатора Маккарти, который дрожащим от злобы голосом провозгласил по радио на весь мир: «Если в нашем правительстве нет ни одного коммуниста, почему задержалась на 19 месяцев исследовательская работа по водородной бомбе, когда наша разведывательная служба сообщила, что русские могут создать водородную бомбу? Я сообщаю сегодняшней Америке, что она может исчезнуть с лица земли благодаря последствиям этой задержки». Пример этот может дать наглядное представление о том, какой бешеной была антикоммунистическая истерия. *(Прим. автора).*

сильная опора в атомной комиссии и вообще в научном мире. Наконец был найден компромисс, и Оппенгеймера назначили советником с правом доступа к секретным документам. Это назначение имело силу в течение одного года, до июня 1953 года. Мы думали, что до того времени настолько разоблачим Оппенгеймера, что о его дальнейшем сотрудничестве не сможет быть и речи. К сожалению, председатель атомной комиссии Гордон Дин решил иначе, и 5 июня 1953 года продлил Оппенгеймеру этот срок еще на год. Сразу после этого был назначен новый председатель атомной комиссии — Льюис Страус, и лишь после этого дело пошло нужным направлением и правильным темпом. Страус действовал быстро и решительно. Сразу же после вступления на этот пост, в июле 1953 года, он приказал все документы, которые были у Оппенгеймера в Принстоне, перевести в другое место. Так началась открытая борьба.

Гордон Грей:

— Вы убеждены, что Оппенгеймер оставался в душе коммунистом и в тот период, когда Америка так открыто проявляла к нему любовь и уважение?

Борис Пах:

— Я думаю, что Оппенгеймера мучили противоречия. Строго говоря, если мерить коммунистическим мерилом, он не может быть признан годным для них. Он индивидуалист, даже в мельчайших вещах он не способен подчиниться военной дисциплине, думает больше о себе, чем о коммунистическом коллективе, и т. д. Однако он тесно связан с коммунистами через семью и друзей, он находится под влиянием марксистского опиума и прежде всего просто не верит в прочность нашей системы...

Чем нам может повредить какой-нибудь коммунистический деятель? Нам известен каждый его шаг; ФБР читает его письма; знает, кому он звонит, кто его посещает, что он думает; знает, что он делает, и в любой момент может его арестовать. Он известен не только ФБР и полиции, но и предпринимателю, о нем знают профсоюзы, он никуда не проникнет, мы постоянно за ним следим и поэтому он может повредить Америке меньше, чем комар слону. Но Оппенгеймер — человек, находящийся на высших правительственных постах, личный советник президента, любимец ученых и американского народа, человек, который имеет доступ к секретнейшим документам, человек, который советует министрам и генералам. Его поступки, если ему удастся долго и успешно скрывать свои убеждения, могут быть страшными, и они на самом деле такими были. От его язвительных нападок инструкции органов безопасности превращались в фарс. Из-за его фанатичной, отягченной сознанием собственной вины и угрызениями совести борьбы против термоядерного оружия мы потеряли несколько лет, их можно восполнить лишь с громадными жертвами. Ни один саботажник не смог бы сделать больше.

Оппенгеймер нанес Америке страшный вред. Если вы не хотите, чтобы этот вред увеличивался, нужно, чтобы Оппенгеймера признали виновным, запретили ему доступ к военным открытиям и ядерным исследованиям. Комитет безопасности должен с полной ясностью и без компромисса заявить, что Оппенгеймер был и является абсолютно нелояльным по отношению к своей стране и поэтому потерял всякое доверие. Большего комитет не может сделать. Мы же постараемся, чтобы никто в дальнейшем не открыл этому человеку двери наших атомных лабораторий.

Роджер Робб:

— Прекрасно!

Гордон Грей:

— Благодарю вас. Есть у кого-нибудь еще вопросы?

Доктор Уорд Ивенс:

— Я констатирую, что в показаниях Бориса Паха не было доказано ни одного факта преступной деятельности.

Роджер Робб:

— Я констатирую, что было доказано все.

Гордон Грей:

— Благодарю вас, господа!

Who's who

«Человек, который не колеблется»,— так можно коротко охарактеризовать Бориса Паха. Он не колеблется ни перед чем, он не колеблется перед тем, чтобы запросто выдумать самые фантастические дела о государственной измене...

Перед тем как стать офицером службы безопасности, Борис Пах подвизался в качестве учителя физкультуры в одной из школ в Голливуде. Однако там он не добился никаких выдающихся результатов, больше прославился своими успехами у женщин и многочисленными любовными авантюрами. Он был любителем приключений, по политическим же убеждениям — реакционер и антикоммунист. Благодаря этому его дорога к карьере шпика была широко открыта. В аппарате госбезо-

пасности он быстро научился подозревать и очень скоро прочно усвоил основное правило своей работы — никому не верить: самый лучший друг может быть врагом, у офицеров безопасности нет друзей. Он учился в специальных школах и стал специалистом по «борьбе с коммунистическим проникновением». Совершенное знание русского языка давало ему особую квалификацию. Борис Пах русский по рождению. Его отец был митрополитом русской православной церкви в Соединенных Штатах.

В аппарате госбезопасности, где он действовал по принципам, которые усвоил во время игры в регби, он быстро продвигался вперед. У Паха никогда не было недостатка в льстивости и карьеристской гибкости. Он стал известным благодаря ряду гусарских поступков, некоторые из них были необычными даже для американских полицейских. Одно из этих дел особенно прославило его. Он предпринял, никому об этом не сказав, попытку проникнуть в штаб одной из частей американской армии в Лос-Анжелесе. Перелез через заборы, обманул часовых, проник в помещение и выкрал сейф с секретными документами. Это было во время войны, и, естественно, возникла страшная тревога. Когда все стало ясным и все поняли, что это сделал Пах, он совершенно невинно оправдывался: мол, хотел показать армейским офицерам, что они недостаточно бдительны и не придерживаются инструкции безопасности, поэтому их можно обмануть. Это было уже чересчур, и поэтому он должен был на некоторое время оставить свою выгодную службу. Однако его защитили мощные покровители.

В деле Оппенгеймера он не особенно отличился. Начальство считало, что Пах слишком прямолинеен и неловок, а в этом деле нужен был человек более тонкий. Поэтому дело было передано адвокату полковнику Лэнсдею, а Пах был отстранен. Однако это не значит, что он попал в немилость. В ноябре 1943 года ему было поручено руководство операцией «Алсос».

Операция «Алсос» относилась к самым крупным успехам американской тайной службы во время второй мировой войны. Официальные документы утверждали, что ее основной целью было установить, как далеко продвинулись немцы в своих атомных исследованиях и как далеко продвинулась их работа по созданию атомной бомбы. В действительности агенты Паха интересовались, кроме бомбы, еще многими другими и весьма важными вещами. Речь шла главным образом о немецких ученых и патентах. Пах должен был предпринимать все, чтобы ничего не досталось Советской Армии и как можно меньше—англичанам и французам.

Сначала Пах выехал в Италию и продвигался вместе с союзническими войсками на север. Но в итальянских лабораториях корысть была невелика. После развертывания военных операций во Франции Пах переселился в Париж. Затем совместно с войсками генерала Паттона он проник в Страсбург — важнейший центр немецких атомных исследований. Люди Бориса Паха здесь нашли огромное количество ценных документов. Самуэль Гудсмит, голландско-американский физик, который в штабе Паха занимался определением ценности найденных материалов, обнаружил, что немцы ни за что не смогут создать атомную бомбу. Этим была решена первая задача, но бомба их уже не интересовала. Пах обнаружил, что первый немецкий атомный реактор работает в подвалах замка в Хайгерлохе. Это означало, что в Хайгерлохе находятся и все научные данные. Трудность состояла в том, что городок находился во французской зоне оккупации. Пах, однако, знал, что надо делать. Его парашютисты напали на Хайгерлох и соседний Хеслинген, однако самая крупная рыбка у них сорвалась. Вернер Гейзенберг уехал незамеченным на велосипеде в Баварские Альпы. Но и без того улов был выдающимся. Они поймали Отто Гана, Макса фон Лауэ и Г. Ф. Вайцзекера. Это был самый крупный успех Паха. По понятным причинам он, однако, не очень рекламировался. Намного больше говорилось о похождениях в Бремме. Пах и его люди захватили на улице человека, которого звали Паскуал Джордан. Он защищался и кричал, но они ни на что не обращали внимания, посадили его в самолет и увезли в Соединенные Штаты. Лишь через несколько месяцев обнаружилось, что этот Паскуал Джордан является не прославленным немецким физиком, а лишь его однофамильцем, простым бременским портным. Паху, однако, ничего не сделали. Таково уж было время. О послевоенной карьере Паха нет никаких подробных сведений. Совершенно ясно лишь, что он принадлежит к звездам службы безопасности и что ему доверяют те дела, которые требуют решительности без особого участия мозговых извилин.

По убеждениям Пах, естественно, относится к самой реакционной группе правых. Но как же может быть иначе? Он ведь один из столпов своего государства.

Окончание следует

Полемика

В. Перцов

КАК ИЗУЧАЮТ МАЯКОВСКОГО В ГАРВАРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В августе 1959 года во время научно-туристской поездки в США я имел возможность убедиться, что вместе с усилением интереса к Советскому Союзу в некоторых кругах американской интеллигенции вырос интерес и к русскому языку и литературе. Запомнилась, например, такая подробность. Осматривая Вашингтон и знакомясь с достопримечательностями этого города, мы беседовали с журналистами, которые и в это самое жаркое и влажное время года героически не покидали своих постов. Когда гид, сообщавший корреспондентам все, что ему было известно о членах нашей делегации, назвал меня и упомянул, что я много лет занимаюсь изучением творчества Маяковского, один из журналистов оживился и стал скандировать:

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин

Признаюсь, я искренне расположился к этому журналисту, слушая в столице США хорошо знакомые строки, и, могу сказать, иностранный акцент был даже приятен и нисколько не мешал правильной интонации, свидетельствовавшей о полном понимании их смысла и особенностей ритмики стиха. И хотя Маяковский все же известен в Америке сравнительно неширокому кругу людей, эта цитата означала в устах молодого журналиста, что и в США множится число людей, интересующихся русским языком и литературой, говорящих или, во всяком случае, понимающих по-русски.

Разве не о том же свидетельствует и выпущенный в 1960 году в Нью-Йорке солидный том избранных произведений Маяковского, где на одной странице дается их перевод на английский язык, а на противоположной — оригинальный русский текст? Этот порядок публикации, все более приобретающий права гражданства (также на двух языках издана и очень внушительная антология русской советской поэзии в Италии), облегчает возможность знакомиться с русским текстом в оригинале и для тех, кто еще недостаточно овладели языком. В США переводы произведений Маяковского, сделанные для «Избранного» Максом Хейвардом и Джоном Ривеем, появляются впервые. Они получили высокую оценку профессора Гарвардского университета Романа Якобсона, чей отзыв открывает том избранных произведений «великого писателя двадцатого века» — так представлен американскому читателю Маяковский на обложке книги.

Переводы встретили положительную в целом оценку и наших специалистов. Особенно удался Максу Хейварду «Клоп». Лирические стихи даны Джоном Ривеем без рифм и хотя и не всегда передают поэтический дух подлинника, но довольно верно воспроизводят характер образности Маяковского. Во всяком случае, мы можем выразить свое удовлетворение по поводу того, что известная часть творческого наследия Маяковского благодаря этому изданию становится доступной американским читателям.

Можно спорить с мнением, высказанным профессором Р. Якобсоном и вынесенным на обложку этой книги, будто стихи, отобранные Патрицией Блейк — составителем и издателем,— охватывают весь творческий путь Маяковского. В томе, включающем две ранние поэмы — «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник»,— нет ни поэмы о Ленине, ни поэмы «Хорошо!». Могла бы быть полнее представлена и лирика (хотя бы отрывками из «Про это»). Но, как говорится, лиха беда начало. Будем считать, что начало переводам и изданию Маяковского в США положено.

Мы готовы согласиться с Гаррисоном Солсбери, который на страницах «Нью-Йорк таймс» пишет: «Благодаря запоздалой, в некотором роде случайной попытке мы начинаем теперь знакомиться по крайней мере с некоторыми достижениями русской духовной жизни, имеющими этапное значение». И опять же скажем: «Лиха беда начало». В той же статье говорится: «Трудно поверить, что со дня смерти Маяковского минула треть века». Конечно, лучше начинать знакомиться раньше, чем позже, но в конце концов для настоящего искусства никогда не поздно. Важно лишь, чтобы неизвестное или малоизвестное широкому читателю явление литературы другого народа не было искажено.

В составе «Избранного» имеются среди других такие стихи, как «Во весь голос», «Необычайное приключение», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Домой», «Бруклинский мост», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», комедия «Клоп». Этого не так мало для начала знакомства с «некоторыми достижениями русской духовной жизни, имеющими этапное значение». В самом деле, ведь все эти произведения, характеризующие русскую духовную жизнь и достижения русской литературы после Октябрьской революции, не могли бы появиться на свет без нее и могут быть правильно поняты как явления русского духа и искусства только в свете борьбы за ее идеалы, имеющие общечеловеческое значение.

Задачу представления Маяковского американскому читателю во вступительной статье взяла на себя Патриция Блейк. И вот здесь русская поговорка «Лиха беда начало», которую мы упомянули в том смысле, что всякое начало трудно, стоит только начать, а там пойдет, наводит на мысль о другой русской поговорке — «Лиха беда на кого не живет». Относится это к госпоже Патриции Блейк — критику.

Стихи Маяковского, отобранные ею же самой, дают представление о мощном и обаятельном облике поэта-жизнестроителя, значение которого как заглавной фигуры поэзии советской эпохи, очищаясь от всего временного и наносного, становится от года к году все глубже и перспективнее. Цикл произведений, включенных в «Избранное», рисует нам Маяковского-бунтаря, гордого мятежника, выступившего в одиночку против буржуазного общества со своими знаменитыми четырьмя «долой»: «Долой вашу любовь», «Долой ваше искусство», «Долой ваш строй», «Долой вашу религию». Эти «четыре крика четырех частей» его ранней поэмы могли родиться в сердце молодого поэта и вырваться из его груди только на том подъеме революционной волны, девятый вал которой — Октябрьскую революцию 1917 года он предсказал в своей поэме с ошибкой на один год, сообщает Патриция Блейк, чтобы подчеркнуть его увлеченность, или, как она выражается, «отравленность» идеей революции.

Основное в «Избранном» — стихи, написанные после Октября,— «Необычайное приключение», где поэт видит свою задачу в том, чтобы «светить» людям, доставлять радость им, сколь это ни трудно: «А мне, ты думаешь, светить легко? — Поди, попробуй!— А вот идешь — взялось идти, идешь — и светишь в оба!» — говорит Солнце Маяковскому. В мужественном «Приказе № 2 армии искусств» он призывает: «Товарищи, дайте новое искусство — такое, чтобы выволочь республику из грязи»; в стихотворении «Домой!» поэт провозглашает: «Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье»; в «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» он, советский человек, объявляет и самое личное, интимное чувство источником творчества и двигателем общего интереса: «...любить—это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Иванны считая своим соперником»; в заключительном слове поэмы Маяковского «Во весь голос» он высказывает последнюю волю по

поводу своего литературного наследия: «до самого последнего листка я отдаю тебе, планеты пролетарий». Поэт—патриот и интернационалист говорит: «пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Из всего этого цикла произведений, представленных Патрицией Блейк, отобранных ею, возникает образ поэта и человека нового мира, сознательно поставившего свое высокое мастерство на службу социалистической родине и советскому строю, образ труженика, который умеет приказывать самому себе и в этом видит родство поэта с Солнцем: «А мне, ты думаешь, светить легко?»— образ рыцаря без страха и упрека, который чувствует себя «должником вселенной, на горе платящим проценты и пени»... Да, это не просто — быть в авангарде первооткрывателей нового мира, не легко, а иногда и трагично запрещать себе, «становясь на горло собственной песне», делать то, что делать легко, но зато какое же счастье сознавать себя нужным народу: «Я счастлив, что я этой силы частица...». Во всем этом выражены, в самом деле, достижения русской духовной жизни, имеющие этапное значение. Вот какой облик поэта-жизнестроителя встает со страниц «Избранного», и другого облика у Маяковского нет.

Как же толкует Маяковского госпожа Патриция Блейк в своей статье? Во вступительной аннотации к книге сказано: «Патриция Блейк — критик и профессиональная журналистка, специалист по Советскому Союзу. Большая часть материала, содержащегося в предисловии, была собрана ею в результате бесед с друзьями Маяковского во время посещения России в 1955—1956 годы и в 1959 году». Я не могу судить о том, каким материалом располагала госпожа Блейк, но использование его носит какой-то странный характер. При этом даже объективные факты творчества препарируются совершенно произвольно. Страсть к широким обобщениям, к программным концепциям у Патриции Блейк обратно пропорциональна ее стремлению к изучению фактов, их накоплению, проверке и анализу. Социологию госпожи Блейк, ее трактовку «исторического фона» развития творчества Маяковского, трактовку, в которой она повторяет ставшие стандартными измышления буржуазной печати по поводу истории Советского государства,— я оставляю в стороне, тем более что это уже осветила в своем выступлении по поводу статьи П. Блейк газета «Литература и жизнь». Странно другое: как можно браться за объяснение творчества Маяковского, поэта-трибуна, исходя из того, что для него сфера политики противоречит сфере его личности, что тема любви находится для него в конфликте с темой социалистического переустройства жизни? Ведь поэт прямо заявлял: «...я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви». Октябрьская революция вывела его из тупика одиночества. Между тем Патриция Блейк отказывается от основного принципа историка литературы — изучения творчества писателя в его развитии, храбро провозглашая свои ничем не доказанные «окончательные» истины: «Маяковский, поэт — лауреат Советского государства, был, в действительности, чужаком в русской литературе. Даже Гоголь, даже Достоевский не знали такого полного одиночества, как Маяковский. Уже двадцатидвухлетнему Маяковскому было ясно:

А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?»

Далее следуют еще три или четыре цитаты из стихотворений Маяковского, аналогичные по смыслу, в которых поэт жалуется на свое одиночество, но все они взяты из произведений, созданных до революции. Только этими цитатами она пытается подкрепить свой вывод: «жизнь Маяковского была спектаклем, о котором он говорит следующими словами:

Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней».

В сноске к цитате указывается — «Флейта-позвоночник» и в скобках — «1915 г.» Но эта аккуратность не делает утверждение более доказательным. Почему нет здесь ни одного из бесчисленных высказываний Маяковского о себе после революции как о «частице» целого, о том, что у него «общие даже слезы из глаз»? Но все это не касает-

ся автора вступительной статьи. Сразу после этой цитаты Патриция Блейк делает головокружительный прыжок через «горы времени» и объявляет:

«Все его роли в этом спектакле — революционера, пропагандиста, плакатиста, журналиста, актера, сценариста и довольно часто поэта (?! — *В. П.*) — требовали массовых аудиторий. В течение почти 15 лет Маяковский, интимнейший из поэтов, колесил по России, переезжая из города в город, выступая с лекциями и декламируя свои стихи».

Известно, что поэт-трибун и до революции мечтал о массовых аудиториях, чтобы нести в них свои огненные слова — «душу вытащу... и окровавленную дам, как знамя». Революция открыла перед ним возможность общения с массовыми аудиториями. «Отношение рабочей аудитории утвердило в уверенности о нужности поэмы»,— писал он в автобиографии по поводу поэмы «Ленин». Патриция Блейк легко отодвигает этот важнейший литературный документ (на который в другом месте она ссылается), чтобы построить экстравагантную версию о Маяковском над «пропастью» одиночества.

Автор вступительной статьи тщательно выискивает и коллекционирует подобные «экстравагантности», относящиеся якобы к биографии Маяковского, о которых Маяковский как бы специально предупредил в своем предсмертном письме: «...пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». Но Патриция Блейк именно это и любит. «Люди с наклонностью к самоубийству страдали от него (от Маяковского.— *В. П.*) особенно сильно,— пишет она.— Мария из «Облака в штанах», часть 3, в действительности была семнадцатилетней девушкой, безнадежно влюбленной в Маяковского. После короткого увлечения он просто забыл о ее существовании. Через несколько лет она кончила жизнь самоубийством. Хотя Маяковского и нельзя считать ответственным за эту смерть, но все же он был виноват, написав сценарий «Как поживаете?» в 1926 году, в котором есть эпизод, высмеивающий этот факт».

Даже одна эта выписка из статьи Патриции Блейк может дать представление о том теоретическом и культурном уровне, на котором написано предисловие к американскому изданию сочинений «великого писателя двадцатого века». Если советский молодой аспирант-филолог не понимает того, что художественный образ не является зеркальным отражением действительности, то в соответствии с требованиями, предъявляемыми в наших институтах, он не может быть допущен к кандидатским экзаменам. Судя по предисловию Патриции Блейк к сочинениям Маяковского, это элементарное требование вовсе не является обязательным в американском издании для автора, поучающего тысячи читателей. И даже напротив. Исходя из тождества образа, созданного поэтом, и некоей «семнадцатилетней девушки, безнадежно влюбленной в Маяковского», госпожа Блейк открывает себе дорогу к самым неожиданным умозаключениям. Ее уже ничто не сдерживает. Что это за девушка, откуда взяла Патриция Блейк свои сведения о ней, какое отношение имеет ее самоубийство, за которое, по ее собственному мнению, Маяковского никак нельзя считать ответственным, к *образу* в сценарии «Как поживаете?» — понять невозможно. Но если указания на общность прототипов образа Марии из «Облака в штанах» и сценария «Как поживаете?» произвольны, то не менее произвольно обвинение Маяковского в том, что он якобы «высмеивает» в своем сценарии несчастье человека, сломленного жизнью. Это нетрудно доказать, обратившись к подлинному тексту:

«123. Из темного угла газеты выходит фигура девушки, в отчаянии поднимает руку с револьвером, револьвер — к виску, трогает курок.

124. Прорывая газетный лист, как собака разрывает обтянутый обруч цирка, Маяковский вскакивает в комнату, образуемую газетой.

125. Старается схватить и отвести руку с револьвером, но поздно — девушка падает на пол.

126. Человек отступает. На лице ужас...»

Где же тут «высмеивание»?

Как видим, чтобы защитить произведения Маяковского от искажения их смысла американской «пропагандисткой» его творчества, достаточно обратиться к самим произведениям. Столь же несложно разобраться в тех домыслах, касающихся биографии Маяковского, основанных на прямых ошибках, произвольных допущениях и насиль-

ственных сближениях, которые далеко уводят автора вступительной статьи из области истории литературы в область слухов и сплетен.

«Его наглость по отношению к советским властям прогремела по всей Москве»,— это говорится вслед за изложением сатирического стихотворения «Прозаседавшиеся», которое, как известно, одобрил В. И. Ленин, о чем во вступительной статье умалчивается. Впрочем, исторический подход чужд мышлению госпожи Блейк, она предпочитает всякого рода «изысканные» построения, например заявляет, что Маяковский принял Октябрьскую революцию... от скуки: «...как показал его юношеский опыт, революция была тонизирующим средством от смертельной скуки, владевшей им. Поэтому не удивительно, что Октябрьская революция 1917 года застала Маяковского отдающим «приказы» по «армии искусства»: «Товарищи! На баррикады!.. — Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры».

Такая связь между причиной и следствием, такой характер прагматического мышления, который проявила здесь госпожа Блейк, поистине удивительны.

Есть, однако, в этом введении и одна историко-литературная идея, которую П. Блейк почерпнула из статьи Р. Якобсона в Бюллетене библиотеки Гарвардского университета — на этот источник она несколько раз почтительно ссылается. Идея эта состоит в том, что сфера политики будто бы была чужда Маяковскому-лирику. В частности, Якобсон пишет: «...как официальная литературная тенденция Советской России, так и цензура, которой подвергал себя сам поэт, пытались подавить эту новую волну лирики» (Бюллетень библиотеки Гарвардского университета, т. IX, № 2, 1955).

Его статья сопровождает публикацию стихотворения Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой». Любопытно, что концепция «чистых» жанров — гражданской лирики и любовной лирики, вообще крайне искусственная и старомодная, вытащенная из затхлых учебников по теории словесности, очень далекая от существа новаторской поэзии Маяковского, терпит полный крах в свете именно этой последней публикации. В этой «новой волне лирики» (даже если понимать этот род поэзии столь ограничительно, как ныне делает Якобсон, то есть только как любовную лирику) создан прекрасный женский образ:

Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.

«Важный вечер», по-видимому, был посвящен выяснению отношений между автором — героем стихотворения и адресатом письма, отношений глубоко личных, которые, однако, как об этом сразу же заявляет поэт, не могут быть личными, не могут, так сказать, состояться, как отношения личные, любовные, если в них не выражено основное и главное в содержании той эпохи и того общества, которое представляет герой:

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.

В очень серьезный разговор входит, как это почти всегда бывает у Маяковского, шутка — неожиданная и величественная: поэт ревнует предмет своей любви:

вы и нам
в Москве нужны,
не хватает длинноногих,

Не тебе,
в снега
и в тиф,
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.

И вот заключительный аккорд, уже не «волна», а грозный «девятый вал» лирики революции:

Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму—
одну
или вдвоем с Парижем.

Попробуйте отделить здесь проблему любви от отношения к революции, попробуйте, по Якобсону, уловить, где здесь политика «подавляет» лирику и где здесь действует «как официальная литературная тенденция Советской России, так и та цензура, которой подвергал себя сам поэт»?

Ведь стихотворение это писалось не для печати. Рукопись его была подарена адресату и впервые была опубликована, когда адресат снял свой запрет, в Нью-Йорке, сначала лишь частично в журнале «Новоселье» в 1942 году, а потом полностью в Бюллетене библиотеки Гарвардского университета в 1955 году.

В 1956 году Р. Якобсон, будучи в Москве, принимал участие в одном заседании сектора Маяковского Института мировой литературы и поделился интересными сообщениями о своих встречах с Маяковским и о развитии литературоведческих работ в Гарвардском университете. Мы тогда еще не были знакомы с новыми публикациями Р. Якобсона и не знали, что Гарвардский университет подчинил себе ученого, чьи первые успехи в науке были связаны с изучением новейшей русской поэзии. Видимо, попытка противопоставить в поэзии Маяковского лирику политике продиктована профессору Якобсону официальной литературной тенденцией Гарвардского университета, для которого идеи поэзии Маяковского неприемлемы. Но ведь именно идеи, пафос Октябрьской революции породили все искусство этого великого писателя двадцатого века, определили этапное значение творчества Маяковского как выразителя новой национальной русской культуры.

Р. Якобсон сообщил также о работе его учеников, изучающих в Гарвардском университете поэзию Маяковского. Он отметил докторскую диссертацию Вильямса Руди на тему «Маяковский в кино», в которой подробно освещен вопрос о месте сценариев Маяковского во всем его творчестве, а также диссертацию Сталберга «Символика ранних стихотворений и поэм Маяковского». Я мог бы дополнить эти сведения указанием на появившуюся в «Америкен славик энд ист юропиен ревью» в феврале 1960 года статью Чарльза Мозера «Несентиментальные путешествия Маяковского», посвященную зарубежным поездкам поэта и его произведениям о заграница (главным образом об Америке) и написанную под сильным влиянием работ Якобсона, с постоянными ссылками на них. Статья эта представляет собой довольно подробный реферат, систематизирующий на основе трудов советских ученых факты о зарубежных поездках Маяковского, и могла бы служить полезным информационным материалом для американского читателя, если бы автор оставался в рамках объективности. Но, к сожалению, повторяя некоторые положения вслед за своим учителем, пытавшимся доказать, что Маяковский увлекся буржуазным образом жизни (кстати, это делает в своем предисловии и Патриция Блейк), автор ставит себя в несколько комичное положение.

«К концу жизни Маяковского, — утверждает Чарльз Мозер, — буржуазные удовольствия стали для него более привлекательными, как это видно из поэмы «Красавицы» (1929 год), где он признается, что «размяк» характер и что все французские женщины в Гранд-опера кажутся ему хорошенькими»...

Что можно сказать о критике, который не почувствовал великолепной иронии Маяковского, пронизывающей все стихотворение:

Брошки — блещут...
на́ тебе! —
С платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

Как видим, никак не удается американским комментаторам перевернуть смысл произведений Маяковского с ног на голову. Поэт крепко стоит своим искусством на почве утверждения советского образа жизни и отрицания, как выражается Чарльз Мозер, «буржуазных удовольствий».

Роман Якобсон и Патриция Блейк, я объединяю эти два имени, потому что автор вступительной статьи к избранным сочинениям Маяковского — последовательница профессора Гарвардского университета, хотели бы отделить идеи Маяковского от его искусства и взять себе «на вооружение» последнее. Но поскольку идеи, содержание невозможно отделить в искусстве от образного мышления, то возникает необходимость изменить идеи, истолковать так смысл произведения, чтобы оно стало приемлемым. Профессор Якобсон объявляет «Клоп» лучшей русской комедией, трактуя ее как сатиру на собственные мечты поэта о будущем обществе, как «жесточайшую сатиру на лирическую стихию вообще, на лирику Маяковского в частности» («Русский литературный архив», под редакцией М. Карповича и Дм. Чижевского, Нью-Йорк, 1956, стр. 195). Патриция Блейк как верная ученица пишет в своей статье: «Роман Якобсон отметил, что Маяковский высмеивал свои собственные юношеские надежды во второй части «Клопа». Пересказывая своими словами (при этом более грубо) материал статьи профессора Гарвардского университета, она заявляет: «В 1928 году Маяковский написал жесточайшую сатиру на коммунистическое общество — «Клоп». Этого Р. Якобсон не говорил, но он подготовил ученицу, которая продолжила и реализовала его тенденцию, официальную литературную тенденцию Гарвардского университета. В чем ее смысл? Сатиру на недостатки общества, которые мешают ему на пути к коммунизму, сатиру смелую и резкую тем в большей степени, чем более она написана с позиций преодоления недостатков, — перетолковать как сатиру на коммунистическое общество. Для этого в ход идет самая грубая фальсификация.

В заметке о «Клопе» Маяковский, рассказывая о том, как он перерабатывал свою пьесу, прислушиваясь к мнениям массовых аудиторий — «по многочисленным читкам на комсомольских и рабочих собраниях», так определял смысл своей комедии:

«Клоп» — это театральная вариация основной темы, на которую я писал стихи и поэмы, рисовал плакаты и агитки. Это тема борьбы с мещанином».

Якобсону требуется доказать, что «Клоп» — это «жесточайшая сатира на лирическую стихию вообще, на лирику Маяковского в частности». Тезис этот очень важен, потому что в дальнейшем под пером его ученицы «Клоп» становится «жесточайшей сатирой на коммунистическое общество». Роман Якобсон хочет опереться на определение самого Маяковского. Вот как это выглядит:

«В одно время с «Письмами» Татьяне — ой и Кострову в том же Париже сочинялся и вскоре в Москве был закончен рвущимся обратно в Париж поэтом «Клоп», жесточайшая сатира на лирическую стихию вообще и на лирику Маяковского в частности. «Клоп», заверяет автор, это «театральная вариация основной темы, на которую я писал стихи и поэмы...» Здесь цитата обрывается. Но ведь Маяковский в следующей фразе утверждает: «Это тема борьбы с мещанином». Почему же не приведены эти слова поэта? Потому что они в категорической форме обнажают

пафос комедии, исключая возможность домыслов в духе официальной тенденции Гарвардского университета.

Профессору ничего не остается, как подкреплять своим авторитетом упрощенные вариации собственных мыслей, изложенные его ученицей во вступительной статье к «Избранному»: «Редакторская работа проделана с неподдельной любовью и глубоким пониманием поэта и его творчества», — пишет Р. Якобсон.

«Как мне самому нравится моя пьеса?»—спрашивал Маяковский в уже цитированной заметке о «Клопе» и отвечал: «Она мне будет нравиться, если она не будет нравиться обывателю». О вступительной статье Патриции Блейк можно сказать, что она сделала все возможное, чтобы понравиться американскому обывателю, переслоив свои невежественные историко-литературные рассуждения о Маяковском восторженной патокой славословий и пошлыми сплетнями. Не ее ли имел в виду Маяковский, когда писал:

Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное,
он скажет:
«Желаю,
чтоб был мир
огромной
замочной скважиной,
чтоб в скважину
в эту
влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть
в чужие
дела и постели.

Едва ли эта позиция создает возможность для подлинного обмена культурными ценностями и подлинного проникновения в сущность иной национальной культуры.

Итак, ознакомление с тем, как изучают творчество Маяковского в Гарвардском университете, оставляет двойственное впечатление: с одной стороны, такие факты, как издание «Избранного», отвечают растущему интересу к русской культуре, способствуют ознакомлению с произведениями Маяковского в подлиннике и умению постигать особенности его стиха. С другой стороны, тенденция перевернуть Маяковского с ног на голову не может не вызвать нашего самого решительного протеста. Она безусловно вредна и с точки зрения интересов науки, и с точки зрения доброжелательного культурного обмена между нашими странами. Не лучше ли, не честнее было бы сказать о Маяковском — да, он был «агитатором, горланом-главарем», пропагандистом советского образа жизни, и ничего с этим не поделаешь. Иначе нельзя понять этого великого писателя двадцатого века.

Я думаю, что такой подход обеспечит более высокий уровень подготовки литературоведческих кадров в Гарвардском университете и избавит руководство Научно-исследовательского центра по России при Гарвардском университете от возможности повторения такого конфуза, каким является выступление госпожи Патриции Блейк в роли критика Маяковского.

Издано в СССР

НЕПОКОРИВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

□

Жак Стефен Алексис. Добрый генерал Солнце. Роман. Перевод с французского О. В. Волкова. Редактор Н. Немчинова. Предисловие Е. Гальпериной. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 356 стр.

□

«Полтора века нас окружал заговор молчания»,— сказал, находясь в Москве, Жак Стефен Алексис, известный писатель и общественный деятель Гаити. Колонизаторы издавна старались скрыть от мира правду об этой маленькой, жизнелюбивой, бедствующей и гордой стране. Но в наши дни скрыть правду не так-то просто.

Выступая на Третьем съезде писателей СССР, Жак Алексис приветствовал съезд от имени потомков непокоренных людей — индейцев, негров, мулатов, двести лет боровшихся против испанских и французских колонизаторов в горах Гаити на очень небольшой, но неприступной для захватчиков территории, «на своей пяди земли, которая была пядью свободы».

Сейчас остров Гаити делит граница. По одну ее сторону — Республика Гаити, где правят крупные земельные собственники; по другую — Доминиканская республика, здесь господствует фашистский диктатор и палач Трухильо. Оба правительства — самая верная опора американского империализма, против обоих поднимается сокрушительный народный гнев.

Накалена атмосфера под тропиками. Обагрен кровью путь народа, стремящегося к лучшей жизни. Но над израненной землей неизбежно родится рассвет. Об этом и рассказывает роман Жака Стефена Алексиса «Добрый генерал Солнце» — первая книга писателя, вышедшая в Париже в 1955 году и уже переведенная, как и второй его роман «Деревья-музыканты» (1957), на многие языки.

В «Добром генерале Солнце» изображена вторая половина тридцатых годов, но вся описываемая ситуация очень напоминает сегодняшний день Гаити. Та же вопиющая нищета, та же безработица царят сейчас в стране, все новые беды обрушиваются на большую часть народа, и для множества тружеников с новой остротой встает вопрос, которым волей-неволей задаются и герои романа: как быть? Терпеливо ждать, что произойдет чудо и судьба смилуется? Эмигрировать в поисках удачи? Или, приняв мужественное решение, бороться за лучшее будущее на родной земле?

Через бесчисленные мытарства проходят в романе рабочий-негр Илларион и его подруга, совсем юная Клер-Эроз, прежде чем тяжелый опыт подсказывает им единственно правильный вывод: жизнь не устроится сама собой, только в коллективной борьбе против жестокой реакции, в армии «генерала Солнца» простые люди могут отвоевать свое счастье. Илларион гибнет от фашистской пули. Книга завершается трагично, потому что трагична гаитянская действительность. Автор не сгущает краски: финал романа рассказывает о подлинном событии недавней истории — расстреле в 1938 году солдатами Трухильо пятидесяти тысяч гаитян, работавших на сахарных плантациях Доминиканской республики. Диктатор надеялся устрашить поднимавшихся в его стране рабочих и разбить опасную для правящих кругов солидарность

тружеников двух частей острова.

В «Добром генерале Солнце» захватывает развернутая автором широкая панорама жизни его страны. Вот они — гаитянские рабочие, крестьяне, ремесленники — на улицах грязных предместий Порт-о-Пренса, в деревнях, на сахарных плантациях Доминиканской республики. Они трудятся в маленьких, полукустарных мастерских, сообща восстанавливают погубленные наводнением поля, танцуют вечерами после длинного трудового дня, тщетно молят о милосердии своих грозных богов. Погибая от фашистских пуль, они поют «Дессалиниану» — светлый и торжественный национальный гимн, сложенный в давние годы борьбы против рабства.

Прекрасные массовые сцены, умение воссоздать конкретный и глубоко волнующий читателя образ гаитянской современности — едва ли не самая сильная сторона творчества Алексиса.

Пестрая жизнь многоцветно переливается в романе. Естественно соседствуют в нем резкое обличение циничного, развращенного «светского общества» и тяготеющих к нему сфер и высокий, порой скорбный, но неизменно жизнеутверждающий пафос. Он появляется там, где Алексис с огромной любовью говорит о родной земле, о простом человеке Гаити — достойном преемнике героических традиций предков.

Страстная человечность дает писателю силы в далеко не легких условиях нести народу свет правды, в полный голос говорить о грязи, жестокости и великих обещаниях эпохи.

Литературный (и официальный) язык Гаити — французский, но широкие массы народа говорят по-креольски — на диалекте, сочетающем элементы французского и африканских языков. Известное количество «креолизмов» проникает и в литературу. Сложность языка, недостаточность наших представлений об истории, культуре и быте страны чрезвычайно затрудняли работу переводчика. Кроме того, надо учесть, что у нас почти не было опыта переводов гаитянской прозы. Но может ли это служить оправданием неточности и небрежности, которые встречаются в переводе романа?

В русском издании то и дело мелькают загадочные, ставящие в тупик неискушенного читателя слова: гойявы, короссоли, чуросы, бокоры, праделисты, мабуйи, манпу, папалуа. И нужно ли переводить «lupanar» как «лупанарий» — словом малоупотребительным, если общедоступный словарь Ганшиной утверждает, что это всего лишь дом терпимости? Зато вряд ли стоило переводить второе имя героини и называть Клер-Эроз Счастливицей Клер. Из контекста следует, что «Heureuse» — имя: не станет же девушка при знакомстве сообщать свое прозвище. Или, скажем, в переводе можно встретить девочку, у которой шея «резко отделялась от плеч».

У переводчика непринужденно и легко звучит диалог, несобственно прямая речь; хорошо переданы в книге жанровые сценки. Но порой обесцвечивается мужественная, без тени слащавости патетика, в высшей степени свойственная стилю Алексиса.

Глубже понять роман Алексиса помогает содержательное предисловие Е. Л. Гальпериной, которое ориентирует читателя в новой для него области, знакомя с творчеством передового художника слова Гаити, с жизнью его страны.

И. Никифорова

РОЖДЕННАЯ В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ

□

Новая поэзия Китая. 1919—1958. Переводы с китайского. Составление Н. Т. Федоренко. Москва, Гослитиздат, 1959. 543 стр.

□

В огне революционных бурь рождалась новая китайская поэзия, голос которой звучал, как голос будущего. Вся она была протестом против слащавых красивостей старой поэзии правящего класса, против ее мертвого языка, непонятного народу. В сборнике «Новая поэзия Китая» собраны произведения разных и, главное, хороших поэтов. В их стихах зримо и ярко встает прошлое и настоящее Китая. Нельзя остаться равнодушным, читая стихотворение Лю Фу «Голод», где страшная действительность старого Китая, данная в непосредственном восприятии ребенка, поражает именно обычностью, каждодневностью страдания. Или стихи о Ленине. Молодой поэт Ли Цзи показывает Ленина таким, каким тот памятен сердцам простых китайских крестьян: будто живой сходит к нам со страниц этот самый человечный из людей, такой понятный и близкий крестьянам, словно он «родился в китайской деревне!»

Кончилась война, заживают раны на теле страны. Фронт проходит теперь по

кооперативным полям и новостройкам. Как к амбразуре дота, в отверстие прорванной плотины бросаются новые герои и отдают свою жизнь, спасая от разбушевавшейся стихии тысячи семей. И тут же — стихи о красной магнолии, которая, словно кисточка для письма, пишет невидимые поэмы по голубому полю неба, о скромной дикой розе и, наконец, чудесные строки Вэнь И-до, в которых поэт воспевает «Хризантему — красу моей славной отчизны, и отчизну, прекрасную, как хризантемы!»

Целая гамма чувств проходит перед нами в стихах о любви. У Го Мо-жо они словно подернуты легкой дымкой грусти и нелегких раздумий, которые вдруг охватывают человека, прощающегося со своей юностью. У Инь Фу любовь, полная бездумного наслаждения молодостью, постепенно уступает место более высокому чувству любви к людям, которая ведет поэта на борьбу за счастье миллионов.

Не все произведения, отобранные для сборника, одинаково удачны.

Чувство досады вызывают встречающиеся порой неудачные переводы. Однако несомненно, что в отношении переводческого мастерства этот сборник стоит значительно выше прежних изданий.

И. Лисевич

КРЫЛАТАЯ ПОЭЗИЯ

□

Д. Максимович. Запах земли. Стихи. Перевод с сербохорватского. Вступительная статья В. Инбер. Москва, Гослитиздат, 1960. 167 стр.

□

«Запах земли» называется сборник стихов Десанки Максимович. Как часто названия поэтических сборников не имеют никакого отношения к тому, что заключено между тонкими корками переплета. Но в этой небольшой книжке каждое стихотворение, любая строфа действительно пронизаны, насыщены запахом земли, запахом снега, леса, воды, дыханием самой жизни. Мне трудно говорить без волнения о творчестве Десанки Максимович, настолько близко оно моему сердцу, так совпадает с моим представлением о самой сущности поэзии.

Есть у Десанки Максимович строки:

Детство... ты полно
удивленья,
Что длится еще и
доныне.

Замечательно сочетается в ее стихах это «удивление детства» с мудрым и глубоким пониманием, которое дается только долгими годами нелегкой жизни и только людям с большой и щедрой душой.

Насколько цельным представляется творчество Десанки Максимович, настолько стихи ее не похожи друг на друга. Бесхитростная лирическая жалоба и строки, полные горечи и гнева, ясная умиротворенность и счастливая тревога — все это живет в книге, и все это — Десанка Максимович.

Поэтесса любит землю, родину, людей. Она любит жизнь. Она говорит о том, что видит, что ощущает; но так велик ее дар видения, так умеет она проникать в самую суть вещей, что перед нами открывается совершенно особый мир, переполненный красками, запахами, звуками, сложный и трепетный:

когда я слушаю
утренний лес,
голос птицы, потерявшей
рассудок от счастья,
и мальчишеский крик
ручья,
и шепот листвы, согретой
дыханием лета,—
слушаю юный,
распахнутый настежь,
трепетный мир
в колыхании тени и
света,—
я начинаю себя
понимать.

(«Поэт и отчизна», перевод М. Ваксмахера)

Этот мир органически слит с личностью поэта. Десанка Максимович родилась и выросла в нем. Ручейки, бегущие из далеких краев детства, провожают ее через всю жизнь, не теряя волшебства, только становясь глубже и полноводнее. Но никогда поэзия Десанки Максимович не становится приземленной. Это крылатая поэзия, хотя родина

ее — земля. Жизнь — это самое главное. Она прекрасна и трудна. В ней существует любовь, но в ней существуют также одиночество и потери, за молодостью приходит старость, а за старостью смерть. Рядом с миром и радостью труда соседствуют войны.

Может быть, на первый взгляд покажется странным, если поэзию, где столько светлых воспоминаний о детстве, столько мирных картин природы, столько ясных и мудрых размышлений, я назову поэзией воинствующей. И все-таки это именно так. Напряжение жизненных сил в стихах Десанки Максимович таково, что не может не вступить в противодействие со всем темным, печальным и страшным, что существует еще на земле. Как всякая настоя-

щая любовь, любовь Десанки Максимович к людям действенна, но боль за человека остается болью, а необходимость борьбы остается тягостным неизбежным долгом.

С тою же силой, с которой поэт любит все живое, ненавидит он убийц жизни. Ни себя ни читателя не щадит Десанка Максимович, когда пишет такое стихотворение, как «Детская косичка в Освенциме»:

Осень сменяет лето,
пятый раз сменяет,
а тонкая, словно
ящерка, девочкина
косичка
лежит в Освенцимском
музее — живет и не
умирает.

Мамины пальцы сгорели,
но все-таки ясно видно,
как девочку в путь-
дорогу пальцы те
собирают,
то они цепенеют, то
беспомощно виснут
и черную ленту
предчувствий в тонкую
косу вплетают.

Туго косичка закручена,
не расплетется до
вечера.
Слезные змейки стелются — мама горько плачет.
Девочка улыбается
ласково и доверчиво,
девочка не понимает,
что эти слезы значат.

(Перевод Б. Слуцкого)

Поэзия Десанки Максимович — это всегда борьба, из которой жизнь неизменно выходит победительницей. Широкое жизнеутверждающее творчество ее чуждо какой бы то ни было декларативности. Оно естественно, как дыхание:

в солнечном свете
лежит предо мною
прекрасная Сербия —
моя страна.

И в сердце врывается
чувство —
огромное, необычное...
Может быть, патриотизмом зовется оно?
Но почему же оно такое
«мое», такое личное,
почему оно с каждой
былинкой, с тропинкой,
камешком,
с каждым голосом
птичьим
навек сплетено?

(«Весной», перевод М. Вакмахера)

Во время VI Всемирного фестиваля молодежи Десанка Максимович была в Москве. От встречи с ней у меня сохранилось чудесное чувство той сердечной близости, которая возникает обычно сразу и в дальнейшем уже не зависит от течения времени. Весь облик Десанки Максимович, ее манера говорить, живость движений, ее черные молодые дружелюбные глаза слиты для меня неразрывно с ее сердцем, так напряженно, так ощутимо бьющимся в этой небольшой книжке.

Прочесть «Запах земли» — это большая радость для всех, кому дорога поэзия. Такие стихи нужны людям и в минуту радости и в минуту горя. Они помогают жить.

Вероника Тушнова

САТИРА ХАНСА ШЕРФИГА

□

Ханс Шерфиг. Загубленная весна. Перевод с датского С. Тархановой и Ю. Яхниной. Москва, «Молодая гвардия», 1960. 190 стр.

□

Лектор Бломме — преподаватель латыни в классической гимназии Копенгагена — скоропостижно скончался. Скончался во время прогулки, отравившись стрихнином, который неведомым путем попал в леденец (Бломме имел привычку сосать конфеты). Кому понадобилось убить старого учителя? Или он покончил с собой? Но у Бломме не было ни долгов, ни разорительных любовных связей.

Таков детективный зачин «Загубленной весны» Ханса Шерфига. Однако любителя занимательного легкого чтива ждет разочарование. Роман Шерфига — социальная сатира. И хотя речь в нем идет почти исключительно о школе — о той самой школе, где преподавал покойный Бломме, издеваясь над учениками,— это сатира на общество, которому нужна подобная школа с ее муштрой, зуботычинами, презрением к человеческому достоинству и духовным запросам детей. Годы, проведенные в классах,— загубленные годы. У двухсот мальчиков загублена лучшая пора жизни, загублена весна.

Подобно тому, как компрачикосы калечили тела детей на потребу бродячим циркам, эта школа ломает умы, приспосабливая их к нуждам буржуазного общества. Школа-тюрьма, оторванная от всего, что происходит за ее серыми стенами, готовит законопослушных рутинеров, вбивает в головы мальчиков, что не человек красит место, а место — человека. Буква, параграф подменяют познание мира, моральные прописи вытесняют подлинное нравственное чувство, и жизнь человеческая теряет цену для воспитанников этой школы. В результате самый тихий, самый благовоспитанный ученик в классе — Эдвард Эллерстрем — подкладывает стрихнин в леденец лектора Бломме. Учитель для него не более как препятствие на пути к окончанию школы и получению Должности.

Добропорядочные люди вышли из соучеников Эллерстрема: пастор и известный профессор-медик, полицмейстер и модный психоаналитик, на худой конец — судебный исполнитель или учитель словесности. Да и Эллерстрем сделал неплохую карьеру: он судья, его устами глаголет Справедливость этого общества. Приличные пожилые господа в смокингах собираются, чтобы отметить двадцатилетний юбилей со дня окончания школы. И среди них, ничем не выделяясь,— убийца. А какие преступления на совести остальных?

Книга Шерфига злая и горькая. Но это и добрая книга в защиту человека и его права развиваться свободно, не подвергаясь уродующему влиянию общества, которое подавляет души прекрасные порывы и воспитывает убийц.

Л. Зонина

Издано за рубежом

МОЛОДЫЕ РАССКАЗЧИКИ КИТАЯ

Чем глубже в земле находятся корни дерева, тем больше соков оно впитает в себя, тем пышнее разрастутся его ветви. На примере почти каждого китайского литератора, в том числе и молодых авторов, можно наблюдать, как жизнь обогащает писателя, как она влияет на формирование его творчества.

Писательская молодежь Китая выступает во всех литературных жанрах, но особенное внимание молодые авторы уделяют рассказу — жанру, позволяющему быстро откликаться на события современности.

И сейчас уже можно сказать, что в китайской литературе выросла талантливая плеяда молодых рассказчиков. Как правило, они пришли в литературу со строек и заводов, из деревни и после службы в армии. К их числу принадлежит, например, писатель Ли Чжунь. Его рассказы о деревне, написанные в простой бесхитростной форме и отличающиеся подлинно народной крестьянской интонацией, пользуются большой популярностью в Китае; известны они и в Советском Союзе. Китайские читатели, полюбившие героев Ли Чжуня, признают, что многие рассказы этого писателя оказали на них большое влияние. Говоря о героях рассказов Ли Чжуня, китайский критик Фэн Му в статье с характерным заголовком «Вперед, вместе с жизнью» подчеркивает, что образы передовых людей, созданные Ли Чжунем, «по своей художественной убедительности стоят в первом ряду положительных героев современной китайской литературы».

Другой талантливый молодой автор, теперь уже признанный писатель, Ху Вань-чунь пришел в литературу с завода, где он работал сталепрокатчиком. Главная тема его произведений — жизнь сталелитейного гиганта. Читаешь рассказы Ху Вань-чуня, еще недавно не знавшего ни одного иероглифа, и невольно задумываешься о том, что дала этому простому человеку новая жизнь, наступившая на китайской земле.

В своем первом автобиографическом рассказе «Родня», написанном после того, как Ху Вань-чунь прочитал повесть Горького «Детство», сильно взволновавшую его и, собственно, пробудившую в нем желание писать, он поведал о безрадостной жизни рабочей семьи в старом Китае. Рассказ имел успех и был переведен на русский, японский и английский языки. А в 1957 году на международном конкурсе во время Всемирного фестиваля молодежи в Москве ему была присуждена премия. Сейчас на творческом счету тридцатилетнего писателя уже два сборника — «Начало пути» и «Кто творец чуда». В своих произведениях Ху Вань-чунь описывает рабочую среду. В рассказе «Что думал мастер Бу Гао» на примере бережного отношения старого мастера к ученику автор показывает, как кадровые рабочие Китая растят смену, заботясь не только о производственном лице своих подопечных, но и о моральном облике молодых, вступающих в жизнь рабочих. В другом рассказе «Покоритель морских глубин» мы видим, как после освобождения начал новую жизнь Шэнь А-сы, в прошлом шанхайский мальчуган, которого прозвали «речной черепашкой» за то, что он ловко нырял на дно Хуанпу, чтобы достать оброненную кем-либо вещь. «Мне хочется рассказать о людях, о том, что вызвало к жизни все эти перемены»,— начинает писатель рассказ о заместителе начальника первого отряда шанхайской экспедиции по проведению подводных работ товарище Шэнь А-сы, человеке, который все свои 37 лет прожил на берегах Хуанпу. И рассказав о такой необычной, а может быть, наоборот, столь обычной для нового Китая судьбе этого ныне заслуженного и уважаемого всеми человека, автор восклицает: «Да! Изменилась Хуанпу, изменились и люди на ее берегах...»

Во многом сходна с судьбой Ху Вань-чуня и биография Вань Го-жу, который пишет о родном заводе, о своих товарищах-рабочих. Десять лет назад молодым парнем приехал Вань Го-жу из глухой деревни в портовый город Тяньцзинь. Здесь ему удалось поступить учеником на завод. Грамотой и мастерством начинающий писатель овладевал буквально не отходя от станка. Когда он принес в газету «Тяньцзинь жибао» первый очерк, то не имел понятия ни о знаках препинания, ни о правилах грамматики; не было у него и элементарных литературных навыков. Все это пришло потом. Ему помогали товарищи на заводе, в редакциях газет.

Говоря о молодых китайских писателях, нельзя не упомянуть и о таком своеобразном художнике, как Ван Юань-цзянь.

Рассказывая о том, что побудило его взяться за перо, Ван Юань-цзянь признается, что его до глубины души взволновали героические дела простых незаметных бойцов. «И когда я подумал,— пишет Ван Юань-цзянь,— что многие и многие мои соотечественники не знают и могут никогда не узнать об этих подвигах, я понял, что мое призвание — стать писателем».

Ван Юань-цзяня привлекают сильные, волевые характеры, романтика подвига. Писатель умеет находить в обычном — необычайное, в повседневном — героическое.

В небольшом рассказе «Трое» раненый боец Ван Цзи-вэнь выносит с поля

боя двух товарищей. Совершив этот подвиг, он сам не может понять, откуда взялись у него силы для этого. А вот другой герой, связной Пэн Шао-мин из рассказа «Пламя в лесах». В бою он был тяжело ранен, но продолжал бежать вперед, не смог бежать — пошел, не смог идти — пополз, потерял сознание, очнулся и пополз снова. Про таких в Китае с гордостью говорят — это наш Алексей Мересьев.

Писатель создал ряд произведений о боевых делах и сражениях в 30-е годы в районах революционных баз. Это было трудное время, говорит автор, не хватало пищи, воды, одежды, жилья. Нередко глоток воды приходилось добывать большой кровью. Писатель рассказывает о матери погибшего бойца революционной армии, отдающей его товарищам все припасы, оставшиеся в доме («Партийный взнос»); о крестьянине, который нес хлеб партизанам и, встретившись с вражеским патрулем, послал сына отвлечь внимание врага («Рассказ о хлебе»).

«Ван Юань-цзянь,— отмечает критик Янь Ган,— описывает своих героев в момент высшего напряжения их душевных сил, когда особенно ясно проявляется характер человека».

В рассказах Лу Цзюнь-чао мы встречаемся с героями сегодняшних дней. Сын моряка, Лу Цзюнь-чао с семнадцати лет ступил на палубу корабля, долго служил во флоте, а после освобождения плавал лоцманом на польских торговых судах. Жизнь моряков, романтика будней морской службы, дружба моряков Китая, Польши и других стран — таковы основные темы этого писателя.

Хорошо известны в Китае его рассказы «Хозяева океана», «Десять тысяч ли по волнам», «Знак дружбы», «Вымпел труда», «Турбина», недавно Лу Цзюнь-чао опубликовал повесть «Девять баллов». Вместе с его героями мы путешествуем по серым водам Балтийского моря, попадаем в Атлантику, плывем под мягким солнцем Средиземного моря, бороздим гладь Индийского океана и наслаждаемся удивительной красотой Бенгальского залива. И в то же время мы восхищаемся покорителями морской стихии, мужественными моряками Китайской Народной Республики.

Новых героев привел с собой в литературу и молодой автор Ван Вэнь-ши. Это женщины-труженицы. Искренние и честные, мужественные и скромные, они надолго остаются в памяти. Такова решительная Чжан Ла-юе — «заводила», как ее называют подруги, и мягкая, спокойная У Шу-лань из рассказа «Новые друзья», в котором эти девушки, соревнуясь, становятся в конце концов самыми близкими подругами. Автор раскрывает лучшие качества работниц — дух коллективизма и взаимопомощи.

Если посмотреть на творчество молодых писателей, о которых мы рассказали, легко убедиться, что достигнутыми успехами они прежде всего обязаны тесному единению с народом своей страны.

Р. Белоусов

ОПРАВДАВШИЕСЯ ОЖИДАНИЯ

□

"L'Europa Letteraria" NN 3,4. 1960.

□

С момента выхода в свет в Риме первого номера «Литературной Европы» * прошло менее года. Срок небольшой. Однако журнал успел завоевать немало преданных читателей.

Выходит он на итальянском языке, но отдельные произведения писателей других стран публикуются на их родном языке: английском, немецком, французском, испанском. Нередко на его страницах дается сравнение оригинала произведения с переводом его на тот или иной язык, подробно разбираются достоинства и недостатки в работе переводчика. Задуманный как литературный форум писателей Европы, журнал обращается прежде всего к широким слоям итальянской интеллигенции, но также и к переводчикам, литературоведам, деятелям культуры других европейских стран.

Главный редактор «Литературной Европы» Джанкарло Вигорелли в статье, открывающей третий номер, пишет, что культура может и должна сыграть большую роль в общем деле разрядки напряженности. «Наука и политика, религия и техника существенно влияют на человека и общество,— говорит Вигорелли.— Возможно ли, чтобы поэзия и культура не воздействовали на человеческое общество и сами бы не изменялись? Культура становится антикультурой, если она не способствует изменениям».

«Литературная Европа» выступает горячим поборником сотрудничества всех писателей, отвергающих идеи человеконенавистничества, расизма и войны, верящих в высокие гуманистические идеалы. Журнал стремится отметить и показать прежде всего то, что объединяет деятелей культуры различных политических убеждений и верований: стремление к миру и взаимопониманию, глубокое беспокойство за судьбы культуры. Различие в политических взглядах не может помешать совместным действиям, широкому обмену

* Рецензию на №№ 1, 2 «Литературной Европы» см. в «Иностранной литературе» № 7, 1960 г.

мыслями. Об этом хорошо сказано в полемической статье известного итальянского критика католика Карло Бо «Какая свобода?», опубликованной в третьем номере: «Работать вместе, искать пути к согласию, принимать участие в диалоге; мы будем неустанно подчеркивать необходимость таких действий».

Среди множества сложных вопросов, которым уделяет внимание журнал, особое место занимает проблема, имеющая сегодня большое значение для Италии, и не только для этой страны. Речь идет о вмешательстве реакционных кругов в литературу, об их стремлении с помощью всяческих уловок склонить писателей Запада к трусливому примирению с существующим порядком вещей. Когда же лесть, заигрывание и «отеческие советы» не помогают, клерикалы переходят к прямому запугиванию.

Против этих попыток примирить итальянских писателей с безотрадной действительностью, ограничить их право свободно выражать мысли, а наиболее непокорных принудить к молчанию выступает в четвертом номере в статье «Кризис пятидесятых годов» итальянский писатель Джузеппе Берто. О серьезных изменениях, происходящих в итальянской литературе и говорящих о стремлении творческой интеллигенции более активно вмешиваться в жизнь, говорит Вигорелли в уже упомянутой нами статье. И когда в четвертом номере журнала член Руководящего совета Европейского сообщества писателей известный итальянский прозаик Либеро Биджаретти в статье «Время протеста» говорит о том, что писатель обязан протестовать «всякий раз, когда искусство, подлинный вкус и культуру оскорбляют якобы во имя защиты морали, всякий раз, когда клерикализм прибегает к шантажу и угрозам», он выражает не только свою точку зрения, но и мнение широких кругов итальянской общественности.

Редакция «Литературной Европы» стремится рассказать своим читателям, пусть даже вкратце, о многом. Поэтому журнал публикует и крупные статьи, и рецензии, заметки, дневники.

В одних только третьем и четвертом номерах, наряду с обзорными статьями итальянского критика Джакомо Антонини о современном английском романе, помещены заметки Виктора Некрасова о его встречах в Риме с итальянскими писателями, сонет Петрарки, переведенный на французский язык Лун Арагоном, неопубликованные письма итальянского писателя Чезаре Павезе и испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, статья Алексея Суркова «Победа разума», отрывок из книги Александра Твардовского «Родина и чужбина», рецензия Анджело Мария Рипеллино на книгу профессора Этторе Ло Гатто о Пушкине, воспоминания Марии Майеровой «Маяковский в Праге». Этот далеко не полный перечень сам по себе убедительно свидетельствует, сколь многообразны по форме критические отклики журнала на наиболее интересные события литературной жизни, как широко представлены на его страницах писатели больших и малых стран Европы. И уже сейчас, познакомившись с первыми четырьмя номерами журнала, можно с уверенностью сказать: он оправдывает ожидания тех, кто не на словах, а на деле желают помочь разрядке напряженности, создавшейся в мире.

Л. Вершинин.

В ЛЕСАХ КОНГО

□

Norman Cousins. Dr. Schweitzer of Lambaréné. New York. Harper and Brothers Publishers, 1960.

□

В нескольких сотнях километров от западных границ республики Конго, к которой приковано сейчас внимание всего мира, прилепилось к берегам Огове местечко Ламбарене. Поднявшись на туземной пироге вверх по реке, путешественник очень скоро попадает в африканскую деревушку. Вот уже почти полвека тут живет и трудится Альбер Швейцер, восьмидесятипятилетний старик с волевым худощавым лицом, зоркими глазами, густой шапкой волос и пышными усами под крупным носом Именно таким предстал он перед Норманом Казенсом, редактором американского еженедельника «Сэтердей ревью» во время его поездки в Ламбарене.

Норман Казенс известен как общественный деятель и литератор, выступающий за прекращение термоядерных испытаний, за решение спорных вопросов между странами путем переговоров Мы не можем согласиться с рядом его общеполитических суждений — в них явственно слышатся ноты, свидетельствующие о желании видеть на земле скорее Pax Americana, чем мир, основанный на уважении национального суверенитета. И все же некоторые выступления Н. Казенса — это трезвый и доброжелательный голос в диалоге Запада и Востока.

Трудно писать о деятельности Альбера Швейцера коротко. Философ, музыкант, историк, литератор... В каждую из этих областей он, будучи еще молодым, внес ощутимый вклад. Книга Швейцера об Иоганне Себастьяне Бахе и принципах органной музыки, написанная на заре века, до сих пор почитается специалистами как классическая. За-

нимаясь теологией, Швейцер пришел к убеждению, что практика буржуазной цивилизации идет вразрез с христианским учением. Поскольку открытая схватка мнений была противна натуре Швейцера, он решает всю свою жизнь сделать аргументом в этом споре с религиозной ортодоксией. В тридцатилетнем возрасте он отказывается от блестящей карьеры, принимается изучать медицину и, став врачом, в 1913 году вместе с женой уезжает в тропические дебри французского Конго. Там он вступает в нечеловечески тяжелую борьбу за жизнь и здоровье туземного населения, борьбу с сонной болезнью и проказой, грязью и невежеством.

Альбер Швейцер построил африканскую деревню и клинику при ней, и прибывающий пациент, избавленный от строгого режима и навязчивого вмешательства людей в белых халатах и окруженный родственниками, чувствует себя в привычной обстановке. Отсюда вырастает уважение к «белому доктору» и его помощникам — скромным и трудолюбивым.

Для автора книги Альбер Швейцер олицетворяет самопожертвование, моральное величие, и это особенно импонирует Н. Казенсу. Он пишет: «Чего нам в Америке больше всего не хватает сегодня, так это таких людей, как Швейцер».

Н. Казенсу неутомимый труженик из Ламбарене представляется почти «святым». Из истории хорошо известно, что единичный, пусть героический, пример не может изменить положение вещей. Только борьба против социальной несправедливости, против колониализма может привести к ощутимым результатам. Однако это не мешает нам с большим уважением относиться к личному мужеству людей, подобных Альберу Швейцеру, и попытки рассказать о них заслуживают внимания.

В определенных условиях яркое проявление даже отвлеченного от сложнейших социальных отношений гуманизма может быть ощутимой силой. Бесконечное «уважение к жизни» во всех ее формах (эта лаконичная формула — исходный пункт всех рассуждений Швейцера) неотвратимо привело этого замечательного человека в ряды борцов за мир. В 1957 году норвежское радио передало текст заявления Альбера Швейцера «Мир или атомная война?». Он присоединил свой голос к требованию ученых разных стран прекратить испытания ядерного оружия ввиду губительного влияния радиации на здоровье нынешнего и грядущих поколений, исключить войну с ее катастрофическими последствиями из жизни общества Настолько тревожно положение, что Швейцер изменяет своему правилу не касаться конкретных политических дискуссий. Готовность Советского Союза прекратить испытания он называет фактором «огромного значения» и с убийственным сарказмом пишет о нежелании США сделать то же. Голос людей доброй воли должен стать высшим законом при решении спорных вопросов, заканчивает свое обращение Швейцер.

Побывав в Африке, невозможно обойти расовую нетерпимость и колониализм, хотя Н. Казенс ни разу, кажется, не употребляет этого «неприятного» слова и вообще предельно сдержан в выводах. Но факты говорят сами за себя. Казенс вплотную познакомился с ужасами апартеида в ЮАС. Он рассказывает об унижениях, которым подвергаются черные африканцы, о «локациях», где они обречены жить, о пропусках в город, о лагерях принудительного труда, куда обманом вербуют негров. Но «апартеид не просто цветной барьер... Апартеид означает, что африканцы, составляющие 90% населения, владеют лишь 15% земли». Одним словом, земля, воздух, сама Африка — «только для белых». Всякий организованный протест против апартеида немедленно объявляется властями «актом коммунистов» и ставится вне закона. Решительно никого не заботит правомочность и доказуемость этих обвинений, иронически комментирует Н. Казенс, и сотни людей попадают за решетку только за то, что добиваются сносных условий существования.

Во время пребывания в Иоганнесбурге Н. Казенсу посоветовали познакомиться с журналистом Генри Нксумало. Но тот не пришел в назначенный час к обеду. Он был убит утром в тот же день. Полицейские чины пожимали плечами. Друзья Нксумало и среди них писатель Эзекайл Мпашлеле утверждали, что мотивы убийства — политические: вся страна знала боевые статьи Генри в ежемесячнике «Драм». В комнате Нксумало обнаружили вставленный в пишущую машинку лист бумаги. На нем был начат рассказ о негре, у которого украли пропуск в город...

Доктор Швейцер сказал как-то, что его клиника — не благотворительность, а дело справедливости. «С тех пор как были открыты дальние страны — как относились белые к цветным?— спрашивает он.— Как объяснить тот факт, что положение африканцев непрерывно ухудшается и целые народы вымирают только потому, что они были «открыты людьми, которые изображают собой последователей Христа?»

Альбер Швейцер не берется ответить на свой вопрос. Да и самая цель А. Швейцера ограниченна: он стремится лишь, по его собственному признанию, восстановить в глазах африканца образ человека белой кожи, стремится искупить его «вину» перед черным. Но вот неподалеку, в Конго, разыгрались события, которые убеждают еще и еще, что ни «искупить» историческую вину колонизаторов, ни оправдать самый колониализм невозможно.

Г. Злобин

РАССКАЗЫВАЮТ ДРУЗЬЯ...

□

La nouvelle critique. Mars, 1960.

□

Во Франции, как и всюду, у советского искусства друзей больше, чем врагов. Когда нацисты хозяйски разгуливали по улицам Парижа и карали смертью за каждое слово правды о Советском Союзе, французские патриоты подпольно продолжали выпускать завоевавший любовь «подписчиков» журнал «Россия сегодня». Когда во исполнение плана Маршалла во Францию хлынул поток крикливо иллюстрированных комиксов, а типографии прогрессивных издательств простаивали из-за дороговизны бумаги, на прилавках книжных магазинов одна за другой все-таки появлялись скромно оформленные книги: «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Далеко от Москвы» В. Ажаева...

К середине 50-х годов советская книга прочно вошла в круг интересов французских граждан. За три-четыре года с витрин переселились на книжные полки читателей — сборник рассказов советских писателей, объединивший тексты А. Толстого и Ю. Яновского, Пришвина и Пановой, Федина и Паустовского; потом — «Они сражались за родину» М. Шолохова, «Искатели» Гранина, «Кюхля» Тынянова, «Повесть о детстве» и «Лихая година» Гладкова, «Сердце друга» Казакевича, «Товарищи по оружию» Симонова, «В родном городе» В. Некрасова, «Сережа» Пановой, «Джамиля» Айтматова, «Битва в пути» (в переводе — «Инженер Бахирев») Г. Николаевой...

Впрочем, даже полный перечень произведений советских авторов, выпущенных различными французскими издательствами за последнее время, не даст достаточного представления о деятельности популяризаторов советской книги.

Обзоры и рецензии в прессе, развернутые предисловия, серьезные исследования (такие, как эссе Арагона «Советские литературы» или специальный номер журнала «Эроп», посвященный сорокалетию советского искусства), стимулируя интерес к новинкам, помогают правильно «читать» их, нейтрализуют ядовитую ложь, которой методически отравляют сознание легковерных читателей идеологи «холодной войны».

Публикация, сопровождаемая аналитической статьей, стала уже во Франции признанным типом издания советских произведений. Журнал «Нувель критик», посвятив свой мартовский номер теме «Советский гуманизм в 1960 году», продолжил эту традицию.

После предисловия, увлекательно рассказывающего о хозяйственных и культурных успехах СССР с начала семилетки, читатель вступит в волнующий мир художественных образов. Он от души посмеется над приключениями деда Щукаря (главы второй книги «Поднятой целины»); с интересом приобщится к раздумьям О. Бергольц («Дневные звезды») о смысле писательского ремесла; вместе с танковой бригадой подполковника Климовича вновь переживет горечь отступления («Живые и мертвые» Симонова); посочувствует — или позавидует! — безусому Тольке, приехавшему на стройку, чтобы своими руками возводить коммунизм (А. Кузнецов «Продолжение легенды»); наверняка захочет сорвать медный крест с мальчишески узкой груди Родьки («Чудотворная» Тендрякова); ласково улыбнется первым «взрослым» тревогам отчаянной Наташи (Ю. Нагибин «Перед праздником»).

Чем же дорог строгому объективному критику сегодняшний день советского искусства? Может быть, «нигилистическими настроениями» или «возвращением к теме обыденного» после темы героического? Ведь такие тенденции уже не первый год пытаются искать в советской литературе «поклонники» из «Нувель ревю франсез» и «Ревю де Пари». Нет, их надежды не оправдались.

Советское искусство привлекает тем, говорится в редакционной статье «Нувель критик», что в нем «будущее — осязаемое, встречающееся на каждом шагу... освещает картины прошлого и направляет настоящее», тем, что психологические проблемы, постановкой которых гордятся модернисты, «сложность психологического анализа, характер размышлений о судьбах человеческих обретает плоть в трудной эпопее становления общества нового типа».

Раскрыть этот процесс приобщения индивидуума к великим свершениям эпохи — вот цель, объясняющая и «внимание к рисунку личных переживаний» и «растущую заботу о совершенстве, оригинальности формы», качества столь характерные, по мнению «Нувель критик» для нынешнего этапа советской литературы.

Советская литература громко и внятно ответила на эстетические запросы тысяч современников, активно стремящихся к тому, чтобы кончилась «эра господства войны, массового голода и атомной смерти», чтобы в мире воцарились, наконец, дружба и справедливость.

Так пишут настоящие друзья, способные видеть и понимать. К их рассказу наверняка прислушивается тот, кто хочет знать правду о стране социализма и ее культуре.

Т. Балашова

Из путевого альбома

А. Кокорин

В ГОСТЯХ У НЕМЕЦКИХ ДРУЗЕЙ

Берлин. Восстановительные работы

Я пробыл в ГДР около месяца. Накануне поездки у меня было немало волнений. В Берлине устраивалась выставка моих работ, и это, естественно, явилось для меня серьезным испытанием. Но с первого же дня пребывания у немецких друзей я был окружен таким необычайным вниманием и доброжелательностью, что мое волнение постепенно исчезло. Для выставки предоставили лучший зал в новом Павильоне искусств на Унтер-ден-Линден, выпустили чудесный каталог, работы окантовали и развесили с большим вкусом. Теплым и дружеским был вернисаж. Как я понял, больше всего понравились мои рисунки карандашом, сделанные в Москве, Индии и Италии.

Мне думается, что взаимный обмен выставками чрезвычайно полезен, ибо знакомит не только с творчеством отдельных художников, но и дает представление о жизни той или иной страны.

В Берлине я познакомился со многими художниками-графиками, побывал у них в мастерских.

Профессор Арно Мор — художник, влюбленный в Берлин и берлинцев. Его творчество мягкое, добродушное. Произведения этого мастера рождаются прямо на литографском камне или офортной доске. Нижний этаж ателье художника напоминает цех маленькой фабрики. Здесь стоят литографский, офортный, шлифовальный станки. Как древние фолианты, расположены на полках литографские камни, банки красок, валики, стопы бумаги. Все говорит о том, что здесь работают каждый день.

Профессор Вернер Клемке — художник совсем иного склада. Мир его творчества — книги. Работает он невероятно много, остро и очень разнообразно. Внешне Клемке похож на героев своих иллюстраций. Это веселый и остроумный человек. Он режет по дереву с изумительным мастерством. Мне кажется очень серьезным и интересным его решение иллюстраций поэмы Маяковского «Хорошо!». Каждый разворот — это творческая находка. В мастерской его все завалено книгами, бумагой, народными деревянными игрушками.

Дом-мастерская профессора Оскара Нерлингера находится в зеленом тихом пригороде Берлина. Художник показывает массу акварелей, рисунков — это пейзажи Саксонии, Берлина, Хафеля. Его работы так же, как и его дом, дышат тишиной и спокойствием.

Познакомился я и с творчеством таких интересных художников-графиков, как Тухольский, К. Мюллер, Бальцер, Рихтер.

Вместе со своими новыми друзьями я посетил кабачок на Шперлингсгассе, где знаменитый немецкий художник Г. Цилле проводил немало времени. Маленькая пивная осталась такой же, какой она была полсотни лет назад. О тех далеких временах напоминают даже костюм хозяйки и ее прическа. Стены кабачка увешаны рисунками Цилле, вырезками из газет, фотографиями. Столы, стулья, пивная стойка, кружки — все осталось таким же. Казалось, что сейчас откроется дверь и войдет сам Цилле с дымящейся сигарой и альбомом в руках...

В ГДР прекрасные автомобильные дороги. Мы совершили поездку на машине по Саксонии, Тюрингии и Гарцу. Спидометр все время показывал не меньше 100 километров. Через каждые пятьдесят километров подъезжали к большому старинному городу. Каждый из них своеобразен. Дрезден не похож на Лейпциг. Наумбург совсем иной, чем Веймар. А такой город, как Кведлинбург, вообще не похож ни на один из прежде виденных мною городов.

Кведлинбург — это город-музей. Попадая в него, совершенно забываешь, что живешь в XX веке, и только протискивающийся по узкому переулку яркий грузовик напоминает, что сейчас не XVI век. Один к другому лепятся забавные, веселые домики, в которых когда-то жили ремесленники и купцы; маленькая уютная площадь ратуши; соборы с часами и без часов; непременный замок с средневековым собором; крохотная речушка с мельницами; гостиницы, пивные — и все это точно такое же, как в XV—XVI веках. Главная улица города шириной в 4 метра называется «Широкая».

Обедали мы в трактире XII века с заманчивой вывеской: «У золотого солнца». Сидели за отполированным временем деревянным столом, пили чудесное пиво и смотрели в открытое окошечко на неторопливую жизнь городка.

Примерно таким представлял я себе и Мейсен. Я знал, что это древний город Саксонии, расположенный на Эльбе. Он славится своими средневековыми переулками, соборами и знаменитым фарфоровым заводом, маркой которого являются две скрещенные шпаги. Тихий, старинный городок. Таким он был когда-то. Сейчас его узкие улочки и переулки содрогаются от грохота тяжеловесных грузовиков, тягачей с прицепами, электрокаров, мотоциклов и мотороллеров. Выросшая вокруг города промышленность изменила стиль жизни Мейсена.

Если же смотреть на Мейсен сверху, со стен замка, то видишь сплошное море черепицы, самой неожиданной расцветки и формы, путаный рисунок узеньких, игрушечных переулков, веселые смешные домики, колокольни и Эльбу, по которой ползут буксиры с двумя длинными трубами.

В шесть часов вечера жизнь в городе замирает. Сразу куда-то исчезают грузовики и мотоциклы, магазины закрываются, людей уже не видно. Воцаряется полная тишина. Жители направляются в пивные и кафе или сидят дома на подоконниках, подложив пуховые подушки. В воскресные дни все отправляются за город, на лоно природы.

Шпреевальд — одно из любимых мест отдыха немцев. В 70 километрах от Берлина у городка Люббенау река Шпрее распадается на массу мелких рукавов, текущих среди полей, лесов и деревень. Здесь вся жизнь населения связана с водой. Каждый крестьянин имеет свои лодки, на которых перевозится скот, овощи, сено и соленые огурцы, которыми славится Люббенау.

Я приехал в Люббенау в воскресенье. Это маленький городок, похожий на десятки других. Но в этот день в нем творилось что-то умопомрачительное. Десятки громадных автобусов, набитых до отказа берлинцами, дрезденцами, магдебурцами, жаждущими воды, воздуха и пива, заполнили узкие улицы; пригородные поезда выливают каждые десять минут тысячи семей с рюкзаками и термосами; на автомобилях, мотоциклах, мотороллерах и велосипедах приезжают сюда, чтобы покататься на лодках, полюбоваться дивной природой, выпить пива и поесть знаменитых соленых огурцов.

Сотни лодок с веселыми горожанами бесконечной вереницей тянутся по реке. Все довольны и радостны, слышатся песни и шутки; лица разрумянились от свежего воздуха и ветра.

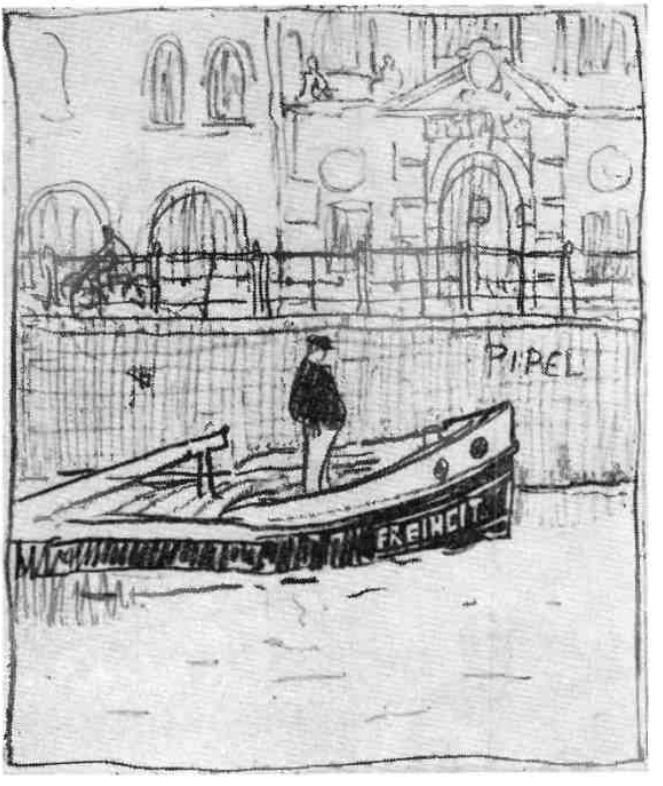
Так отдыхает трудовой народ Германской Демократической Республики, а наутро с новой энергией работает, строит, учится.

Уличные зарисовки

Берлин. Баржи на Шпрее

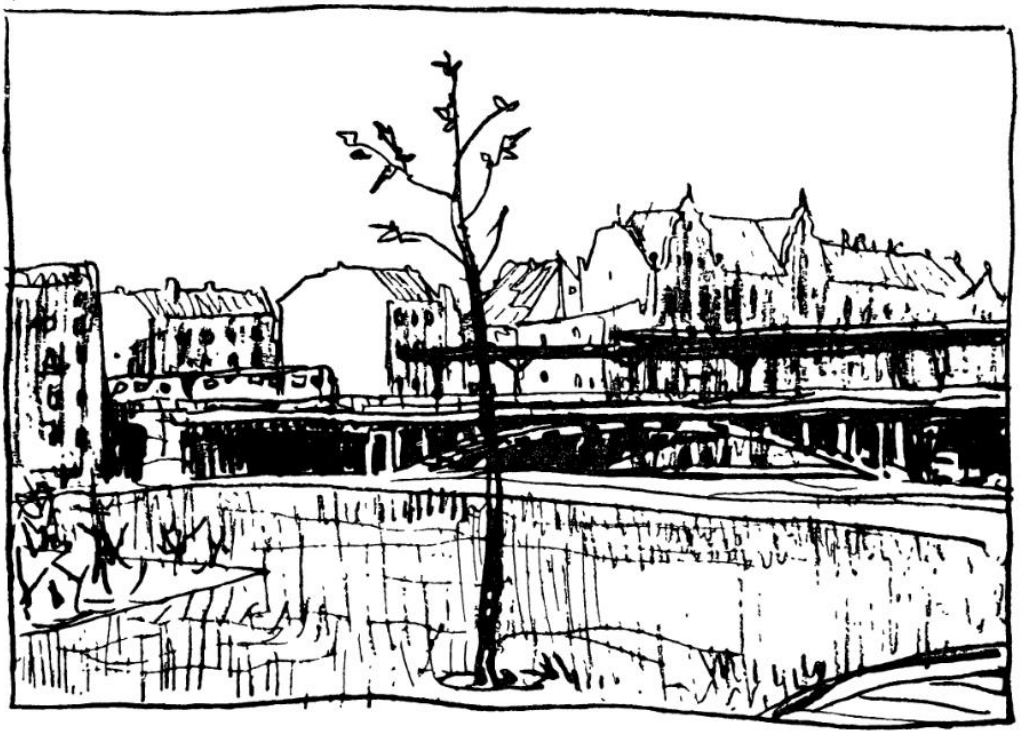
Утренняя прогулка

Берлин. Стоянка буксиров



Набережная Шпрее

Модница



Берлин. Городская железная дорога

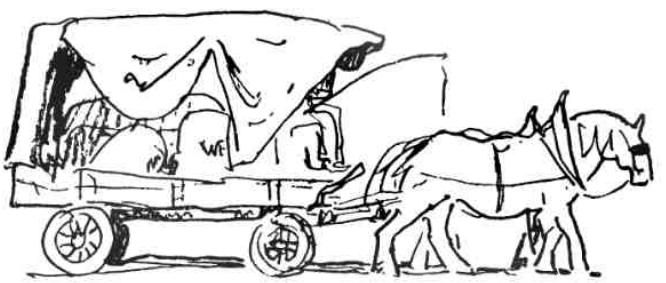
Берлин На перекрестке

Трубочисты

Детский сад на прогулке

Воскресный день в Шпреевальде

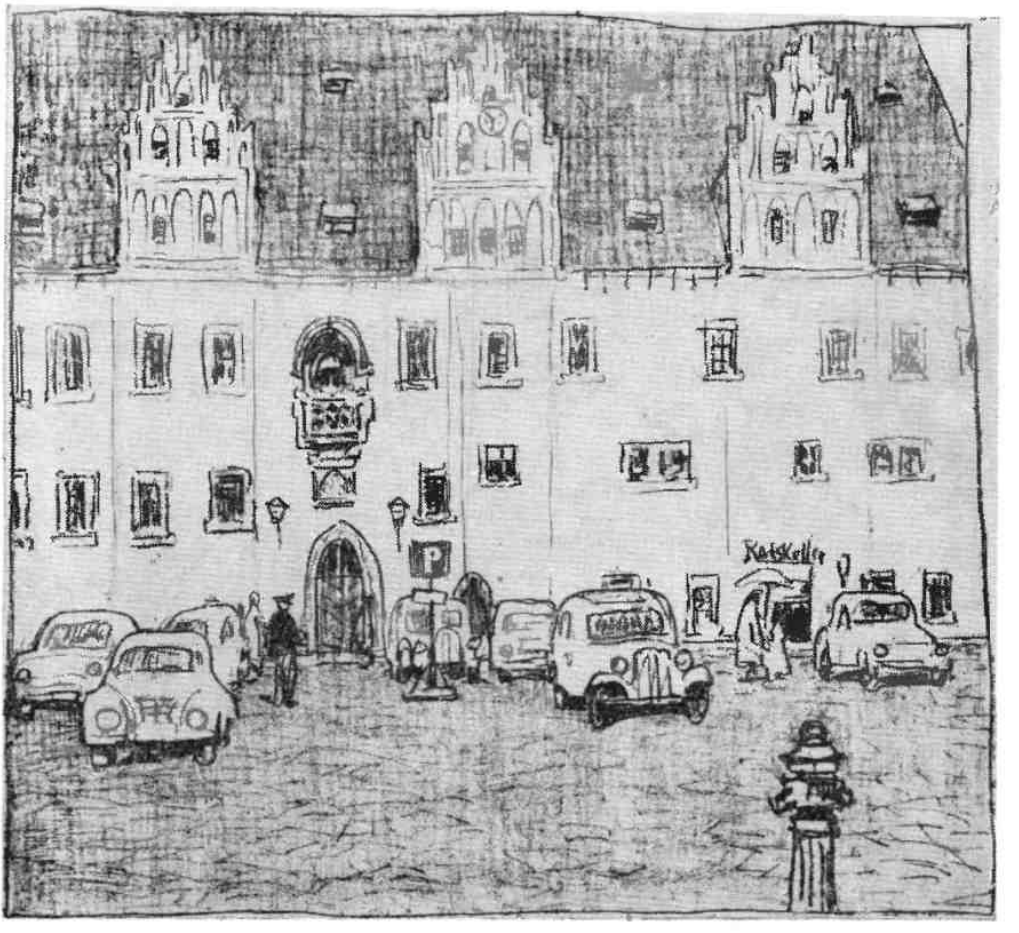
Вечер в Мейсене



Мейсен. Битюги

В кафе

Мейсен. Площадь ратуши



Древний Мейсен

Наумбургская башня

«Самоходный» транспорт

За город

Моцион

Контрасты

Берлинцы

Кведлинбург — один из древнейших немецких городов

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

Вы не знакомы с Биллом? Публикуя этот портрет в австралийском литературном журнале «Острейлиэн леттерз», художник Рассел Дрисдейл пишет: «Возможно, у него другое имя, но так или иначе — это подлинный персонаж. Он живет на далеком Северо-западе и, подобно своим предкам, бродит от фермы к ферме в поисках сезонной работы, сочиняет всякие небылицы у костра в кругу таких же свэггеров — грубоватых, выносливых и решительных людей, не питающих особого почтения к властям и законам. Он — герой и создатель австралийского фольклора и один из самых ярких типов национального характера».

АВСТРИЯ

ВЫСТАВКА КНИГ ПИСАТЕЛЕЙ-АНТИФАШИСТОВ

На выставке, недавно устроенной под названием «Австрийский эмигрант в литературе», были представлены изданные за пределами Австрии произведения австрийских писателей-антифашистов. Среди экспонатов — книги и оригиналы писем Стефана Цвейга, Теодора Крамера, Бертольда Фиртеля и многих других литераторов, которые в годы гитлеровского «аншлюсса» были вынуждены покинуть родину и создавали свои произведения за рубежом.

Газета «Фольксштимме» пишет, что выставка, естественно, не смогла охватить всю австрийскую антинацистскую литературу. Не была представлена литература, которая подпольно издавалась непосредственно в Австрии. Однако, по мнению газеты, материалы выставки все же свидетельствуют о том, что и в черные времена истории Австрии национальная литература продолжала жить и бороться.

КНИГИ ДЛЯ МОЛОДОГО ЧИТАТЕЛЯ

Австрийское издательство «Ферлаг фюр югенд унд фольк» выпустило в свет книги нескольких писателей, впервые создавших произведения для юношества.

Герман Шрейбер в своей книге «Белые индейцы» рассказывает о викингах, за столетие до Колумба побывавших в Западном полушарии. Фриц Габек написал историко - приключенческую повесть «Борьба за Барбакану». Повесть Курта Эйгля «Летающий дом» позволяет юным читателям совершить фантастическое путешествие вокруг света «на борту» крестьянского дома. Макс Штебих выступил с интересным сборником народных саг.

Отмечая это хорошее начинание австрийских писателей, генеральный секретарь Книжного клуба молодежи профессор Рихард Бамбергер, по сообщению газеты «Фольксштимме», подчеркнул, что книги для юношества должны отвлечь молодых читателей от потока грязной бульварщины, выпускаемой некоторыми издательствами.

АЛБАНИЯ

«ЛИТЕРАТУРА ИДЕТ ВПЕРЕД»

Отвечая на вопрос редакции газеты «Зери и ринисе», какие произведения албанской литературы он считает лучшими, писатель Шефкет Мусарай заявил: «В последнее время появились хорошие книги, и этот факт показывает, что наша литература идет вперед. Роман

«Болото» Фатмира Дьяты, по моему мнению,— одно из лучших произведений нашей литературы. Нашему читателю нравятся романы Петро Марко «Аста ля виста!» (по-испански «До свидания!» — *Ред.*) и «Последний город». Успехом пользуется роман Али Абдиходжи «Грозовая осень». Удачны некоторые рассказы Д. Джувани, Рази Брахими, Д. Фрашери».

«Вспомните о Григории Мелихове из романа «Тихий Дон»,— сказал писатель Фатмир Дьята в ответ на вопрос редакции газеты относительно связи писателя с жизнью.— Когда герой отдаляется от масс, он пропадает, вырождается. То же самое случается и с писателем: если он не живет с массой, не знает мыслей, стремлений, чаяний своего народа, его произведения не будут иметь успеха. Святая обязанность писателя — показывать действительность возможно глубже и правдивее. А жизнь гораздо шире, богаче, изумительнее, чем она представлена в литературе».

САДИ НА АЛБАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Большая работа проделана албанским поэтом Веджи Бухарайя, переведшим с персидского на албанский язык поэмы Саади.

Впервые творения Саади были переведены в Албании уже давно, пишет газета «Башкими», но перевод не считался удовлетворительным, теперь же, по словам газеты, «издательство имени Н. Фрашери предлагает читателю удачный перевод».

АЛЖИР

ПИСЬМО АЛЖИРЦА АНДРЕ СТИЛЮ

Последний роман Андре Стиля «Обвал» был встречен с большим интересом не только во Франции, но и в Алжире. В еженедельнике «Франс-нувель» опубликовано письмо, присланное Стилю алжирцем Башир Хадж Али:

«Алжирские женщины» — рисунок французского художника Бориса Таслицкого.
(Еженедельник «Франс-нувель»)

«Дорогой товарищ Андре Стиль! — пишет Башир Хадж Али.— С глубоким волнением я прочел твой роман «Обвал». Мне бросились в глаза такт и братское чувство, с которыми ты рассказываешь об алжирцах. Ты подметил и подчеркнул присущие алжирскому народу качества отваги и достоинства. Больше всего меня потрясла не обличительная сторона твоего романа, а те страницы, где ты рассказываешь о переживаниях французов и француженок, чьи сыновья находятся в Алжире в экспедиционном корпусе. Арагон, кажется, писал, что твоя книга жжет. Я не испытываю этого чувства, вероятно, потому, что я не француз... Меня, как и всех алжирцев, интересует, как относятся французы к этой войне. Ты показываешь это на примере одной шахтерской семьи... Французские рабочие и интеллигенты понимают, что эта война и методы ее ведения противоречат чести Франции и ее свободолюбивым традициям. Твоя книга, как мне думается, по-новому освещает естественную связь между алжирским народом и рабочим классом Франции.

Не удивительно, что буржуазия так ненавидит твою книгу. Твой роман потряс меня больше других книг, написанных об алжирской войне, и заставил больше думать. Это крик боли той Франции, которую мы любим, которой мы восхищаемся и которую, несмотря на все испытания, не смешиваем с официальной Францией. Это как бы продолжение последнего слова, произнесенного Марселем Кашеном на смертном одре: «Алжир...»

Спасибо за книгу, посвященную дружбе твоего народа с моим, который завтра будет свободным... Я, алжирский патриот, признателен французской литературе за широкие горизонты, что она открыла передо мной».

АНГЛИЯ

ПРОБЛЕМЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Еженедельник «Нью-стейтсмен» печатает выступления деятелей культуры, высказывающих свои соображения о том, как улучшить положение литераторов и работников искусства, как поднять искусство и литературу на более высокий уровень.

Сообщая об итогах Эдинбургского театрального фестиваля 1960 года, журнал «Тиэтр уорлд» отмечает, что наиболее значительным событием фестиваля явилась постановка «Чайки» А. П. Чехова режиссером Джоном Фернальдом в театре Олд Вик. Режиссура и игра актеров были высоко оценены критикой. После показа на фестивале пьеса включена в репертуар театра. На снимке: Сцена из спектакля. Встреча Нины (артистка Энн Белл) и Константина (Том Кортней) после разрыва ее с Тригориным.

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

Ангус Уилсон ставит вопрос о материальной поддержке в течение двух-трех лет писателям, занятым работой над крупным произведением. «Подумайте,— пишет он,— о том талантливом писателе, который служит для того, чтобы содержать себя и свою семью. А ведь его талант развивался бы, если бы писатель мог все свое время посвятить литературному труду. Если бы профсоюзы смогли оказывать серьезную материальную поддержку хотя бы одному писателю каждые три года, это было бы неоценимым вкладом».

«Я считал бы целесообразным,— отмечает Уилсон,— предоставлять приоритет драматургам и писателям, создающим произведения о жизни рабочего класса. Я предложил бы, чтобы профсоюзы поддержали и финансировали серию романов документального характера вроде недавно вышедшего романа Клэнси Сигала из жизни шахтерского городка».

Уилсон выдвинул предложение издавать на профсоюзные средства журнал по вопросам искусства. Он рекомендует писателям быть поближе к рабочему классу, выступает за активный обмен мыслями и сотрудничество «между литературным миром и рабочим классом», что приведет, по его словам, к интеллектуальному сбогащению и расширению кругозора обеих сторон.

ЛИТЕРАТОРЫ ПРОТИВ БРИТАНСКОЙ КИНОЦЕНЗУРЫ

В статье «Привычка подвергать все цензуре» критик Дерек Хилл пишет в журнале «Энкаунтер»: «Полезно было бы просто закрыть Британский совет киноцензуры». Хилл приводит список запрещенных фильмов. Из этого списка явствует, что в результате «опеки» со стороны цензоров английский зритель был лишен возможности познакомиться со многими мировыми шедеврами киноискусства. В 1929 году был запрещен советский фильм «Мать» В. Пудовкина. В 1932 году британская цензура запретила фильм «Октябрь» С. Эйзенштейна. Цензура не сочла возможным выпустить на экраны документальный фильм «Я был в плену в нацистской Германии». Любопытно, что этот репортаж о фашистских концлагерях был запрещен британскими цензорами за месяц до начала второй мировой войны! Та же самая судьба постигла в том же году советский фильм «Профессор Мамлок». «По иронии судьбы,— замечает Хилл,— фильм этот через несколько месяцев оказался наиболее популярным советским фильмом в нашей стране».

С острой критической статьей по адресу британских цензоров выступил писатель Джон Осборн. «Вся история существования Совета киноцензуры,— пишет он,— является демонстрацией предубеждения и поощрением тупости и посредственности. В этом отношении цензоров последовательно и усиленно поддерживали британские продюсеры. Это и есть те качества, которые роднят и тех и других».

Выступая против методов английской киноцензуры, Тони Ричардсон заявляет, что из-за страха перед цензурой постановщики выхолащивают и «обезвреживают» свои фильмы, доводя их до уровня бездумных салонных пьесок, никак не отражающих ни живую жизнь, ни живых людей, ни современные острые социальные проблемы. Очевидно, цензурный гнет настолько велик в «демократической» Англии, что даже такой орган печати, как «Энкаунтер», вынужден предоставить свои страницы для протестов литераторов.

БИРМА

БИРМАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Общество переводов Бирмы, по сообщению журнала «Гардиэн», заканчивает издание впервые выпускаемой в стране национальной энциклопедии. Большое место уделено в энциклопедии статьям, посвященным проблемам бирманской и мировой культуры.

БОЛГАРИЯ

«Хижина дяди Тома» — часть вторая... на этот раз написана и издана на африканском континенте» — карикатура болгарского художника Б. Ангелушева.
(Еженедельник «Литературен фронт»)

НОВОЕ В ТЕАТРАХ

Многие болгарские писатели работают над новыми драматургическими произведениями. Болгарские зрители увидят немало новинок на сценах театров.

Еженедельник «Литературен фронт» отмечает, что особое внимание театров привлекли драма Б. Балабанова «Перед бурей», посвященная героям движения Сопротивления, а также пьесы «Кто виноват?» Д. Димова, ставящая перед зрителем вопросы социалистической морали, «Юстинианова монета» И. Радоева, раскрывающая моральный облик человека новой эпохи, и пьеса «Направления» Н. Русева, рассказывающая о борьбе новаторской мысли против консерватизма.

БРАЗИЛИЯ

СОЛИДАРНОСТЬ С КУБОЙ

Виднейшие деятели культуры Бразилии опубликовали в печати заявление, в котором, подчеркивая значение принципа самоопределения наций, призывают поддерживать революционную Кубу.

«Дело кубинского народа,— говорится в заявлении,— представляет собой дело, судьбу и будущее всех народов Латинской Америки».

Среди многих подписавших заявление — Жоржи Амаду, Энеида, Адалжиза Нери, Анибал Машаду, Эмилиану Кавалканти, Оскар Нимейер, Паулу Мендес Кампус.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРИЗЫВ К МИРУ

«Мы призываем литераторов всех наций к открытой борьбе за мир, за немедленное полное и всеобщее разоружение»,— говорится в воззвании Союза немецких писателей, опубликованном в печати ГДР.

«Призыв» — рисунок Хорста Бартча.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

Писатели Германской Демократической Республики обратились как к отдельным литераторам, так и к союзам и обществам писателей с призывом поднять в своих странах голос в защиту человечества от угрозы самоуничтожения:

«С тех пор как существует литература, поэты и прозаики выступали за дело мира. Могут ли они молчать теперь, когда речь идет об угрозе дальнейшему существованию человеческого общества и о реальной возможности достигнуть вечного мира?»

Этот призыв к борьбе против поджигателей войны, за мир без оружия, пишет газета «Берлинер цейтунг», должен найти широкий отклик среди писателей всех стран мира.

ЛЮДВИГ РЕНН О РАЗОРУЖЕНИИ

В интервью корреспонденту агентства АДН известный немецкий писатель Людвиг Ренн горячо поддержал предложения правительства Германской Демократической Республики по разоружению обоих германских государств.

«Именно как бывший кадровый офицер, на собственном опыте познавший войну и всю ее жестокость,— заявил Людвиг Ренн,— я считаю предложения по разоружению обоих германских государств реальной возможностью искоренить западногерманский милитаризм и уберечь от его ужасного влияния Германию и весь мир...»

Если вооруженные силы обоих германских государств будут окончательно распущены, далее подчеркнул писатель, то «какое это счастье для нас и для мира: западногерманский милитаризм будет выкорчеван и будет расчищен путь для демократического мирного объединения Германии...»

«Герои кубинской революции» — с картины немецкого художника Г. Кадена.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

НА КНИЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

Книжные выставки, устроенные в ГДР (в Лейпциге и демократическом Берлине) и в ФРГ (во Франкфурте-на-Майне), газета «Националь цейтунг» оценивает как значительные события.

Однако если в Лейпциге и демократическом Берлине эти выставки содействовали установлению взаимопонимания между авторами, читателями и издательствами и наметили дальнейшие пути развития немецкой прогрессивной литературы, то во Франкфурте речь шла только о гешефте на книжном рынке.

Комментируя результаты франкфуртской выставки, гамбургская газета «Вельт» подчеркивает: «Широкие массы публики стали безразличны к книге — век книги прошел». Кёльнский издатель Вич вторит: «Если ничего не будет предпринято, тогда то, что мы называем книготорговлей, приговорено к смерти».

Эти высказывания свидетельствуют об отношении западногерманских читателей к реваншистской и человеконенавистнической «литературе», выпускаемой многими издательствами ФРГ.

Примечательно и то обстоятельство, пишет «Националь цейтунг», что произведения тех западногерманских литераторов, которые выступают против политики возрождения фашизма и милитаризма, находят все больший круг читателей в Западной Германии. Высокую оценку получили представленные на выставке во Франкфурте-на-Майне произведения писателей ГДР.

«ГОЛЛАНДСКАЯ НЕВЕСТА» ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

Незадолго до падения нацизма поденщица Ганна полюбила сына кулака, лейтенанта гитлеровской армии Эрдмана. Узнав о том, что она ждет от него ребенка, лейтенант пускает слух, что отцом якобы является голландский военнопленный, работающий в этой же усадьбе. Ганну заключают в концентрационный лагерь.

После 1945 года бывший лейтенант возвращается домой и снова обманным путем сходится с Ганной, ставшей теперь бургомистром деревни. Близкие отношения с бургомистром бывший лейтенант пытается использовать в интересах

Новый фильм ДЕФА «Шаг за шагом» говорит о защите отечества — Германской Демократической Республики — от врагов. Токарь Рохлиц, потеряв одного сына во время войны, противится тому, чтобы второй сын вступил в ряды защитников республики, не понимая, что служба в Народной Армии — почетный долг. И лишь постепенно меняется мировоззрение Рохлица, приходящего наконец к выводу, что оружие в руках рабочих и крестьян — гарантия мира. По оценке критики, фильм «Шаг за шагом» с полным правом может быть отнесен к «удавшимся произведениям последнего времени». Министр национальной обороны ГДР генерал-полковник Гейнц Гофман наградил участников фильма медалями Национальной Народной Армии. Здесь воспроизведен кадр из фильма
(Газета «Нейес Дейчланд»)

«Иркутская история» А. Арбузова с успехом поставлена в Дрезденском театре. На снимке: Артистка Лиззи Темпельхоф в роли Вали.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

кулаков. В результате напряженной внутренней борьбы Ганна передает Эрдмана в руки народного суда.

Эта весьма обычная для жизни Германии история по-новому зазвучала в пьесе Эрвина Штриттматтера «Голландская невеста», поставленной берлинским Дейчес театер.

Отмечая художественную и политическую ценность новой пьесы Эрвина Штриттматтера, печать ГДР подчеркивает, что автор реалистически изобразил людей современной немецкой деревни, борьбу за построение нового, социалистического общества.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ИНТЕРЕС К СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Русская и советская литература, по оценке печати, стала в ФРГ объектом внимания в большей мере, чем в предыдущие годы. Чрезвычайно вырос интерес к современной советской литературе, о которой читателю почти ничего не было известно.

Значительные писатели Советского Союза, признает газета «Вельт», еще по-прежнему неизвестны в Федеративной Республике. В статье «Мы слишком мало знаем о литературе славянских народов» газета отмечает, что отчужденность между Востоком и Западом отразилась на познаниях немцев в области русской литературы.

В издательстве «Киндлерферлаг» вышел в немецком переводе новый роман Константина Симонова «Живые и мертвые». Книготорговый бюллетень «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель» характеризует роман как «реалистическое повествование советского автора о боях под Москвой». Комментируя появление имени Константина Симонова в рекламных объявлениях этого издательства, еженедельник «Вельтбюне» указывает: одна ласточка, конечно, не делает литературной погоды, но постепенно в программах западногерманских издательств множатся имена советских авторов, «хотя это пока что лишь первые шаги, первая попытка наверстать упущенное, и все же становится очевидным, что невозможно надолго отгородиться от настоящей мировой литературы».

Повесть Григория Бакланова «Пядь земли» выпущена штутгартским издательством «Дейче ферлагсанштальт». По мнению Гено Хартлауб, книгу отличает сила «психологической наблюдательности».

Издано в ФРГ несколько произведений Ю. Олеши.

Два баварских издательства почти одновременно выпустили рассказы Исаака Бабеля. «Вельт» отмечает, что после двадцатых годов, когда в Берлине впервые вышли отдельные произведения Бабеля, «срок повторного издания этой своеобразной русской революционной прозы уже давно наступил».

Сборник В. Маяковского, включающий пьесы «Мистерия буфф», «Клоп» и «Баня», вышел в издательстве «Зуркамп-ферлаг».

УСПЕХ ПЬЕСЫ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

На сцене западноберлинского театра «Трибюне» поставлено произведение Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи».

Этот факт, как сообщает газета «Берлинер цейтунг», вызвал недовольство некоторых кругов Западного Берлина. Западноберлинские газеты пытались бойкотировать постановку одноактных сцен Брехта и атаковать дирекцию театра, но их попытки были тщетны. После премьеры спектакля директор театра Франк Лотар заявил: «Пьеса имела огромный успех. Аплодисменты во время представления доказывают, что мы правильно поступили, когда решили включить пьесу Брехта в репертуар театра. Отклики на пьесу единодушно положительны».

ДЕШЕВЫЙ МАНЕВР

Гюнтер Фрашка уже много лет слывет в Западной Германии «военным» романистом. Его изделия выпускает небезызвестное издательство «Эрих Пабельферлаг», рекомендуя читателю этого автора как «неоднократно награжденного бывшего офицера германского вермахта».

Новое творение Фрашки называется «Приготовиться к расстрелу». В предисловии указано, что материалы для книги взяты автором из архивов военного суда гитлеровской армии. Из этого же предисловия явствует, что автор стремится к тому, чтобы доказать невиновность... гитлеровских палачей и судей. Демократический еженедельник «Вохенпост» пишет: «Обращает на себя внимание глава этой книжонки, в которой Фрашка представляет некоего «красного обер-ефрейтора» гитлеровской армии. Обер-ефрейтор дезертирует из штрафного батальона и переходит к советским партизанам. И тут автор-нацист со всей своей ненавистью и злобой фабрикует лживые измышления о деятельности

советских партизан и немецкого национального комитета сопротивления фашизму. После долгой погони «красный ефрейтор» пойман, предстал перед гитлеровским военным судом и приговорен к расстрелу.

«Смысл этой стряпни ясен,— продолжает еженедельник.— Снова в Западной Германии бывшие гитлеровские военные судьи приговаривают к расстрелу прогрессивно мыслящих людей, противников готовящейся войны. Боннским милитаристам надо оправдать свои террористические акты. Поэтому-то и издаются в Западной Германии книги, извращающие историческую правду и разжигающие ненависть ко всему прогрессивному, ко всему гуманному».

ДАНИЯ

«ЖИЗНЬ ГАЛИЛЕЯ» В ОДЕНСЕ

Театр в Оденсе показал пьесу Бертольта Брехта «Жизнь Галилея». Главную роль исполнял норвежский актер Клаес Гилл.

Датская пресса, отмечая большой успех премьеры, выражает сожаление, что театры Дании до сих пор ставят очень редко пьесы Брехта.

ИНДИЯ

ИНДИЯ И ЛЕНИН

Делийское издательство «Новая литература» выпустило в свет книгу «Индия и Ленин». Сборник, составленный Анандом Гупта, состоит из двух частей. В первой части, как сообщает газета «Нью эйдж», сосредоточены материалы о В. И. Ленине, принадлежащие перу индийских литераторов. Здесь, в частности, помещены рассказ известного писателя Саджада Захира, темпераментно написанная статья Джавахарлала Неру. О влиянии ленинизма на национально - освободительное движение в Индии пишет Б. Т. Ранадив.

Вторую половину книги составляют статьи и отдельные высказывания В. И. Ленина, посвященные Индии и ее народу. Значительная часть материалов публикуется в Индии впервые и поэтому, пишет рецензент «Нью эйдж» Мохит Сен, представляет, несомненно, огромный интерес для индийского читателя.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЬЕСЫ

Всеобщую популярность завоевала в Индии драма «Вы сделали меня коммунистом», написанная около восьми лет назад Тхоппилом Бхаши, создающим свои произведения на языке малайялам (см. «Иностранную литературу» № 8, 1959 г.). Поставленная на сцене театральным коллективом «Керала пиплз арт клаб», она выдержала более полутора тысяч спектаклей в разных городах страны.

Недавно издательством «Ашок пракашан грах» опубликован перевод этой пьесы на хинди под названием «Возрождение». Выход книги вызвал широкий отклик в индийской прессе. Бомбейская газета «Нав бхарат таймс» пишет: «Пьеса рассказывает о народном движении. Ее герои — удивительно земные люди». Рецензент газеты «Джанюг уикли» (Лакнау) говорит, что «драма раскрывает борьбу крестьянства с помещиками. Все действующие лица — это живые, настоящие люди».

Пьеса «Возрождение» — первая книга из серии, которую издательство задумало выпускать с целью «ознакомления индийского народа с жизнью и мыслями, традициями, искусством и литературой народов, населяющих различные районы Индии».

БЕСЕДА ИНДИЙЦА С ШОУ

Еженедельник «Блиц» опубликовал воспоминания о встрече с Бернардом Шоу старейшего индийского журналиста Шридхара Телкара, двадцать лет проработавшего в Англии корреспондентом индийских газет.

«Шоу,— пишет он,— согласился меня принять в 4 часа дня. Мне сказали, что он не принимает посетителей, если те не приходят в назначенное время. Поэтому я был точен...

Я встретил Шоу в саду. Он сидел на стуле в тени под деревом. Перед ним на столе стояла пишущая машинка, лежали книги, бумага. Все было в образцовом порядке. Шоу выглядел свежим и бодрым. Энергия била в нем ключом. Он дружески поздоровался со мной и пригласил сесть.

— Что вам угодно? — спросил он несколько отрывисто.

— Я пришел, как вы знаете, чтобы получить у вас интервью.

— Тогда задавайте вопросы.

— У меня к вам один очень важный вопрос, мистер Шоу. Как вы думаете, каким путем Индия сможет добиться независимости?

Какое-то мгновение Шоу пристально посмотрел на меня, затем быстро сказал:

— Молодой человек, вы задали странный вопрос, на который сам господь бог не смог бы ответить. Во всяком случае, не мое дело объяснять вам, каким образом индийцам следует завоевывать свободу. Это ваше дело, а не мое».

Шридхар Телкар, по его словам, был весьма доволен этим интервью, так как оказался первым индийским журналистом, встретившимся с выдающимся английским писателем.

ИРАК

НОВОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА ЗУ-Н-НУНА АЙЮБА

В мрачные годы монархического режима Зу-н-Нун Айюб — виднейший пи-

сатель и общественный деятель Ирака — подвергался преследованиям и был вынужден эмигрировать из страны. Вскоре после революции 14 июля Зу-н-Нун Айюб вернулся в Ирак и принял активное участие в строительстве новой жизни, он был назначен директором иракского радио.

Перу Зу-н-Нун Айюба принадлежит, помимо многочисленных рассказов, очерков и переводов (он, между прочим, перевел на арабский язык роман М. Горького «Мать»), реалистический роман «Доктор Ибрахим. Его жизнь и подвиги», в котором писатель сатирически рисует образ буржуазного интеллигента, кичащегося своим мнимым превосходством над окружающим. «Доктор Ибрахим» был написан в период 1939—1940 гг. и, несмотря на то, что тогдашние правители Ирака чинили всяческие препятствия его распространению, имел большой успех в прогрессивных кругах страны. Недавно, по сообщению журнала «Ас-Сакафа аль Джадида», вышло в свет второе издание этого романа.

ТРУД О СОВРЕМЕННОЙ ИРАКСКОЙ ПОЭЗИИ

Иракский ученый д-р Юсуф Изз-ад-Дин — автор книги об иракской поэзии XIX века — выпустил большой труд «Современная иракская поэзия и влияние на нее политических и общественных течений». В новой книге, по сообщению багдадской печати, рассматривается поэзия Ирака со времен турецкого владычества до наших дней.

«ГАМЛЕТ» НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Вышел в свет новый перевод на арабский язык бессмертной трагедии В. Шекспира «Гамлет». Перевод выполнен иракским писателем Джубра Ибрахимом Джубра. Газета «Аль-Гумхурия» отмечает высокое качество перевода.

ИТАЛИЯ

ВОКРУГ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ «ВИАРЕДЖО»

Итальянская печать живо обсуждала произведения, которым была присуждена литературная премия «Виареджо» за истекший год. Авторы многих статей критикуют решение жюри, удостоившего трех главных премий на этот раз не произведения художественной литературы, а эссе и научные исследования. В самом деле, основную премию получил писатель Анджолетти за книгу «Великие гости», в которой собраны публиковавшиеся в газетах его очерки и эссе о великих писателях, мыслителях и ученых; две другие премии были присуждены Мильорини за монументальную «Историю итальянского языка» и слависту Ло Гатто за литературоведческое исследование. Итальянская демократическая печать указывает, что все три работы, несомненно обладающие высокими достоинствами, носят скорее научный, академический, чем литературный, характер и заслуживали бы признания со стороны «Академии деи линчеи» (итальянская Академия наук), а не жюри литературной премии.

В отношении произведений, которым были присуждены три не основные премии, прогрессивная печать отмечает, что их выбор был удачным. По разряду очерков жюри присудило премию интересной и своеобразной по своей форме книге писателя-коммуниста Сильвио Микели «Артильо» рассказывает правду». Это очерк-исследование об истории итальянского судна «Артильо» и его экипаже, осуществлявшем в 30-х годах исключительно смелые для своего времени подводные работы. По разделу кинематографической критики премия присуждена книге покойного киноведа-коммуниста Умберто Барбаро — «Фильм и борьба за марксистскую эстетику».

Критик Карло Салинари в журнале «Ринашита» пишет, что в целом премия «Виареджо» за истекший год не выполнила задачи поддерживать новое в итальянской литературе, стимулировать ее развитие и присуждение премий приняло академический характер.

«РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»

Так называется вышедший на экран новый фильм режиссера Лукино Висконти, вокруг которого разгорелась острая борьба еще на Венецианском фестивале 1960 года. Несмотря на единодушную высокую оценку этого фильма критикой и публикой, жюри фестиваля под нажимом клерикальных кругов, как известно, не присудило премии фильму Висконти, являющемуся, по отзывам печати, одним из самых значительных произведений итальянского киноискусства последних лет. В этом многоплановом, глубоко психологическом и остросоциальном фильме рассказывается о судьбе южноитальянской семьи, приехавшей в поисках заработка в Милан. Затронутая в фильме тема «внутренней эмиграции» тесно связана с так называемым

Кадр из фильма «Рокко и его братья».
(Газета «Унита»)

«южным вопросом», одним из самых больных вопросов всей итальянской жизни. По своей силе художественного воздействия и разоблачительному характеру, как отмечает прогрессивная печать, фильм вызвал в Италии большой резонанс.

Еще во время съемок клерикальные и фашистские круги чинили фильму всяческие препятствия, они встретили его в штыки на фестивале в Венеции, а потом пытались добиться запрещения выхода на экран. Однако прогрессивная общественность сумела отстоять разрешение фильма цензурой и успешно защитила его от ножниц цензора. Ввиду успеха фильма у зрителей клерикалы ныне стремятся незаконно изъять фильм из проката. Прогрессивная печать и деятели культуры вновь поднялись на защиту фильма «Рокко и его братья».

Режиссер Висконти выступает на многочисленных встречах со зрителями-рабочими, оказавшими фильму горячий прием. Он опубликовал в прогрессивном журнале «Вие нуове» интересную статью, в которой пишет об идейно-политических мотивах, которыми проникнуто произведение.

ДОЛЬЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Известный публицист и борец за экономическое и культурное развитие Юга Италии, и особенно одной из самых отсталых его областей — острова Сицилии, лауреат Международной Ленинской премии Мира Данило Дольчи выпустил новую книгу, озаглавленную «Расточительство». Она представляет сборник очерков, документов, статистических данных, свидетельствующих о том, как, с одной стороны, слабо используются природные богатства Сицилии и труд ее жителей и как, с другой стороны, бессмысленно растрачиваются огромные денежные средства. Дольчи показывает, что, несмотря на широкие перспективы экономического развития острова, положение крестьян продолжает оставаться поистине ужасным: в деревнях острова, неподалеку от городов и новых строек, царят голод, нищета, темнота.

Газета «Унита» посвятила новой работе Дольчи две большие рецензии и опубликовала отрывок из одного очерка о крестьянине, погибшем от мафии.

КАМЕРУН

РОМАН ФЕРДИНАНДО ОЙОНО

Молодой камерунский негр, которому случайно удалось получить небольшое образование, не хочет быть чиновником на службе у иностранных господ, управляющих его родиной, так как никакой более или менее самостоятельной работы неграм не дают. Став служащим крупного коммерсанта, он видит взяточничество, угнетение, торговлю женщинами, «обработку» людей религиозным дурманом — порождения колониального режима.

С детства героя приучали восхищаться страной, поработившей его родину, ее культурой, историей. И он решает уехать во Францию, пройти по дорогам Европы и уж затем вернуться в Африку, чтобы служить своей родине. Автобус везет молодого негра в ближайший город. Узнав, что молодой человек едет во Францию учиться, пассажиры собирают ему деньги на дорогу. Но двери учебных заведений для негра оказываются закрытыми — вот с чем пришлось столкнуться юноше, герою нового романа «Дороги Европы» камерунского писателя Фердинанда Ойоно.

Андре Стиль пишет в газете «Юманите», что роман Фердинанда Ойоно по остроте поставленных вопросов приближается к памфлету — негодующему, бурлящему возмущением, полному любви к жизни.

КИТАЙ

Лу Синь.
(Журнал «Вэньи бао»)

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛУ СИНЕ»

«Многие из моих друзей вдохновили меня на эти заметки. Некоторые давали мне книги, чтобы в них найти необходимые материалы, другие советовали писать исключительно по памяти, третьи предлагали дополнить и расширить написанные мною ранее небольшие книжки — «О жизни Лу Синя» и «Радостные воспоминания». Настойчивые просьбы друзей меня очень тронули, и я решила взяться за работу»,— так пишет вдова Лу Синя Сюй Гуанпин в предисловии к «Воспоминаниям о Лу Сине», опубликованным в журнале «Синь-гуаньча».

«Мои «Воспоминания»,— продолжает Сюй Гуанпин,— это небольшие заметки о жизни Лу Синя... Лу Синь был беспартийным, но вся его работа в Шанхае проходила, как мне кажется, под руководством партии. Он любил партию и заботился о ней ничуть не меньше, чем члены коммунистической партии. Он уважал партию и считал себя ее «маленьким солдатом». В период работы в Лиге левых писателей Лу Синь постоянно советовался

с Мао Дунем. Решения партии для него всегда были законом. Лу Синь часто спрашивал Мао Дуня, каково положение дел в партии, как воспитывают партийную молодежь. Лу Синь очень любил молодежь и отдавал много сил и времени делу ее воспитания».

Сюй Гуан-пин, в частности, рассказывает о влиянии русской и советской литературы на Лу Синя, о влиянии на его творчество Великой Октябрьской социалистической революции. После Октябрьской революции Лу Синь написал ряд статей, призывающих китайский народ последовать примеру своих русских братьев. Тогда же им были созданы работы «Взгляд на новую русскую литературу», «Литература и революция» и другие.

ЖИЗНЬ КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНИ В РОМАНЕ

В романе Лю Цина «Начало» показана жизнь одной из китайских деревень после проведения в ней аграрной реформы.

На экраны Китая вышел цветной фильм-сказка «Волшебный цветок», поставленный студией «Хайянь» по сценарию детского писателя Жэнь Дэ-яо. С помощью друзей и волшебного цветка юноша Ма Лань-хуа смог возвратить жизнь своей любимой Сяо Лань, ставшей жертвой вражеских козней,— так восторжествовала справедливость. Здесь помещен кадр из фильма.

(Журнал «Шанъин хуа бао»)

«Начало» Лю Цина,— пишет Ли Си-фань в газете «Жэньминь жибао»,— одно из замечательных произведений, посвященных кооперированию сельского хозяйства нашей страны. Успех нового романа объясняется, прежде всего, широким, всесторонним и правдивым освещением исторического пути, по которому идет наше пятисотмиллионное крестьянство,— пути кооперирования».

КОСТА-РИКА

ФАЛЬЯС О НОВОМ ИЗДАНИИ «МАМИТА ЮНАЙ»

Известный коста-риканский писатель Карлос Луис Фальяс в предисловии к кубинскому изданию своей книги «Мамита Юнай» пишет: «Это первое, подлинно народное, действительно массовое издание романа на испанском языке».

На родине писателя, в Коста-Рике, его роман, разоблачающий «Юнайтед фрут компани», встретил огромные препятствия на пути к широкому читателю. Все последующие латиноамериканские издания «Мамита Юнай» с трудом просачивались в эту страну и продавались по ценам, недоступным трудящимся.

Фальяс далее говорит о своем намерении написать вторую часть романа, в которой ему хотелось бы показать забастовку рабочих банановых плантаций Коста-Рики в 1934 году.

В заключение автор выразил свое глубокое удовлетворение тем, что его книга издается в героической свободной Кубе.

«Пусть эта книга,— пишет Фальяс,— поможет кубинцам лучше узнать страдания моего народа, узнать, как мы боремся против империализма янки и его лакеев в нашей стране».

Карлос Луис Фальяс заявил, что весь гонорар за это издание «Мамита Юнай» он передает в фонд укрепления экономики Кубы.

КУБА

МАНИФЕСТ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

«От судьбы революции зависит судьба кубинской культуры. Защищать революцию — это значит защищать культуру»,— заявляют писатели, художники, артисты, архитекторы Кубы в манифесте, опубликованном газетой «Нотисиас де ой».

Отмечая, что национальная кубинская культура в период чужеземного господства и диктатуры «была деформирована во всех своих проявлениях, лишена национальных особенностей, подгонялась под вкусы янки», авторы манифеста пишут, что «установление революционной власти народа и восстановление полной суверенности Родины открывает перед нами широчайшие творческие перспективы. Таким образом мы сможем сознательно участвовать в развитии национальной и революционной культуры».

В манифесте подчеркивается, что «Гаванская декларация является историческим ответом кубинского народа на агрессию империализма и его агентуры... Этот документ становится программой всех прогрессивных сил Латинской Америки».

Ближайшими задачами деятелей культуры Кубы манифест, в частности, определяет восстановление и дальнейшее развитие традиций национальной культуры, бережное отношение и использование национального фольклора — «духовного богатства кубинского народа». Авторы манифеста указывают: «Мы должны приложить все усилия, чтобы достичь полного совпадения характера наших произведений с нуждами нашей революции». Культурный обмен, контакты и сотрудничество между латиноамериканскими деятелями культуры, по словам авторов манифеста, «жизненно необходимы для судеб Латинской Америки».

Авторы манифеста — среди них писатели Николас Гильен, Хуан Маринельо,

Алехо Карпентьер, Мирта Агирре, Карлос Франки, Роберто Фернандес Ретамар, Гильермо Кабрера Инфанте, Хосе Антонио Портуондо, Лоло де ла Торриэнте — выдвигают предложение созвать национальный конгресс всех деятелей культуры Кубы.

Публикуя этот манифест, газета «Нотисиас де ой» обращает внимание на его «исключительное значение для культурного развития» Кубы.

ЛИБЕРИЯ

ОСНОВАНО ОБЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает либерийская газета «Лайбиэриен эйдж», в Монровии основано Общество писателей Либерии.

В состав руководства Общества избраны такие видные писатели, критики и общественные деятели страны, как профессор кафедр мировой литературы и латыни либерийского университета Роланд Демпстер, автор многих книг и школьных учебников, бывший декан университета доктор Дорис Бэнкс Хенриз, автор популярной в стране пьесы «Дневник» Эдит Брайт и другие.

НИГЕРИЯ

СТИХИ АЗИКИВЕ

Общественность Нигерии тепло встретила печатающиеся в газете «Уэст африкен пайлот» стихи видного национального деятеля страны, первого генерал-губернатора независимой Нигерии Азикиве, написанные автором в разные годы его жизни. В этих стихах отражено стремление народа видеть страну единой и свободной.

Автор подчеркивает, что борьба нигерийского народа с колонизаторами носила в высшей степени справедливый характер. «Мы знали,— говорится в стихотворении «Мщение»,— что наше дело было правым, мы знали, что история была на нашей стороне».

«Пусть никто не сомневается, мы не свернем с победного пути»,— подчеркивается в стихотворении «День свободы».

Стихи Азикиве, как сообщает «Уэст африкен пайлот», издаются в Нигерии отдельной книгой под заглавием «Размышления».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

УСПЕХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА

За короткое время приобрел популярность издающийся для рабочих Союзом писателей Новой Зеландии литературный журнал «Фёрнфайэр».

Большим достоинством журнала рецензент выходящей в Оклэнде газете «Пиплз войс» считает тот факт, что его страницы широко предоставлены произведениям талантливых писателей «без имени».

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОМАН «ГОРЕНИЕ»

Как сообщает газета «Аль-Гумхурия», в Египте вышел новый роман «Горение», воспроизводящий эпизоды национально-освободительной борьбы египетского народа за последние десятилетия вплоть до Суэцкого кризиса. Автор романа, Рида аль-Гамаль, работает преподавателем французского языка.

ПОЛЬША

«СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ГОРОД УМРЕТ»

О варварском разрушении Дрездена американской авиацией в конце второй мировой войны расскажет фильм под таким названием, поставленный режиссером Яном Рыбковским.

Трагедия уничтожаемого с воздуха города показывается через восприятие молодого поляка, который во время эвакуации фашистами одного из концлагерей в феврале 1945 года бежал вместе с тремя товарищами из эшелона, проходившего через Дрезден. Вскоре товарищи погибли, и герой фильма остался один в чужом городе. Гестапо разыскивало беглеца, у него не было никакой возможности укрыться, его арест был вопросом минут, в лучшем случае — двух-трех часов.

Вскоре начался налет американской авиации, который вначале казался избавлением для поляка. Теперь его уже никто не преследовал, но новая смертельная опасность нависла не только над ним, но и над всем городом. Беглец стал свидетелем бессмысленной жестокой трагедии Дрездена, полное разрушение которого, не вызывавшееся военной необходимостью, лежит на совести американской военщины.

Режиссер Ян Рыбковский поставил своей задачей показать зло войны: уничтожение современного города с его промышленными предприятиями, ценными памятниками искусства, жилыми домами, а главное — драмы многих тысяч мирных жителей, ставших жертвами американской военной авиации.

Кадр из фильма «Сегодня ночью город умрет».
(Журнал «Экран»)

Сценарий фильма написан Яном Рыбковским совместно с писателем Леоном Кручковским. В главной роли — актер Анджей Лапицкий.

«ЛЕСНОЕ МОРЕ» ИГОРЯ НЕВЕРЛИ

Издательство «Чительник» выпустило в свет новую книгу Игоря Неверли «Лесное море». Действие ее развертывается в дни войны в Маньчжурии. Герой повествования — Виктор, сын польского поселенца. Ему приходится одному пробиваться сквозь дикую маньчжурскую тайгу, то и дело подвергаясь бесчисленным опасностям.

Рецензент газеты «Трибуна люду» Януш Вильгельми отмечает «редкое богатство сюжетных линий, эпизодов и ситуаций, живописность образов и фона произведения», придающих особую привлекательность этой интересной приключенческой повести.

Виктор попадает в руки японцев. Японская контрразведка предлагает ему стать ее агентом и тем самым сохранить себе жизнь. Однако Виктору повезло: ему удалось бежать и присоединиться к китайскому партизанскому отряду, в котором сражаются русские коммунисты. В отряде Виктор встречает девушку, которая поражает его юношеское воображение.

«С этой последней линией связано нечто такое, что я считаю достижением повести,— пишет Януш Вильгельми.— Это нечто — правда и жизнь, которые Неверли вложил в рисунок образов своих коммунистов... Повесть Неверли наверняка станет популярна среди читателей».

РУМЫНИЯ

В ТЕАТРЕ ИМЕНИ КАРАДЖАЛЕ

Директор Национального театра имени Караджале писатель Захария Станку в

На репетиции пьесы Хории Станку «До восхода солнца» в театре имени Караджале. *(Журнал «Театрул»)*

беседе с корреспондентом еженедельника «Контемпоранул» сообщил:

«Через несколько месяцев мы будем праздновать 40-летие со дня образования нашей партии; и конечно, люди театра, как и все работники искусств, должным образом отмечают это историческое событие. Из драматических произведений, имеющихся у нас, мы после длительного изучения выбрали две показавшиеся нам наиболее удачными пьесы, которые рассказывают о самоотверженной борьбе румынских коммунистов. Речь идет о драме Александру Войтина «Люди, которые молчат» и о драматической поэме «До восхода солнца» Хории Станку... В пьесе «Люди, которые молчат» изображен эпизод борьбы коммунистов в годы фашистской диктатуры, а драма Хории Станку рассказывает о том времени, когда под влиянием февральской революции и борьбы против первой империалистической войны у нас образовались первые группы марксистов, ставшие ядром будущей марксистско-ленинской партии в Румынии...

Мы радуемся возможности показать в этом сезоне очаровательную пьесу на современную тему, где сатира и фарс сочетаются с подлинным лиризмом,— комедию Аурела Баранги «Сицилианка».

Кроме того, как далее сообщает Захария Станку, театр ставит пьесу старейшего румынского драматурга Михаила Сорбула «Дезертир» и памфлет об американском образе жизни А. Миродана «Знаменитый 702-й».

В репертуаре театра — «Алькальд из Саламеи» Кальдерона, «Анна Каренина» по Толстому, «Идиот» по Достоевскому и «Ромео и Джульетта» Шекспира.

США

ФИЛЬМ О РУЗВЕЛЬТЕ

На основе пьесы Дора Шэри «Восход солнца в Кампобелло», посвященной жизни и политической карьере Франклина Делано Рузвельта (см. «Иностранную литературу» № 4, 1959), недавно был поставлен фильм под тем же названием. Роль Рузвельта в фильме исполняет тот самый актер, который играл ее и в театре,— Ральф Беллами.

Специфика и возможности кино помогли сценаристу и постановщикам показать жизнь и деятельность Рузвельта гораздо шире и многообразнее, чем в пьесе, естественно, ограничивающей драматурга в отношении места и времени действия. Таким образом, фильм более насыщен, производит впечатление документального.

Кадр из фильма «Восход солнца в Кампобелло». *(Газета «Нью-Йорк таймс»)*

Сцены бурного съезда демократической партии, на котором выступает Рузвельт, решивший, несмотря на тяжелый недуг, выйти на политическое поприще, смотрятся, по словам печати, буквально как кинохроника. С другой стороны, по мнению критика газеты «Нью-Йорк таймс», съемка актеров крупным планом, стремление добиться предельного внешнего сходства с Рузвельтом и членами его семьи предопределили некоторый излишний натурализм.

Постановщики сделали большую ставку на массовые сцены и в этом отношении явно преуспели. Фильм вышел на экраны США как раз в разгар президентской избирательной кампании. В связи с этим еженедельник «Тайм» подчеркивает: «Фильм «Восход солнца в Кампобелло» — точно рассчитанный по времени образчик пропаганды в пользу демократов».

БЕСЕДА С АРТУРОМ МИЛЛЕРОМ

Американский драматург Артур Миллер последнее время работал над сценарием «Не приспособленные к жизни». В качестве киносценариста Миллер выступает впервые и был очень увлечен этой работой.

«Писать сценарий весьма интересно и увлекательно,— заявил Артур Миллер в беседе с корреспондентом французского еженедельника «Ар».— Я потратил массу труда, работал над сценарием больше, чем над любым из своих произведений. Причина коренится в том, что по ходу работы я стал обнаруживать совершенно самостоятельное значение подобного жанра в качестве обособленного литературного произведения. Сценарий — самостоятельное произведение, независимое от ставящихся в нем постановочных задач и от того, каким будет на экране созданный по нему фильм. Меня настолько поразило это открытие, что я даже решил после выхода фильма на экраны опубликовать свой сценарий. Я уверен, что он произведет впечатление».

В обычном понимании, продолжал Миллер, сцена-

Несколько лет назад в Соединенные Штаты приехал молодой венский художник Эрих Зоколь. По своим наблюдениям он создал множество карикатур, часть которых вошла в недавно изданную в Нью-Йорке книгу под названием « мериканские туземцы». Мы воспроизводим некоторые карикатуры Эриха Зоколя — не знающая, чем заняться, домашняя хозяйка, «битник», гориллоподобный полисмен, великосветское общество на приеме. «Талант Эриха Зоколя,— пишет критик Стив Аллен,— превращает тушь в кислоту, разъедающую все показное». А по словам рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», «Эрих Зоколь смотрит на обывателей в США острым и наметанным взглядом. Возможно, что его карикатуры вызовут удивление и даже возмущение всех тех американцев, которые привыкли видеть себя изображенными в приукрашенном виде на глянцевитых обложках журналов, в кино и по телевидению».

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

рий представляет собой «нечто вроде телеграфного текста для постановщика. Составляя этот текст, сценарист не заботится ни о литературном стиле, ни даже о точном описании переживаний героев. Происходит это потому, что он знает: текст пишется не для чтения, а для использования... Иными словами, режиссеры и постановщики будут его кромсать по своему усмотрению, актеры его изменят в соответствии со своим индивидуальным толкованием роли и т. п.»

Артур Миллер заявляет, что, к своему большому счастью, он работал над сценарием один, без вмешательства продюсеров или режиссеров. «Я ставил себе целью добиться того, чтобы после прочтения сценария они получили такое же впечатление, как будто уже посмотрели законченный кинофильм. Короче говоря, я оставил, в противоположность тому, что принято делать обычно в сценариях, весьма мало возможностей для фантазии постановщика».

Сюжет сценария Миллера прост. Рассказывается история молодой женщины, которая развелась с мужем. И вот наступает после окончания всех формальностей, связанных с разводом, первое утро ее свободной жизни. Но тут она обнаруживает, что по существу не ощущает свободы, ей приходится начинать жизнь сначала и трудно вновь войти в контакт с окружающей обстановкой и людьми — она не приспособлена к жизни.

«Я вник насколько мог глубоко в психологию своих персонажей,— сказал Миллер,— и постарался подробно и детально осветить ее. И вот в результате родилось нечто странное: не сценарий, не роман и не пьеса для театра.

Написано все в настоящем времени, что обычно не принято для романа, но является правилом для пьесы. В то же время я не был связан спецификой театральной пьесы, и действие поэтому развивается во многих планах, как в романе, поскольку кино предоставляет такие возможности. Описательная сторона, ненужная в театре, но обычная для романа, включена сюда, так как киноаппарат может ее отобразить. Возможно, я открыл для себя самого какую-то новую технику письма... Еще наверняка не знаю».

ДВЕ АНТОЛОГИИ

В Нью-Йорке вышли две книги: «Африканская сокровищница»— сборник очерков, статей, рассказов и поэм африканских авторов, составленный поэтом Лэнгстоном Хьюзом, и сборник «Голоса Африки» под редакцией Пэгги Рэзерфорд.

В связи с выходом этих книг критик Гвендолин Картер пишет в «Нью-Йорк геральд трибюн бук ревью»: «Почти одновременный выход двух таких антологий, когда раньше не было никаких сборников африканской литературы, свидетельствует о растущем понимании значения Африки. Последние события толкают нас на поиски путей понимания мышления народов этого континента, в особенности тех, которые проживают южнее Сахары. Нам повезло в том отношении, что эти самые первые сборники поражают своей яркостью и талантливостью».

Обе книги, по мнению рецензента, удачно дополняют, а не повторяют одна другую.

ФРАНЦИЯ

«НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В АЛЖИРЕ!»

Национальный комитет писателей выступил с заявлением, в котором протестует против разгула реакции во Франции и требует немедленного прекращения войны в Алжире.

«Величие Франции нам не менее дорого, чем кому бы то ни было. Ведь наш союз направлен против иностранной оккупации Франции,— говорится в заявлении.— Теперь, так же, как и тогда, мы считаем, что национальную культуру можно сохранить лишь при условии сохранения свободы. Мы не можем не беспокоиться, видя, что все манифестации,

«Кино вчера... действительность завтра?» — под таким заголовком газета «Юманите» поместила этот кадр из фильма Виченте Минелли «Четыре всадника Апокалипсиса», показанного недавно на экранах парижских кинотеатров Газета задает вопрос: «Неужели мы снова увидим на улицах наших городов эту зеленовато-серую форму?»

имеющие целью добиться восстановления мира, запрещаются. Мы протестуем, в частности, против аргументации, что французский народ будто бы не может публично выражать свое мнение, так как лица, желающие продолжение войны, могут организовать контрдемонстрации. Заявлять так — значит давать повод к выступлениям тех, кто борются против народа. Комитет считает, что следует немедленно вернуть отнятые у французского народа права и немедленно прекратить войну в Алжире. Эта война, являющаяся предлогом для навязывания народу фашистской идеологии, заставляет французов проливать кровь, и никто не может объяснить, за что Франция платит такой дорогой ценой. Во имя культуры и национальных интересов Франции — да здравствует мир!»

Заявление подписали виднейшие французские писатели, в том числе Луи Арагон, Жорж Арно, Эльза Триоле, Леон Муссинак и другие.

«САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА»

Так определил молодой французский кинорежиссер Пьер Каст войну в Алжире, непопулярную в самых широких слоях французского народа.

Восемь кинорежиссеров заявили на страницах еженедельника «Экспресс» о своем желании поставить фильмы о войне в Алжире, «если будет предоставлена такая возможность». Среди этих режиссеров — Анри-Жорж Клузо, постановщик фильма «Плата за страх», Ален Рене, Роже Вадим.

Тем временем французская киноцензура свирепствует. Фильм молодого режиссера Жана-Люка Годара «Маленький солдат» уже попал под запрет цензуры именно потому, что в нем говорится о войне в Алжире.

Протестуя против запрета «Маленького солдата», постановщики этой картины пишут: «Впервые во Франции фильм официально запрещен по политическим мотивам в нарушение всех деклараций лиц, ответственных за деятельность французского кино».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРЕМИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Истекший год дал много литературных произведений, посвященных современности. Поддерживая этот живой поток молодой литературы, издательство «Чехословацкий писатель» решило установить пять ежегодных премий за лучшие прозаические и поэтические произведения, за критические работы, художественный перевод, а также за лучшее оформление книг.

Премии 1960 года были присуждены представителям молодого поколения литераторов, а также двум мастерам художественного оформления. Среди лауреатов премии — Ян Прохазка, автор повести «Зеленые дали» (напечатана в «Иностранной литературе» № 10, 1960 г.)

Высоко оценило жюри и роман Ивана Кржижа «Великое одиночество». «Роман Кржижа,— отмечает журнал «Гост до дому»,— является дальнейшим шагом вперед в развитии художественной прозы, посвященной деревенской тематике».

Премии были присуждены также Эдуарду Петишке — автору произведения «Пока вырастут мужчины» о поколении, детство которого проходило во время Первой республики, а молодость — в период оккупации, и Яну Скацелу — за сборник стихов «Что осталось от ангела».

О ЧЕШСКИХ ПИСАТЕЛЯХ

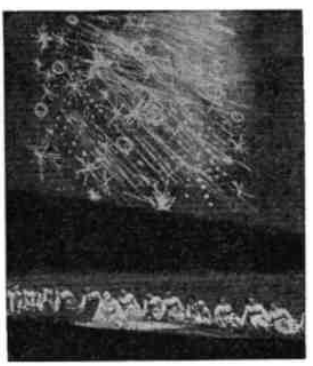
Институт чешской литературы чехословацкой Академии наук готовит к печати критико-биографический справочник о писателях.

По предварительным данным, пятитомный справочник будет содержать более 5000 кратких статей, в которых приводятся основные биографические данные, характеристика творчества и библиография.

В справочнике будут представлены чешские писатели, начиная с эпохи Возрождения вплоть до наших дней, а также видные литературные критики и переводчики.

На сцене Национального театра в Праге поставлена опера советского композитора Н. Жиганова «Муса Джалиль». Приглашенный на премьеру автор оперы рассказал творческому коллективу театра о замечательном герое татарского народа, о своей дружбе с ним. На снимке: Сцена из оперы «Муса Джалиль» в постановке пражского Национального театра.

(Журнал «Свет в образех»)



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ярослав Ивашкевич — Jarosław Iwaszkiewicz (род. в 1894 г.) — польский писатель — поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, член Всемирного Совета Мира. Перу Ярослава Ивашкевича принадлежат сборники рассказов «Новая любовь» («Nowa miłość», 1946), «Итальянские новеллы» («Nowele włoskie», 1947), «Рассказы» («Opowiadania», 1954), «Услышанные рассказы» («Opowieści zasłyszane», 1955), роман «Честь и слава» («Sława u Chwała», 1956), комедия «Лето в Нанте» («Lato w Nohante», 1956), сборники стихов, статьи.

Маленькая повесть «Девушка и голуби» («Dziewczyna i gołębie») опубликована в сборнике «Аир» («Tatarak») в 1960 г.

Митчел Уилсон — Mitchell Wilson (род. в 1913 г.) — американский писатель, автор нескольких романов. Советскому читателю известны романы Уилсона «Живи среди молний» («Live With Lightning», 1949, на русском языке издан под названием «Жизнь во мгле»), «Брат мой, враг мой» («My Brother, My Enemy», 1952), «Дэви Мэллори» («Davy Mallory», 1959). Два последних романа публиковались в «Иностранной литературе» — первый в 1956, второй в 1959 г.

Роман «Встреча на далеком меридиане» печатается по рукописи, представленной Митчелом Уилсоном журналу «Иностранная литература».

Лилинью Микайя — Lilinho Mikaia (род. в 1930 г.) — мозамбикский поэт, автор широко известной поэмы «Шангана» («Xangana», 1955), многочисленных стихотворений, а также ряда публицистических статей о современном Мозамбике.

Вириату да Круш — Viriato da Cruz (род. в 1929 г.) — анголезский поэт, основатель патриотического культурно-просветительского движения «За открытие Анголы». Автор многих стихов и статей о современной Анголе.

Мариу Антониу Фернандис ди Оливейра — Mario Antonio Fernandes de Oliveira (род. в 1934 г.) — поэт Анголы. Опубликовал сборник «Стихи» («Poesias», 1956). Печатал свои произведения в журналах Анголы, Мозамбика и Лиссабона.

Агиналду Фонсека — Aguinaldo Fonseca (род. в 1922 г.) — поэт островов Зеленого Мыса, представитель молодого поколения африканских поэтов, автор книги стихов «Линия горизонта» («Linha do horizonte», 1951).

Франсиску Жозе Тенрейру — Francisco José Tenreiro (род. в 1921 г.) — поэт с острова Сан-Томе. Основоположник негритянской поэзии на португальском языке Стихи Тенрейру собраны в книге «Остров Святого имени» («Ilha de Nome Santo», 1943).

Морис Понс — Maurice Pons (род. в 1926 г.) — французский писатель, автор романов «Метробат» («Métrobate», 1951), «Смерть Эроса» («La mort d'Eros», 1953), «Сапожник Аристотель» («Le cordonnier Aristote», 1958), книги рассказов «Невинные» («Virginales», 1955).

Повесть «Ночной пассажир» («Le passager de la nuit») опубликована в 1960 г.

Имре Добози — Imre Dobozy (род. в 1917 г.) — венгерский писатель, автор рассказов, пьес, статей.

За драматургическую и публицистическую деятельность в 1959 г. был удостоен премии Кошута.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Вчера и сегодня» («Tegnap és ma», 1960).

Франтишек Бурианек — František Buriánek (род. в 1917 г.) — чешский критик и литературовед, автор нескольких книг по критике.

Публикуемая статья написана автором для журнала «Иностранная литература».

Ярослав Путик — Jaroslav Putik (род. в 1923 г.) — чешский журналист, редактор журнала «Творба». Автор книги репортажей «Под египетским полумесяцем» («Pod egyptským púlměsicem», 1957). Публикуемая книга «Совесть» («Svědomi») издана в 1959 г. Послесловие, которое будет опубликовано в № 2 за 1961 г., написано автором для «Иностранной литературы».

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И.Анисимов, М.Я.Аплетин, М.О.Ауэзов, Б. Г.Гафуров, С. А.Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *В. Л. Шачнев.*

А 07480 Сдано в производство 14/XI 1960 г. Подписано к печати 31/XII 1960 г.
Бумага $70\times108^{1}/_{16} = 9$ бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 2207

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.